

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

4



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 4

Апрель, 1989 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Два стихотворения	3
АНАТОЛИЙ КИМ — Отец-Лес, роман-притча	5
ВАДИМ АНТОНОВ — Помилровка, рассказ в стихах	49
СЕРГЕЙ КАЛЕДИН — Стройбат, повесть	59
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ — Исцеление, стихи	90
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ — 1984, роман. Окончание. Перевел с английского В. Голышев. Послесловие В. Чаликовой	92

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Неизвестные стихи Бориса Пастернака. Публикация и комментарий Е. Б. Пастернака	131
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АНДРЕЙ БИТОВ — Близкое ретро, или Комментарий к общеизвестному	135
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ШУБКИН — Трудное прощание	165
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — НАДЕЖДЫ ВЕДОМСТВ И ТРЕВОГИ ОБЩЕСТВА	185

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Г. П. ФЕДОТОВ — Историческая публицистика. Вступительная статья и комментарий Вадима Борисова	207
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН — О романтической идеологии. Предисловие Анатолия Гелескула. И. Роднянская — Вместо послесловия	231
ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ — Гоголь и Блок	244
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
С. Ларив. «Книги Алданова будут читать...».	
Вл. Славецкий. «Теперь-то я поэт!».	
<i>Политика и наука</i>	
Сергей Исаев. Возвращение к контексту.	260
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
Ф. Ф. ПЕРЧЕНОК — Список расстрелянных	263
Д. ФЕЛЬДМАН — Дело Гумилева	265
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ст. Рассадин.— Ю. Овсянников. Доминико Трезини. ✦	
Илья Заславский.— Краткий миг торжества. О том, как делаются научные открытия	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

Так бывает, товарищ: нечаянно строчку обронишь,
а она остается, хоть мякиной, хоть кровью сотри.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко.

Я стараюсь, чтоб люди не видели, я смеюсь, я купаюсь, я рада.
Люди рады стараться, им тоже опомниться надо.
Люди рады поверить, что все уж теперь-то в порядке.
Сколько солнца и моря! Волны бегут без оглядки...
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко.

В чем же он виноват, что ему и вершка не досталось?
Чем же я заслужила, что дали мне сколько хочу?
Ах, огромное море, огромное солнце — какая же все это малость!
Окунаюсь я в синее счастье и шепотом, сердцем кричу:
на вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко.

Он бы мог мне быть братом. Нет, скорее отцом...
Но когда он к лицу лицом встал перед страшным концом,
он был меня нынешней, думаю, даже моложе.
Ненамного, всего на каких-нибудь там два-три года.
Но когда б он их прожил, когда б он их прожил...
И когда бы ему свобода, свобода, свобода...

Ах, как много мне моря соленого... Или это соленые слезы?
Потому что сжимается сердце от острой и вечной занозы.
На игольное только ушко... И сильнее она синего неба,
эта боль... На игольное только ушко... И мне бы, и мне бы!
Сколько жить остается, не слотнуть мне соленый комок.
На вершок бы мне синего моря, на вершок, на вершок.

1967.

АНАТОЛИЙ КИМ

★

ОТЕЦ-ЛЕС

Роман-притча

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мы знаем, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни.
Н. Заболоцкий.

Когда-то в стародавние времена не вся Земля — даже не все материки на ней были известны единому человечеству, и оставался некий резерв сокрытого пространства — и оттуда как бы исходил настойчивый зов. Вот и находились призванные, которым внятен был безымянный голос, — являлись миру безрассудные и беспокойные путешественники...

Так и в неогладных просторах мысли — людей звало к себе само наличие в них непознанной истины, и сосредоточенные философы были теми же первопроходцами, не знающими страха перед одиночеством, бесприютностью, угрозами ночных пространств.

А в наше время никаких белых пятен вроде бы не осталось на планете, и призывы оттуда больше не звучат. Трудно представить себе, чтобы новый философ избрал пустынное жительство и поселился бы один в лесу. Что он там услышит, отключенный от единого информационного банка? Да и другое: какую ему еще подстергать новую истину в тишине леса, когда выяснилась главная истина относительно его самого, — которая заключается в том, что под угрозой насильственной смерти человек, пожалуй, откажется от всякой истины.

А поскольку возможность насильственной смерти предстала реальной для всего рода человеческого, то и способность отказа от истины выросла до величины общечеловеческой. Неосознанное устремление к самоуничтожению может быть прямо связано с циничным отношением к мировым истинам.

Испытывая сильнейшее желание противиться цинизму и независимо философствовать, мой герой решил отправиться на пустынное жительство в лесную мещерскую глушь. Автор романа появился в этом краю рязанской России много лет назад и, сосредоточившись в тишине уединения, решил подчиниться тому, что естественным образом стал он слышать и осознавать в себе.

Все местные сведения об истории, и судьба трех поколений рода Тураевых — деда, сына и внука, и многочисленные подлинные истории других людей, которые жили до них или в одно время с ними, укладывались в его сознании под знаком единого восприятия. Так возник образ Отца-Леса — вездесущего и невидимого, столь легко воплощающегося в любое из деревьев неисчислимого человеческого Леса. Я с великим вниманием прислушивался к нему, сам задавал вопросы, стремясь оставаться при этом неприятзательным и безвинным, как ребенок, и Отец-Лес благосклонно, хотя и с беспощадной откровенностью, отвечал.

И мне представлялось, пока я работал над книгой, что неизмеримой мощью и совершенством наполняют меня мои бдения в лесу. Мне хотелось употребить свое обретенное недолгое могущество на то, чтобы сделать необходимые сильные движения в сторону спасительного выхода из современного гупика. Ведь бывает так, что для спасения достаточно сделать всего два-три энергичных рывка — но человек, даже будучи способным на усилия, или совершает их, или предпочитает ничего не делать.

АВТОР,

I

Семнадцать часов потратил Степан Тураев, чтобы добраться до этого лесного угла, где он хотел умереть, привалившись спиной к стволу большой раздвоенной сосны; а его отец Николай Николаевич, отставной офицер, военный ветеринар, впервые пришел сюда в 1889 году осенью, облюбовал большую поляну среди берез и сосен, там и начал с весны строить свою усадьбу. Степан пробирался заглохшими лесными дорогами, выйдя пешком из Гуся-Железного, и чуть ли не ползком, согнувшись в три погибели, довелся к огромному дереву на краю поляны и упал на колени, плюясь на землю сгустками крови — той самой полудворянской крови, которою был обязан сожителю Николаю Николаевичу и его кухарки Анисьи. Присловясь головою к широкому комлю дерева, Степан закрыл глаза и надолго впал в беспамятство, валяясь на том самом месте, где под гигантской раздвоенной сосною стоял когда-то его отец Николай Тураев и размышлял о свободной и счастливой жизни, которую устроит в благодатной лесной глуши, удалясь от суеты мира наподобие американца Генри Торо.

Очнувшись от ночного холода, Степан Тураев с трудом приподнялся с земли и, не видя ни зги, сделал шаг, другой, сам не зная, куда направиться. Ясно и горько подумалось, что вот и настал час его одинокой смерти в этой холодной лесной тьме, рядом с затаенными в ней буграми и ямами, которые остались на месте большого барского дома, — усадьба была сожжена мужиками летом 1918 года. Собственно, с этого времени Степан Тураев и не видал родных пепелищ, вырос на стороне, воевал, оказался в плену и только теперь с большой надорванной грудью пришел сюда — умирать.

Не с этим явился когда-то в лес его отец, Николай Николаевич Тураев, молодой розовощекий философ, стремившийся постичь не книжные знания — в них он разочаровался, — а ту ступень натуральной свободы, в которой пребывали животные и растительные существа — все материальные предметы Вселенной, от малого муравья до гигантской звезды небес, и которую мешало постичь суетливое человеческое общежитие с его жесткими обязательствами, предрассудками и разными правилами, как благородными, так и подлыми. Подчиненность этим правилам лишала его разум силы и самостоятельности, нужно было порвать с ними, уйти в лес и там обрести себя в свободе, — чего и достиг полстолетия спустя не сам Николай Николаевич, а его младший сын Степан в час одинокого умирания среди холода и тьмы ночного леса.

Это действительно была полная и неограниченная свобода — протянув руки, Степан Тураев стоял в плотной ослепительной мгле, не чуя под собой тверди, не ощущая собственной тяжести, словно выброшенный в межзвездное пространство, где нет даже понятия опоры. И подступившая смерть — очень простое и сильное чувство, смерть впервые предстала перед Степаном не ужасным завершением тяжелой певолы жизни, а началом легчайшей свободы, и не отторжением от всего мира, а приобщением к неисчислимому сонму свободных предметов. И он мысленно как бы встретился с нею взглядом и кивнул согласно, и она кивнула в ответ с пониманием того, что он постиг ее сущность и что она ничуть этим не обижена — пониманием ее совсем незначительной роли, сильно преувеличенной разумом и чувствами человек. А когда свершилось это взаимосогласие со смертью, она повернулась и усталой поступью ушла в сторону, сгинула в лесной тьме, и Степан Тураев ощутил, что он сильно озяб, что ему хочется есть, и вспомнил, что в солдатском вещевом мешке лежит хлеб, две банки американской тушенки да головка лука с бруском сала, завернутые в газетную бумагу.

Он тогда не умер, но смерть узнал всю, и многочисленные боли и болезни его тела сжались в комочки и застыли в жилах, костях, в сердце, в мышцах усталой спины, а рассвет он встречал у костерка, бесело лепетавшего свою недолгую огненную песенку, и грелась на краю огня вскрытая ножом консервная банка. Привлеченная жирным духом заокеанской свинины, выглянула из-за мохнатой сосенки лиса с мокрой мордочкой, издали уставилась завистливыми глазами на человека,— Степан свистнул, и лисицы как не бывало.

Николай Тураев высказался однажды в споре со старшим братом, Андреем Николаевичем: «Вы хотите, как пчелы или муравьи, жить только интересами улья или муравейника. У вас индивид должен быть полностью подавлен законами и порядками социального роя, поэтому ваши счастливыцы никогда не постигнут категорий свободы. Их норма — это не свобода, это эгоизм роя или видовой семьи. Человек вашего социума никогда не будет знать счастья, как не знают, что это такое, те же пчелы и муравьи. И даже высшая прерогатива счастья — любовь — неизвестна вашему бедному индивиду, потому что пчела и муравей только трудятся, а не любят, вместо них это делает их царственная матка, которая обжирается любовью и непрерывно извергает из себя яйца. Любить могут, Андрюша, только свободные существа, а самым верным признаком внутренней свободы является способность человека любить безудержно, необузданно, так, как ему заблагорассудится, и безо всяких сдерживающих уз морального порядка».

Результатом ли этих воззрений явились пятеро детей Николая Николаевича от Анисьи? (Она впервые на Колин Дом явилась в лаптях, подпоясанная веревкою,— искала отбившуюся от стада корову, заблудилась и выбрела к Колину Дому, как называли в народе новую лесную усадьбу младшего из братьев Тураевых.) Плоды естественной и свободной любви философа, которые, однако, полностью отняли у него всяческую свободу, потому что плоды росли здоровыми, хотели есть, пить, быть в образе людей, а все это, разумеется, неукоснительно требовало родительской заботы... И последыш Степан, зачатый в отцовском слепом устремлении к свободе, пришел теперь на изрытую печальную поляну в лесу, где когда-то стояла усадьба отца, витала в мечтах его сумрачная душа стихийного агностика и где теперь мечталось обрести смерть тридцатилетнему Степану Тураеву.

Николай при разделе родового имения убежденно взял себе только лес, отказавшись в пользу брата Андрея от всех пахотных земель, а их сестра Лида поступила точно так же, как братец Николаша, потому что с детства привыкла во всем подражать ему. И ей братья выделили красивые березовые рощи с полянами, с хорошей травой, с изрядным куском тихой лесной речки Нармы. Тураевой Лиде было все равно, что выделили братья в ее долю, она даже не понимала, что Николай и тут сделал уступку, отдав сестре богатые луга и пастбища, а себе выбрав угрюмую чащобу в отдаленном углу леса. Он искал отшельничества и счастья, независимости и уединения для размышлений, а неожиданно обрел Анисью и белокрысых детей, дочь и четырех сыновей, младший из которых, Степан Николаевич, единственный вернулся на Колин Дом.

После еды Степан сделал обход лесной поляны, на которой двадцать семь лет назад стояло рубленое строение, большое, нелепое и неуютное, видом своим напоминающее какой-нибудь казенный склад. Стены дома были сложены из могучих сосновых бревен без изъяна, крыша набрана мелкой чешуйчатой щепой, дворовые постройки и амбар такого же могучего крепостного вида,— и это было по душе Николаю Николаевичу, такими он представлял себе первые форты в американских лесистых просторах во времена фенимор-куперовских войн с индейцами. Бревенчатый форт, неприступная для дикарей кре-

пость, как не без тщеславной гордости называл свое обиталище Николай Тураев,— и эту крепость дикари спалили с помощью серной спички, плеснув на стены керосину из ржавого ведра. От могучей крепости ничего не осталось, только продолговатые моховые бугры на месте стен и таинственные ямы подвальных недр, нынче заросшие мхом и вереском, березовым молодняком и зверобоем с желтыми цветами.

От всех построек сохранилась лишь полуразрушенная мастерская Николая Николаевича, где стоял неуклюжий токарный станок с ножным приводом, с чугунными колесом и станиной. На этом станке любил он побаловаться, вытачивая балясины для перил мезонина или грубые шахматные фигурки, при этом отдаваясь странным и бесплодным мечтаниям, таким же неосуществимым, как и мезонин, никогда так и не выстроенный, как и замечательные праздничные вечера в доме с нарядными дамами, сидящими в креслах у камина, и господами, играющими в шахматы при свете ярких канделябров. Интеллигентные славные вечера с умными беседами единомышленников и друзей, которых никогда не было в доме Николая Тураева — ни праздничных вечеров, ни друзей-единомышленников, а была лишь одна Анисья, где-то во дворе визгливо ругавшая вырвавшуюся из стайки свинью, затем бранившая кого-нибудь из детей... Но вся эта грубая брань действительности ничуть не мешала облачному полету неосуществимых грез барина, армейского экс-ветеринара, когда он усердно поддавал ногою, вращал тяжелый маховик токарного станка. И уносили грезы-облака в далекое прошлое Николая Николаевича, например в незнакомую квартиру в Москве на Разгуляе, куда он пришел, чтобы найти брата Андрея и сестру Лиду и сообщить им о болезни отца, срочно призвавшего детей на родину, в мешерскую усадьбу.

Резец снимал ровную стружку с деревянной болванки, зажатой в токарном станке, дверь квартиры открыл высокий кудрявый молодой человек с большим медным чайником в руке, прозаически прихваченным не очень чистой тряпкою за горячую дужку, в чайнике плескался кипяток, только что снятый с горячей плиты, и постаревший Николай Николаевич вздыхал, вытачивая балясину перил, почему-то из всего этого памятного и такого дорогого для него дня запомнив лучше всего этот медный чайник и тряпку в руках человека, открывшего дверь. Кудрявый малый, Гостев Сергей Никанорович, спросил у него, дружелюбно приподняв брови и глядя в глаза Николаю взглядом веселого глубочайшего дурачка: «Кого надо вам, господин хороший?» И услышав, что надо Лиду, стал декламировать тут же сочиненные стихи: «Лиду, Лиду, эфемериду, пришел увидеть ее брат, который встрече будет рад», — рассмеялся нарочито дурашливо, но безусловно мило и ушел с чайником в другую комнату, оставив за собою неприкрытую дверь. И, стоя в передней, Николай услышал хор веселых молодых голосов и среди них различил Лидин, глубокий контральтовый, щедрый, любящий все на белом свете, и голос брата Андрея, педантично-самолюбивый, но тоже еще молодой и чистый и очень родной.

Николай Николаевич дрыгал ногою на станке и улыбался, как и тогда, ожидая в передней незнакомой квартиры, держа фуражку в руке; стружка из-под резца пошла ломкая — видимо, попало сучковатое место в дереве. Сердце молодого офицера в белом мундире охватило невероятное предощущение близкого счастья, и оно не замедлило явиться перед ним, ибо он был тотчас приглашен в комнату — тем же Сергеем Никанорычем Гостевым, который показался в дверях с церемонным и, как всегда, несколько дурашливо исполненным вклоном: «Пожалте, сударь миленький! Вас просят войти». Счастье Николая Тураева было затянато в строгую белую блузку, безупречно выутюженную, но, несмотря на строгость этой блузки, грудь и великолепный стан девицы Веры Ходаревой читались во весь голос торжествующей молодости, которая заявляла о себе сквозь подчеркнутую

серьезность, даже суровость ее насупленного румяного лица и холод серых глаз. Она как бы нехотя подняла их на Николая, когда рядом сидевшая с нею Лида представила подруге своего брата-офицера. И теперь, работая в полумгле дубового сарая, который он называл мастерскою, Николай Николаевич кротко улыбался, находясь в полном одиночестве, и улыбка его означала понимание: счастье заключается не в том, что я обладал или не обладал любимой женщиной, а в том, что такая на свете существовала и я ее встретил, пока жил. И разговаривал с нею, и смотрел в ее серые глаза, когда она спрашивала:

— Так вы, говорят, ветеринар?

— Имею честь...— ответил он скованно и весьма нелепо.

— Да какая тут честь, Коляня, фу ты, ей-богу,— рассмеялась и весело оглядела его Лида, любуясь им и гордясь тем, какой он бравый и хорошенький в своем мундире.— Он у нас с детства лошадей любил, лазал к ним под брюхо без всякого страха.

— А я считаю, что в этом и есть подлинная честь,— прервала подругу девица Ходарева.— Человек избрал полезное поприще и может на деле приносить пользу обществу, а не на словах, как некоторые. Вы меня понимаете, Николай Николаевич? — с серьезным видом обратилась она к офицеру-ветеринару.

И он с остервенением метал ногой, нажимая на педаль токарного станка, вновь ощущая, как горячая вихревая мгла накрывает его с головою, и нельзя вздохнуть, потому что дыхания нет и вместо него рвется из груди мучительный крик: «Я одиночество!» — он вступил тогда в спор с девицей Ходаревой, неосознанно, но ясно ощущая, что ореол радостной любви, окружающий ее теплое, торжествующее, пышущее здоровьем существо, есть призрачность, подобная огням святого Эльма на мачтах погибших кораблей. Он страдал сильно, оставаясь совершенно не понятым другими, и в то же время не совсем понимал и самого себя, когда неожиданно вступил в пререкания.

— Никакой пользы обществу никто не может принести и, главное, никто и не должен приносить,— начал он; и когда все, бывшие в комнате и безо всяких сомнений считавшие, что цель жизни каждого из них заключается в бескорыстном и полезном служении народу,— когда все в комнате недоуменно умолкли, Николай чуть смущенно и оттого угрюмо завершил: — ...это всего лишь фикция предвзятого мышления.

— То есть что вы этим хотите сказать, господин офицер? — совсем уж мрачно и сухо спросила у него Вера Ходарева.

— А то,— полез в глубокую бутылку Николай,— что общество есть собрание таких, как мы, отдельных индивидов, и если каждый из нас принесет своим трудом пользу себе, то тем самым он принесет пользу и обществу. Это естественный ход, господа, соответствующий природной закономерности. А то, о чем вы говорите, барышня, это и есть фикция, игра праздного ума и отвлеченное представление.

— Выходит, что вы отрицаете саму идею общественного служения? — растерянно и почти испуганно спросила девица Ходарева, и румянец на ее добром лице вспыхнул до пунцового свечения.— Господа, да что это он говорит? — обвела она серыми глазами общество молодых людей, московских студентов и курсисток конца девятнадцатого века.— Как же ему не стыдно?

— Идею вашу не отрицаю, но взгляд на нее имею свой собственный,— потупившись, молвил Николай Тураев.

— А образование? А знания, необходимые для народа? А борьба с невежеством и темнотой? — не могла успокоиться Вера Ходарева.— Неужели вы можете сомневаться в том, Николай Николаевич, что наши знания, наш общественно полезный труд нужны народу?

— Народу было бы полезно, чтобы мы не трогали его,— пробурчал Николай, чувствуя, что тоже краснеет, как и девица.— Народ сам

знает, что ему делать для своего блага. Нам бы только не мешать ему да не грабить его.

— А наш долг перед народом? — подхватила праведное рвение своей подруги Лида (сокурсница Веры Ходаревой по счетно-статистическим курсам, которые они вместе посещали уже целый год). — Долг образованных людей, Николаша?

— Народу за все века мы так задолжали, Лидушка, что долг этот игрушками вашими не заплатить, — мягко взглянув на сестру, ответил брат.

— Чем же заплатить предлагаете, сударь вы мой прекрасный? — подал голос кудрявый Гостев, разливавший чай по чашкам: он, видимо, добровольно взял на себя роль прислуги или же был хлопотливым хозяином дома и стола. — Чем должок вековой платить?

— Пусть каждый идет на пустые земли в Сибирь, в Кайсацкие степи и заводит там ферму, как сделали американцы у себя, — уже нехотя отвечал Николай, сильно сожалевающий, что затеял спор. — Или предприятия доходное заводит, чтобы самому кормиться и другим дать заработок.

— Он у нас американских убеждений, — снисходительно усмехаясь, вступил в беседу Андрей Тураев, брат, тогда еще худощавый, с круглыми очками на большом носу. — Стихийный индивидуалист, господа, но малый добрый, смею вас уверить.

— Видим, добрый малый, да что-то очень шальный, — с ходу зарифмовал Сергей Никанорович, и рассыпался нарочито дурашливым смешком, и, забавно округлив глаза, налил в синюю чашку чаю из белой заварочницы.

— И где вы такого держали, кто воспитывал его? — тоже со смехом, но вполне дружелюбно молвила третья бывшая в комнате барышня, тоже курсистка, с круглыми загорелыми щеками.

— Иметь такие взгляды в наше время! — воскликнула кипевшая от негодования Вера Ходарева, принимая от Гостева чашку. — Благодарю, Сережа.

— Какие же это т а к и е? — с упрямством спросил Николай, кри-
во усмехаясь.

— Вы хотя бы перчатки сняли, — неприязненно заметила ему Вера Ходарева, движением гладкого крупного подбородка указывая на его руки, затянутые в белые перчатки. — А то в них вы похожи на околоточного при исполнении служебных обязанностей.

— Вера! Вера! — смеясь, клопоча звучным хохотом, обратилась к подруге Лида. — Что ты нашего Коляню с околоточным-то сравниваешь? Он же и обидеться может, он у нас обидчивый.

— И пускай обижается! Я и хочу его обидеть, — воинственно продолжала Вера Ходарева. — А взгляды у вас такие, господин офицер, что они сильно отличаются от взглядов передовых людей нашего времени. Какие вы там у себя в казарме хоть книги читывали?

— Ну это вы зря, Верочка, — вступился и Андрей за младшего брата. — Он книгочей изрядный, всех нас, пожалуй, за пояс заткнет. Книги и увел его от действительности. Мы с ним всегда спорим, он ведь идеалист чистой воды, не глядите, что в офицерской форме и к тому же полковой ветеринар. Он ведь, господа, самостоятельно китайский изучил, с Толстым переписку имел.

— Андрюша! — перебил его младший брат. — Лидочка, — обернулся он к сестре, стоявшей за спиною Веры Ходаревой, которая отпивала глоток чаю из глубоко-синей чашки с золотым ободком. — У нас есть разговор, выйдемте со мною на минуту... А всех присутствующих я прошу извинить за чужеродное вторжение. Я действительно читал не те книги, которые, наверное, нужно было прочесть в наш просвещенный век. И у себя в казарме по размышлению я пришел не к тем выводам, к каким пришли вы... А посему еще раз прошу прощения у всех, особенно у вас, — чопорно поклонился Николай Ве-

ре Ходаревой, которая и бровью не повела на это.— Прощайте, господа!

— Разве вы не остаетесь? — вскинулась смуглощекая курсистка.— Чаю бы хотя попили! Потом Лидочка нам споет под гитару, и все вместе хором споем. Оставайтесь, Николай Николаич, право!

— Благодарю за честь, но петь я не умею,— отказался Николай.

— Тем паче в хоре,— подкинула ему шпильку Вера Ходарева.

— Да-с, тем паче в хоре,— мрачно подтвердил он и, приняв стойку, держа у груди фуражку, еще раз прощально поклонился Вере, которая опять никак на это не ответила.

И он быстро покинул комнату, вышел в прихожую и там стал ждать брата с сестрою, чтобы сообщить им о срочном призыве отца к своему смертному одру.

Таковых призывов последовало в течение нескольких последующих лет еще два, ибо отца смерть не брала, хотя он бывал совершенно уверен, что она вот, стоит у изголовья, и умер-то он внезапно во сне и вовсе не от той болезни, которую считал роковой для себя. Так что не успел дать детям последнего, воистину последнего наставления и благословения, но дети получили уже по три благословения, а наставление его запомнили хорошо, завет пламенного народовольца, который из любви к народу не мог как следует его эксплуатировать и довел почти до полного краха родовое имение. Но зато он воспитал детей в любви к свободе и народолюбию тож, а наставление его потомкам было: служить благу народному,— хотя сам он этому благу мало чем послужил из-за многочисленных детей (из которых уцелело лишь трое), по слабости здоровья и, главное, из-за своей невероятной бестолковости в практических делах, требующих внимательности и воли.

Дух отца, таким образом, решительно повлиял на судьбы его троих детей, об этом и думал Николай Николаевич в своей лесной фортеции, вращая ногою как проклятый колесо токарного станка и с запоздалым раскаянием ругая себя за тот нелепый спор, в который он вступил там, на Разгуляе, с прекрасной девушкой, темно-каштановой красавицей с серыми глазами, с Верочкой Ходаревой, Верой Кузьминичной, ставшей его счастьем просто потому, что он ее видел однажды в накрахмаленной белой блузке и черной длинной юбке, а потом и вовсе потерял из виду, потому что отец умирал и надо было к нему спешно ехать. Старик целый месяц пребывал в предсмертном торжественном состоянии и однажды вдруг взял да и выздоровел,— а Верочка Ходарева все это время где-то жила, и Лида встречалась с нею и могла хоть каждый день видеть ее, а Николай не мог решиться хоть словечко спросить о ней у сестры, которая по простодушию своему полагала, что после первой недружественной встречи и взаимных пререканий они отныне навсегда враги.

Не судьба была Николаю Тураеву увидеть еще раз девицу Веру Ходареву во многие последующие годы, а судьба была ей через год выйти замуж за потомственного касимовского купчика Козулина, который учился в Москве в университете на юридическом вместе с Андреем и вначале считался как бы женихом Лиды, а потом внезапно сделал предложение ее лучшей подруге, тем самым навсегда рассорив обеих и попутно нанеся рану брату бывшей невесты, и раненая душа Николая Тураева совсем легко приняла решение, предопределившее всю его судьбу: он вышел в отставку и начал строить дом в лесу.

И вот дом выстроен, его в восемнадцатом году сожгут мужики, а опростившийся барин знай крутит себе, накручивает токарный станок и вспоминает единственную встречу с курсисткой Верой Ходаревой, и ему уже не верится, что это он полюбил ее роковой бесплодной любовью; а время — это пустота, и вот уже сын Николая Тураева, Степан, приполз на родное пепелище умирать. С невнятным чувством

жалости ко всем жившим и уже исчезнувшим смотрит он на ржавый остов чугунного токарного станка, на котором его отец вытачивал шахматные фигурки и балясины для так и не осуществленного мезонина, — и, постояв над неподвижным маховым колесом и чугунной переломленной станиной как над останками умерших, погибших, взорванных мощной мифой — беспощадно искореженных и разметанных медленным взрывом времени, Степан Тураев еще раз оглядел широкую поляну, заросшую молодыми соснами и березами, вкусил миг жгучей скорби по навеки утраченному прошлому и отправился в деревню, чтобы найти там родственников или тех, кто еще помнил его. Надо было раздобыть топор, пилу и вновь вернуться сюда, чтобы отремонтировать дубовый сарай и остаться в нем жить до скончания своих дней или до следующей весны — что было в его сознании одно и то же.

За лето и осень он устроился основательно, поступил в лесничество работать лесником, и ему выделили лошадь, дали форму, получил на службе старенькое ружье и к зиме добыл двух кабанов и лося, обеспечил себя мясом, часть поменял в деревне на картошку и хлеб, разжился полушубком, валенками — и к зимовке был готов. Его болезни и раны, а вместе с ними и смерть, с которою он пришел в лес, пока о себе не напоминали, и дух Степана Тураева, живший в это лето и осень как бы отдельно от тела, приобрел необычное доселе свойство: бодрствовать и не растворяться во сне, а постоянно пребывать в каком-то особенном состоянии растительного самоощущения, в чем не было усталости и отдыха, сновидений и яви, движения и покоя.

Иногда грудь его содрогалась, как бывало раньше, и он кашлял, выхаркивая на зеленую траву алый сгусток крови, но было это свидетельство внутреннего разрушения тела настолько далеким и безразличным его духу, словно это происходило с кем-то другим из далеких прошлых веков. Степаново сознание не ведало, что все в его существе — то временное и человеческое, почти до смерти замученное войной, пленом, концлагерями, гноем и сукровицей ран, беспощадностью людей, согнанных в огромных количествах, чтобы убивать друг друга, — то малое и обессиленное, что было его вариантом человеческой жизни, теперь взято под защиту, захвачено и растворено иной стихией, которая не ведает ни пощады, ни беспощадности и вечно пребывает в самой себе, отринув время, историю, смерть одинокого человека.

Степанова душа могла скорбеть, изрыгать проклятия или возвышенно оправдывать злодеяния человеческой истории, — но это было почти ничто, малая толика мельчайшего, всего лишь инородная пылинка во влажном ночном вздохе Отца-Леса. Все, что переживали люди как свое долгое бытие, все это никакого значения не имело внутри вечного тихого ропота Леса, и не на одинокие метания человека на поляне смотрел недремлющий лесной зрак, а на движение и передвижения всех, кто когда-либо появлялся на этой поляне.

Вот лось, а вот лиса, вот заблудившийся татарин из Касимова на лохматой лошади, воин в островерхой бараньей шапке, с луком и колчаном у бедра, а вот снова лиса и кабаны стадом в десять голов — громадные бурые свиньи и совсем маленькие полосатые поросята. А там и духовой мастер леса прошел, чумазый углежог и смолокур с топором на плече, или приبلудный грибник в парусиновом картузе, конторщик с завода Баташовых промелькнул через поляну, едва влача ноги и таща в руке пустую корзину, — он чуть не погиб, этот конторщик, день и ночь проплутав по мещерским болотистым мшарам. И снова стадо кабанов, на этот раз штук тридцать, — лупят галопом через снег, подгоняемые недалеким ревом голодного медведя-шатгуна, и сам медведь, с неопытной шерстью, измазанный в собствен-

ном кале, тоскливым ходом, шевеля выпирающими лопатками, проследовал краем поляны. И снова лиса — зырк по сторонам, прыг за елку, осыпанную свежим снегом, — и вновь лето, многотравье буйное, разноцветное и яркое, тишина и дух покоя, как в раю, а потом светлый сентябрь, золотая осень. На край поляны выходит Николай Тураев в крестьянском зипуне, опоясанный патронташем, через плечо ружье, ягдташ набит рябчиками, — остановился под сосною, ствол которой раздвоился в вышине изогнутыми наподобие лиры мощными отростками, прислонил ружье к сосне и осмотрелся: падало в мозг его первое зерно мысли, что хорошо бы когда-нибудь здесь, на чудесной поляне в вековом лесу, выстроить себе дом для уединенной счастливой жизни философа.

Лес все это видел совокупно как одну непрерывную живую картину, в которой все действия происходят на одной и той же лесной поляне, но в отличие от тех кинокартин, которые смотрят люди, видение для Леса продолжалось не час и не два, а безначально и бесконечно, ибо Лес не ведает течения времени. Тураев Николай стоит, заложив руки за спину, и смотрит, как мужики из Княжей копают колодец: двое оборванцев склоняются над ямой, вытягивая бадью с землею, затем подают в этой же бадье заготовленные колоды для сруба; шахта вырыта уже довольно глубокая, а воды все нет, и это беспокоит барина — вдруг ее не будет совсем; но вода все же появляется, и она блестит далеко внизу, помаргивая там, в сырой глубине земли, — комья земли сыплотся вниз из-под ног Тураева Степана, сына Николая, он нагнулся над краем давно заброшенного колодца в тот день, когда приполз с войны на лесную поляну своего детства, еле живой дотащился до той мерцавшей в его гибельной памяти опушки леса, где он впервые в жизни нашел огромный белый гриб, совсем недалеко от колодца, что предстал теперь его взору без верхней наземной клетки сруба — просто квадратная яма вровень с землей, заглянув куда, он угадал в глубине блеск недостижимой воды.

Той самой колодезной воды, глоток которой вмиг приободрил полумертвую от усталости и жажды Анисью, мать Степанову, когда она впервые пришла к Колину Дому, — внезапно наткнулась на дом прямо в лесу, где проплутала с вечера и всю ночь и весь наступивший затем жаркий комариный день в поисках запропавшей коровы. Перепоясанная веревкой, рыжеголовая, с потным лицом, молодая баба первым делом протрусилась, мелькая стоптанными лаптями, к колодцу, кинула прикольцованную к цепи бадью в дохнувший холодом зев сруба, и когда ворот замолотил с устрашающей быстротою, со свистом махая в воздухе железной изогнутой рукоятью, Анисья умело притормозила грубой ладонью бревенчатый вал ворота, с которого разматывалась цепь, и бадья шлепнулась на воду без лишнего шума, сразу перевернулась и потонула — из глубины вытянула ее, легко налегая всем плечом на изогнутую рукоять, поставила мокрую бадью на край колодца и, клоня ее, проливая при этом воду на свою большую, как каравай, грудь, припала испекшимся ртом ко сверкающей струе, блаженно закрыв глаза.

Этой вечерней минуте Степан Тураев и был обязан тем, что позднее явился на свет, что Анисья стала ему матерью, а Николай Николаевич отцом, — ибо в ту минуту нестарый холостой барин вышел на крыльцо, шлепая по доскам босыми ногами, хотел кликнуть конюха Ивана, чтобы складывал гнедого в легкие дрожжи — ехать в имение к брату Андрею, и увидел возле колодца рыжеволосую молодую бабу: как пьет она, пригнувшись к бадье, и вода льется через край, низвергается ей на грудь, огибает извилистой струей эти выпирающие из сарафана холмы и далее падает на землю сверкающими крупными брызгами. «Эй, откуда ты такая, голубушка?» — приветливо окликнул Анисью барин. «Княжовска... — поспешно оторвавшись от бадьи, выпрямилась, смахнула ладонью капли воды с подбородка. —

Коровку ищу, барин, коровка вечер пропала, дак не нашла. Сама заблудилась, ночь ночевала в лясу». «Ну и как вода? Нравится?» — улыбаясь и не зная, что другое сказать, спрашивал Николай Николаевич. «Вода скусная, — отвечала Анисья звонким голосом, на легкий крик, каким разговаривали все княжовские бабы. — Аж зубья ломит». «Чья будешь?» «А Евпаловых. Гурьяна Ротастого сноха. Евпалов Прошка мужик мой». «Что-то не знаю такого». «А он у меня в Порт-Артуре служит солдатыком». «Дети есть?» «Доцка одна». «Пойдешь ко мне кухаркой или огородницей?» — спросил Николай Николаевич, и сердце его вдруг настороженно замерло. «В кухарки бы пошла, — быстро оглянувшись вокруг и с такою же настороженностью, как и чувство сердца его, ответила барину Анисья. — С Гурьяном договаривайся».

Так у свежего, еще белого колодца происходило то, что являлось новым ходом, очередной комбинацией среди неисчислимых замыслов Леса, который творил новую жизнь нехитрым способом: брал в одну руку женщину, в другую мужчину и тесно сближал их, пока они не соединятся естественным образом и не затеплятся в недрах этого целого капля новой жизни. Когда рыжая Анисья в дебрях сосняка у речки Байдур искала корову, то уже забрезжила у Леса мысль, что может появиться на свет младенец мужеска пола, которого поп Грачинский, отец Венедикт, окрестит Стефанием; а когда изжаждавшаяся баба пила из бадьи у колодца, щедро лия воду себе на грудь, мысль Леса окрепла и надежда его стала почти исполнимой. Окончательному торжеству замысла способствовали две войны, случившиеся у России: с Японией, во время которой под далеким Порт-Артуром был убит муж рыжей Анисьи, а она окончательно переселилась на Колин Дом; и первая мировая, на которую Николая Николаевича могли призвать как отставного офицера и военного ветеринара, но тут отец Венедикт быстренько повенчал Николая Тураева с Анисьей, и пожилой дворянин сразу же оказался семейным и многодетным; к тому же Анисья была уже снова с брюхом, и она не пошла к бабке Овдотье и не ковырнула, а решила для верности рожать еще одного ребятенка — так появился Степан, давно замышленный Лесом.

И, поняв наконец свою нерасторжимую связь с Лесом, вернувшийся живым со второй мировой войны Степан Николаевич Тураев расплакался от сложного чувства счастья, печали и бессилия, которое охватило его при виде разрушенного, обросшего колючей ежевикой колодца. Он в то же лето решил вновь отстроить колодец, взялся за топор и пилу, нарезал и натесал новых плах для верхнего сруба, благо старый был до самого дна сложен из негниющих дубовых колод, — пришлось только четыре ряда спустить под землю, а над землей поднять срубик в три венца. Но ворот сделать было невозможно: не достать железа на оковы, на рукоять, на ось, не достать и цепи. Степан выстроил и отладил славную систему — журавль с длинной тонкой жердью вместо цепи, с противовесом из дубового пня.

И вновь колодец стал давать чистую воду, которая с первой же пробы так понравилась Анисье, и уже после, привыкнув за долгие годы к ней, не могла она пить иной воды, а когда пришлось покинуть насиженное место, бросить все и спасти жизнь на чужбине, Анисья на городском жите из всех чувств, связанных с утратами прошлого, сильнее всего ощущала тоску по воде из своего колодца. Оттого и Степану Тураеву, тысячу с лишним дней проведенному на войне и на чужбине, в плену, не было дня из этой тысячи, когда б не померещилась, хоть на миг, сладкая прохлада родной колодезной воды.

Новой, журавлиной жизни колодца предполагалось быть временной, недолгой, но потекла вода — и протекла на двадцать с лишним лет, Степан и забыл вначале, в первые годы на кордоне, что вернулся, собственно, умирать в родные места, а не жить дальше, и вспомнил об этом лишь двадцать лет спустя, когда его старшая дочь Ксения,

приехав на каникулы из Рязани, где училась в педучилище, однажды ночью кинулась в колодец и он проснулся от страшного гвалта двух своих лаек и фокстерьера Пипа, которые кружили в темноте вокруг колодца, дико сверкая глазами, вздыбив на загривках шерсть; и он луч электрического фонаря направил вниз, в черноту колодца, там что-то ворохнулось мокрое, облепленное блестящей тиной, и вдруг на поток света попали глаза Ксении — они сверкнули в темноте, и это звериное полыхание дочерних глаз почему-то больше всего поразило отца. Степан вмиг ослабел, фонарь запрыгал у него в руке, он крикнул, всхлипывая, в черный зев колодца: «Миленькая, потерпи! Я тебе щас ведро подам!» — и кинулся, вздев руки в темноте, ловить висевшее над колодцем ведро. В тот раз и переломилось длинное жердевое плечо журавля, — когда вверху затрещало, Степан вмиг догадался, в чем дело, потому что во все время бешеной, напряженной суеты подсознательно боялся именно того, что старая жердь переломится, а когда это случилось, не стал даже кричать жене, которая тоже выскочила в ночной рубаше из дома и с воем повисла на противовесе журавля, — Степан лишь крепче вцепился в шест и осторожно, пошире расставив ноги, стал на весу выбирать тяжкий груз из колодца... Потом жена увела мычавшую в темноте, лязгавшую зубами дочь в избу, а Степан остался у журавля, сел на сруб и надолго поник головою.

И хотя вокруг была темень непроглядная, — но тотчас в его глазах вспыхнуло яркое видение совсем иного света, не принадлежащее никакому времени из всей его прожитой жизни: он увидел пестрое мелькание в освещенных окнах, нагие плечи танцующих женщин, которых бережно вели обнявшие их мужчины в масках. Но тотчас же все исчезло, и музыка оборвалась на полутакте, в руку ткнулось что-то холодное, влажное поначалу, затем теплое и лохматое — подошел с ласкою и успокоением к хозяину фокстерьер Пип, и его хозяин не придал никакого значения внезапному видению, слишком потрясенный всем случившимся, непонятным и черным. Он еще ниже поник головою, погладил Пипа и шепотом стал сокрушаться и упрекать себя, почему до сих пор не собрался устроить добротный колодец на кордоне или хотя бы не сменил старую высохшую жердь журавлиной плечины. Тогда и вспомнил Степан, как наспех перестраивал сруб двадцать лет назад, — тогда жить ему тоже не хотелось, и все же нашлись у него силы починить дубовый сарай и колодец, — и вот, гляди-ка, прожито больше двадцати лет, дом новый выстроен на кордоне, жену привел из Кочемар, народили с нею троих детей, Ксеньюшка старшая...

Кроме нее были сыновья Антон и младший Глеб, который единственный из детей оказался любимцем Леса. Антон же, старший, к Лесу с детства имел враждебное, непримиримое отношение, никогда не отходил от избы, а если и удалялся, то только по дороге, — а когда чуть оперился, улетел из отчего дома в Ленинград, поступил в мореходку и стал моряком, с тех пор никогда больше не появлялся на лесном кордоне... Редко навещала дом и Ксения, теперь одинокая учительница в совхозе под Боровском, ее больше всех жалел, в особенности после той непонятной попытки утопиться в колодце; и она любила отца и, когда умерла мать, хотела забрать Степана Николаевича к себе, в казенную однокомнатную квартиру с видом на реку Протву, но лесник наотрез отказался и от теплой квартиры, и от дочерних забот, и от мирной пенсионерской рыбалки на Протве.

Никому нельзя было объяснить, даже любимой дочери, почему он не может покинуть этих родовых мест, где странные видения овладевали им и где прошла половина его жизни, которая казалась ему такою же странной, как и те видения, — словно бы не он прожил множество земных лет, а кто-то другой. И как будто бы не его была жизненная сила, что заставляла все эти годы ломить работу, строить

дом, выходить по чернотропу и первой пороше на охоту, горячо и азартно биться сердце, когда в скрытой теснине леса его лайки поднимали зверя, гулко, набатно оглашая лес чудесным лаем. И это не он однажды стоял, удобно прислонясь плечом к стволу ели, держа наизготовку ружье, вслушиваясь, как идет, приближается к нему шквальный треск сучьев, живо представляя, что лось летит напрямик через чащобу молодого сосняка, куда загнали его псы. Ломит без утайки, в открытую, потому что настала для него такая минута, когда ему терять уж нечего, собаки насаждают с обеих сторон, суются к бокам и щелкают клыками у задних ног, зная, что лось не может лягнуть позади себя, и нет возможности позволить себе приостановиться и, поднявшись на дыбы, прыгнуть на собаку, выставив копыта передних ног, а потом наклонить голову и махнуть по широкой дуге перед собою, как косарь косой, разлапистыми рогами над самой землею, чтобы зацепить ревущего от страха и возбуждения пса...

Нет, это не он, Степан Николаевич Тураев, стоял в засаде и ждал лося, приближающийся шквал его неистового бега,— зверь выскочил наконец из сосняка, как паровоз из тоннеля, и помчался прямо на охотника, хотя успел заметить его,— остановиться не мог или не хотел или совсем ошалел от собак, от шума, от безысходности,— но не шархнул в сторону, не свернул, а летел всей глыбою своего бурого тела по прямой, которая должна была пройти совсем вблизи человека, шагах в двадцати перед ним... И зверь набежал, охотник вскинул ружье — щелчок осечки, он перевел курок — и вновь осечка, а лось был уже совсем рядом, уже с топотом пересекал поляну, кося на него грозно выкачанным глазом. И содрогающаяся гора мускулов на нем, и весь он был как громадное скомканное напряжение, и ком этот, словно лавина, наворачивался еще большим напряжением по мере того, как подгремел ближе, и человек тоже закаменел в чудовищном напряжении, которое нарастало в нем, недвижимом,— и это был не он, Степан Тураев, и не лось перед ним — а мгновенный сгусток, взрыв той могучей энергии, которая была силой Леса, жаром ноздрей гневного зверя и гулким стуком охотничьего сердца.

Эта энергия, перелившись в его издырявленное на войне тело, вытеснила из него все болезни, обновила кровь и стала повелевать его руками и ногами, его человеческим сознанием, в котором установился иной порядок, иное чувство времени, что прежде ощущалось как пустота и утрата. И тридцать лет, прожитые Степаном в лесу на кордоне, не были для него всего лишь тремя десятками земных годов, пролетевших птицей или промелькнувших как сон,— жена Настя, дети, новая форма для лесников, новая лошадь взамен палой, срубленная им самим изба, электростанция на бензиновом движке, установленная в дубовом сарае, яркий свет на кордоне, лампа под колпаком, подвешенная на столб посреди двора, и опять жена, дети — постаревшая, повзрослевшие, и новенькое шведское ружье, подарок сына Антона, и ежегодная санитарная рубка на его большом участке — все это было лишь новыми ветвями в зеленой кроне его жизни, ствол которой тихо стоял в чащобе Леса.

И нельзя было теперь вырвать его из сумрачной, сырой чащи, потому что вся сырость Леса, сочащаяся во мшарах, хлюпавшая под ногами в болотах, наполнявшая кадки с солеными грибами, красневшая кровью моченой брусники, стекавшая росой по узким листьям осоки, выбегавшая липкими струями из ран березы,— влага Леса и была той кровью жизни, которую он получил взамен старой, подгнивающей, доведенной до изнурения тысячью с лишним днями войны. И он впредь не мог существовать так, чтобы его личная, Степанова, алая кровь была отделена от лесной влаги, от воды в колодце, журавль над которым он обновил крепким шестом, так и не удосужившись устроить ворот с цепью или со стальным тросиком, как у других.

Оставшись один, без жены Насти, которую он отвез назад в Кочемары и там похоронил на родном погосте, Степан повел прежнюю жизнь,— но уже была она без кудрявой кроны, с обломленными ветвями, и ствол этой жизни глубоко задуплился, в нем завелась многочисленная насекомая живность, ковырявшая плоть древесины. Какой-то мохнатый зверек поселился в дупле и стал бегать ночами вверх и вниз по стволу, Степан ощущал на себе острые коготки, и беспокоил его едкий дух зверушечьего гнезда, от которого исходила невнятная угроза всему древу Степановой жизни. И оттого, что внутри этой древесной жизни завелась жизнь чужеродная, хищная, хитрая,— старый лесной исполин словно оказался кем-то и как-то отмеченным, во всяком случае крошечный зверек поселился в дупле, ни у кого не спрашиваясь, вполне по-хозяйски и преспокойно посиживал там, сверкая глазками-бусинами, и наглая его уверенность в том, что можно поселиться здесь как бы на вполне законных основаниях,— эта небоязнь маленького хищника особенно смущала Степана, когда ранними осенними вечерами дремал он на теплой печке, подложив под голову обмятый старый валенок.

Да любил ли я ее когда-нибудь? — вдруг явственно слышал он некий голос, и тогда, обеспокоенный непонятым вопросом, исходившим бог весть откуда, Степан садился в темноте и, свесив босые ноги на казенку, нашаривал папиросы, спички, закуривал, дышал едким дымом «Прибоя», кашлял, сплевывая в темноту на пол, и озабоченно качал голову,— ибо снова слышал звучащую речь, с печалью разъяснявшую, что нет, наверное, не любил, потому что видел ее всего один раз и даже не мог хорошенько уяснить себе, что она за человек и добра ли, умна ли, а может быть, вовсе не добра и не умна, да и собою хороша ли, не успел как следует разглядеть. Но если все это так, согласно здравому смыслу, то почему же я так мучаюсь всю жизнь и так несчастен, а может быть, это я вовсе не по ней тоскую, а просто гложет мне сердце могильный зуд, и темнота тьмы, куда все попадают в конце концов,— это она застилает глаза раньше времени? А я желаю видеть некий свет, образ спасения, которого не будет, нет и не может быть, и это не беззаконие, а просто ничто, пустота и какой-то нудный, вечный, непрекращающийся поток, куда и я втянут со всеми моими терзаниями, тоскою, всеми глупыми словами, которые произнесу за свою жизнь,— со своим могильным зудом и дворянским происхождением, с нехваткою четырех зубов на левой стороне верхней челюсти, с широкими ноздрями тураевской нашей породы, со всеми своими мечтами о счастливой жизни мудреца, уединившегося в лесу...

Изменяя от тягостных чужих слов, доводящих его до умоисступления, бессонный Степан ворочался на печи и незаметно вытягивался в собственные размышления, не менее тоскливые: ну ладно, Ксюшка баба, притом незамужняя и одинокая, ей в лесу нечего делать, вон даже в колодезь кидалась, у нее своя жизнь не задалась,— а вот сыновья-то могли бы чаще проводить отца? Антона вообще не видел с тех пор, как умотал он, только прислал через Глеба шведское ружье, а я его смазал и держу на тот случай, когда он сам придет, Антоша, может, на кабанов сходим вместе или на слепую ночную охоту. А как же быть с целью, которая для меня так ясна,— слышал далее Степан чужое,— с отсутствием всяких желаний, с достижением полного недеяния, как учили древние китайцы? Когда же я, наблюдая все то, что называется жизнью, смогу наконец сказать себе: ну, вот я и свободен, потому что достиг такого духовного состояния, когда нет уже во мне никаких желаний, и я больше не раб подлого хозяина, который так мучает нас, прежде чем сунуть голову в помойное ведро с какой-нибудь гадостью, от которой и умереть.

Про слепую ночную охоту знаю, однако, только я один, наверное; и представляя Степан выход в лес где-то уже к полуночи, когда зверье

вылезает из чащоб на дороги, поляны и широкие луга, чтобы погулять, как люди гуляют в городах на площади или по широким проспектам; — когда бредешь осторожно сквозь темень по известному редколесью, но такому жутко незнакомому в ночи, и тишина вроде бы совершенно бездушная, под ногами хрупок-хрупок-хруп — похрустывают мелкие ветки; — и вдруг мимо как шарохнет что-то огромное, как холм, неясное, чернее ночи, но такое стремительное и могучее, что вихри воздуха рождаются следом, и только ветки на дереве качаются, встревоженно шепчутся и постепенно притираются друг к дружке, вновь устраиваясь на ночной покой; — никто не ходит на слепую охоту, нет, не слышал я ни от кого, чтобы так же ходили, как и я. Антошку бы сводить разок — он леса боится, и днем-то боялся по лесу ходить, не в меня пошел, хотя ростом и силой такой же, как я.

Люди, увы, не знают, что свобода — цель неимоверно трудная, ведь отсутствие всяких желаний есть смерть при жизни, а если ты здоров и еще полнокровен, то каким же образом можно победить это здоровье? А никаким, злорадно отвечал про себя Степан чужому звучащему голосу: самого себя не одолеть, все равно тебе захочется чего-нибудь — например, покурить, и ты побежишь за табаком хоть на край света. Но ведь отсутствие желаний, которого должно добиваться философу, это не механическое отсечение от себя всяких естественных желаний, наоборот, — лишь удовлетворив все алчное в себе и всю меру страстей изведав, философ может сказать: я это уже знаю и я этого больше не хочу. Правильно, соглашался Степан, вот и сводить Антона на слепую охоту, чтобы он изведал такую страсть, — потом он и бояться перестанет леса, будет ходить туда со спокойной душой и днем и ночью.

Вот я не изведал любви, не потому ли столь мучает меня образ этой женщины и душа моя не потому ли томится в безысходной скорби, предощущая могильный зуд; а ведь я, поди, тоже не изведал — ну и что, никакой зуд меня не мучает, и я Настю вспоминаю каждый день не потому, что уж так ее любил, а потому, что вместе прожили жизнь, народили детей, а теперь я остался один и мне трудно доживать век свой без нее. А как я ругал Настю при жизни: и дура она, и неряха, и неумеха бестолковая, сколько лосятины и кабанятины притаскивал домой, а она запихнет мясо в бочки, протухнет там у нее, потом только собакам на корм годилось, а ведь можно было и накопить, и тушенку завернуть в банки, как это делалось у Других, — но на кой нужна была мне тушенка или свинина копченая, если суждено было Насте умереть, а мне жить без нее, и я вез ее в гробу на телеге до Кочемар, чтобы похоронить рядом с ее родителями — которые умерли, когда она была еще маленьким ребенком, — о чем она просила меня перед смертью.

Мужчине потому надо испытать большую любовь к женщине, что она, эта любовь, открывает душе наивысшее ощущение бытия, вполне уравновешивающее все неудачи и несвершения его реальной земной жизни. Это великая надежда, которой, может быть, не дано сбыться, но которая путеводит им, как яркая звезда в ночи... В лоб тебя этой звездой, какая там яркая звезда, ежели я вез Настю по лесу, телега подпрыгивала на корнях, голова Насти стучалась в гробу, и я говорил вслух, как будто она слышать могла: «Прости меня, Настя. Прости меня, собаку». А взять тех санитарок на фронте, с которыми мы, связисты, зиму спали в одной землянке? Какая там большая любовь, звезда яркая, когда я дрых рядом с ними — и ничего во мне даже не шевелилось, и ничего самой темной ночью не бывало, и только наутро они подымались раньше, чтобы успеть одеться до нас, мужиков. Одну тоже Настей звали, убило ее, другую Катей, тоже убило, а третья, Верочка, сухонькая такая и маленькая, синеглазка, замуж вышла за лейтенанта из Челябинска, одна жива и осталась.

И Степан в темноте сползал с печки, надевал на босу ногу резиновые калоши, ощупью шел к двери и выходил во двор, где была темень хоть выколи глаз, но он пробирался уверенно к колодцу, чтобы черпнуть свежей воды и попить. А вокруг стоял черной стеною и дышал холодом ночной Лес, бестрепетный, тысячеглазый — глядел очами затаившихся зверей, птиц, деревьев, угрюмых лешаков и тихих речных плескинь, которые выходят из омутов на землю, чтобы погреться и несмело полетать в туманных парах, текущих вдоль опушки леса.

И Николай Николаевич Тураев тоже выходил из дома, истомленный бессонницей, шел к колодцу, чтобы набрать той же воды и попить, доставал ее деревянной бадейкой, наматывая цепь на ворот, а Степан доставал ведром, наклоня журавль и перебирая руками по тихо уходящему вниз шесту, но не задевали широко расставленные Степановы ноги, обутые в калоши, отцовых ног, обутых в мягкие войлочные бурки, и не налетал шест журавля на колодезный ворот, не сталкивались, громко лязгая, помятое оцинкованное ведро и оконная железными обручами тяжелая бадейка, не лилась зря колодезная вода одинакового вкуса, но разных времен. И возвышалась посреди поляны темная глыба нового барского дома, углами крыши подрезая призрачную синеву ночного неба, и там же, на поляне, островерхая изба кордона в темноте казалась массивной и объемистой, и светила над домами одна и та же яркая звезда, на которую смотрели отец и сын, не видя, не ощущая друг друга, ибо между ними была та странная пустота, что называется временем. И отцу в ту бессонную ночь, когда он тоскливо и мечтательно смотрел на звезду, не было еще и сорока лет, а сын, слезящимися глазами уставившийся на нее, был шестидесятидвухлетним стариком.

А вокруг стоял на корнях, не шелохнувшись, черный мещерский Лес и потихоньку вбирал в себя их теплые жизни, растворяя во влаге своего чрева и постепенно превращая каждого в обыкновенное дерево, каких много в густой чащобе. Но по мере того, как это происходило и с одним из Тураевых, и с другим, в том же влажном чреве Леса зародилась еще одна самостоятельная воля. Внук Николая и сын Степана математик Глеб Тураев часто приезжал на Колин Дом навещать отца — и в молодости, сразу после армии, и в студенческие годы, и в секретное свое время службы в системе, разрабатывавшей Оружие. И ничего плохого с ним бы не произошло, постепенно забрал бы его Лес обратно к себе, выросло бы новое деревце в тенистой чащобе, — но вот он подходит, протягивая руку, к двуединой сосне с лирообразными изогнутыми стволами; ему суждено прикоснуться к дереву — и тем самым вновь соединить Лес мещерский с душою Николая Николаевича Тураева, его деда, которых умирал на земле, под стеною какого-то ремонтного дома в переулке Москвы около Преображенского рынка. И умирающий человек вдруг осознал со всей ясностью, что у него есть Отец и имя ему — Лес.

Для Глеба Тураева его отец Степан Николаевич и был Лесом, и для Степана его отец был Лесом, но Глебу Лес представлялся близким, в узлах корневищ и глубоких бороздах морщин по корью дубов и обомшелых лип, с золотистой чешуей загара на стволах вековых сосен, уходящих косматыми головами в самое небо. А для маленького Степки его тятя-барин всегда был дальним Лесом, окутанным в голубой туман, и дорога к нему шла через широкое неизвестное поле.

Чаще всего вспоминался Глебу отец в мокрой тяжелой одежде, с каплями дождя на лице, с прищуренными синими глазами, внимательно и чуть насмешливо смотрящими с высоты, из-под низко надвинутого козырька кепки, и этот вид набухлой сыростью одежды вместе с ощущением огромной высоты, с которой смотрели отцовские синие глаза, как просветы ясного неба меж деревьями, и были для

сына тем чувством Отца-Леса, которое пришло к нему с первосознанием.

Степке же, последнему из детей Николая и Анисьи, отец всегда представлялся проходящим мимо или уходящим куда-то вдаль, даже темные глаза его, останавливавшиеся на маленькой фигурке сына, вначале смотрели рассеянно, мимоходом и затем погружались в туманные дали своей затаенной мысли, куда не было доступа его малым детям, как и в те зубчатые леса, что виднелись на синем горизонте. Барин-отец совершенно не вникал в дела своей детворы, которыми полностью занималась одна лишь мать, даже и помещалась с ними в отдельной половине дома, рядом с кухней, и дети никогда не заходили в покои отца, состоявшие из трех комнат с общей для всех большой голландской печью. Туда маленькому Степке не было доступа, как в чужой неизвестный лес, синеющий за полями, и он привык к тому, что отец никогда не обращался к нему со словом или делом, существовал в недоступности со всеми своими неведомыми дебрями, полянами, извилинами дорожками.

С годами отдаленность отца все увеличивалась, и сам он казался подрастающему Степану ниже, незначительнее, неинтереснее, в особенности тогда, когда они стали жить в городе, в единственной на шестерых комнате многолюдного барака, и отец спал в закутке позади посудного шкафа на коротком пузатом диване. Синий лес совсем исчах, растаял за набежавшими горизонтами иной жизни, и лишь в глубоких омутах Степановой памяти все еще сохранялся, синел далеко и таинственно.

А когда отец совсем покинул их и уехал в Москву с какой-то старой, оборванной, похожей на нищенку женщиной, десятилетний Степан, единственный из детей проводивший отца до парохода, остался на пристани с чувством какого-то облегчения, словно произошло именно то, что должно было произойти как необходимое и долгожданное разрешение тайной и неизбежной муки всей жизни семьи. Живой отец навсегда исчез, сгинул где-то в Москве вместе со своей спутницей-оборванкой, но тем заманчивей и прекрасней всплывал над туманами утра далекий зубчатый лес, навсегда оставшийся в душевной памяти сына, — и он впоследствии смотрел на все дальние леса с чувством тоски и влечения, безнадежной нежности и стойкой верности сыновней любви.

К своим появившимся после войны детям Степан Тураев относился с исконным чувством недоступного душевного томления и глубокой сильной тяги к ним, хотя они были у него всегда под рукою, рядышком, и он имел возможность любого взять на руки и приласкать: Антона, Глебушку, Ксению. Но не мог он этого делать, ибо никогда не знал тех простых и удобных дорог любви и близости, которыми ходит человеческое кровное родство, сплоченное семейными инстинктами и обычаями. Жизнь на кордоне, крестьянская, труженическая, обособленная от мира, держала Степана в кругу привычных забот, одних и тех же из года в год: огород, картошка, скотина, сенокос, лесные работы, охота... Но была совершенно невидимая и отдельная жизнь его души, которая сильно отличалась от внешней, обыденной. Внутри этой незримой жизни тлела непреходящая боль, которая выросла из необычного детства, окрепла в одиночестве юности, набрала могущества в буднях фронта и плена и стала невыносимой к тому времени, когда Степан был отпущен с войны. Смерть была бы закономерным завершением этой неимоверно возросшей боли, но он неожиданно для себя выжил — и по прошествии множества лет, когда сам стал отцом семейства и должен был ломить работу, боль эта перестала править его жизнью, но как бы обрела в ней самостоятельность и устойчивую отчужденность.

Он не мог бы определить, что это за боль, как мог определить его сын Глеб, назвав ее для себя незаживающим ожогом сердца, или его

отец Николай Тураев, философ, определивший ее как всеобъемлющую муку материи, в человеческом варианте выраженную неподвижной душевной тоской, которую Николай Николаевич с философическим сарказмом называл могильным зудом.

Как-то на пути к своему лесному дому Николай Тураев чуть не вывалился из тарантаса — слетело переднее колесо и укатилось вперед по дороге, нужно было слезать и попытаться найти выпавшую из оси чеку, потом пристроить назад колесо. Но, охваченный раздумьями о проклятой муче материи, свойственной не токмо живым существам — но и укатившему колесу тож, — Тураев и не подумал сдвинуться с места, а надолго остался полулежать на передке завалившегося тарантаса, лишь сместил ноги и уперся ими в доску боковины, чтобы не выпасть на землю... Он обычно погружался в сонное оцепенение и ложился куда-нибудь, Степан же неистово кидался в работу, чаще всего колол дрова или, схватив ружье, бежал на охоту, а Глеб замолкал на полуслове и опускал глаза — если незаживающий ожог сердца вдруг напоминал о себе среди приятельского разговора. Глеб боялся обнаружить себя тяжелым мертвенным взглядом, какой, он знал, бывал у него во время этого отвратительного и ненавистного для него приступа; отец же его, Степан Николаевич, обрушивал раз за разом колун на ровно отпиленные чурбаки, которые разлетались, как от взрыва, — однажды он наколол не разгибаясь десять кубометров березовых дров. Он не ведал тревоги или стыда за свой душевный недуг, как его сын или отец, — Степан страдал неосознанно, невероятно, на ходу, на бегу, в порыве неистового действия, в отличие от отца своего, которому хотелось в такой миг «забыться и заснуть». Заснуть или гнаться за зверем, кричать или тихо плакать — все равно замиралась эта боль в безысходном одиночестве души, которого не разделить было ни с другом, ни с женою, ни с Богом.

И нигде как только в лесу каждый из этих Тураевых получал облегчение, гуляя то с тросточкой в руке по затененным извилистым дорожкам, ставя ли капканы на звериных тропах или собирая по светлому редколесью благородные грибы. Лес не вступал с людьми в разумные успокоительные беседы, не насылал чудес и многозначительных видений, не врачевал язвы сердца целительным бальзамом, — Лес растворял их души, превращал каждого в такое же послушное и безмолвное существо, как дерево, кустик черники, затаенный под слоем палой листвы гриб. При этом человек не становился ни счастливее, ни разумнее или глупее, — но он жил и дышал всей глубиной необъятной зеленой груди тысячелетнего Леса.

Ветеринар Тураев-старший как-то вырезал из-под кожи гнедого полкового жеребца непонятного происхождения желвак, в котором оказалась массивная золотая серьга, зашитая, должно быть, каким-то контрабандистом в лошадь, — вся вещица обросла диким мясом, образовав изолированную капсулу, мешочек для содержания инородного вещества в теле лошади; подобные мешочки обнаруживал и его сын Степан в тушах убитых лосей и кабанов — покоившиеся в зверином мясе пули и картечины, всаженные неудачными выстрелами охотников; внутри же Леса клубок едкой человеческой тревоги обволакивался влажным слоем безмолвия, и бродившему по чащобам Глебу все невзгоды его и брошенные дела казались не значительнее комара, впившегося в скулу.

В лесу Глеб Тураев искал не грибов — они росли на опушках, полянах, на прогретых дорожках; в глухомани же еловой, в бурых теснинах дикого сосняка, в чащобе сырых лип и в березово-осиновых делянках Глеб вбирал, словно пил, всей грудью влажный настой Леса и этим врачевал ожог сердца, потому и бродил долгими часами без цели и направления по самым мрачным, скрытым лесным тропам. Дед Глеба, Николай Николаевич, во влажном дыхании растительного царства искал ощутимую струю, что унесет его одинокое «я»

прямо в океан Наджизни (где независимо от течения времени пребывают неразделенными дух и материя, сущность и ее отражение, субъект и объект, путь «дао» и совершенство «дэ»). А сын философа, лесник Степан, питался лесным духом, словно младенец материнским молоком,— по отношению к живой прохладе древесного дыхания остался он навсегда бесстрашным и беспомощным младенцем, которого нельзя отнять от груди — иначе погибнет.

Его отец Николай Николаевич, оказавшись после изгнания из своей усадьбы в уездном Касимове на коротком диване за занавескою в барачном доме среди гвалта полдюжины многодетных семей, вдруг ощутил, что все погибло,— потому что диван со спинкой, грязный ситцевый полог, помойное ведро и низкий потолок, оклеенный страницами журнала «Нива», обрели большую реальность, чем сотни верст блужданий по лесным дорогам и годы уединенных, ревниво береженных размышлений. Ничего этого уже не было — только барачный потолок, засиженный мухами. И в этом резком сужении мира и, главное, в таком качественном его изменении — от вольного, влажного дыхания ночного Леса и звездных вспышек в его ветвях до этих мушиных точек на журнальной бумаге,— в подлости и убогости предметов жизни, от которых зависело теперь само существование его, Николай Николаевич усматривал суть гибели. Она была в том, эта гибель, что ты постепенно становился таким же (ничуть не ценнее... для кого, правда?), как эти гнусные предметы: заскоруждые портянки, помойное ведро у печи, клоп, раздавленный пальцем прямо на стене.

Но чувство гибели было связано не только с оподлением бытия до его крайних пределов, за которыми начиналось существование без всякой совести. Если говорить об этом чувстве как о предварительном, допытном знании, то необязательно надо было попадать в скотское положение, какое бывает в казарме или концлагере,— нет, даже на блистательном собрании где-нибудь в московском историческом доме или в громадном и ярком зале заседаний ученого совета внезапно настигала Глеба Тураева отчаянная тоска, которая неизвестно чем была вызвана и, он знал, ничем не могла быть снята, искуплена, утешена,— потому что она оказывалась сильнее, существование самого торжественного сборища или самого наигнуснейшего житейского обстоятельства. Эта внезапная духота, которая стесняла тураевскую душу, столь податливую для чувства абсолютного одиночества, была фамильным и, очевидно, роковым качеством самосознания, она и заставляла каждого из Тураевых устремляться из жизни в людном миру к жизни на отшибе, где-нибудь в деревенской глуши или в лесу: Николай, и его старший брат Андрей, и их сестрица Лида тому пример, а также Степан Николаевич, лесник, и его младший сын Глеб, который после пятнадцати лет жизни в Москве бросил математику, семью и заявился непрошеным гостем на старый кордон, в Колин Дом, где хозяйничал к тому времени Артюха Власьев, егерь недавно образованного государственного заказника.

Однажды на войне раненый Степан Тураев лежал на опушке нестарого сосняка и ждал санитаров; бой продвинулся дальше, медсестра сделала ему на шею повязку и ушла, удобно устроив его на сосновых лапах, поспешно нарубленных ею трофейным кинжалом; сквозная осколочная рана при малейшем движении кроваво пульсировала и ощущалась так, словно продернули сквозь шею проволоку и двигали ею туда и сюда в скважине раны; Степан лежал и смотрел на заснеженные деревья, стараясь так же, как и они, не шевельнуть ни одной мышцей своей, не переводить даже взгляда с дерева на дерево. И тут увидел, как из чащобы тесно сдвинутого мелкого сосняка вылез немец, весь обсыпанный снегом, с лицом как замороженное мясо, с висящим на груди автоматом. Вода вокруг голубенькими глазами, немецкий воин что-то такое бормотал про себя, квохтал, словно

куруца, не шевеля лопнувшими во многих местах губами. Проходя совсем вблизи лежавшего на спине Степана, немец лишь покосился на его забинтованную шею с оплывшим пятном проступившей сквозь марлю крови, квохнул что-то сухим нечеловеческим голосом и, облизнув темным языком болячки на губах, прошествовал мимо, таща на груди бесполезный автомат, вся казенная часть которого была жестоко разворочена — видимо, ударило осколком или разрывной пулей. Но уйти вояке не удалось: на глазах у Степана он превратился в дерево, в корявую серо-зеленую осину, — в ту минуту, когда внезапно донеслись до них голоса приближающихся санитаров. И потом, когда они, уложив Степана на носилки, тащили мимо этой осины, он не выдал немца, он лишь молча простился с ним и без особого удивления стал думать о том, как же просто, оказывается, устроено в этом мире: человек, умирая, превращается в дерево.

И стоило ему так подумать, как у его сына Глеба через множество лет эта мысль продолжилась и перешла в новую: дерево после смерти своей становится человеком. Разумеется, превращение это не сиюминутно-механическое, такое, чтобы с гулом хлестнула срубленная лесина оземь и тут же подскочила и встала на ноги лохматым мужиком или конопатой бабенкой.

Скорее всего, это переходят одна в другую нематериальные структуры; наверное, каждое дерево для того и простаивает терпеливо всю жизнь на одном месте и никого не обижает, — чтобы потом, после своей смерти, начать таинственный путь к воплощению в человеческую судьбу. Так предположил Глеб Тураев в один из дней весеннего разлива, и свое главное чувство жизни — некое постоянное ощущение удушья (словно воздух, который он вдыхал, недостаточно содержал кислорода) — это свое всегдашнее тягостное ожидание надвигающейся беды он полагал исходящим от Леса, от его тайного понимания, что очень скоро человек сведет все деревья и тем положит конец своему собственному существованию. Потому что если дерево становится человеком — то кому же в будущем становиться людьми, если деревьев не будет?

Таким образом, представить абсолютное безлюдье на Земле было нетрудно: это Земля, на которой вместо лесов остались торчать одни черные пни-головешки... Но весенний разлив и лес, затопленный разливом, чужды всему огненному! И одинокая огненная точка, однажды замелькавшая над смутно-сиреневыми, размытыми в тумане островками зарослей и кустов, рыжая искорка, словно блуждающая душа умершего, — эта огненная, танцующая над лоном ледяных вод мошка не могла вызвать хотя бы самых отдаленных напоминаний об огненной смерти Леса. Цветок на конце масляного факела — трепетный лоскут пламени был самым подлинным кусочком огня, каплей лесной смерти, — и все же в руках Артюхи Власьева, возвращавшегося на моторке в Колин Дом, факел этот означал не угрозу, а смиренный зов о помощи. Артюха немного выпил, мотор лодочный заглох и не заводился, весла по своей беспечности егеря забыл взять с собою, — и, оказавшись на медленном течении бесконечно разлившейся реки, посреди тысяч смутных островков из торчавших над водою кущ, кустов и деревьев, Артем Власьев вконец затосковал, и чтобы как-то дать о себе знать такому далекому и бесконечно дорогому человечеству, он намотал масляных тряпок на монтажку и зажег дымный оранжевый факел.

Разлив всегда вызывал у Николая Николаевича Тураева чувства глубочайшие, волнение почти невыносимое охватывало его, когда вкрадчивая вода вдруг окружала дом со всех сторон, превращая поляну Колина Дома в небольшой лесной островок; и если разлив наводил Николая Тураева на мысли о безграничной свободе человеческого «я», Глеб Тураев, его внук, видел эту великую свободу в праве

человека отринуть Вселенную как нечто бесполезное для себя и остаться верным своему безысходному «Я ОДИНОЧЕСТВО».

Степан же Тураев в дни разлива, затоплявшего сизой водою огромные просторы близ Оки, превращая луга и леса в одну титаническую водную мышцу,— лесник Степан в эти дни бурлящих потоков-воротов и лесных морекружений дремал целыми днями и ночами на теплой печке, не желая состояние своей души хоть как-то связывать с могущественными замыслами и действиями разлива. Он не желал смешиваться с тем, что было настолько грандиознее и существование его малых сил, что об этом и задумываться не стоило. Он и не думал, спал себе на русской печке и смотрел свои сны военных времен. Но однажды (когда после смерти жены жил один на кордоне) проснулся, свесил голову с остывшей печки и увидел в сумеречном свете утра, что изба полна воды, вода почти подступила к божнице, она тускло блестела под самым его носом, и мусор плавал по ней, и косо торчало из нее горлышко бутылки. Он тогда разобрал потолок и выбрался на чердак, распахнул дверку во фронтоне крыши — и увидел весь свой двор, огород, всю поляну вокруг дома затопленными гладкой неподвижной серой водою, в которой четко отражались вниз макушками черные ели, безлистые серые березы и сосны с рыжими чешуйчатыми стволами. И восторг жизни — сила красоты словно пронзила ему грудь, и он впервые в жизни прослезился не от боли, утраты или жалости, а от внезапного понимания красоты как истины. Никогда — ни одного раза в жизни Степан Тураев не задумывался над тем, что такое Бог или беспредельность,— он мыслил другими словами: болеть, пахать, поехать в Сынтул, достать шифер, промочить ноги, стрелять навскидку... убить и помирать. Но вот перед ним плыла стая белых гусей, огибая торчащую из воды лирообразную вершину большой сосны,— усталые перелетные птицы с безмолвной кротостью, как-то по-домашнему спокойно выплывали на середину озера-поляны. И вид леса, преображенного водным нашествием, розовое небо, опрокинувшееся на знакомом месте в зеркало разлива, и эти кротки, усталые гуси — все предстало перед Степаном, стоящим у распахнутой чердачной двери, в своем как бы вывернутом наизнанку, внутреннем значении — божественном и непостижимом!

О, разлив весенних талых вод, море в лесу, лес по пояс в воде — таинственный плеск во мгле ночей, звездные искорки там, где никогда раньше их не бывало — под ногами, глубоко в бездне под лодкою, когда Николай Николаевич Тураев плыл к дому, смятенно размышляя о том, что в эту ночь ему открылось как бы внутреннее пространство сцены, самое чрево божьего театра, наполненное причудливыми громадами невнятных черных декораций! Сотни тысяч звездных лампочек мигали среди них, и разгорался где-то за зыбкой стеною призрачных берез неимоверно яркий, торжествующий, чистый свет луны, неудержимо восходящей в небе.

Но луна той ночью так и не появилась над лесом, освещая водный путь Николая Николаевича,— почему-то прошла она за деревьями, поджигая своим огненным нимбом самые верхние крестовинки и метелки плещущего на воде леса. А прошла луна во всем торжествующем блеске своем перед Глебом Степановичем Тураевым, которому ночь, разлив и лес, опрокинутый в зеркале огромного наводнения, тоже показались театром, сценой — но не с погашенными огнями, нерабочей, затерянной в ночи, а как раз в самом разгаре спектакля, смысла которого нельзя постичь, потому что он нечеловечески многосложен и высок. И лишь дано тебе увидеть, как светит желтая луна над бескрайним морем разлива, как зыбкими черными островами стоят лохматые кусты и деревья, как лодку тихо несет течением мимо утонувших в бездне звезд, и на носу лодки стоит егерь Власьев с чадящим факелом в руке, от которого отрываются оранжевые клоуны огня и с шипением падают, каплют на забортную гладкую воду.

А в самый первый раз (когда дом был выстроен и хозяин только что вселился в него) половодье застигло Николая Николаевича врасплох, у него даже лодки не оказалось на этот случай, и две недели он был совершенно отрезан от внешнего мира. Правда, на исходе второй недели заехал к нему на плоскодонке брат Андрей Николаевич, заночевал у него, и к этому времени у Николая уже произошло то, что определило всю его дальнейшую жизнь. Разлив заточил в доме, как на необитаемом острове, двоих, мужчину и женщину, и некуда было им деться друг от друга. Разлив пришел ночью, невидимо и неслышно, и выходила рано утром первую на крыльцо медноволосая Анисья, свежо умытая, со скрипучей на скулах кожей, поглядела удивленными глупыми глазами на плещущую воду, которая подошла к предпоследней ступени высокого белого крыльца, ахнула, втихомолку воскликнула «батюшки» и мигом скрылась в доме. И затем показался оттуда сам барин, вид у него был взволнованный, никак не мог попасть рукою в рукав старенькой бекеши, которую Николай Николаевич обычно носил в холодное время по домашности. Выглянул, шагнул на крыльцо, дверь за собою оставил открытою — и там тотчас показалась грудастая длинносарафанная фигура Анисьи — оба с одинаковыми лицами, выразившими веселую увлеченность, смотрели на подступавшую водную стихию, словно она была явлена, чтобы вдоволь их распотешить. И по лицам молодых людей можно было прочесть, что должно произойти — уже происходит.

Вечером, внеся горячий самовар к барину в комнату, Анисья взглянула на него испуганно и взволнованно, широкие белые запястья ее были покрыты, словно сыпью, красными пятнышками — наколола, когда драла можжевелник, чтобы подкинуть в самоварную топку для пахучести дыма (как учил ее барин), и нежные жирные запястья молодой женщины, выставленные из узких засученных рукавов рубахи, внезапно пробудили в нем чувственную ярь, Николай молча схватил ее за эти исколотые запястья, чувствуя всем мужским наитием своим, что это то самое, да, то самое, — отчего Анисью словно подбросило ударом электрического тока. Она бы грянула оземь или отпрыгнула бы сразу шагов на двадцать, но, крепко взятая за руки барином, могла только размашисто вильнуть задом в одну сторону и в другую, — и замерла, полусогнувшись, тесно сведя ноги, коленями сжав прихваченный подол старенького сарафана. Она смотрела на мужчину виновато не потому, что видела грех в начавшейся любовной игре, после которой жди только одного, а в том, что сама желала, — и в этом-то желании чувствовала свою преступность, то есть греховность и чрезмерность собственных притязаний. (Ибо Деметра, которая просто отдается мужчине, исполняя не ею выдуманный закон пресотворения, — это одно, а женщина, испытывающая желание сама обладать мужчиной, есть грешница и ведьма, которую ненавидели и проклинали все на свете святые и праведники, порою ее за любовную вольность эту бросали в прорубь или сжигали на костре.) Да, Анисья упиралась и отбивалась потому, что сама желала — и когда прямо на пыльном ковре, возле пыхтящего самовара острое электрическое желание ее разрядилось в мужчину и он размяк, стал покорен, она заплакала и лишь отвернула голову в сторону, не потрудившись даже поправить бесстыдно задранной одежды. Так, лежа на ковре распакованною до препрехабной наготы, тихо плача, она слушала, как плещется под полом внешняя вода, которая и подвела их к близости, благословила и устроила брачный союз, через который пришла на свет новая людская ветвь — род Тураевых, идущий от дворянина Николая Николаевича и крестьянки Анисьи.

И одна из почек этой ветви, Глеб Тураев, сейчас стоит на крыльце егерской избы и причаливает лодку за мокрую веревку к столбу,

подпирающему навес над входом в избу. Он думает: в голову мне приходят не мои мысли; грудь волнуют полузабытые воспомина-ния,— хотя то, что предстает моему внутреннему взору, и слова, что слышу в тишине своей сосредоточенности, не могут быть связаны с моим жизненным опытом.

В дни весеннего разлива, оставшись один на том месте, где когда-то стоял барский дом, затем изба лесника, а после — стандартный казенный домик для егеря, Глеб Тураев неожиданно обрел способность как бы соединиться с сознанием окружающего Леса, и подобное слияние совершенно перестроило его обычные отношения с окружающим миром и дало ему возможность быть наконец и предком своим и потомком — то есть быть тем единым родовым существом, которое рождается и умирает, рождается и умирает, поступает, говорит, думает по-своему, но всегда, во всяком воплощении и проявлении своем, испытывает особенное, единственное в своем роде главное чувство жизни.

Подступив к самому крыльцу лесного кордона, вода замерла как бы в нерешительности и задумчивости, пытаюсь понять, что же она такое и откуда все эти щепки, мелкие веточки, пух и мусор леса, принесенные ею к подножию деревянного крыльца... Ах, разве не забыл таким же образом и я все собственные прежние воплощения? Ведь я же огонь, я же и вода, я лес и прах лесной — всем этим был, а теперь вместе с Артюхой Власьевым вылезая из лодки и, проходя вслед за егерем мимо колодца с журавлем, кричу ему громко в непроизвольной радости избавления (могли бы долго носиться по водам, плененные стихией, на лодке без весел, с заглушим мотором, да помог счастливый случай: прибило нас к кустам, в ветвях которых мотались, зацепившись, пучки соломы, клочья пены, палки и обломки досок; и двумя кусками сырых горбылин мы кое-как догреблись до кордона):

— Артем, не зальет колодец?

— Зальет обязательно,— ответил Артюха не оборачиваясь; зашлепал через проточину, глубоко вдавшуюся во двор, и, обогнув угол, поднялся на крыльцо, оставляя на серых досках ступеней узорчатые мокрые следы от резиновых сапог.

Он зашел в избу, а я остался на крыльце и, не чувствуя в себе того же равнодушия и беспечности, что у егеря, стал тревожно оглядываться вокруг. Станный, невиданный доселе пейзаж открывался моему взору. Вся поляна, посреди которой я выстроил свои хоромы, превратилась в живописное серебряное озеро. Но берегов этого озера нельзя было увидеть: вода уходила под темные своды окружающего леса; идущая от Колина Дома неширокая дорога сейчас, сверкая меж елей, представляла собою вид живописного канала. Оттуда и выплыла стая белых гусей, которых я показал Анисье, и она, азартно округлив глаза, с хищным видом проследила за ними, а затем и предложила: «Возьми ружье, Миколай Миколаич, и сшиби их...»

Я смотрел на этот новоявленный лесной канал, по которому Артюха поплывет на лодке к деревне, поедет один, без меня, потому что в том деле, за которым он отправится в деревню, я ему не помощник. Уже не существует для Артюхи Власьева ни широчайшего, буйного разлива Оки, ни тяжелого ночного пути через разыгравшуюся стихию, ни небес, ни хлябей, ни бездны,— а если и существует все это для него, то лишь где-то на окраине сознания. А в упор перед двадцатисемилетним парнем дыбятся и в страшной наготе своей белеет распластанное женское тело. И в устремлении к нему не остановит его не только разлив вешних вод, но и сам всемирный потоп.

И я думаю о том, почему, каким образом холодное серое поло-

водье разжигает столь могучую похоть в маленьких человеческих существах. Рыженькая Анисья словно с ума сошла и веселилась так буйно, с топотом бегая по всему дому, что я даже начал беспокоиться, не заболит ли она, не простудится ли, то и дело босиком выскакивая на крыльцо, вплоть до второй нижней ступени окруженное водою. Егерь же Артюха ни одной ночи не мог оставаться дома и, не замечая опасностей и тягот, каждый вечер уплывал на плохонькой моторке за семь километров в деревню — пользуясь образовавшимся водным путем, по которому летом обычно топтал пешочком или трясясь по корням на велосипеде... Столь же безоглядно-бесечно к разыгравшейся вокруг стихии отнеслась и Анисья, молодая солдатка, недавно нанятая в кухарки к барину Тураеву: отведав его яростной ласки прямо на полу, под которым плескалась вода, бедная бабенка словно с цепи сорвалась, миловалась без устали, без присущей деревенским женщинам стыдливости, шумела, и вопила, и звенела, звенела своим звонким голоском, видать, безмерно довольная тем, что высокая вода затопила все окрест, перекрыла все дороги, преградила доступ к дому в лесу, где была она заточена вдвоем с бариним надолго и надежно.

Половодье в моей душе вызвало какие-то глубинные небывалые смущения, которые вынесли на поверхность моей жизни счастье особенного рода: я словно проснулся и узрел подлинную реальность бытия. И она заключалась в том, что я существую не в тех удушливых, скверных облаках и туманах головных измышлений, в которых обретаемся мы от раннего детства до старости, а нахожусь в равном положении с другими существами, предметами и явлениями природы,— я равен и сопричастен деревьям, стоящим по пояс в воде, соломенной трухе и щепкам, плывущим по течению, я в родстве и дружбе с полыхающей над ночным разливом луною... В равенстве и единении с Анисьей, женщиной молодой и прекрасной, дарующей и берущей такую яркую радость любви чувственной, что она преобразилась в любовь самую возвышенную, близкую богам,— и Анисья была жрицею Афродиты и Деметры.

Отрезанные от всего остального мира людей, питаюсь грубой пищей, салом да хлебом, они прожили две недели так, как надо бы проживать людям всю жизнь. Какое согласие чувств и взаимное понимание во всех самых тонких изворотах желаний! Не было интеллигентного барина, дворянина, и его деревенской кухарки, а были, как говорится, славные ступа да пестик да неустанная усердная рука, совершающая эту весьма угодную богу работенку,— но ведь бывает и тут незадача! Кто бы мог подумать, что крепкий жилистый парень, с виду весьма простоватый, но симпатичный, словно Емеля-дурачок, егерь Артюха Власьев был неспособным и, выходит, напрасно ездил по ночам через хляби разверстые в деревню к некоей Ларисе. Она приехала откуда-то в совхоз работать портнихой в Доме быта,— все очень просто и обыденно,— однако оказалась настолько странной, что согласна была выйти замуж за лесного жителя, за Артюху Власьева, и жить с ним вдвоем полной отщепенкой на кордоне, без своего Дома быта, клуба и даже без телевизора. И молодой егерь, впервые в жизни обретший сказочную возможность, совершенно потерял голову, и результатом страшного волнения явилась полная неспособность его соединиться в едином восторге с Ларисою. А она ждала этого каждую ночь, горячо его поощряла во всем, однако ничего не могла поделать с поникающей вялостью Артюхиной воли. Какая-то очень тонкая, дьявольская стена отделяла бушующее море его страстей от холодной пустоты бессилия, и Артем снова и снова летел на моторке в сторону деревни по черному каналу залитой лесной дороги, чтобы проломить проклятую стену, и каждый раз бесславно возвращался под утро на кордон. Для житейского объяснения и оправдания своих отлучек он порой навевался

в дом матери и привозил оттуда полмешка картошки, пласт сала, связку лука или чеснока.

Неимоверные душевные муки Артюхи Власьева были скрыты в нем, а вовне проявлялись самые невыразительные признаки: то и дело зевал до потолка, был вялым и неразговорчивым, иногда жаловался, что ломит в паху. И я, мысленно сличая его зверскую неутоленность с розовой, влажной, ликующей насыщенностью Анисьи, в глубоких неконтролируемых изворотах сознания толкал их друг к другу в объятия. Разумеется, это было невозможно, ибо жили они в разные времена. Но уж очень жаль было добродушного егеря! О, я отдал бы их во власть друг друга без всяких мелочных соображений брэнной морали! Как было бы это замечательно, если посреди бескрайнего разлива под блеском горящей луны в маленьком домике егеря осуществилось бы то могучее желание, что напряжилось и вспыхнуло огненным жаром под его плоским животом, сжалось, словно звезда в печальном пространстве Космоса. Какая мощь творческого рвения пропала даром в эти странные ночи, наполненные полупрозрачным зеленоватым бредом луны, плоском бескрайнего, как море, разлива! И я, не вынеся больше вида столь тяжелого несчастья, решил вмешаться в это дело живых, в эту тщету самовозникающих и уходящих в пустоту страстей,— и дал разумный совет Артюхе Власьеву насчет того, как ему совершить то, что требуется женщине.

Еще в кадетские годы Николаю Тураеву пришлось испытать боязнь и безволие такого рода, когда приятели затащили его в один из домов на Трубной, и там, увидев вблизи себя, наедине, чудовищное существо с пухлым загривком, отвислыми грудями и мокрым ртом, он испытал гадливость почти на грани потрясения и впал в совершенную, казалось бы, полную несостоятельность, из которой все же это чудовище вывело его прикосновением одного лишь пальца к сокровенному месту юношеского тела. Так неужели этот опыт, послуживший во благо печали и позора, не мог бы явиться спасительным действием в начинании добром и безгрешном? Но прежде всего нужно было убедиться, что в егере нет непоправимого телесного порока, с тем я и попросил его приспустить штаны и показать артиллерию, с помощью которой он и собирался рушить стену... Пушка была крупного калибра и боезапасов Артюха к двадцати семи годам своим накопил изрядное количество, так что все выглядело надежно, и пришлось только дать ему необходимый совет. Добрый молодец тут же, не дождавшись вечера, полетел на веслах, даже не соизволив посмотреть, в чем заключалась неисправность двигателя моторной лодки.

И я таким образом вдруг на несколько дней остался совершенно один на кордоне, как когда-то оставался на две недели в осажденном половодьем доме вдвоем с Анисьей, испытав при этом состояние той наивысшей свободы, о которой мечтают все умствующие на этой земле замечательные люди. К концу второй недели подобной жизни и свободы мне стало совершенно ясно, что не эта свобода нужна была мне. Ее достаточно содержалось в любой форме человеческого самоотчуждения — будь это даже раскаленная ненависть ко всему людскому миру. Даже просто лечь и умереть означало освобождение от всех и всяческих пут, привязывающих нас к глупостям жизни. Не знаю, к каким еще выводам привела бы обретенная благодаря разливу внутренняя раскрепощенность, но мне было так радостно, сладко жить — и никогда еще отчаяние мое не взметывалось на такую высоту, пытаюсь перехлестнуть через стену моей тюрьмы жизни... И вдруг совершенно неожиданно прибыл, приплыл ко мне на плоскодонке брат Андрей.

Он к тому времени уже был женат, всерьез занимался хозяйством, земской политикой, выдвинул себя в мировые судьи, но его

забаллотировали, и он собирался в скором будущем вновь выставить себя кандидатом куда-то... Андрею невозможно было объяснить ни бесполозности высшей свободы, ни отношений с Анисьей: «свободу» старший брат считал столь же священной и неподвластной сомнениям, как и «прогресс». А что касается Анисьи — видел он в наметившемся сожителстве Николая с его кухаркой одно лишь барское сластолюбие и очень стыдился за брата, в первые минуты даже не смотрел на него, отводил в сторону глаза.

— Дела земства,— говорил Андрей, с заметной жадностью поглощая чай с черничным вареньем и жуя черствые Анисьины пироги с капустой,— являются практическими делами для претворения в жизнь моих взглядов. А вот что высидишь ты, Николаша, спрятавшись на этом необитаемом острове, я не знаю. — И, широко разинув рот, сунул туда кусок пирога.

— Я тоже не знал, брат,— отвечал Николай,— но вот пришло половодье, я посидел тут один посреди разлива и теперь могу сказать: кое-что я высидел, Андрюша.

— Что же, скажи на милость? — с доброй улыбкой повернулся тот к брату лицом, оторвавшись от кружки с чаем. — Небось опять развивал мир идей по Платону? Или о саморазвивающемся духе по Гегелю размышлял? Или китайщину разводил?

— А стало мне совершенно ясно, Андрюшенька, что каждый из нас всего лишь сосуд, в который вложено много разных глупостей, вот вроде твоего земства, скажем,— ответил младший брат и тут в нетерпении скрытого порыва вскочил с места и стал ходить по комнате; бекешка его слетела с плеч и осталась лежать в кресле.

— Позволь спросить тогда, а что же, по-твоему, не глупости? — снова уткнувшись носом в кружку с чаем, спокойно молвил Андрей.

— «Не глупостями», как ты выражаешься, являются сами сосуды, то есть мы,— отвечал Николай брату и вдруг поразился ясности и стройности раскрывшейся перед ним картины. — Каждый из нас — это плоть и кровь того, кто первым из живых поднялся на Земле,— единого всеземного нашего Леса, и если мысленно проследить цепь развития — то каждый из нас в прошлом был деревом, и поэтому мы носим в себе его законы и нравственность.

— Какие же это? — спрашивал Андрей, усталыми и несчастными глазами глядя на брата. — Нельзя ли разъяснить поконкретней преамбулу?

— А все те нравственные устремления и понятие справедливости, которые с незапамятных времен уже определены людьми во всех уголках человечества на всех языках — от эскимосского до китайского и английского.

— Они, эти понятия, ты считаешь, своим происхождением обязаны деревьям?,

— А кому же? Не зверям же! От зверей мы не могли бы получить в наследство заповедей добра. А вот деревья, Андрюша, изначально были добры и таковыми остались. И вся их жизнь претворяется в огромное количество плодов, да что там жизнь — даже смерть дерева приносит огромную пользу и добро другим тварям. А деревянные дома и строения обладают лучшими качествами и благоприятны для тех, кто поселяется в них... Вот они какие, деревья,— и разве не их нравственный закон ты исповедуешь, день и ночь бормоча о необходимости общественного служения?

— По-твоему выходит, Николаша, что даже наши гражданственные идеалы исходят из твоих березок и сосёнок? — Андрей Николаевич отставил кружку с чаем в сторону и беззвучно рассмеялся. — Полно тебе, Коля, или ты шутить изволишь?

— Березки и сосёнки, Андрюша, подсказывают не только это, но и многое другое, не менее значительное, чем идеал гражданственности. Например, они определили ту формулу личной свободы, ко-

торую мог бы перенять для себя и человек, будь он столь же нравственно совершенным, как дерево.

— Приятно, очень приятно такое слышать; но еще приятнее было бы, брат, услышать ту самую формулу свободы, которую открыли тебе березки и липки.

— Так слушай! Свободу ищет тот, кто ее потерял, у кого ее отняли, не так ли? Таким образом, подспудная и жестокая тоска по ней является следствием какой-то несправедливости, учиненной по отношению к тому, кто это чувствует... Такова подноготная любви человека к свободе: это желание избавиться от крупнейшей неприятности, связанной с той или иной формой неволи. Ну а что у дерева? Дерево все приемлет по-другому. Оно никогда не чувствует себя принужденным, действующим поневоле. Оно радо, что выросло именно на этом месте и не может предположить лучшей участи, нежели та, что ему выпала. Эта фатальная невозможность перемен судьбы и есть то естественное начало, Андрюша, которое определяет свободу дерева. Свобода — это абсолютное согласие со своей долей.

— Парадоксы, Коля! И не пытайся меня убедить, что дерево способно размышлять подобно человеку.

— Разве ты не чувствуешь, что все называемое твоими размышлениями приходит к тебе откуда-то и касается тебя, словно дуновение ветра? Разве тебе не приходило в голову, что все, что возникает в образе мысли, уже существовало до нас? Что закон, который открыл Архимед, был и до открытия Архимеда? Что все разумное, связанное с человеком и выявляемое им, наличествовало само по себе и до постижения человеком?.. И ты не допускаешь возможности разумного начала у дерева — на каком основании, Андрей? Неужели только на том, что ты не чувствуешь, не понимаешь, не слышишь языка деревьев, леса?

— Да, именно на том основании: не слышу, не чувствую и не понимаю того, чего нет и нельзя понимать.

— А если я понимаю, что ты на это скажешь?

— Спрошу: что именно понимаешь?

— Понимаю их неспешную речь. Распознаю их разные характеры. Учусь их философии. Поклоняюсь их бесстрашию, благородству и нравственности, пока еще недостижимой для человека.

— Эвон куда хватил, брат! Поэтические вольности и фантазии далеко тебя уведут. Вот уже поставил ты дерево над человеком, а завтра животное, зверя, скотину возвысишь над нами.

— Зверя — нет! Андрей, не смешивай одно с другим. Зверь обречен, может быть, вместе с грешным человеком. И сгниет в смраде. А ты ведь слышал, что, когда умирают святые, они не пахнут. Совсем так же, как и деревья! Деревья и есть святые.

— Выходит, по-твоему, твои святые одни останутся жить, а мы, грешные, вместе со скотом неразумным исчезнем с лица земли?

— Вполне возможно. При том направлении развития, какое выбрало человечество, оно, Андрей, вполне способно уничтожить и себя, и скотов своих, и все свои святые рощи и леса.

— И ты берешься так вот запросто, одним махом определить суть избранного человечеством пути?

— Да, берусь. Мы выбрали путь зверей, Андрюша. Остальное — только в усложнении наших действий. Мир человеческий погряз, обслуживая свое звериное начало. Величие наших грандиозных злодеяний никак не сравнимо с жестокостью даже самых свирепых хищников. А вся сила и гений разума превращаются в силу нашего самоуничтожения и в гений неодолимого зла, мучительства и тоски. Называется все это прогрессом.

— Все темно в твоей проповеди, нерационально и фантастично до

болезненности. Столь смело критикуя общее направление прогресса, что бы ты мог предложить взамен?

— Я мог бы рекомендовать путь деревьев. Только философия Леса способна помочь человечеству.

— И что же эта философия? В чем она заключается? Неужели в проповеди абсолютной пассивности? Как это ты говорил: полное согласие со своим положением, даже рабским...

— Да! В абсолютной пассивности и полном отказе от действий при необходимости проявить агрессивность. И в огромной самоотдаче внутренней работы, направленной целиком на то, чтобы всю жизненную и творческую энергию отдать во исполнение единого закона Леса.

— Что за единый закон?

— Щедрость! Ты посмотри только, как щедры деревья, как нерасчетливо щедры! Сколько сотен пудов яблок родит за свою жизнь яблоня! А сама-то что весит? А неплодородящие деревья возьми! — сколько мощной древесины собирают они в своих стволах и ветвях! Какая масса самого ценного жизненного материала накапливается их многолетней работой! И все ведь это не для себя Лес накапливает.

— Чем же объяснить столь бескорыстную филантропию леса, дорогой Коля?

— А чем можно объяснить старания отца, который накапливает имущество для сына?

— И кто отец, кто сын?

— Лес — Отец, Андрюша. А мы, Человечество, — его сын.

— Очень поэтично, но и только. Убедительности научной не хватает для твоей натурфилософской поэзии, Коля.

— Тебе обязательно подавай Аристотелево построение, софизмы. А без этого нельзя? Если истинная сущность сама лезет в глаза? Ты посмотри: на свободе сосна растет широкой, могучей, в красном бору — высокой, стройной, в густой чащобе — мелкою, тонкою, жердеватю до старости, и никто не терзается завистью или злобой, глядя на соседей. Они не воевать желают, а соответствовать друг другу, и в этом желании и качестве они все до единого одинаковы и равны. Вот в чем социальная философия Леса. Поэтому Лес всегда полон жизни, могущества, богатства, Андрюша, и ему жить бесконечно. И ведь каждое дерево счастливо — и хилая елочка, и могучий дуб, и карликовая березка где-нибудь в северных тундрах — все они вполне счастливы, хотя нет среди них своих князей и правителей. А можешь ли ты сказать, что каждый человек на земле так же счастлив?

— Я думаю, Коля, что привлекательные рассуждения твои порождены не серьезной работой разума, а праздной игрой ума... — потупившись, неохотно выговорил Андрей Николаевич. — Это от одиночества... Ведь ты исключаешь такую очевидность, как внутривидовая борьба растений.

— Боже мой, Андрей! Неужели нам с тобою так никогда и не понять друг друга?

— Значит, настаиваешь, что все твои деревья, какие есть на свете, совершенно счастливы? — криво усмехнувшись, спросил старший брат, а затем оцепенело уставился на развернутую мехом наружу бекешу, брошенную в кресле, похожую на лохматую собаку.

Я разговаривал с ним, горячился и спорил, осторожно и трезвенько думая о том, где же теперь мой славный егерь, не поглотил ли его разлив вместе с железной лодкой-моторкой и что же мне теперь делать, отделенному от всего мира великим половодьем, заточенному на этом кордоне-острове. Спор с братом был для меня привычным, я всегда любил подразнить Андрея, разными парадоксами пытаюсь расшатать его устойчивые умопостроения; в нем и в егере Власеве было

одно и то же качество, которого не доставало мне,— это были люди, чья духовная жизнь и внешняя, физическая, совершенно совпадали. Оба они были всегда в делах, а любое дело было для них и выражением духовности (которой, как мне казалось, все же у них не доставало для того, чтобы ощутить эту единственную нашу жизнь во всей ее глубине и полноте).

Андрей Николаевич, как и все дети Тураевы, вернулся после всех университетов и факультетов на землю отческого имения и, получив при разделе усадьбу и пахотные земли, ретиво принялся за хозяйствование. Но, подобно егерю Артему Власьеву, ему не хватало в доме хозяйки, и он озаботился женитьбой с той же неромантической деловитостью, что и Артем, который, не зная еще, кого выберет в невесты, уже заранее договорился с матерью, что та выделит ему корову, а себе возьмет телку от нее. Подобная трезвость не приводит к особенному трепету и благоуханию брачных чувств; с женами ни тот, ни другой особенно не мудрили, удовлетворившись primero же попавшейся к случаю невестой, даже не спрашивая у себя, красива она или не красива, нравится или не нравится. Тураеву Андрею досталась засидевшаяся дочь богатых соседей, помещиков Шубниковых, и она, Тамара Евгеньевна, избрала трудовую жизнь, стала сельской учительницей, после замужества переехала в Тураевку и продолжала учительствовать в местной приходской школе, где и проработала до самой революции. Она была счастлива, что муж полностью разделяет ее взгляды на жизнь, и хотя Бог не дал им детей, а страсть так и не пробилась сквозь ее целомудренную стыдливость и его суховатую сдержанность, Тамара Евгеньевна считала, что прожили они хорошую жизнь. Другое дело — Лариса, жена егеря Власьева,— она за два года родила ему двоих детей, а еще год спустя, однажды задержавшись по летнему времени в деревне, вдруг загуляла и запила с известным вдовцом по прозвищу Жупяк и на кордон больше не вернулась. Детей малых вскоре перевезли к ней в деревню, а Артюха остался на кордоне с коровой, овцами и гнедой кобылой Лыской, для которых надо было заготавливать прорву сена. И, меряя его судьбу заботами этого тяжкого сенокоса (некому было даже поворошить сохнущую траву в рядках), можно сказать, что ошибкой была Артюхина женитьба,— но совсем по-другому представляется, если посмотреть на дело, так сказать, с высоты того половодья, когда я был заперт на Колином Даме разливом, словно Робинзон на необитаемом острове.

Николай Николаевич, живя постоянно в лесу, внешне совершенно переменялся, вряд ли кто-нибудь из прежних сослуживцев и знакомых узнал бы его, как не узнала и Вера Кузьминична Козулина, в девичестве Ходарева, встретившись с ним возле мрачного дворца купцов Баташовых. Он смотрелся совершенно мужиком, был в армяке и безобразно стоптанных сапогах, облысевшую голову его накрывал коричневый засаленный картуз, и на не бритом давно лице Николая Николаевича окончательно утвердилось то выражение рассеянного равнодушия, с которым он и прожил до конца своих дней и которое передалось его сыну Степану и одному из внуков, Глебу. У последнего это равнодушие задумчивости носило, впрочем, иронический оттенок, словно думы Глеба Степановича были не вполне серьезными, хотя и забавляли их властителя.

Глеб помнил, как смотрел, бывало, на него отец, придя из леса или завершая обед,— равнодушными синими глазами, словно знал и всегда думал о том, что отец и сын — это как небо и земля, как огонь и дым — хоть и вместе вроде бы, а навеки чужды и несовместимы. Она была общей, эта тураевская особенность погружаться в собственные мысли, весьма далекие от насущной сиюминутности и реального общения с кем-нибудь,— но у каждого из троих уход, мысленный отток души в нереальность был окрашен своим чувством — не повто-

рящимся и одиноким навечно. Степан Николаевич, лесник, в прошлом мелкий финансовый работник, большей частью оказывался в тех неподвластных забвению и непостижимых пределах бытия, что зовутся человеческой войной. Глядя холодноватыми, отсутствующими глазами на сына, он был в ином времени — переправлялся через ночную реку...

Оружие и боевые припасы, вещмешок за спиной, намокшая одежда и залитые водою сапоги были веским доводом, что широкую и быструю реку вплавь пересечь невозможно, даже одной рукою держась за бревно, — потому что сил другой руки, загребавшей воду, чтобы плыть направленно, не хватало. Его тело, испуганно ощущающее роковой провал водной глубины под собою, сжалось в комок, будто постигнув все свое малое значение в столкновении столь могучих сил: войны и ночи, течения реки и вражды держав, среди тысяч жестоких смертей вокруг и звездных вспышек в небе — мигающих, словно огоньки далеких выстрелов. Где-то на середине реки, наверное, бревно вывернулось, крутнувшись в воде, и сразу же отскочило недотягаемо далеко от него, пропало в темноте, и Степан мгновенно ушел с головою в воду, стоя с запрокинутым вверх лицом, — потонул до самого дна и уперся в него ногами. Но тотчас же осознал, что погрузился в реку не очень глубоко, и, собрав все силы, мощно вспрыгнул назад, вверх, и выпрыгнул из воды по самую грудь, успел хватануть воздуха, и вновь колом ушел в черную невидимую глубину, и опять выпрыгнул в следующее мгновение. Так, высокими отчаянными прыжками, одновременно сносимый быстрым течением, Степан вскоре выбрался на перекат, где воды стало ему по шею. Река сносила его дальше, увлекая своим невидимым ходом, взбурливая у самого лица плескоструйными мелкими волнами, но следующий миг показал, что дно уходит ниже, и Степан уперся изо всех сил, противясь течению, остановился и замер на месте, боясь шелохнуться. Он вдыхал всей грудью темный ночной воздух, наполненный бегущими далекими тучами и вспыхивающими огоньками звезд, — стоял и не мог решиться сделать хотя бы шаг в любом направлении окружавшей его тьмы. Но холодная толкающая вода и великая решимость жить понуждали его попытаться все же идти куда-то, не стоять на месте, пока есть возможность действовать. Однако страх тела был сильнее и разума и всей его воли — Степан стоял и, стараясь поднять выше подбородок над водою, неустойчиво пошатывался на месте.

И тут он увидел исполинские стволы уходящих вершинами к небу деревьев великого Леса, и одновременно открылось ему, что его маленькая, сейчас близкая к гибели жизнь есть всего лишь частичка и странная особинка жизни этого могущественного, повсюду произрастающего Леса. И стоило ему увидеть это, как исчез страх гибели, и Степан шагнул вперед, нашаривая под водою дорогу к тому, что в данную минуту было для него не спасением какой-то испуганной крошечной жизни, а продолжением бытия одного из деревьев великого Леса. Он и почувствовал себя высоким, как это дерево, и неподвластным воде; шагая в направлении, выбранном нерассудочной волей, он вскоре вышел на мель переката, где воды ему стало по колено. И тут он ощутил в темноте ночи, что лицо его залито не водою, а теплыми слезами и весь он дрожит под мокрой своей одеждой, и он подумал, что слезы и содрогание тела есть то последнее и ничего не значащее, в чем проявляется его человеческая отдельность.

И точно так же подумал отец его Николай Николаевич, стоя в одиночестве у стены баташовского имения-замка. Мучительная душевная агония да безысходные слезы позора — вот что убедительнее всего определяет отдельную сущность человека, думал Николай Николаевич, стоя на дороге под высокой кирпичной стеною там, где кончалась падающая от нее тень. Перед ним тянулась косо уходящая в перспективу плоскость этой беленой стены, и пустынная дорожка,

протоптанная в травяном покрове земли, розовато светилась под высоким солнцем. Этой дорожкой только что прошла Вера Кузьминична под кисейным зонтиком, свежая и благоухающая, в цветущем торжестве своей женской красоты — и он навстречу ей попался в смазанных сапогах, в испятнанном дегтем армяке, с небритым старым лицом и окровавленными губами... Возможно, Вера Кузьминична гостила у хозяйки имения Баташовой и перед обедом вышла прогуляться вокруг стен усадьбы — она и внимания не обратила на приземистого смиренного мужика, который остановился, сойдя с дорожки, и, одной рукою держась за щеку, стащил с облысевшей головы картуз. Милостиво улыбнувшись, Вера Кузьминична прошла мимо, двумя пальцами прихватив юбку и чуть ускорив шаг, отчего-то неосознанно волнуясь; и, уже миновав место встречи, она поворачивала раскрытым зонтиком, положив его тросточку на плечо, как бы этим вращением выражая свою иронию и досаду по поводу собственного нелепого волнения.

Такова была его вторая встреча с возлюбленной женщиной, когда он уже давным-давно представлял ее смутной фигурой из какой-то чужой истории, романной героиней из произведения французского сочинителя, имя которого безнадежно стерлось в памяти... Он выбрался в Гусь-Железный, чтобы подлечить зубы, неизменно мучившие его в последнее время, и равнодушно подсчитал, что не покидал леса около шести лет кряду; за это время кончилось столетие старое, началось новое. Он оставил лошадь с бричкой у знакомого лесничего, а сам отправился пешком к жиду-зубодеру; заставил того дирануть ему все четыре больших зуба за один прием и с набитым кровавой корпией ртом шел назад к дому лесничего, когда вдали увидел женщину с зонтиком... Тут он и почувствовал возникающий ниоткуда, но все пространство вокруг наполняющий многострунный гул. Женщина приближалась к нему в нарастании этого гула, и Николай Тураев как бы глож и одновременно прозревал — с каждым мгновением сильнее и отчетливее ч у в с т в у я, что это она, Вера Ходарева, из чудесного затрепанного романа, который он потерял где-то в меблированных комнатах Москвы... Когда она подошла близко, он, перестав слышать окружающее, соступил с дорожки в траву и ничего не мог сказать, исходя кровавой слюною, пропитавшей тампоны во рту; снял фуражку и только поклонился, плохо соображая, оглохнув от неизменно возросшего гула, которым вдруг оказался переполнен мир вокруг.

Этот звук, напоминающий шум огромного города, усиленный во много раз, мог наплывать и на Тураева Глеба, но не извне, по воздуху, а из глубин собственного сознания, — там рос, возвышался исполинский Лес со столь огромными деревьями, каких не бывает на Земле, — на одной ветке такого дерева уместились бы все жители такого города-гиганта, как Москва, если бы они могли забраться по стволу, подобно муравьям, и разойтись по дорожкам крупных и мелких ветвей. И Глеб Тураев полагал, что человечество на Земле выпало именно из того Леса, как птенцы выпадают из гнезда. Также он думал — подобно своему деду, — что писк, издаваемый этими выпавшими птенцами, неслышно тонет в величавом гуле Большого Леса.

Николай Николаевич сторал от стыда, стоя там, у баташовского имения под стеною, и вспоминая, что всего лишь за минуту до волнующей встречи с Верой Ходаревой (теперь Козулиной) он высморкался с помощью пальцев и вытер руку о полу армяка, ибо уже давно утратил привычку пользоваться носовым платком: жизнь в лесу философом да рядом с такой женщиной, как княжовская Анисья, требовала многих опрощений в житейском обиходе. Итак, он корчился от стыда, мысленно сравнивая себя, провонявшего дегтем и лошадиным потом, облысевшего, одичавшего, прошлой ночью спавшего в пуховике, обняв толстую Анисью, породившего с нею уже троих детей, — сравнивая с той, расцветшей и выхоленной, с округлой и

стройной белой шеей, со свежими молодыми щеками и молодой улыбкой в очах... Корчи и гримасы, искажившие небритое лицо Николая Тураева, чей рот был набит окровавленными комками корпии, в точности отразились на лице его внука, который в поздний час стоял на пустынной платформе станции Кунцево и ждал электричку.

Глеб стирал от другого стыда, — но обжигало его то же пламя, что и деда. И если дед думал (желая в ожесточенности своей мысли найти облегчение), что его теперешняя мука есть самое истинное проявление и доказательство существования его «я», пресловутого е го, то внук дополнял эту мысль выводом: и чтобы во веки веков не было этой муки, во веки веков не должно быть носителя ее, до которого никому нет дела, даже Творцу, хранителю законности или беззакония миропорядка.

И стоя темной апрельской ночью на платформе (к кому-то ездил в Кунцево, зачем-то...), Глеб Тураев внезапно озарился мыслью, мрачной, как отблеск печей ада: да ведь именно в этой идее о т р и ц а н и я с е б я и заложено зерно самоубийства человека! Нежелание позора, мук неискупаемых естественным образом переходит в нежелание бытия, в нежелание души, в нежелание бессмысленно и жестоко поруганного е го, в нежелание сознания и самого понятия справедливости, в отрицание всякой истины, и другое название всему этому — пустота и тьма. На Земле с апломбом разглагольствуют и самодовольно утверждают здравый смысл и международный оптимизм, — но никем не учитываемая сумма душ н е ж е л а ю щ и х с е б я нарастает безудержно и страшно, поэтому цивилизация эта сможет убедить любого стороннего внеземного наблюдателя, что мир человеческий старательно готовится к самоубийству.

Такая мысль не возникала в голове его деда и не могла возникнуть у отца, потому что дед Николай Тураев при всем своем критицизме по отношению к западному прогрессу не мог даже предположить, что вся логика развития и есть логика неукоснительного самоистребления. А Степан Тураев, выходя из реки, в которой чуть не утонул вместе со своим ППШ, гранатами и запасными дисками (скоро он, смертельно утомленный, уснет в степи и попадет в плен), был весь устремлен на преодоление сил, что желали истребить его самого, — тут уж было не до изначальной тяги к самоубийству, которую его сын Глеб Тураев прозревал в самом себе в первую очередь, а затем и в остальных людях реально существующего человеческого мира.

Ибо чем же как не инстинктом самоуничтожения были вызваны те неисчислимы усилия всей популяции человечества на протяжении стольких веков, всей истории, — усилия и действия, которые привели эту популяцию к состоянию «предпоследнего мгновения»? И в этом состоянии ему надлежит находиться до тех пор, пока не наступит истинно последнее. Оно, наверное, ни на что не похоже... Или, может быть, все-таки похоже на банальную тоску всякого человека перед моментом его окончательного исчезновения из жизни? Если так, то совсем не страшно.

Но все же есть, наверное, различие. Когда спиливают или подрубают дерево, оно сотрясается мелкой дрожью — не столько от боли и страха, но главным образом от торопливых усилий дриадской души, стремящейся скорее, скорее перейти в корни, под землю, в глубокое укрытие. И когда убитое дерево с тяжким грохотом и треском валится на землю — в миг, когда круглая рана его подножия отделяется от пня и ствол с резким подскоком навсегда исчезает как бы уже в другом пространстве (хотя на самом деле пространство все то же, это все равно что мертвый человек, — зарытый в землю, он находится вроде бы на том же месте, где когда-то гулял живым, но, однако, уже как бы вовсе в ином измерении), — в момент разрыва пуповины, соединяющей дерево и землю, происходит рождение нового существа, вначале призрачного, правда, но со временем вполне конкретного.

Совсем другое рождается в связи с тем большим пожаром, в котором надлежит погибнуть всему лесному племени на Земле. Этого ощущения вы не в силах постичь, и потому, пытаясь представить подобное, вы мгновенно утомляетесь и начинаете грубо и дерганно зевать... Разумеется, речь идет не бог весть о чем — всего лишь о том, что на одной крошечной планете сгорят, исчезнут зеленые деревья... Ну, не все деревья исчезнут вмиг, еще останутся немногие — раненые, искореженные, обожженные, они какое-то время будут жить и даже цвести и давать сочные плоды. Но это будут плоды отравленные, обреченные, пропитанные могучим ядом апокалипсиса, покоем Родовой смерти...

Глеб Тураев расхаживал взад-вперед по безлюдной платформе уже совершенно успокоенный, словно и впрямь испробовал могущественного яду; он уже думал о тех, у кого в доме так поздно задержался, о своих друзьях, — это была молодая и очень дружная чета, общая цель жизни которой определялась настолько ясно и четко, что ее можно было отлить в металле и носить на груди в виде медали с надписью: «Хочу!» На оборотной стороне могло быть изображение той вещи, которую «хочу»: машины, нарядной дачи, фирменного костюма для горнолыжного спорта, модной книги, популярности в кругу знакомых. Неужели и в супругах Пискуновых работает все тот же сокрушительный инстинкт самоуничтожения? Нет, они так любят свою жизнь, так красивы, свежи и напитаны жизненной энергией, что, наслаждаясь разумно и аккуратно друг другом и никого не подпуская к своему наслаждению, могли бы и впрямь растянуть свое прекрасное существование, напялить его на вешки нескольких столетий...

Я страдаю, значит существую, лихорадочно думалось в Гусе-Железном, у длинной кирпичной стены с зубцами; — не желаю ни страдать, ни существовать, холодно отзывалось в Кунцево на железнодорожной платформе, — и между этими вспышками отчаяния лежало больше полувека истории, которая привела к подобной трансформации мысли. Но в промежутке укладывалось соединяющее звено Степановой жизни и существовал его тураевский вариант: жить-то надо; ничего другого нет; главное, жить надо, а там видно будет. И эту разветвленную, но единую формулу он пронес через все бои, походы, плен, концлагерь, чужбину, рабство, ранения: невеселая это штука, но надо жить, ничего, кроме жизни, не надобно бедняге человеку; однако младший сын из этого вывел свое: не желая.

Никогда не рассказывал сыну Степан Тураев: он стоит у ямы, держась за приспущенные штаны (у него дизентерия), и смотрит в сторону вахты; у шлагбаума, перед будкой охранников, приплясывает человек в нижнем солдатском белье. Это сумасшедший Пихтин, или он придурится таким, но все же «доходит» он по-настоящему. Стоит ноябрь — днем лужи, по ночам лед, мокрая земля каменеет, а Пихтин босиком, всю одежду свою и обувь променял на жратву; уже давно притерся к тому, чтобы после раздачи баланды лизать бак. Охрана позволяет ему подобное, потому как забавляется этим: напускает еще одного доходягу, и они дерутся возле опрокинутого бака, как два пса. Победитель, свалив в грязь противника, влезает с головой в этот бак, стоя на четвереньках; а в это время поверженный очухивается и, подкравшись сзади, под хохот охранников впиивается окровавленным ртом в задницу тому, кто вылизывает грязную посудину. У Пихтина исподнее его, как и у многих, из белого стало серым, ноги, руки и лицо закоптились и были черны, как у негра, и ясно было, что погибнет он очень скоро. Настали холода, а он одеждой и не думал запасаться, напоследок отдал и клеенные из автомобильной камеры галоши, обменяв на кусок эрзац-хлеба, — теперь он стоял перед вахтой и кривлялся, почесывая в непристойном месте, изображая вшивость особого рода.

Перед ним стоял молодой жирный немец, совсем юный, круглощекий и безусый, — из новобранцев, должно быть, — и злобно, растерянно смотрел на доходягу. А тот, с идиотской улыбкой на лице, с прижмуренными глазами, крутился перед солдатом, добываясь невесть чего, — и ватага охранников, высыпав из будки, гоготала, как стая разошедшихся гусей, что-то весело внушая толстому мальчишке-солдату. И тот вдруг яростно искривил лицо, глянул на прыгавшего перед ним пленного с мальчишеской ненавистью и выставил вперед автомат.

Увидев это и зная, что последует, Степан мигом натягивает штаны и, юркнув в свою яму, тотчас же слышит треск автомата, затем тишину, затем новый взметнувшийся гвалт охранников. В яме вырыта боковая нора в направлении, противоположном от ограды, чтобы не было похоже на подкоп, в норе этой можно полулежать, — и, хотя колени остаются снаружи, заливаемые осенним дождем, голова и туловище находятся под укрытием. Прodelана вся работа с помощью кривой суковины, которая стала орудием для рытья, вроде тех копалок, которыми пользовались первобытные люди. Вполне по силам было бы вырыть боковую нору поглубже, чтобы целиком спрятаться и даже лежать, но не станет этого делать Степан, — он и так боится, что слишком углубил убежище: не покажется ли расчету немецкого ума и такая нора чрезмерной? Надо, чтобы время от времени патрулирующие внутри лагеря немцы могли видеть в ямах хотя бы ноги военнопленных, не то снова бросят гранату, как было, когда кто-то вырыл слишком глубокую боковую нору и весь, с ногами, запрятался в нее. (Их было трое, патрулирующих, они тогда долго совещались между собой, затем один, чернявый ефрейтор, достал из подсумка гранату, сорвал кольцо и, прицелившись, точно вбросил ее в яму. Все трое отскочили на несколько шагов и оглянулись в ожидании, а усатый пожилой солдат выпустил висевший на ремне через шею автомат и зажал обеими руками уши.) Лагерь военнопленных никак не был оборудован — просто огромный прямоугольник земли окружили высокой оградой из колючей проволоки, к которой подключили ток от ближайшей городской подстанции. Рассчитывали, что лагерь будет временный, накопительный, ввиду последних успешных действий вермахта, чтобы при дальнейшем продвижении армии перегнать к шахтам военнопленную рабочую силу. Однако наступление затормозилось, и в результате к осени лагерь так и остался без барачков. Некоторые из сильных и предусмотрительных пленных обзавелись глиняными норами. Основная масса пленников валялась прямо на земле, под дождем, ползала по всей голой территории лагеря, выковыривая пальцами корешки давно съеденной травы.

Умирали на всей площади лагеря, но к вечеру всех живых сгоняли с мест, чтобы подбирать трупы и сносить их в одну кучу к северной ограде. Пихтина застрелили после обеда, так что он до самого вечера провалялся на дороге перед вахтой; никому из охраны, видимо, не захотелось возиться с ним, и Степан два раза проходил мимо трупа — когда вели в составе колонны работать на кочегарку, подгрести шлак, и когда возвращались назад. Пихтин лежал на боку, выбросив вперед руки, словно протягивая их кому-то, а голову откинув так, что лицо его как раз приходилось на край дороги. Кто-то, видимо, тяжело наступил на его голову, отчего челюсть Пихтину скособочило и вдавило в грунт... И на эту челюсть исподтишка смотрит проходящий мимо Степан Тураев — смотрит с особенным затаенным вниманием.

Этот внимательный взгляд и ощущал на себе маленький Глеб...

Часто ему казалось, что отец почему-то про себя посмеивается над ним, и мальчик с обидой думал: «Большой, взрослый, а притворяется». Когда же он сам стал взрослым и у него появилась дочь и выросла настолько, что могла уже испытующими глазами исподтишка следить за ним, Глеб Степанович стал замечать в себе, что он от детского на-

блюдения старается скрыться, уйти в мир своего прошлого, но ни за что не обнаруживать его! На досуге он пытался вычислять, сколько же времени-действия (перемен состояния) понадобилось на то, чтобы из бездумия огненного кипения материи постепенно образовалась бы та беспредельная мнительность, что делает душу человека столь одинокой во Вселенной. И выходило по грубым подсчетам, что никак не меньше девяти миллиардов лет. А для чего понадобилась такая работа, думал он — и не находил ответа.

Но, стоя на кунцевской платформе в ожидании последней электрички, и пережив эпизод в лагере для военнопленных, когда был убит и втопан в землю доходяга Пихтин, а также изойдя мучительной тоской утраты у стены баташовского имения в Гусе-Железном, я вдруг почувствовал (вернее, почувствовало то самое невидимое, но несомненно существующее начало, ощущаемое как пронзительная боль бытия), как-то очень ясно обнаружил в одно особенное мгновение, что я стою, тихо покачиваясь на месте и закрыв глаза, где-то на склоне покатога песчаного бугра, обросшего седыми мхами. И внутри меня, где все напряжено и плотно составлено, начинается тихий, как бы еще отдаленно звучащий гул. И я невольно встрепенулся и весь устремился навстречу этому гулу.

Однажды услышав гул Леса, живущего не в быстротекущем времени, а вне его, каждый из нас вдруг обретает особенное свойство: свою жизнь видит в совершенном отрыве от повседневной суеты. И нечеловеческая сущность этой жизни сначала утратит его почти до смертного оцепенения, а затем окрылит чувством бескрайней и головокружительной, как сама бездна, свободы. И стародавнему его духу, вдруг залетевшему в пределы подобной свободы, уже нет надежного возвращения назад, к милой суете прежнего бытия, и отныне остается ему лишь устремляться все дальше и дальше, подобно световому лучу в мировом пространстве, — чтобы уже никогда не вернуться к исторгшему его светочу.

Но какие удивительные картины открываются взору путешественника, который вышел на дорогу в никуда! Лучи от всех огненных тел Вселенной летят навстречу друг другу — и, преодолевая абсолютную пустоту пространства, сливаются в единую всекосмическую световую сферу. Значит, односторонний уход, безвозвратный бег света от каждой звезды в небе — закон! И нет преодоления тьмою сил, рождающих яркие лучи в мире. Так неужели зря сотворяется светоч человеческий? Значит, можно сказать, что все это было.

Гостев Сергей Никанорович после завершения учебы попал сельским учителем в небольшое село Боровского уезда и оттуда написал Лидии Николаевне Тураевой письмоце, в котором, как и всегда, прозу перемежал поэзией. Лида после окончания курсов хотела работать в Москве в статистическом бюро, но внезапно умер отец, не оставив завещания, и братья вызвали ее в родовое имение, чтобы полюбовно разделить между собою отцовское наследие. После раздела, при котором ей достался луговой берег Нармы с большим участком грибного леса, Лида вдруг решила там строиться, прельстившись видом белоствольной рощи, — и выстроила дом под розовой черепичной крышей, черепицу брала в Касимове у подрядчика Гирея Усманова. Об этом она ранее сообщала в своем письме Гостеву, и тот разразился следующими виршами в ответном письме:

Гирей достал вам черепицы,
Привез на барже по Оке.
А я посмел к вам обратиться,
Держа перо в своей руке.
О Лида, Лида неземная,
Зачем тебе кирпичный дом?
Ты все ж немножечко чудная,
Осмелюсь я сказать при том...

«Зачем вам понадобился кирпичный домик в лесном средоточии, Лидия Николаевна, или вам решительно некуда девать своих капиталов?» — вопрошал далее прозой Сергей Никанорович, в будущем матерый бобыль с красным носом, величественный резонер, смысл существования которого не только был неизвестен кому бы то ни было на свете, но даже ему самому, и скорее всего этого вовсе не было — смысла жизни Сергея Никаноровича Гостева, происхождением из мельчайших чиновников, корнями сплетавшихся с крапивою и чертополохом провинциального мещанства.

Претерпев две неудачные женитьбы — на учительнице и на поповне (первая сбежала через год, вторая умерла от инфлюэнцы), Сергей Никанорович много лет писал недружелюбные, колочие письма Лидии Тураевой, послания амбициозного характера, продиктованные скорее кипящей мелкой досадой, нежели любовью. Лидия Николаевна никогда больше не встречалась с Гостевым с того времени, как по окончании курсов уехала из Москвы к себе на родину, — однако после ее смерти осталась в палисандровой потертой шкатулке довольно толстая пачка писем, перевязанная какой-то случайной тесемкой, потерявшей от времени свой первоначальный цвет. То были письма от многолетнего ее корреспондента, который ни влюблен в нее не был, ни дружбой трогательной и нежной свою внимательность к ней не мог бы объяснить, — а только держалась их переписка около тридцати лет. Последние его письма были помечены годом ее кончины, а первые начинались с 1891 года, когда он писал:

«Голодных ползают скелеты
По деревенским вымершим дворам.
И я, в уездном городе спасенный,
В казарме голодающих пишу сие посланье к вам.
О, сколь жестока царственная жизнь
По отношению к верноподданным своим.
Какая ожидает их бессмысленная кара!
И как порой приходится несладко им.
А рядом ходят тучные бояра
И руку помощи никак не подадут.

Да, именно так, уважаемая Лидия Николаевна, и руку помощи никак не подадут, в то время как крестьянские массы мрут беспрерывно, в окнах изб торчат безглазые скелеты, на улицу смотря, а из бояр, скажу между прочим, ни один в уезде не умер с голоду». В том году у Лиды родился ее первенец, неизвестно от кого, молва приписывала, что от красавца прасола Когина, пригнавшего ей из Касимова породистых голландских коров. И этот прасолов отпрыск, названный Митрофаном Авдеевичем, также прожил за восемьдесят, и характером, свойствами ума да и внешностью, пожалуй, был удивительно похож на сельского учителя Гостева Сергея Никаноровича, которого не только никогда не встречал в своей жизни, но о существовании которого и не подозревал, ибо даже писем из палисандровой шкатулки матери не видел. (Эти письма мельком просмотрела дочь Лидии Николаевны в ночь сожжения и разграбления дома, полагая найти в этом старинном ящичке материнские драгоценности. И при свете керосиновой лампы Даша прочитала несколько писем неизвестного ей человека, написанных в свое время ее матери, — которая теперь лежала, бездвижная и онемевшая, тут же, в доме лесника Власьева, за перегородкой на соломенном тюфяке. И эти письма, совершенно ничемные и бессмысленные, ничего не открыли уму и сердцу восемнадцатилетней девушки, ровесницы века, в досаде она швырнула всю пачку, не пожелав читать дальше, в горящую печь, где и сгорели в пламени бесславные послания одной одинокой души к другой.)

Однако сын ее был вылитый Гостев, хотя обе эти одинаковые по содержанию и устремлениям жизни никогда не соприкоснулись и не пересеклись и не могли иметь хоть что-либо общее, — если не

считать странных писем Гостева Лидии Тураевой, которая читала их, беременная будущим Митрофаном. Впрочем, Лидия Николаевна все четыре своих беременности переживала внебрачно и, конечно же, читывала и в те разы гостевские письма, — однако лишь Митрофан Авдеевич вышел похожим на Гостева, а у остальных детей и младшей дочери Даши — ни одной его черточки, конечно, не оказалось.

Митрофан же Авдеевич повторил судьбу Сергея Никаноровича вплоть до таких биографических частностей, как женитьба два раза — и одна жена сбежала (у Гостева — учительница, с которой он сошелся гражданским браком еще в Москве, а у Митрофана — башкирка по имени Жанна), оба после этого женились не любя, с тайным ядом в душе, с обширной программой относительно самого правильного и жестокого устройства новой семейной жизни — и у обоих покаянные жены взяли да и померли внезапно. В дальнейшем оба довольствовались временными сожительницами, Гостев находил их в среде боровских мещанок и огородниц, а Митрофан в разных местах строящейся социалистической Москвы и неукоснительно возил каждую на юг, где недорого снимал у местных жителей комнату.

Единственно в чем выразилось их несходство — это противоположное отношение к своему имени и фамилии. Гостев весьма гордился их звучанием и, казалось ему, особенным тайным значением, а Митрофан всегда стыдился старорежимного имени и боялся своей дворянской фамилии — она была у него материнская. У второго эти сложности закончились тем, что он юридически поменял все полностью: фамилию, имя и отчество — в один прекрасный день он стал Никифором Степановичем Барсуковым — непонятно для всех, почему именно таковым... И так, оба пришли совершенно одинокими к старости, детей у них не было, женщин не осталось, один доживал в маленьком кособоком домике на окраине Боровска, недалеко от кладбища, другой — в двухкомнатной квартирке на улице Щепкина в Москве. Сергей Никанорович умер в сорок первом году, не пережив нашествия фашистов, умер в своем доме от дряхлости, голода и холода, а Митрофан (Никифор Тураев-Барсуков) умер, сидя под елью в лесу недалеко от Колина Дома в 1979 году, приняв милосерднейшую и прекрасную кончину в родном краю, куда он каждое лето приезжал на отдых последние одиннадцать лет своей жизни.

Сергей Никанорович Гостев считал, что наука когда-нибудь сможет выпаривать время из воздуха и собирать в виде порошка: приречь такого порошка дозу — проживешь, соответственно, добавочно к предназначенному тебе веку. Гостев в науку верил, как его странный двойник Митрофан-Никифор в трехпроцентную облигацию. Лидия же Николаевна Тураева внимала в письмах Гостева его соображениям насчет порошков времени и уважительно думала: все-таки какой он умный, Сергей-то Никанорович; вот бы прислал мне такого порошка с чайную упаковку...

Прошло, проходит, пройдет много времени (которого нет, которого нет, — так что же такое проходит, господа?) — но не из этих ли неслышных устремлений человеческих, соединенных в общем вместиле воздушных пространств Земли, созданся столь могучий голос — гул вселенского Леса? Когда в восемнадцатом году Лидии Николаевне работники ее, Ротанков Гришка и Замилов Левонтий, сообщили возле коровника, что ночью придут мужики и сожгут усадьбу, она молча выслушала, повернулась и пошла прочь от мужиков, но не дошла до дома, свалилась у крыльца — в то мгновение, когда она пошатнулась, остановившись, на нее обрушился гул неслышанный, со всеми звуками нашего мира несоизмеримый. И в оставшееся время ее жизни (два дня) то и дело, когда она приходила в себя, бесшумный шум звучал неумолчно, и умирала-то она, словно переходя из этого гула в тишину, словно заходя от ровного берега все глубже

в гладкую воду любимого озера. Это было Гавринское озеро, поразительное среди окружающих болотистых, низких, темных озер междуречья.

К границам ее угодий подступали общинные земли двух деревень, и за одной из них и лежало это озеро, в котором Лида угадала свою судьбу. Однажды летом, как бы впервые увидев ярко-синий круглый оком воды во впадине зеленых берегов, она замерла, прижав руки к груди, и долго не могла прийти в себя от непонятного сильного волнения. Затем она взяла какую-то палку в руку, словно посох, да и отправилась пешком вокруг озера, рассматривая его с разных точек зрения. Синее овальное зеркало, слегка вдавленное в зеленую оправу берега, на котором, чуть отступая от края воды, росли высокие сосны и стояли игрушечные рубленые бани; в это зеркало смотрится небо с белыми облаками, замершими на тысячу лет; два села издали, с противоположных берегов, ревниво переглядываются меж собой: у кого дома лучше, у кого бани поигрушечней; село Воскресение похваляется перед купеческим кирпичным Гаврином своею пригожей бело-серой церковью.

Лидия Николаевна обошла улицы обоих сел и, вернувшись к исходной точке, где в тени сосен ждал ее тарантас с кучером Левонтием, велела доставать корзину с домашней провизией. И этой минутою вышел из распахнутых дверей кирпичного лабазы скототорговец Авдей Когин, озабоченно щурясь под ярким солнечным светом, вглядываясь в небесное видение, красавицу помещицу, и глазам своим кошачьим, сладким, нагловатым не веря. Увидев его, в свою очередь, она тоже озабоченно нахмурилась и сощурилась: точно так же замерло в ней и потом запротестовало гордое сердце под натиском внезапной любви, как было это у ее любимого брата Николая семь лет тому назад. Ибо в душевных свойствах представителей этого рода было такое общее качество: влюбиться внезапно, мгновенно и на всю оставшуюся жизнь.

Итак, судьба Лиды была сходна с судьбою Гавринского озера,— не раз думала об этом она в свои одинокие ночи и дни, говорила об этом кое-кому, но никто не понимал ее. При чем тут озеро? — недоуменно уставлялись на нее чужие глаза и тут же с неловким чувством отводились в сторону. А притом,— говорила, размышляла Лида,— что озеро здесь чужое, такое же чужое, как я.. И не произносила она вслух, да и не думала она в ясных словесных образах о том, что озеро глубокое, чистое, с песчаным дном, необыкновенно крапчатое — совершенно не такое, как глухие озера вокруг, подпитываемые болотами. Гавринское было иного происхождения, нездешней природы и необычной для местных водоемов глубины: до двадцати саженей... И знала, насколько она отлична и далека свойствами своей души от всех людей округи,— словно душа ее родилась совсем не здесь, а, может быть, в Древней Греции.

Четырех мужчин она знала за свою жизнь, от всех родила по ребенку, но любила все же одного Когина, того первого, который встретился ей на берегу родственного озера. Чернявый, с кольцевидными крупными кудрями, с как бы подрезанными, хищными ноздрями,— прасол и был похож на древнего грека, такого, каким нарисовал его мастер на глиняной посудине: хищным, дерзким, развеселым, горбоносым.

Прасол Авдей Фролыч Когин в тот яркий мужеский год свой обеспечил двум разным женщинам по ребенку, кроме того, обрюхатил и свою жену Степаниду, Степку-грачиху, как он ее звал. И родили женщины невольных друг за дружкой: Степка-грачиха первая, затем помещица Тураева, а после них одна крестьянская дочь по прозвищу Курица, овечья пастушка, которую Авдей Когин случайно увидел спящею под скирдою соломы недалеко от проезжей дороги.

На ее несчастье, ветер задрал у нее, у сонной, юбку выше полных коленей, а Авдей Фролыч это узрел со своего высокого шарабана. Остановив лошадь, внимательно оглянулся на все стороны — дорога повсюду была пустынна; схватить Курицу за крепкие лодыжки и волоком оттащить на другую сторону скирды было делом шести секунд. На дальнейшее скототорговцу не понадобилось времени больше, чем мерину, донимаемому слепнями, стронуться с места и устремиться к лесу, который начинался в полуверсте. Застегивая штаны на ходу и чертыхаясь сквозь зубы, Авдей Фролыч победил догоняющей лошадью; а за скирдой, трясая головою и вытягивая из растрепанной головы соломинки, сидела на земле Курица, еще не совсем проснувшаяся, и она потом родила дочь, которая выросла безотцовщиной и погибла страшной смертью — была вместе с конокрадом Шишкиным убита мужиками из Мотяшова, которые ранее скупали у лихого человека угнанных им лошадей.

Дочь Курицы Марфушка давно была подругой Шишкина и вместе с ним пришла в тот роковой день за расчетом — и вот конокрада, позвав в баню, ударили тяжелым концом безмена по голове, сразу же проломили в его черепе широкую дыру, а Марфушке пришлось умирать долго и мучительно — ее рубили топором, кололи длинным мясницким ножом, а она все еще была жива, в памяти и, хватаясь за нож, умоляла знакомых ей мужиков за-ради бога ее не убивать и клялась, что никогда их не выдаст, если останется жива. Но Марфушку все-таки добили и вместе с конокрадом унесли на лесную поляну, там их усадили напротив друг друга — ее и Шишкина — и каждому в руку вложили разобранные веером карты. Шишкин так и застыл с картами в руках, задубел на морозе, а Марфушка свалилась вперед, лицом в снег, и потом, когда ее дернули назад, выпрямляя, у трупа напрочь оторвался нос, вмерзший в обледеневшую землю. Фамилия ее матери была Райкова (про отцовство Когина поговаривали, но не особенно всерьез, — Курица была гулена известная), по-человечески звали ее Дуней.

У помещицы, кроме Авдеева сына Митрофана, родились неизвестно от кого еще двое мальчиков (которые умерли) и дочь Даша; и от жены-грачихи у Когина родилась дочь Галина, — обе они оказались гораздо счастливее бедняги Марфушки, были похожи, как близнецы, обе чернявые и аппетитные, веселые и подвижные, полногрудые, — они и учились, правда в разное время, в местном техникуме связи, а после уж Даша уехала в Ростов-на-Дону и там вышла замуж за офицера, а Галина вернулась в родные края и устроилась в Касимове на телефонной станции, да так и проработала на этой станции всю жизнь до пенсии.

И к этому времени совершенно неожиданно пришло на ее имя письмо от Дарьи Мефодьевны Трушкиной, которую два дня не могла вспомнить Галина Авдеевна и еле вспомнила, но того предположить до самой смерти не могла бы, что у них, оказывается, с этой Трушкиной общий братец Митрофан (ныне Никифор Барсуков), — об этом сообщала в письме из хутора Веселого сама же и удивленная Дарья Мефодьевна Трушкина, урожденная Тураева. Ей же написал об этом Савелий Власьев, отец Артюхи Власьева, он-то и рассказал Трушкиной, что в старой палисандровой шкатулке много лет пролежала некая записка, и в конце концов выяснилось, что в ней было признание Тураевой Лидии (кому?!), от каких отцов были рождены ее оставшиеся в живых дети — сын Митрофан и дочь Дарья.

Об этом узнал Савелий еще до войны, а лет через двадцать нечаянно встретился с Дарьей Мефодьевной на юге в Ростове и сообщил ей о записке Лидии Тураевой, а Дарья написала об этом в Касимов — почти набум, и вот письмо дошло, весть о родстве через общего брата поразила обеих женщин, и они через переписку сошлись на том, чтобы непременно всем троим встретиться когда-нибудь. А в

это время один из сыновей Галины Авдеевны, Славик, безвестный поэт, ее любимец, написал следующие стихи:

Когда сливают
молодость с молодостью,
получается крепкий раствор,
в котором вырастает кристалл
Будущего,—

и он-то как раз был первым гонцом от матери к ее новоявленной родне в Ростов-на-Дону, там и познакомился во время недельного пребывания с дочерью Савелия Власьева, сестрой Артюхи, которая тоже приехала к гостеприимной Дарье Мефодьевне на южное житье. И, оказавшись земляками, Слава и Наташа Власьева, студентка, быстро сблизилась в чужом краю и стали усердно выращивать кристалл Будущего — почти каждое утро, когда тетя Даша уходила на работу, и обоим было это желанно, беспамятно и бесконечно, одно утро за другим у них затягивалось до обеда, а однажды и до вечера затянулось любовное утро, Дарья Мефодьевна застала их спящими на одной кровати. И получилось что-то вроде скандала, потому что Наташа была девицей незамужней, а Вячеслав-то оказался женат, и ему крепко досталось от тети Даши, и стыдно было Наталье, которая осталась доживать южные деньки в доме Трушкиной, а молодой человек был удален, и он переселился неподалеку, на Темерничке, так что встречи между новыми любовниками продолжались.

Одним из последствий этих ростовских встреч стал прыжок в воду с понтонного моста глухой осенней ночью: в пальто и теплом платке прыгнула в Оку Аня Купряшина, жена Вячеслава, и ей в темноте, когда стало нечем дышать, пришлось всей грудью вдохнуть воду, и на миг показалось, что она может дышать водою, а потом тугая струя выплеснулась наружу из ее горла, смешалась с внешнею, и она почувствовала, что превратилась в воду, в безмольную воду, вне которой очень и очень далеко пронесся невнятный долгий гул, отозвался эхом в подводном царстве, а затем все стихло. И то самое, что мыслилось как отдельное, принадлежащее только лишь рыжеватой, легко краснеющей, со светлыми загнутыми ресницами молодой женщине Ане Купряшиной, сразу перестало быть самостоятельным, потеряло всякое имя и название, вмиг преобразилось, начало существовать бесчувственно и текуче, холодно, безлико, как и уволакивающая труп октябрьская серая вода огромной реки.

Гул жизни нес в себе, летя по Вселенной, и все шорохи, всплески и удары извилистой реки, а равно и отзвучавшие под водою Анины всхлипы, и прежде чем ее человеческая душа вновь превратилась в текучую воду, напоследок она каким-то непостижимым образом увидела: близко, внизу, струится река на мелководье, и там, где длинные подводные травы, отросшие за лето, полощутся течением, отброшенные в сторону, как грива скачущей лошади,— над этой темно-серой травой проплыла она, Аня, и подводные струи переворачивали вольно раскинувшееся тело то вверх белым лицом, то вниз.

II

К встрече с Отцом-Лесом судьба подвела Глеба в зрелую пору, когда жизнь потеряла для него всякий смысл и попросту стала невыносимой из-за того, что он, математик Глеб Степанович Тураев, послужил своими исследованиями усовершенствованию новейшего способа истребления людей, каковой был вызван к жизни в ответ на адское изобретение противной стороны. Под руководством выдающегося отечественного ученого Глеб Тураев принял участие в разработке более неотразимого и всеохватного принципа. Противная сторона сделала следующий гигантский шаг. Группа, в которой работал Тураев, сумела найти контрмеру, обещавшую значительное пре-

имущество над оружием противника,— однако не успел гениальный ученый со своей группой вывести работу на убедительные уровни, как сделалось известно о самых свежих и весьма перспективных усилиях враждебной науки — и, стало быть, о возможной бессмысленности той работы, которой Глеб Тураев был занят последние годы.

И тут произошло нечто чрезвычайное, не имеющее к нему прямого отношения, что внезапно перечеркнуло все ясные для него доводы в пользу своей науки и своего личного существования. Он осознал свою жизнь как жизнь образованного чудовища, и это убило в нем прежнего человека, который существовал не без чувства собственного достоинства вплоть до того декабрьского вечера, когда за окнами уже давно стояла глухая мгла, в дверь позвонили и в квартиру вошли два румяных милиционера в намокших от тающего снега шинелях. Они попросили разрешения открыть окно в большой комнате и посмотреть вниз. Удивленный Глеб вместе с ними выглянул из окна. Разжиженный свет далеких фонарей позволял разглядеть, что внизу, на уровне второго этажа, где был устроен козырек над входом в дом, лежит на белом снегу женщина в полосатой тельняшке, с голыми полными ногами. Милиционер немногословно поведал Глебу, что неизвестная женщина покончила с собой: вначале бросилась с пятого этажа, но упала на козырек подъезда и осталась жива, даже сознание не потеряла; тогда выбралась она, разбив руками стекло, на лестничную площадку второго этажа и, оставляя на полу кровавые пятна, села в лифт и поднялась на одиннадцатый; там, открыв окно на лестничной площадке, снова бросилась вниз и опять упала на бетонный козырек,— тело женщины пролежало уже много времени, пока прибыли криминалисты, шли опросы свидетелей, со-седей...

Смертельный ожог сердца Глеб испытал именно в ту декабрьскую ночь и уже никогда не мог больше вернуться к тому, чем жил раньше. Продолжал существовать некий дух, навсегда отрешенный от прошлого Глеба Степановича Тураева — как бы отсеченный от этого прошлого свистящим ударом острого, как лезвие сабли, разящего мгновения. И теперь не имело никакого значения, что стало вместо прежнего Глеба Тураева, есть ли у него жена и дети, причислен ли он к какой-нибудь государственной службе, будет ли завтра есть хлеб с маслом. Не было нужды даже с подобающим моменту прискорбим поинтересоваться, в какой час ночи увезли мертвую женщину в матросской тельняшке, с красивыми полными ногами. Тот беспощадный свет, в котором увидел Глеб Степанович человеческую жизнь, мгновенно съел все цвета его прежних чувств, и отныне в душе его как бы настало царство бесцветных призрачных альбиносов, существующих разобщенно и не помнящих родства. Но странную свободу обретаем мы после того, как умрем для всех прошлых своих дней и чувств.

В свое время ту же свободу обрел его дед Николай Тураев. Он затаскивал на тарантас чудовищную Царь-бабу, Ольёну Дмитриевну, которая была в беспамятстве. Прошло семьдесят лет с того дня — и вот на месте, где покоилась нога бабы в огромном, как лубяной кузов, растрепанном лапте, вырос ладный белый гриб с коричневой шляпкой, а той Ольёны Дмитриевны давно уже не стало на земле, и могучая молчаливая тоска бабы развеялась во влажном воздухе леса и ушла в болотные огни... Занималась она извозом, в ту осень подрядилась доставлять к заводу уголь из леса, где в духовых кучах жгли древесный уголь закопченные, лохматые черти, мужики из ближних деревень. В средние годы свои была Ольёна ростом более двух метров, имела славную кличку, народное имечко Царь-бабы, и во всей округе не нашлось бы мужика такой же силы и роста, как она. А супруг ей достался маленький и тщедушный, как мышонок.

Царь-баба валялась на сером, в зеленых пятнах, придорожном мху, разбросав взлохмаченные лапти и выставив распирающую армяк холмистую грудь к небу. Глаза Олёны Дмитриевны были закрыты, руки ровненько сложены на животе, лошадь ушла недалеко — шагах в тридцати забрела в теснину молодого соснячка, там и застряла, видимо, лошадка польстилась на свежую траву, заманчиво зеленевшую на небольшой лесной поляночке. Николай Николаевич завернул свою лошадь, подогнал телегу к лежавшей в беспамятстве Царь-бабе и попытался, хлопая по щекам, привести ее в чувство, но все оказалось безуспешным. И пришлось ему одному затаскивать на тележную кузовину Царь-бабу, а это было все равно что затаскивать лошадь или быка, и поначалу у него ничего не получилось. Однако вскоре он придумал: в своей телеге он вез ящик гвоздей, ими и сбил рамы из нарубленных слег и соорудил вокруг лежащей Царь-бабы что-то вроде станка дляковки лошадей. Затем просунул под лежащую Олёну Дмитриевну несколько штук ровных крепких жердин — на равном расстоянии под членами распростертого тела великаны — и начал подьем.

Но как только завершил он этот нелегкий труд и стал водружать ее свесившуюся огромную мясистую руку к ней на грудь, мимолетно дивясь белизне и красоте этой руки, как баба глубоко вздохнула и открыла глаза. Были они голубые, подернутые розовой слезой, смотрели куда-то поверх него в небо, и он в досаде, что напрасно потратил столь много хороших гвоздей на сооружение подъемного станка, не очень-то добросердечно молвил ей: «Ты чего это, Алёна, на дороге валяешься? Что случилось, голубушка?» «Ох, барин Миколай Миколаич, это я, должно быть, оммороком упала», — ответила жалобным голосом Царь-баба, привставая в телеге и свешивая с боковины кузова огромнейшие ноги в разбитых лаптях. «А обморок по какой причине?» — продолжил он допытываться, дивясь ее неожиданному ответу: уж кто-кто, а Царь-баба меньше всего походила на слабонервную барышню.

Про эту Олёну было известно, что раз, ночуя где-то во время многодневного извоза, она проснулась оттого, что неизвестные ей пьяные мужики пытались узнать по ней, не «двухсбруйная» ли она, для чего прокрались в темноте к ее лавке, двое взяли за ее ноги, а третий, дыша ей в лицо кислой брагой, навалился и, вытянувшись на ней, прихватил ее запястья. Олёна правой ногою двинула одного в живот, и тот, отлетев по воздуху к стене и ударившись об нее, мешком сполз на пол, а по другому мужику она не попала, увернулся он от ее левой пятки и кошкою промелькнул к выходу. Ну а с тем, кто сам влез в ее объятия, Царь-баба распорядилась в полную меру своей взыгравшей ярости. Она сначала с размаху потыкала его головой об лавку, на которой спала, а затем выбросила на снег сквозь двойные оконные рамы.

«Увидала я, Миколай Миколаич, летящего змея с огненным хвостом, взяла да и обмерла со страху-ти, — отвечала Олёна Дмитриевна. — Летит он как раз над княжовой дорогой, низенько так, над садыми деревьями, склонил головушку-то и вниз поглядывает... Я давай кнутом лошадь охаживать, а она у меня никогда не бегит, только шагом ходит, а тут я ее в смерть колотю, она ж только хвостом крутит, бедная. Зачал тут змей заворачивать, смотрю на него, а он на меня смотрит, приметил сверху, значит. Тут уж, Миколай Миколаич, я в крик зашлась и дале ничё не помню...»

А была у России уже второй год война с Германией, и на своем западе Германия также воевала с соседями, и людей людьми было уничтожено великое множество, и я выпустил его полетать над землею.

Содержу я его в каком-нибудь потухшем вулканчике, кормлю каменными глыбами с железистым содержанием, кидаю их ему в кратер. И когда он разворчится, жадно накидываясь на еду, хлеща себя по бокам пламенным хвостом, и пойдет из вулкана грохотание и легкий дымок, я усаживаюсь где-нибудь на соседней вершине и спокойно жду, пока зверь утихомирится, нажрется и вновь уляжется спать. Тогда вновь закрываю жерло вулкана пробкою из цельной гранитной скалы и ухожу по своим делам. Зверина может подолгу сидеть на железорудном корме, но время от времени и ему нужна более нежная пища, и тогда я, пользуясь тем, что где-нибудь опять началась большая война, подгоняю Змея к границам театра военных действий, где он начинает вольно пастись, подбирая с земли искореженную технику.

Начиная с тех времен, когда появились кольчуги, латы и тяжелые воины, с головы до ног закованные в сталь, зверю на воинских пастбищах стало много пищи; а с эпохи механизированного ведения войн разного металла столько собирается на местах битв, что мой ненасытный зверюга стал то и дело обжираться и, вновь запертый в старый вулкан, бился там, и ревел, и фекалил жидкой лавой. В результате чего участились случаи извержения давно потухших вулканов, особенно в последнее столетие,— это случалось на Камчатке, на Гималаях, в Андах — в укромных, отдаленных от людских скоплений местах, куда я старался загнать своего необузданного Змея.

В случае с двухметровой (а точнее — рост ее составлял 2 м 16 см) знаменитой Царь-бабой Змей Горыныч не то чтобы излишне залютовал или созорничал — нет, того не водилось за зверем в последнее время. Империалистическая война доставляла ему вдоволь корма, и он летал-то лениво, тяжело, словно перегруженный дирижабль, почти над самой землей,— на этот раз дракон только что после очередной отсидки в кратере Авачинской сопки на Камчатке (помните извержение 16 июля 1916 года ¹?) летел в сторону театра военных действий и по пути увидел на лесной дороге ничтожную капельную метала — рессорное и шинное железо, что везла Олёна из Гуся-Железного на Воскресенскую ярмарку по лесной дороге, перевозила очередную кладь от завода к купчишке Сапунову,— и ни ящиков с железом, ни самого железа, ни рессор не стало — лишь обугленные дощечки остались да разбитый вдребезги задок телеги. Все сожрало зверило, слизнуло на лету за один лишь выброс своего длинного огнеметного языка.

И вот, пригорюнившись, сморщив лоб, кручинясь обыкновенно по-бабьи, эта великанша ехала на моей телеге, сидя ко мне спиной (ее лошадь была привязана к задку моего воза), и несчастным, гугнивым голосом тянула:

— И ведь железа таперича ня вернуть, Миколай Миколаич, где там. Утянули. Уволок ктой-то, а Царь-баба отвечаю карманом. А много ли у ней в кармане-ти? Полушка полушку в гости зовет, давай, мол, поженимся, копейка будет...

— А скажи-ка мне, Алёна, каким образом ты замуж выходила? — принялся я расспрашивать, отчего-то настроившись на игривый лад.— Слышал я, что мужик твой намного меньше тебя был.

— И-и, барин Миколай Миколаич, это я в Дулёве такая выросла, а ведь замуж я выходила ма-аленька! — запела великанша, поскребывая ногтями в сухих волосах, темневших из-под платка над широким, в розовых вмятинах, распаренным лбом.— Отдали меня замуж совсем-совсем молоденьку, увез муж в Дулёво, и там через год, считай, зачала я расти, барин. Сначала рубахи на плечах тесны стали,

¹ Очевидно, здесь ошибка автора. В означенное время никакого извержения Авачи не происходило.

потом руки из рукавов повылазили, все зипуны не застегались на мне, и ходила я, держа руки враскоряк. Мужа-ти едва напополам не переросла! Ужо он распинался, барин, матерился и дрался, потому как через меня стыдобушка ему была, смеялись над ним: мол, Евсеюшко, кажи нам, как ты в пупок жану цалуешь... Хорошо, скоро германская началась, погнали его на войну, невдолгих там и убило сердешного, а я уж вернулась в отцов дом да на родную деревню.

Между ее деревней Митино и селом Мотяшово версты две, и прямая, как палочка, дорога пролегла через выгон по свежей коротенькой траве. И если Царь-баба отправилась из Митина в село, то ее видать уже на самом выходе мотяшовской дороги. Слово Гулливер по стране лилипутов, одиноко шагает она по зеленому долу, по розовой дорожке, и всяк ее видит из Мотяшова, задерживает взор на ней, привычно думая: «А вот и Царь-баба идет. К племяннице, должно».

У племянницы ее, Акульки, был муж Григорий — горбоносый, белобрый, нос на горбе лупился и краснел посреди конопатого лица, словно зреющая слива,— этот плохо кончивший озорник отбился от дома, бросил жену и сошелся с нечистой семейкой, которую знали как воровскую с давних пор, не раз бивали мать и дочь, Груньку и Отандру, из коих и состояла семейка. А оставленная мужем племянница Царь-бабы вернулась в родительский дом ухаживать за своим расслабленным братом, возить его в деревянной коляске, держать над лоханью. Отандра (или по-христиански Пелагея), любезница Гришкина, была еще молода, с вертлявым станом, круглыми щеками и длинным тонким носом, которым она живо водила туда и сюда,— а глаза в это время, хитрющие и недоверчивые, тоже бегали по сторонам — сюда и туда. А накрыли Гришку с ворованными холстами в Княжах: принес ночью домой к матери несколько штук холстин, завязанных в старый платок,— так, в этом же платке, закинув узел через плечо, и потащил ворованное добро обратно в Мотяшово, где и было оно взято из одного дома, хозяева которого отлучились в Гусь-Железный.

Вели Гришку под конвоем по широкой, красивейшей лесной дорожке, было их трое, конвоиров, и только один с оружием, со старой берданкой, и этот вооруженный был Григорию дядей по матери. Неоднократно по дороге он принимался уговаривать племянника: «Бяги, Гришка, а я стрелю и промахнусь, а энтих уговорю, не догонят тебя». На что Григорий, охваченный гибельным легкомыслием, лишь посмеивался, воротя горбатый нос, и отвечал беспечно: «Ничаво! Строго не накажут. Там же дядька Сёмка будет, дядька Игнат, кум Агапён. Родни нашей там полно, дядька Кузя, не дадут в обиду». «А я тебе говорю, бяги,— настаивал дядька Кузя.— Родня родней, а ведь убьют, как собаку, явься тока туда». И еще в деревне Немятове уговаривал, когда присели отдохнуть на лавочке перед Верочкиным домом и вековуха Верочка вынесла на всех кувшин холодного кваса, сладковатого и терпкого, того мучнистого привкуса, каким обладает только хлеб человеческий. И этот квас, его вкус, был тем последним прекрасным впечатлением жизни, которое пришлось испытать беспечному вору.

Через некоторое время, уже в другой деревне, его привязали за локти к телеге и били по голове железным шкворнем, били не для того, чтобы выпытать какую-нибудь воровскую тайну, а уж просто так, чтобы потомить и наказать дополнительно к смерти ужасом и мукой пытки,— бил, зверски распаясь, став неузнаваемым, волосатый черный кум Агапён.

Шел двадцатый год нсвого столетия, деревьев в лесу стало намного больше, людей на земле значительно меньше, а в том краю России, где однажды знаменитая Царь-баба видела летящего над лесом Змея Горыныча, почти не было в это время никакой власти. Царь

был скинут, Советы еще не вполне укоренились, и сама собою учредилась народная самоуправа, которая очень быстро перешла к самым разным видам самосуда. Гришку-вора бил его кум Агапён, а двух женщин, которых тоже приговорили к казни, терзали толпою, били ногами, поставив их на колени, и Пелагее переломили ключицу, она придерживала ее и, фыркая разбитым носом, поматывала раскосмаченной головой. Ее мать, Грунька, нестерпимо визжавшая во весь голос, перед самым расстрелом тоже замолчала, как и дочь, как и Гришка, притащенный волоком и поставленный на колени лицом к яме. Мать и дочь вцепились друг в дружку, тесно сблизив головы, когда человек пять самосудных карателей, выстроившись неровной линией, торопливо скинули разномастное оружие, прицеливаясь.

После недружного залпа все трое свалились в яму, и их принялись быстро, в несколько лопат закидывать землю, и еще не совсем мертвый Гришка увидел из-за плеча упавшей на него женщины следующее: ему показалось, что между его глазами и небом поставлено не очень-то прозрачное старое стекло с радужными разводами, на это стекло кто-то наляпывает крупными кляксами алую кровь, которая почему-то никак не стекает по стеклу. За кровавыми розетками видно в небе большое странное существо с длинной змеиной шеей и собачьим туловищем, на котором имеются большие кожаные крылья, ими зверь могуче, плавно месит воздух.

Впоследствии, возродившись не очень крупным свиловатым дубком, душа Гришкина все человеческое прошлое забыла, и в шелесте дубовой листвы не было никаких отзвуков былых страстей и следов неисповедимых мучений,— но об одном разлапистый нескладный дубок не мог забыть всю свою жизнь. Так и стояла и нескончаемо длилась пред внутренним взором дерева та последняя картина неба, которая промелькнула в смертный миг человека перед заливаемыми кровью глазами. И, восторженувшись как-нибудь среди глубокой, тишайшей ночи, дуб принимался уже в тысячу первый раз бормотать про летящего по небу дракона, и сонные деревья окрест, недовольно бунтуя против него, начинали угрожающе раскачиваться и шуметь листвою. Но, невзирая на мирское недовольство, корявый дубок весь вскипал новым трепетом восторга и тщетно пытался передать раздраженным соседям свое волнующее бессмертное впечатление.

(Продолжение следует)

ВАДИМ АНТОНОВ



ПОМИЛОВКА

Рассказ в стихах

1

Когда промозглый ветер безобразник свистит в пустых карманах
ноября,

Страна Советов отмечает праздник,
и этот праздник, честно говоря, довольно громок, но не очень весел.

Гремит концерт на радиоволнах,
и на экранах в красном плюше кресел сидят большие люди в орденах.
А ветер скачет через лужи сквера наискосок и шахматным конем.
И, не поздравив милиционера с его законным ежегодным днем,
у магазина хмурятся мужчины...

День продавца, шахтера, рыбака...
Кто будет звать сегодня без причины гостей на рюмку, кроме дурака?
Вопрос не в том, что под ножом и вилкой блестит слезой
сухая колбаса,
а в том, что стыдно за одной бутылкой стоять в хвосте
длиною в два часа
под наблюдением милиционера, который есть не кто-нибудь,
а власть...

Напротив нас живет соседка Вера, и у нее есть пагубная страсть
назло врагам устраивать смотрины своим не столь уж редким
женихам.

Очередной одет был не с витрины, но отличался склонностью
к стихам
и обо всем имел свое суждение —
жених служил дежурным старшиной
в одном весьма суровом учреждении, укрытом за высокою стеной,
но говорил об этом с неохоткой.

Тогда соседка между ним и мной поставила резной графинчик
с водкой
и, подмигнув за крепкою спиной пришедшего на конкурс кандидата
на площадь двадцать метров и в мужья с зарплатою
сверхсрочного солдата,
дала понять глазами, чтобы я
пощупал надзирателю-пииту его нутро — жилплощадь не кровать.
Он был в Москве прописан по лимиту, а Вере было поздно рисковать.

Я согласился... Парня звали Сашей. Цепляя шляпку скользкого гриба,
он словно чувал, что за встречей нашей из-за угла следит его судьба —

ведь я, какой-то вшивый литератор, должно быть, ем
лишь черную икру.
Вдруг я решил ему, как провокатор, сломать его открытую игру?

Пусть мне простит разборчивая Вера,
но, раздражая Сашу все сильнее,
я не искал в нем качеств кавалера — я, себялюбец, думал не о ней.
Мне самому нужна была беседа, чтоб разглядеть за внешней шелухой,
какого я приобрету соседа, и убедился — парень неплохой.
А то нам так опять и не сплясать бы и не сыграть молодоженам туш.

Через неделю после шумной свадьбы
ко мне пришел законный Верин муж
и протянул растрепанную пачку карандашом исписанных листков.
Он не ответил на мою подначку насчет ночной романтики свистков,
а попросил, чтоб я не волновался, поскольку это не его стихи, —
ведь он еще на свадьбе сам признался, что понимает, как они плохи
и потому не стоят разговора.

Нет, он принес мне, как материал, воспоминанья одного майора.
Он сам его недавно надзирал и с любопытством и по долгу службы.
Майора ждал заслуженный расстрел, и он искал с моим соседом
дружбы —
как только Саша на него смотрел,
он подлетал к глазку железной двери.

На что же он надеялся, злодей?
Ценой какой любви или потери присвоил право убивать людей?

У обреченных и приговоренных на неземное вечное житье,
дыханьем смерти одухотворенных,
наверно, есть особое чутье,
такого свойства, что сознание наше в быту обходит, как нога помет...

Когда майор отдал бумаги Саше, он словно знал, что Саша их возьмет
и не отдаст в дежурке корпусному с лицом овцы
и задом, как кремень.

Да, Саша сделал с ними по-иному — задрал полу и сунул под ремень.
Зачем? Кто знает... Пролистав страницы, он учудил, чего не обещал:
послал письмо по адресу девицы,
которой Сашин узник завещал отдать свои предсмертные записки.
Но на его письмо пришел ответ,
что почтальон проверил в ЖЭКе списки и в них Светланы Жихаревой
нет.

Когда я стал просматривать бумаги,
мне объяснился истинный мотив необъяснимой Сашиной отваги,
и хоть во мне он был не столь ретив,
мне тоже стало жаль того майора.

Чтоб нам пока досужим языком не обсуждать его и приговора,
я привожу записки целиком.

2

«Щербатый кафель, запах свежей краски...
Смотрю в окно, мертвец среди живых, и вспоминаю
бабушкины сказки
о вурдалаках, татях, домовых, ночных сычах, кикиморах и леших,
чей дом болота да дремучий лес,

о бедных конных и несчастных пеших, которых в поле заморочил
бес.

Когда она садилась к изголовью
и осторожно поправляла край, как летний луг, цветного одеяла,
по уголкам протертого до дыр,
моя душа тревожно замирала и погружалась в жутковатый мир:
там упыри витали по опушке и черти сажей чистили рога,
там в поседевшей инеем избушке ждала на ужин путника Яга.

Но по велению Вещего Закона всегда брало нелегкий верх добро —
Иван сражал стоголового дракона и добывал горящее перо.

Когда я слушал бабушкины сказки и возносился в эмпиреи сна,
я доверялся жизни без опаски — она была прекрасна и ясна,
ее простые мудрые преданья внушали мне единственный урок:
твори добро не ради воздаянья —
и жизнь тебе всегда оплатит в срок.

Мой срок пришел, и жизнь мне оплатила — меня хранят
предсмертная тоска,
бессонный глаз стоваттного светила и контролер, стоящий у глазка.

Я сам забрался в эту мышеловку и над собой зажег бессонный свет.
Защитник зря отправил помиловку —
он знает сам, какой придет ответ, а я смирился со своей судьбою.

Не для того, чтоб укрепить свой дух, я перед смертью говорю с тобою
то про себя, то шепотом, то вслух —

не ждал оплаты, подошла расплата...
Наверно, эта исповедь моя перед тобой, случайной, поздновата,
но время казни назначал не я.

3

На снимке мать худа, как балерина,
отец в пилотке, остроскул, как скиф.
Он был убит при взятии Берлина, ее унес в Наро-Фоминске тиф.
Потом меня воспитывала бабка, но и ее по утречку с росой
свалила в гроб хозяйственная грабка безносой тети
с блещущей косой.

Потом детдом. Отзывчивый на ласку, я, как домашний,
был порою бит,
но получил хорошую закваску и без труда вошел в армейский быт.

Мне по душе была простая служба, наш крепко сбитый клан
холостяков,
мужская верность и мужская дружба без громких слов
и прочих пустяков.
Пока я жил, не думая жениться, мне не мешал журавль в облаках —
пусть не журавль, а шустрая синица, но я держал ее в своих руках.

И вдруг! Герань, пуховая перина, луна и ночь, веревка с этажа —
почти Сорель... Буфетчица Марина была, как солнце в засуху, рыжа.

Холостяки за ней ходили цугом, и поворот в моей судьбе был крут:
чтоб быть на равных с нашим общим другом, недавно сдавшим
в рыбный институт

и понимавшим сразу все на свете,
 чтоб доказать, что тоже не тьюфяк, я грыз науки в университете,
 окончил с красной книжицей юрфак...

Казалось (что еще провинциалу?), трудись, расти по службе — и
 молчок.

Но в глубине моей души помалу зашевелился мерзкий червячок
 какой-то неосознанной тревоги...

Жена любила не меня, а дом.

И, вытирая перед дверью ноги, я иногда ловил себя на том,
 что слышу шепот некоего сатира, из-за угла мне кажущего шиш,—
 твоя ли это, собственно, квартира, перед которой ты сейчас стоишь?

Уйти? Куда? Легко поставить точку, но, скомкав быт,
 вернешь ли бытие?
 И разве смог бы я оставить дочку? Ты так похожа чем-то на нее...

Нет, я привык считать себя мужчиной
 и не спешил пенять своей судьбе.
 Дабы не спутать повода с причиной, ищи ее сперва в самом себе.
 Я так и делал — всякое сомнение толкуя в пользу золотых волос,
 не предъявлял в душе им обвиненье за то, что где-то что-то
 порвалось...

И все же мы не ждали потепленья — любовь остыла,
 как сгоревший кокс.

Я раскрывал большие преступления и упирался в странный парадокс:
 добравшись до известного предела, когда в руках сходились
 все концы,
 меня на всем скаку снимали с дела,
 а у других большие стервецы с моей блесны опять срывались в воду,
 как чересчур тяжелые сомы,
 а те, кто слишком трогал их свободу, порою мне писали из тюрьмы.

Я понимал: еще хватает грязи, но есть и снег победы на висках.
 Я видел нити их взаимосвязи — ведь я служил во внутренних войсках.
 Водил ребят в ночное оцепленье и, взяв бандита, твердо знал одно —
 у нас в стране любое преступленье хоть и возможно, но обречено.

Теперь же я терялся от догадок одна другой тревожней и мрачней.
 Я защищал общественный порядок,
 но лишь хотел конкретней и точней
 определить, в чем, собственно, накладка, кому закон и власть
 не по плечу,
 как выяснялось: я слуга порядка, с которым сам мириться не хочу.

Такие вот безрадостные мысли, перепревая без толку в гнилье,
 во мне тогда пузырились и кисли, как в чистой ванне грязное белье.
 И жить бы мне, карьеры не калеча, не замарав поганой кровью рук,
 но в каждой жизни есть такая встреча,
 а в этой встрече есть такое «вдруг»,
 когда рассудок, потерявший тропку, и мрак души сливаются в одно
 и правда жизни, упираясь в пробку, в закрытом сердце выбивает дно.

Твоя любовь мне предлагала сказку, где ни драконов,
 ни змеиных жал.
 Чтоб отодвинуть страшную развязку, я поначалу попросту сбежал,
 и гнал, и гнал машину, как от сглаза, в мерцанье мертвых
 ртутных фонарей

не потому, что старше был в два раза, а потому, что был в сто раз
старей
и убедил себя, казнясь виною, что наша встреча — мимолетный вздор.

Но вот на даче у меня с женою произошел тяжелый разговор —
мы не хотели оба разговора, но он случился... Я сказал, что мы
недавно вышли на большого вора и что ему не миновать тюрьмы.
За ним уже так много криминала, что остается вызвать и упечь.
То был намек. Она не понимала.

Пришлось продолжить начатую речь...

Немало я перевидал завмагов, и каждый был по-своему удал —
мог посрамить волшебников и магов.

Но я еще, пожалуй, не видал такой бесцветной всемогущей мрази.
Он не сверкал чалмою, как факир, но опирался на такие связи,
каким всегда принадлежал весь мир — его моря, леса, поля и реки,
его цветы и ягоды-грибы, зверье и мы — простые люди,
их дармовые слуги и рабы...

И я назвал фамилию хапуги и увидел в ее глазах испуг
и злую боль, мелькнувшую в испуге, — хапугой был наш бывший
общий друг.

Да, тот, из нашей юности, тот самый, что все на свете понимал и знал:
мне — грязный след, ему — универсамы,
мне — кружка чая, а ему — фиал,
заветный ларчик из слоновой кости и балдахин для сладостных затей.

Он и теперь закатывал к нам в гости —
шутил, что мы посватаем детей и он возьмет в кассирши нашу дочку.
Я накопил большой материал и должен был теперь поставить точку
за то, что он не только врал и крал, но и меня с женою клал на счеты.

Жена кричала мне, что я подлец, что я свожу из ревности с ним счеты
и что я просто должен наконец понять, какое наступило время,
иначе сам закончу дни в тюрьме:

мол, раз я сам взвалил на шею бремя искать зерно
в навозе и дерьме —
меня ей жаль, но это дело вкуса. Я что — хочу остаться в дураках?
Да, я не трус, но чем я лучше труса, раз до сих пор витаю в облаках?

И тут я вспомнил, что и нашу дачу нам помогал искать
наш общий друг.
Тогда я верил в дружбу и удачу, теперь же я спросил себя — а вдруг
и тот сосняк, натянутый, как струны, и эта рожь с прической набочок
совсем не дар улыбочивой фортуны, а золотой проглоченный крючок?

Выходит, это мерное качанье метелок ржи и шапок сосняка —
простая плата за мое молчанье?

Я это должен знать наверняка.

И я поехал, к вящему испугу своей и так испуганной жены,
на объяснение к прожитому другу — узнать масштабы собственной
вины.

На раскладушке перед входом виллы в аляповатом стиле ренессанс
две волосатых, в чепчиках гориллы не торопясь играли в преферанс.
Семен любил свое большое тело и выдавал им по тридцатке в день.
Но это тело здорово потело,
хотя над ним и простиралась тень восьмиугольной гипсовой беседки,
в которой он затылком возлежал на животе раскосой профурсетки
с колючим взглядом, длинным, как клинжал.

Семен оставил «мальчиков» у входа, а сам пошел
принять прохладный душ.

Он знал о цели моего прихода.
У подошедших к самой бездне душ есть дар предвидеть сроки и
событья —
дурной, как сон, тяжелый, как свинец.
Он не боялся моего прибытья, но сразу понял — наступил конец.

Я подождал и выбил дверку душа —
на полотенце с розами, впритык к бацку с водой раскачивалась туша.
Сбежавший мне показывал язык.

Из рукава наглаженной сорочки торчал конверт, а из него письмо —
его я помню до последней строчки, пускай оно договорит само.

«Степан! Я ждал тебя четыре года, я не боюсь ни вышки, ни тюрьмы.
Тюрьма и смерть не хуже, чем свобода, которой тщетно в жизни
ищем мы.
Я выжал жизнь. Лимон пустой и вялый. Закат, как в глупой песне,
доалел.

Ты не плохой, но дубоватый малый, и я тебя по-своему жалел.
Меч-кладенец и головы драконов лишь потому и бьются испокон,
что только власть неписаных законов определяет писанный закон.
Об эту мысль на поприще бугристом ты без меня давно разбил бы
лоб.

Не займай я дел с твоим министром, ты б в капитанах просидел
по гроб.
Тебе с твоею въедливою хваткой во всем достать до самых потрохов
давно лежать бы с финкой под лопаткой на пустыре

под сенью лопухов.
С любой страницы следственного тома, что ты, как школьник,
вдумчиво писал,
мог появиться доктор из дурдома, но я тебя, незрячего, спасал.
Не в память общей скомканной перины и наших давних
шалопутных дней
и не во имя лживых клятв Маринны — храня тебя, я думал не о ней.
Не ради вас была моя заступа — ты мне за это ада не пророчь:
вглядись в лицо повешенного трупа и посмотри внимательно
на дочь...»

4

Жена — Семена, дочь и дом — Семена, моя карьера — тоже не моя.
Горели маки кровью, как знамена... Мое лишь «я». Но есть ли это «я»?
Ведь я же был простой марионеткой на волосатых пальцах торгаша,
плативших мелкой медною монеткой тому, кто сам не стоил ни гроша!

И вот, как после кораблекрушенья, без веры в час спасенья впереди,
так захотелось ласки, утешенья, щенячьих слез на чьей-нибудь груди!

Какая это тягостная сладость — пенять судьбе за непомерный иск!
Как я тогда ругал себя за слабость, с трудом вращая
таксофонный диск!
Мы так стыдимся за свои поступки, когда за ними искренний порыв...

Не подними ты телефонной трубки или случись на линии обрыв,
и не согрели б наши отношенья меня прощальным золотым лучом, —
и я б не принял смертного решенья быть торгашам судьей и палачом.

И я зарылся в ворох старых справок, перечитал все старые тома,
 провел десятки новых очных ставок —
 не спал, не ел, не пил, сходил с ума от напряженья и от никотина,
 но Ангел Мести реял в высоте,
 и открывалась мрачная картина во всей ее отвратной наготе.

Поставщиком икры был мой радетель.
 Но на суде расчетливый Семен теперь не мог быть спрошен
 как свидетель.
 Что ж, жулик был действительно умен и заслужил отходную цыкуту...
 Икра блестела, словно антрацит,—
 годами шла в «Березке» на валюту, а на нее скупался дефицит,
 вновь продавался или шел на Волгу в обмен на ту же черную икру...

Я отдавал долги Любви и Долгу, ведя свою опасную игру.
 Мне доставало хитрого нахальства, переключаясь на любой регистр,
 вести ее втихую от начальства: с руки воров кормился сам министр.
 Теперь и дураку бы стало ясно, кто прикрывал все прошлые дела.
 Зачем же было рисковать напрасно?
 Ведь я же знал, что ты меня ждала...

Какая правда по зубам майору?
 Я б мог свалить, конечно, дурака, то бишь пойти с докладом
 к прокурору,—
 тот доложил бы обо мне в МК, а там сидел Начальником Отдела
 всю шайку-лейку взявший под крыло.

Меня уже не раз снимали с дела, так разве мне бы что-нибудь дало
 мое усердье чинодрала кроме пустой беседы с тертым калачом?
 Семен не зря напомнил о дурдоме, уж он-то знал, покойник,
 что почем.

Еще я мог бы за спиной спецслужбы послать подробный рапорт
 в КГБ
 (хотя у нас с ним нет особой дружбы) —
 но что б тогда оставил я себе?
 Меня б не только щелкнули по носу, поскольку сам я профессионал,
 что роль моя сводилась лишь к доносу — я признавал, что сдался,
 проиграл.

Нет, я уже не мог остановиться и не хотел повергнуть зла добром.
 Моя любовь, случайная жар-птица, сожгла мне сердце
 огненным пером
 и довела решимость до предела.

Когда был собран весь материал, я позвонил Начальнику Отдела.

Расчет был прост: хапуга потерял не только стыд и честь
 как непреложность
 основ души, но и спокойный ум, который заменили осторожность,
 азарт и подлость изоощренных дум.

И вдруг ему звонят по телефону, читают текст Семенова письма!

Я объяснил, что, будучи Семену Ближайшим другом, да еще весьма
 осведомленным в части устной речи,
 прошу принять меня с моей бедой и удостоить
 краткой личной встречи,
 поскольку мой помощник молодой, узнав про факт повешенья,
 взбесился
 и намекает мне на КГБ.

Партийный босс, подумав, согласился и, не желая приглашать к себе, сказал, что я немножечко истерик и все преувеличиваю, но...
 Я предложил один безлюдный скверик, и дело с боссом
 было решено —
 он заглотал тревожную мормышку.

Так позвонил я каждому дельцу.

Наутро, сунув пистолет под мышку, я тихо стал готовиться к концу —
 взяв в руки снимок, попрощался с мамой и не сморгнул тяжелый
 взгляд отца.

День был забит культурною программой.

В двенадцать дня мы слушали чтеца —
 на самодельной жэковской эстраде он громыхал:
 «О, грешная душа!» —
 и ты в своем сиреновом наряде на фоне лип была так хороша...

Потом зашли зачем-то в Третьяковку и встали в сень великого холста.
 Защитник зря отправил помилровку — я проморгал «Явление Христа».
 Раб равно глух для Слова и витийства и спорна ценность Слова
 у менял.
 Мне предстояло сразу три убийства, а Иисус убийств не одобрял.

Я напрягался силою искусства забыть про свой оттянутый карман,
 но все не мог отделаться от чувства, что Красота —
 простой самообман,
 как отраженье солнца в грязной луже, как клич победы
 юркнувших в кусты,—
 да разве мир стал лучше, а не хуже от этой взятой в рамки Красоты?

Картины, книги, саги, руны, дойны — любовь, любовь,
 любовь, любовь, любовь,
 и войны, войны, войны, войны, войны — и кровь, и кровь,
 и кровь, и кровь, и кровь...

5

Не будь я старым милиционером, латавшим крылья падших с высоты, я тоже стал бы коллекционером необъяснимой этой Красоты:
 диез и ноту, рифму и верлибр, пятно и блик, контраст и колорит
 предоставляет нам она на выбор — блажен, кому он только предстоит!
 Кого еще тревожат крики «браво»... Я перешел запретную черту
 и потерял божественное право в самообмане видеть Красоту.

Чужая дочь, ворованная дача, всю жизнь в глаза мне вравшая жена.
 Передо мной была одна задача, и у нее была одна цена:
 три торгаша за крах одной карьеры, три грязных жизни за мою одну,
 три фарисея за крушение веры в свою работу, друга и жену...

Когда б я был не смертник, а писатель, я б, очевидно, мучился,
 но знал,
 чего в конце рассказа ждет читатель, и сочинил бы радостный финал.
 Чтоб он, как шпиль построенного зданья, не посрамил бы
 имени творца
 и оправдал благие ожиданья того, кто верил в стройку до конца.

Но эпизод кровавой бани в сквере я опустил — зачем он нам теперь?
 Воображенье держится на вере — не представляй картины, а поверь,

что сердце в нужный миг не всполошилось, напротив, сразу
словно отлегло,
 глаз не подвел, возмездие свершилось, и быть иначе просто не могло...

Я разорвал цепь зла одним ударом, но стал ее очередным звеном
 и, стало быть, теперь сию недаром за этим узким, в клеточку окном.

Со мной все ясно — залитая кровью, жизнь захлебнулась,
ну и дьявол с ней!
 А вот с моей случайною любовью все неясней, мой друг, все неясней.

Я опозорил славную Петровку, отправив трех врагов в небытие,
 и распишись я вдруг за помиловку — я не сумею оправдать ее...

Ко мне сейчас, как в детстве на полатах,
приходят сны из бабушкиных врак
 о королях и оборотнях-татах: едва на землю падал зыбкий мрак,
 вампиры-тати обнажали зубы, кричали в черных чащах «у-лю-лю!»,
 а по утрам через печные трубы опять влетали в спальню к королю...

Ну вот — теперь пришла пора прощаться...

Смерть хоть и косит с травами цветы, но перед ней
не стоит опрощаться
 и без нужды переходить на «ты».

Кто скажет, что там, за последним краем? Исполнив жизнь,
не страшно умереть.
 Уж если мы, живые, жизнь не знаем, откуда знать нам, что такое
Смерть?

Я коммунист и не религиозен.
 Но, отраженный в миллионах призм, простой вопрос о Смерти
так серьезен,
 что не влезает в материализм.

Когда погаснет трезвое сознание и в темных жилах почернеет кровь,
 быть может, мне и обнажится знание, что в этом мире
Счастье и Любовь.

Но это там. За близкою чертою. Пока же я еще перед чертой.
 Пока я жив, то я чего-то стою. Мы были б очень славною четой,
 и, будь я глуп, досужее пиитство могло б меня подвинуть на стихи...

Меня ж снедает только любопытство —
 я слышал столько разной чепухи о том, как в тюрьмах
происходят казни!

Кому-то ток, а мне милей палач. Я думаю о нем без неприязни.
 Он видит кровь и слышит бабий плач. Но преступленье с долгом
несовместно.

Палач не робот, человек живой...

Пусть он исполнит поелику честно свой тяжкий долг,
как я исполнил свой.

Я выхожу за грань земного круга и обращаю взгляд за облака —
 прощай, моя случайная подруга, прощай, моя далекая, пока...»

6

Записки трупа. Исповедь убийцы, что не осилил правды ремесла...
 Я посмотрел в конец пустой страницы — там не стояло года и числа.
 Забыл ли или не хотел напрасно чернить эпоху, ставя имена,
 но и без них и дат мне было ясно, какие он не сдюжил времена.

Его поступок стоит приговора. Икар красив, но крылья дал — Дедал.
 Я не хочу оправдывать майора, хотя в суде, наверно б, оправдал.
 Лишь потому, что быть судьей трушу. Сам приговор

не стоит ни гроша.

Кому дано казнить чужую душу, не зная, что есть собственно душа?
 Быть может, ей, переступившей бровку, милей уже иная круговерть —
 она получит Жизнь как помиловку, а ей, бессмертной, помиловка —

Смерть?

Что ей слепые представленья наши, самой в себе хранящей

мрак и свет!

Да, я, конечно, спрашивал у Саши, какой наш узник получил ответ,
 но он и сам, увы, не знал ответа —

он перешел работать из тюрьмы в библиотеку университета,
 и очень может быть, что вскоре мы поздравим с красной книжицей
 юриста.

Как хорошо, что Вере в прошлый раз не захотелось замуж за артиста,
 который слушал не ее, а джаз.

Теперь же я за дом ее спокоен — как мужу Саше просто нет цены.
 Я думаю, что он вполне достоин стать и министром МВД страны.
 По крайней мере у меня есть вера, что вопреки недавнему — при нем
 мой сын поздравит милиционера с его законным ежегодным днем.



СЕРГЕЙ КАЛЕДИН

★

СТРОЙБАТ

Повесть

...Эмблема наша — кирка с лопатой:
Дороги строим сами.
Солдат не только человек с автоматом,
Надо — рабочим станет!

К. Карамычев (из «боевого листка» 4-й роты).

1

— **Б**абай!.. Кил мында!..
Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную, от тумбочки, вскочил, чуть не сбив со стены огнетушитель, и ломанулся не в ту сторону.

— Баба-ай!.. — Голос Женьки Богданова догнал его в чужой половине казармы.

Дневальный пробуксовал на месте, сменил направление и помчался обратно.

— Опаздываешь, — недовольно пробурчал командир второго отделения, забираясь к нему на спину. — Поехали!

Бабай привычным маршрутом вез Женьку на opravку. Если бы у Женьки под рукой были сапоги, Бабай спал бы себе и дальше. Но дембельские хромачи Богданова были намертво придавлены к полу вставленными в голенища ножками койки, а на койке спит Коля Белошицкий, и будить его Женька не хотел. А чужими сапогами он брезгует.

— Тпру-у! — Женька затормозил Бабая у тумбочки дневального, перегнулся, как басмач с коня, прихватил с табуретки бушлат, накинул на плечи и выехал на Бабае в холодную мартовскую восточно-сибирскую ночь.

У освещенных ворот КПП стоял «газик». Значит, подполковник Быков уже в расположении части, значит, скоро шесть, подъем и ночному отдыху конец.

Так и есть, Быков топтался у штабного барака, сбивая следы мочи с прилегающего к штабу сугроба.

Женька резво соскочил с Бабая.

Бабай побежал обратно в роту, а Женька, обжигаясь босыми ногами о шершавую подмороженную бетонку, свернул за казарму. Возле развороченного туалета в ослепительном свете пятисотваттной лампы колуपालся с лопатой в руках его приятель Константин Карамычев. Костя нагрусил тачку отдолбленным дерьмом.

— Но пасаран! — Женька вскинул кулак к плечу. — Бог помощь!

— Ножкам не холодно? — отозвался Костя.

— Самое то. — Женька пританцовывал на снегу татуированными возле пальцев ступнями: на правой — «они устали», на левой — «им

надо отдохнуть». — Когда Танюшку навестим? — поинтересовался он, заканчивая оправку. — Года идут, а юность вянет.

— Обстучишься. У тебя Люсенька есть.

— Люсенька?! — возмутился Женька. — Люсенька — боевая подруга. А Танюшка — барышня... И завязывай ты наконец с дерьмом! — Женька брезгливо поморщился. — Где эти-то? Фиша-а! Нуцо!.. Ком пу мир!

Женька завертел красивой головой, похожей на голову артиста Тихонова. Только у Тихонова шея нормальная, а у Женьки кривая — скривили, когда щипцами тащили его из пятнадцатилетней матери. За шею и в стройбат попал.

Из ямы за спиной Кости показались две взлохмаченные головы, обе черные. Одна — красивая, но грустная — принадлежала закарпатскому еврею Фишелю Ицковичу, глаза подслеповатые, — оттого и стройбат, а вторая, с золотыми зубами, — цыгану Нуцо Владу. Золотые зубы изготовлены были из бронзовой детали водомера ротным умельцем Колей Белошицким. Сходство бронзы с золотом спасло Нуцо от гнева родителей, приехавших по каким-то своим цыганским делам в Восточную Сибирь и заглянувших в армию к сыну: мамаша в настоящих золотых зубах, бусах и разноцветных юбках, отец — толстый, коротенький, в черном костюме и шляпе. Деньги, которые они прислали сыну на золотые зубы, якобы запросто вставляемые в Городе, сын пропил сразу, и если б не Коля Белошицкий...

— Чего? — весело дернул башкой Нуцо. У него на все случаи было только одно выражение лица — бесшабашное, ни к какому другому выражению физиономия его не была приспособлена. — Чего орешь?

Фиша смотрел на Женьку строго и недовольно: зачем отрывает от работы?

— Проверка слуха! — Женька зевнул во всю пасть, как лев, и побежал к роте, оборачиваясь на ходу: — Готовь Танюшку, Констанц! Я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут! Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы!..

— Гробá, — пробурчал Костя, принимаясь за прерванную работу. — В час к общаге подъезжай!

Он поправил удареие в «гробах» на уральский лад, потому как с Женькой Богдановым, Богданом, познакомился в прошлом году в эшелоне — их, погань, вывозили из стройбатов Уральского округа.

Потом, уже по приезде в Город, оказалось, что от скверны освобождася не только Урал, по многим стройбатам страны прокатилася очистительная волна.

Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на границу с Китаем или Монголией. По слухам, житье там было будь здоров: летом плюс пятьдесят, зимой минус пятьдесят, питьевая вода по норме, песок в морду и радиация все половое атрофирует. Это — слухи, а что шоферня стройбатовская там по пятьсот—шестьсот рэ в месяц заколачивает — факт. А полтыщи казна за так платить не будет.

Короче, ехали в ад, а попали в рай. В Город, в Четвертый поселок. От центра Города до ворот КПП двадцать минут ленивой дребезжащей трамвайной езды. Вот ворота, а справа, метров двести, — танцверанда; вот ворота, а слева, метров двадцать, — магазин. А в магазине — рассыпуха молдавская, семнадцать градусов, два двадцать литр. С десяти утра. Малинник! Дай бог здоровья отцам командирам, тормознувшим их по какой-то неведомой оплошке здесь, а не за Читой.

Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние восемь месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал: маслица сливочного заныкать, сахарной пудры — бабам в поселке почему-то очень нужна, — изюмчика килограмм-другой, и пожалуйста: ханка в любом количестве, жири — не хочю.

Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазированных, а так как у Кости со зрением напряженка да и загазованный уже был, прямо на стражу и нарвался. Стража сообщила в часть.

Командир роты капитан Дощинин предложил Косте на выбор: или он дело заводит, или Костя срочно, до активного потепления, чистит все четыре отрядных сортира. Капитан Дощинин объяснил все это прямо, по-мужски, не случайно он был похож на артиста Жженова (у Кости с детства была привычка искать у всех сходство с артистами кино). Только Георгий Жженов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капитан Дощинин, на него очень похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в результате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат или лагерь. Костя впал в тоску: ладно был бы салабон, по первому году, не грех и в дерьме поковыряться, но ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию что скажут? «За падло» скажут, ничего другого не скажут.

Костя поделился сомнением с Богданом.

Женька пожал плечищами:

— Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо! А вякнет кто... Никто не вякнет.

Костя перевел дух и сказал Дощинину: согласен.

В помощники Косте Женька выделил Фишу и Нуцо Влада.

Фиша — человек старательный и не брезгливый, потому что из деревни. Сам он до армии плотничал, отец его был чуть не конюхом, и вообще Фиша рассказывал, что там, в Карпатах, полно их, деревенских евреев.

В армии Фиша как скаженный вцепился в учебники, в поселковой вечерней школе за год окончил два последних класса, аттестат у него уже был на руках, а он все долбит и долбит уроки, как ворона мерзлый хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилежность, подполковник Быков выписал ему маршрутный лист в местный филиал областного политехнического института на подготовительные курсы, куда Фиша и выбывал два раза в неделю на зависть всему стройбату.

Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру, в роте проку от него было мало, чуть отвернись — учебник из-за пазухи тянет, вот Богдан и сбыл его Косте в помощники. И Нуцо Влада сбыл, тоже проку мало — цыган. Впрочем, Нуцо уверял, что он не совсем цыган, а частично молдаван. Вернее, в основном молдаван, а частично цыган. Не поймешь, короче.

А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбодрить золотарей, от себя пообещал Косте и Фише досрочный дембель, как закончат, а первуюгодку Нуцо — отпуск на десять дней.

Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом троих — Кости, Фиши и Нуцо — осталось пять пахарей. Миша Попов из Ферганы — грузчик на мясозаводе. Одесит Коля Белошицкий, Эдик Штайц, немец из Алма-Аты, доски режет на пилораме. Как он еще себя не распилил, непонятно. Про Эдика говорят, что он в конопле и родился, в анаше то есть, вестибулярный аппарат не работает. Команда «направо», а его налево несет; «кругом» — на пол-оборота больше заворачивает. А так парень ничего, спокойный такой, блондинистый. Проще говоря, никакой. Ну, и пахарь никакой, сообразно. Какая там пилорама! За таблетками на край света готов пешком бежать. За эти побежки Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой скорости, больше для острстки, но крутит.

И двое молодых у Женьки в отделении: Егорка и Максимка. Егорка и Максимка — это по местному времени, а по паспорту: Рзаев Мамед Гасан-оглы и Шота Иванович Шалошвили. На ЖБИ работают, раствор бетонный льют.

Вот и все Женькино отделение. Второе отделение первого взвода

четвертой роты N-ского военно-строительного отряда. А Женька Богданов — ефрейтор.

Сперва Женька решил Егорку с Максимкой Косте подарить, да потом одумался — всего-то пахарей у него эти двое. Он их нарочно в свое отделение взял, пока другие не разобрали. Егорка кроме основной работы Женьку с Мишей Поповым обслуживает: койку заправить, пайку принести из столовой, постирать по мелочи; а Максимка — Колю, Эдика и Старого.

Да, еще Старый у Женьки в отделении — шестеро их, значит. О Старом как-то все забывают — не видно, не слышно всю дорогу. Работает Старый на автобазе слесарем, в канаве все время торчит, а в роту приедет — в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в самоволку. Бойтся, что Дощинин снова в дисбат упрячет. Старый действительно очень старый. Призвали его за неделю до дня рождения — двадцать семь должно было стукнуть. Только-только из зоны вылез. За убийство. И главное, почти весь срок отсидел, а уж к концу разобрались, что не убивал он, а защищался. То есть убил, но при необходимой обороне. Дали десятку, выпустили на два года раньше. А тут хоп — и в стройбат! Не отдохнув толком от сиделовки, Старый завел было жизнь на вольный манер и скоро убыл в дисбат на максимальных два года. Какой он был раньше, неизвестно — сажали его не в этой части, — но сейчас ходил тихий, весь лысый почти, морщинистый, руки в окостенелых мозолях. Про дисбат — ни слова. Спит даже с открытыми глазами. Влезет на койку, подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит, а на самом деле спит. А тут еще как-то по обкурке повелю Старого на подвижки, и срезал он с какой-то пьяной руки «Победу» вшивую. Женька отнял его у ребят изметеленного почти до основания. Главное, вором-то сроду не был. Сам на себя удивлялся; чего это ему вдруг взбрело — часы срезать? Тем более свои есть. «Командирские», светящиеся.

Егорку Женька обротал сразу, тот почти и не рыпался. Пару раз ему кровь пустил слегка, чучмеки почему-то крови своей боятся. А с Шотой, тьфу, с Максимкой, повозился подольше — грузин в соседнюю роту бегал за земляками. Те сразу явились, а как увидели, что Шота Иванович их на Богдана настропалает, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы Шота больше был похож на грузина, они б его в обиду не дали. А он ни то ни се: белобрысый, шершавый, грязный. А так-то грузины — не больно их обротаешь! С усами все. Им на усы специальное разрешение от министра обороны. Чистюли: только и знают мыться да бриться. Бреются, правда, насухую: хруст стоит и на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде.

Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка скрипела на весь поселок. С губы доносились песни.

Сам Костя на здешней губе не бывал, бог миловал. Зато остальные из роты почти все побывали. Не дай бог, рассказывают. Костя даже зажмурился от мысли, что может оказаться на этой губе, не очень даже и заметной: если б не вышка, не проволока — домик и домик. Да, домик... почки отобьют для смеха — и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуцо до сих пор моча розовая. И смеется, дурак, не понимает, что, может, калека на всю жизнь. Может, еще рак разовьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кормит. Жалеет, хоть сам на губе и не был.

Да ладно только б лупили губари, а то совсем оборзели — «расстрел» организовали. К стенке поставят и давай... Нуцо как раз под этот знаменитый «расстрел» и попал. Вырубился, конечно. С непривычки.

Костя как-то намекнул цыгану, чтобы, мол, написал в Москву, в Министерство обороны. Или в прокуратуру. А Нуцо только ржет, как всегда. Костя и сам бы написал, да боится, найдут по почерку.

Написал уже один раз, вон Чупахин его сюда и сплавил. Нет управы на губарей, законной — нет.

А без закона — можно найти.

Их ведь, губарей, тайком дембеляют, ночью в основном и заранее, до приказа. Ну а в штабе дивизии тоже свои есть. Писаря. Сейчас там, например, Дима Мильман. Это он осенью предупредил, когда губарям по домам разбегаться. И пожалуйста: одного с поезда скинули, другого отловили, и поехал он не домой, а в больницу в полуженском обличье: пол ему размолотили. Потом, говорят, и отрезали. А ведь честно предупреждали: что ж ты, козел, творишь! Земляков своих и то... Одного пацана метелил, соседа, на электрогитарах вместе играли раньше, до армии, в клубе. Из одной деревни оба.

...Губарь помахал Косте. Костя тоже помахал неопределенно, хоть и не разобрал кому.

Внутри, во дворе губы, маршировали с утра пораньше арестанты, расхристанные, без ремней. Конвойный с автоматом погнался за ворота двоих с термосами на палке.

— Привет, — кивнул Костя. — К нам? За рубоном?

— Ну, — буркнул губарь.

Костя поехал. Сколько раз давал себе зарок не контактировать с суками, а вот не получалось...

Трамвай, с визгом и скрежетом разворачивавшийся на конечном круге, заслонил процессию и приглушил позорный скрип Костиной тачки. И даже вонь от тачки вроде стала поменьше.

По ту сторону ворот москвич Валерка Бурмистров — хозяин КПП — тягал двухпудовую гирию.

Валерка пожал руку конвоира и заметил Костю:

— Здорово, земля!

Костя затормозил тачку метрах в десяти от КПП, чтоб не так воняло, пошел к воротам. Дерьмо, подтаявшее от разгоряченных ходьбой сапог, пятнало снег темными следами. Костя остановился в нескольких шагах от Бурмистрова, переживая свой запах, несильный — с глыбины уже брали, перебродило, — но фекал есть фекал, никуда не денешься. Потыкал сапогами в грязный осевший сугроб.

— Привет.

— Слышь, зёма, — с натугой сказал Валерка, выжимая гирию. — Вас это... лупить намеряются... Ха-ха... Лечить будут... под дембель.

Костя кисло улыбнулся.

— Чего ты лыбишься? — засмеялся Валерка, не прекращая тягать гирию. — В натуре. Чинить хотят.

— Кто? — сорвавшимся голосом выдавил Костя, вспоминая почему-то губу.

Валерка оставил гирию в покое, вытер пот с жирного бабьего подбородка, пожал плечами:

— Как кто? Блатные. Вторая рота.

— Кого — вас?

— Как кого?.. Всех. Вашу роту. Живете больно красиво. А может, и не будут. Меня не щекотит... Слышь, земля, у вас в роте тоже колотун? Не топят, что ли? Кочегару пойти рожу настучать?..

Валерка молот что-то про кочегара-салабона, про завтрашнее партсоборание, на котором его должны были перевести из кандидатов... Костя уже не слушал. На одеревеневших ногах дошел он до своей тачки и тупо покотил ее сквозь ворота по бетонке.

На плацу шел утренний развод. Приближалась зарплата, и Быков орал, как делал это каждый раз перед деньгами, чтоб не нажирались, а если и нажрут, чтоб не бросали друг друга. А если уж бросят пьяного, то чтоб на живот переворачивали, чтоб блевотиной не захлебнулся...

Костя не стал слушать известные уже слова, он катил тачку к последнему недоработанному туалету. А может, ничего? Мало ли что Валерка треплет! Идиот жирный!..

Нуцо выкидывал на поверхность уже не вонючую чернь, а обыкновенный восточносибирский грунт второй категории, то есть песок, лишь кое-где в нем предательски чернели вкрапления прошлогоднего перегноя. Фиша выбирал из раскиданных вокруг обрезных досок какие поровнее — для пола.

Костя подвез тачку ближе к яме и стал загружать.

— Молодой! — хохотнул снизу Нуцо. — Скажи что-нибудь.

— Молчи, салага, — пошутил Костя. — До обеда побуду, потом отвалю.

— Куда? Уши резать?

— Паши давай!..

— Костя, — укоризненно сказал Фиша, — надо больше работать, а ты все куда-то убегаешь. Надо уборную доделать. Мы же в воскресенье домой уезжать хотим. Давай хоть пол начнем, потом отвалишь.

Насчет ушей Костя действительно ездил в область, в косметическую поликлинику. Со школы не давали ему покоя эти уши, торчали, заразы, под прямым углом в стороны. Кончил десятилетку, волосы отрастил — вроде ничего, а в армии опять проблема.

В поликлинике сказали, что уши исправить можно, но надо полежать три дня в больнице, а потом еще каждый день ездить на перевязку. Короче, уши Костя решил оставить до Москвы.

Из динамика грянул марш. Стройбат, отпущенный с развода, разбрелся с плаца по рабочим точкам.

Вторую роту — осенний призыв, набранный целиком из лагерей, — увозили в грузовиках на комбинат. Блатные работали пока на земле. Приживутся, оборзуют, тоже найдут непыльную работенку. Стройбату без разницы, где воин пашет, лишь бы доход в часть волок. Вон двое из первой роты на трамвай сели — инженерами на комбинате работают.

Марш окончился, стало тихо и пусто. Теперь Коля Белошицкий запустит битлов. Потом пойдет «Роллинг стоунз». Эту кассету Костя знал наизусть — позавчера взял ее с переписки у парней в городской студии звукозаписи. Сделали, как-никак коллеги: Костя в Москве на улице Горького звукооператором работал.

Мать мечтала, чтоб он стал музыкантом. Отчаявшись отыскать у сына абсолютный слух, купила скрипку и часами заставляла его пиликать на ней под присмотром пожилой музыкальной маразматички с первого этажа. Костя пиликал, пиликал и допиликался: от долгого стояния стала слетать коленная чашечка. Тогда мать разнесла по дому, что Костя переиграл ногу, как пианисты переигрывают руку. Наконец музыкальная маразматичка умерла, но поскольку мысль о Костиной музыкальности по-прежнему не давала матери покоя, она определила его после школы в студию звукозаписи. А чашечка коленная через год определила Костю в стройбат.

Повспоминал Костя родной дом и в который раз с тоской убедился, что не тянет его домой. А куда тянет, и сам не знал. Никуда. Если только на студию. Веселая жизнь! Попивай потихоньку да клиентов пощипывай. А вечерами что делать?..

Фиша положил первую доску и приживил ее гвоздями.

— А ты иди покушай, — прервал Костины раздумья Нуцо. — Селетки принеси. С черняшкой!

Жрать хотелось страшно: завтракали-то в пять утра, а сейчас одиннадцать. Но пошел Костя не в столовую, а в баню — в загаженном состоянии есть он бы не смог. А Фишке и Нуцо хоть бы что. Сзади к столовой подойдут, пожрут в биндейке на скорую руку и опять вкальвать.

Костя еще и потому шел в баню, что твердо решил не пахать больше сегодня. Сегодня они с Женькой поедут в третий микрорайон, в общежитие четвертого НПЗ, навещать Таню-вонючую. Вообще-то никакая она не вонючая, просто моется хозяйственным мылом, а Косте это простое мыло... Ну, не переносит. А так она баба красивая.

— Открой! — Костя уверенно постучал пальцем в окошко обувной мастерской, помещавшейся в одном полубараке с баней.

Сапожник, он же зав баней, открыл дверь, впустил Костю и снова закрыл: мало ли кто еще припрется.

Костя мылся, как стал золотарем, каждый день. По личному распоряжению Лысодора. Невелика радость, а все-таки. Фишка с Нупо под это дело — под вонь — в свинарник спать переместились. Свиньи-то свиньи, зато покоя больше.

Костя помылся, установил на подоконнике карманное зеркальце, внимательно поглядел на себя, приподнялся на цыпочках — посмотреть, каков он в нижней части. Ничего. Поджарый, длинноногий, ни тебе шерсти особой, ни прыщей... Нормальный ход. Еще бы уши...

Он уже заканчивал бритье, когда вдруг сообразил, что дембельское его пэша с лавсаном и сапоги дембельские, яловые, в каптерке.

Костя с треском отодрал оконную створку, потом вторую, наружную, замазанную белилами, и высунулся в холод: может, кто из своих рядом? Везуха! — возле клуба на перекладине корячился Бабай.

— Бабай! Кил мында! — заорал Костя и свистнул, чтоб тот лучше услышал.

Бабай услышал, свалился с турника, покрутил башкой, соображая, откуда крик, и надал к бане.

Бабай чудом оказался в армии — скрыл, что у него ночное недержание. Взяли в конвойные войска, куда весь Восток берут, но сразу же выкинули, как унюхали. В госпитале Бабай взмолился, чтоб не комисовали — дома засмеют: не мужик. Так Бабай и оказался в стройбате. Не здесь, в нормальном. А в прошлом году, как очищали стройбаты, вытурили его. В Город, куда всю шваль сгучивали.

Теперь Бабай целыми ночами сидел возле тумбочки под переходящим знаменем и пустым огнетушителем. На тумбочке под треснувшим стеклом лежала шпаргалка, что он обязан докладывать при посещении роты офицерами. Днем Бабай немного спал, а остальное время старался накачать силу. На турнике он докручивался до крови из носа и тогда ложился на спину в песок, а сейчас, весной, — на лавку рядом с турником.

— Чего тебе? — с готовностью затарахтел Бабай, грязными ручонками подтягиваясь к высокому подоконнику.

— Принеси из каптерки пэша, сапоги, носки и плавки. В чемодане моем. У Толика спросишь. Повтори. Что такое пэша?

Бабай задумался, но повторил правильно:

— Полушерстяное.

Не успел Бабай умчаться, мимо бани процокала полненькими кривыми ножками Люсенька. Люсенька не скрывала, что пошла работать в армию в поисках жениха. У нее уже был один — из позапрошлого дембеля, и от него даже остался у Люсеньки сынок. Жених уехал в Дагестан, а Люсенька по-прежнему работала в библиотеке. Быков хотел блудно погнать ее за блуд с личным составом, а потом сжалился. Быков вообще мужик клевый. Всех жалеет. И солдаты и вот Люсеньку. И Бабая. А здоровенный — штангу тягает! По воскресеньям его ребята на реке видят с этюдником, рисует чего-то. На войне был, потому и мужик класный. Все офицера, кто воевал, нормальные мужики, незалупистые.

С Люсенькой в настоящее время занимался Женька Богданов, собирался, вернее обещал, жениться. Это было на руку Косте: Люсенька всегда держала для него «Неделю», «За рубежом» и журнал

«Радио»: Более того, на дембель обещала списать для Кости все журналы «Радио» за последние десять лет.

Бабай обернулся мигом.

— Ничего не забыл?— спросил Костя, принимая амуницию. Строго спросил, но Бабай не только ничего не забыл, но и притащил Костину шапку, меховую, офицерскую — для увольнительных, — и дембельский ненадеванный бушлат.

— Костя, Костя!— залопотал Бабай.— Деньги сегодня дадут, сегодня дадут! Зарплату. Не ходи к бабам, завтра иди к бабам!.. Ты уйдешь — мне деньги отберут старики. Я тебе отдам, ладно? Тебе отдам, ты мне потом тоже отдашь. Ладно, хорошо, ладно?

— Ладно!— кивнул Костя и закрыл окно.

Бабай, как постоянный дневальный, получал шестьдесят рублей. После вычета харчей, обмундировки и так далее на руки ему выдавалось пятнадцать, еще пятнадцать ложились на лицевой счет. Год назад Бабай упросил Костю отбирать у него получку — тогда другие старики не будут злиться. Костя согласился. Не за так, конечно, — троячок ему Бабай отстегивал из каждой зарплаты.

Костя довел себя до кондиции. Причесался, максимально напустив волосы на уши, надушился любимыми своими духами «Быть может», польскими, с полынным запахом. Спасибо, мать посылает. Надо, кстати, написать ей, с тоской подумал Костя. Нудит: в институт, в институт... Какой тут институт... Костя достал из нагрудного кармана крохотную щеточку для сапог, завернутую в лоскут бархата, отрезанный от клубной гардины, навел глянec на сапоги, изнутри кулаком оправил меховую шапку с недовытравленным на засаленном донце именем бывшего владельца, и легкой журавлиной походкой, благоухая, вышел из бани.

Карманы его дембельской гимнастерки слегка оттопыривались.

В карманах у Кости находились конверты, шариковая ручка, бумага для писем и маленький, но толстенький дневничок в клеенчатой обложке, куда Костя записывал события дней и по обкурке — стихи. Были там еще арабская зубная паста «Колинос», которую Костя применял специально для свиданий, упомянутые уже щетка для сапог, духи, а также зубная гэдээрoвская щетка. Упаси бог, в роте увидят — тот же Коля Белошицкий заныкает, и выявится его щеточка в виде наборного браслета для часов. Коля может даже и сознаться в пьяном виде. Понурит голову, отягощенную большим переломанным носом. «Ну, прости,— скажет и разведет в стороны свои длинные жилистые руки.— Спер. А браслетик по люксу вышел. Хочешь, возьми. Простишь?» Ну кто ж после таких слов не потечет? Потому-то Колю никто в жизни и пальцем не тронул — рука не подымалась. А что нос перебит, так это еще до армии, на зоне, по недоразумению и в темноте.

2

— Слышь, земля!— Валерка Бурмистров орал прямо с крыльца КПП.— Ну, ты, в натуре, вчера хорош был, я те дам!..

Костя остановился перевести дух, вытер рукавом липкий похмельный пот, скривил улыбку:

— Да-а?..

— Будь здоров!— Валерка заржал.— Тебя мой молодой на себе до роты пер... Дрозд!

На крыльцо выскочил здоровенный стриженный налысо молодой.

— Вот этот,— сказал Валерка.

— Ага.— Костя кивнул, благодаря не молодого, а Валерку, поскольку молодыми распорядился он.— Ничего такого, Валер?.. А?

— Нормальный ход. Тебя Рехт, дружок твой, заловил, хотел на губу. Еле отбил... Москвичей не любит, только так!

— Спасибо, Валер...— пробормотал Костя, берясь за тачку.

— Земель! Погоди...

Молодой с интересом наблюдал за ними.

— Кыш!— прошипел Валерка, и молодой исчез.— Вчера обстриг их налысо, обросли, как деды. Тебя как зовут, забываю?

— Константин,— как можно спокойнее ответил Костя.

— Слышь, земля, трояк не займешь? Молодым осетрины прислали с Оби. Я считаю, им вредно. А?

— Вредно,— небрежно, по-дедовски кивнул Костя.

— Короче, трояк займи, рассыпухи берем, и вечерком приходи. Телек позырим. «Братья Карамазовы».

Костя с трудом понимал Валерку. Деньги нужны. Денег нет.

— Денег-то, Валер...

— Ну, здрасте, приехали! — Валерка хлопнул себя руками по ляжкам.— Как бухать — есть, как землю выручить — от винта! Хреновый ты земля! Я таких в гробу видал!..

Надо бы объяснить, что денег у него с тех пор, как залетел с кренделями глазированными, вообще нет, только Бабаев трояк, который он вчера тоже упустил, потому что деньги у Бабая отобрали другие, пока они с Богданом кирали у Тани-вонючей.

Но как сказать, если язык чуть шевелится, обожженный вчерашним слабо разведенным спиртом? Найдет. Найдет он Валерке трояк. Не ясно где, но найдет. И больше достанет: сколько скажет Валерка, столько он ему и достанет. Потому что даже подумать страшно, как бы он мог служить без земляка на КПП. Вон вчера Валеркин молодой на себе его волок, а ведь всех бухих Валерка сперва сам отоваривает на КПП, а потом сдает на губу.

— Подожди-ка...— Костя потер рукавицей лоб.— Ты здесь будешь?

— А куда я, на хрен, денусь? — обиженно пожал плечами Валерка.

Костя, с трудом соображая, где взять денег, покати тачку прочь. Другие-то старики с Валеркой вообще не здороваются, за падло считают. Им что, Валерка их сам побаивается. У Миши Попова в Городе серьезные друзья по наркоте, с ним все учтивы. У Женьки через комендатуру все зашколадено. А у него, у Кости?.. Нету у него отмазки! Конечно, когда он с Мишей или с Богданом, никто не залупнется. А когда один?..

«О чем, козел, думаю? — усмехнулся про себя Костя.— Какая отмазка, зачем отмазка?! Послезавтра в Москве гудеть буду!»

— Слышь, земля! Тогда уж пятерик бери для ровного счета,— по инерции обиженно крикнул Валерка.— Слышь?

— Слышу,— отозвался Костя.

Фиша выпиливал очко. Вернее, пол-очка в одной доске, пол — в другой.

— Фиш, дай трояк до полочки, в смысле пятерку,— нахраписто заявил Костя.

Фиша не спешил давать деньги, и Костя понял: атака с ходу не удалась. Сейчас Фиша начнет нудить. Костя сел на доски и полез за сигаретами.

Фиша не нудил. Фиша аккуратно выпиливал полукруг в доске по красной карандашной линии. Перед шмыгающими вверх-вниз зубьями пилы на линии нарастал холмик опилок.

«Сейчас с чирь съедет!..»

Костя, не поднимаясь с досок, изо всей силы дунул на Фишину работу. Фиша дернул головой вверх и стал остервенело тереть запыленные опилками глаза.

— Извини,— виновато сказал Костя.

Пилил Фиша точно по линии. Он молча взглянул на Костю, как на убогого, ерзнул пилой еще пару раз и, аккуратно придерживая снизу, принял выпавшее полукружье.

— Дай трояк,— сбавил Костя.

— Получка, Костя, была вчера,— сказал Фиша.— У тебя получи вчера не было. И тебя не было. Ты вино пил. С Богданом.

— Ну и что теперь?— устало сказал Костя.— Застрелиться?

— Не пей вина...

— Гертруда,— усмехнулся Костя,— дай денег, чего ты жмешься?

— А ты помнишь, сколько мне должен?— склонив голову на плечо, со справедливой укоризной спросил Фиша. Точно так вот Костю допекала дома мать.

— Много, Фиша, много,— закивал Костя.— Всё отдам. Всё. Бабки огребем в субботу...

— Я тебе дам еще раз денег, если ты мне пообещаешь, что ты берешь у меня деньги не на вино. Разве ты не понимаешь!— Фиша возвысил свой обычный монотонный голос и соответственно воздел руки к небесам.— Ты можешь стать горчайшим пьяницей! Как все! Как Нуцо!

— Чего?— Из ямы показалась улыбающаяся небритая морда цыгана.— Оставь курнуть!

Костя протянул ему бычок.

— Фишка денег не дает.

Нуцо, обжигая пальцы, досасывал окурочок.

— Дай Косте денег. И мне дай.

— Тебе — таблетку!— отрезал Фиша, и Костя понял, что ему Фиша денег даст.

— А чего вы, собственно, не пашете?— нахмурился Костя. Надо было добавить что-нибудь поосновательнее, и Костя выпалил не совсем свое, но в настоящий момент подходящее:— Приборзели?!

— Лопатой больше не берет,— сказал Нуцо.— Клин нужен. И кувалдóметр.

— Что ж вы, гады, сразу не сказали?— Костя даже застонал. Переться теперь в кузницу, клянчить клин, кувалду... От одной мысли мозги скручивались. Костя страдальчески поморщился, поднял глаза на Фишу.— Пятерку дашь?

— Да,— торжественно объявил Фиша.— Иди за клином.

Костя тяжело поднялся с досок.

— Пойдем,— сказал он Нуцо.— Сам все попрешь. Я — дед. Понял?

Когда вернулись с инструментами, Фиша читал книгу.

— На,— строго сказал Костя. Нуцо синхронно его словам скинул с плеча на землю клин на приваренной арматурине и кувалду.— Пашите, гады... Фиш, ну?..— Костя протянул руку.

— Ты мне подиктуешь сегодня?— с ударением на последнем слове спросил Фиша, не спеша расстегивая пуговицу на коленном кармане.

Костя молча следил за второй пуговицей, которая оставалась нетронутой.

— Часочек,— уточнил Фиша и протянул Нуцо завернутую в бумажку таблетку.

— Нуцо!— чуть не плача простонал Костя.— Он смерти моей жаждет. Меня блевать волокет, а он — «подиктуй»!..

— Дай Косте денег,— вступился Нуцо.— Дай!

— Хорошо,— сказал Фиша.— Вот мы позанимаемся, потом я тебе дам денег.

— Слушай меня, Фишель,— сказал Костя, дыша в лицо Ицковичу перегаром, который Богдан называл перегноем.— Учти, Ицкович, вас, всю вашу масть, вот именно за это в народе не любят. Вот таким

своим... некорректным поведением ты возбуждаешь в нашем народе антисемитизм. Я правильно говорю, Нуцо?

— Точняк, сто процентов,— не поняв ни черта, кивнул Нуцо и на всякий случай хмыкнул.

Фишель Ицкович, огромный, очень красивый, медлительный, еще некоторое время собирался с мыслями. Наконец он тяжело вздохнул и расстегнул вторую пуговицу на кармане. Костя перевел дух, стараясь дышать потише, чтобы не спугнуть Фишино решение.

Фиша достал потерянный бабий кошелек и долго выуживал из него пять рублей жеваными бумажками.

— А теперь, Фиша, могу тебе сказать: подиктую. Иди в техкласс, я сейчас приду.

Улыбка расплылась по Фишиному лицу. Он завалил инструмент досками, накинул телогрейку и потопал через плац к стоявшему на отшибе голубому бараку — техклассу.

— Дуй на КПП,— скомандовал Костя Нуцо.— Деньги — Валерке.

Веселый, жизнерадостный Нуцо помчался по бетонке к воротам, унося с собой легкую неотступную вонь.

Костя пошел учить Фишу.

— «...Лев Силыч Чебукевич, нося девственный чин коллежского регистратора...— медленно диктовал Костя, прохаживаясь перед Фишей, втиснутым в переднюю парту,— вовсе не думал сделаться когда-нибудь порядочным человеком...»

Фиша писал, низко опустив голову к тетради. Над курчавыми его волосами шевелился, не упывая, легкий дымок, потому что в зубах у Фиши торчала папироса. С куревом у него были странные отношения. Вообще Фиша считал курение недопустимым, хотя и не в такой степени, как вино и женщин, но во время особо сильных переживаний разрешал себе закурить. Занятия русским языком требовали от него большого напряжения, и смолил он сейчас без перерыва — папироска так и ерзала из одного угла рта в другой. Курил Фиша самые дешевые папиросы «Север».

На стене техкласса висел двигатель внутреннего сгорания с обнаженными разноцветными внутренностями. За окном на плацу, пригретом весенним полуденным солнышком, в подтаявшей лужице дрались воробьи. «А ведь дембель-то вот он»,— подумал Костя и, сладко потянувшись, открыл рот зевнуть.

— Евре-ей?— вдруг спросил Фиша.

— Чего?— недозевнув, щелкнул зубами Костя.

Фиша строго смотрел на него своими подслеповатыми припухлыми глазами в пушистых ресницах.

— Он — евре-е-ей?

— Кто?— Костя наморщился и заглянул в учебник, отыскивая сомнительное место.— Лев Силыч?.. Ты что, Ицкович, спятил?— Костя взглянул на обложку сборника.— И где ты ахиною такую выискиваешь?.. Это ж для филфаков!

Фиша пожал плечами, вытащил окурочек изо рта, напустил в него слюны и кинул в закрытую форточку. Окурочек отскочил от стекла и шлепнулся на раскрытую тетрадь, цыкнув на текст желтоватой слюной.

— Очки надо носить. Глаза посадишь.

— Разбил.

— А новые заказать — трешку жалко? Ладно, поехали. «...Во дни получения он хаживал в кухмистерскую, где за полтину медью обедал не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом».

— Ты не забыл, что ты должен мне пятьдесят восемь рублей?— не поднимая головы от писанины, тихо напомнил Фиша.

Костя шваркнул сборник диктантов об стол, как разгневанная учительница.

— Еще раз о деньгах — и все!

— Почему ты так волнуешься? Ты не волнуйся. Ты диктуй мне помедленнее. «...не только гастрономически, но даже с бешеным восторгом».

— «...После такого обеда,— хмуро продолжил Костя,— ему снились суп со свиной...»

— Не так быстро!— взмолился Фиша.

— Ладно,— буркнул Костя.— Проверь ошибки.

Он захлопнул сборник и подошел к окну. Стройбат был пустой. Почерневшие сугробы вокруг плаца даже на вид были шершавыми.

Солнце заваливалось за штабной барак, дело к обеду. А после обеда и покемарить можно, ни одна собака не пристанет. Это тебе не у подполковника Чупахина на Урале. Тот уже с семи утра мучил. Ночь еще, можно сказать, минус сорок,— а он их на разводе по часу держал. Наставлял, как нужно трудиться. И уши у шапок опускать не разрешал. Правда, и сам, гад, стоял мерз. Потом оркестр вылазил, и под музыку — на работу. «С места с песней». А до работы три километра.

А ту-ут?.. За полтора года — одна тревога. И ту Лысодор сдуру учудил. Прикатил на своем «Запорожце» ночью: «Тревога!» Ну, побежали. До губы добежали и обратно, а Лысодор уже укатил досыпать. Такая вот армия. Спесифическая, как Райкин скажет. А политзанятия?.. Тут у руководства одна политика: не перепились бы в зарплату, не передрались бы, не подошли...

Раз, проходя мимо, Костя услышал, как старшина их роты Мороз да Лысодор — дружки закадычные — горевали, закрывшись в каптерке, выпивали потихоньку. «Какая ж это умная голова придумала,— сокрушался Лысодор,— создать в Городе неуправляемую часть. Больше тыщи головорезов! В Городе! Посреди баб, детишек... При Сталине бы...»

А кто их слушать будет? Один майор, другой старшина. Не сообразили после войны, куда податься, вот и застряли в стройбате. Сиди теперь в каптерке да начальство втихаря поругивай...

После обеда Костя сразу заснул и очнулся только к вечеру совершенно трезвым. Помотал головой: не кружится. Не подташнивает, пакость во рту исчезла. Ожил.

Костя засел в бытовку и начал сосредоточенно загонять в погон гимнастерки фторопластовую пластину, чтоб плечи не обвисали. Чего другого, а фторопласта в Городе навалом — нефтекомбинат под боком. Крупнейший в Европе. Все в этом Городе через наоборот. И нефтекомбинат — чистый яд — чуть не в центр Города воткнули. Ветерок подует, да и ветерка не надо, и при хорошей погоде до Четвертого поселка достает. И дети рахитами рождаются, гражданские сами говорят. Как эта пьеса-то называлась? Про комсомольцев... «Иркутская история»? «Город на заре»?.. Чего-то в этом роде. Город, кстати, не комсомолы строили, а зеки — обыкновенные, нормальные зеки.

Костя тыкал белую маслянистую ленту в погон, лента не лезла. До половины дошла и уперлась. Костя легонько резнул по напрявшимся швам перочинным ножичком. Ножичек у Кости особый, выпрыгивающий, в брюшину кому засадить — ништяк, наверное... Коля Белошицкий подарил на рождение.

Коля Белошицкий до посадки шофером работал в городском парке. Раз в день приехал, листья нагрузил — и на свалку. А машина без дела не стояла, работала. Вот и заработал Коля на ней пять лет. Но Коля себе цену знал и приговора не испугался: уверен был, что выйдет «по половинке». Рассказывал, у него и в лагере полная сво-

бода была. Ни подъема, ни отбоя. И приехал в зону пересуд. И надо же, узнала Колю баба-судья, та, что его в Одессе судила. Припомнила ему, как он, под следствием, в тюрьме брагу в огнетушителях изговлял. Так и отсидел Коля пять лет. От звонка до звонка. Правда, после этого на государство уже ни дня не работал. И здесь, в армии,— тьфу, в стройбате,— не работает. Числится киномехаником, а так и не найдешь: то в роте ночует, то в кинобудке, то в поселке у бабы... Кино за него молодой крутит. На вечерних поверках Колю уже и выкликать перестали.

...Со стен бытовки круглоглазые, стриженные под довоенный полубок солдатики учили Костю шить, штопать, латать и гладить обмундирование, показывали, как надо оборачивать на ночь сапог портянкой для просушки последней. Раньше Костя недоумевал: зачем белую портянку на голенище наматывать, оно же в гуталине? Ан нет, прав был довоенный солдатик: начищенный сапог не марался. А вот мазь в жестяной посудине перед их ротой маралась. Поначалу жаловались на нее Буряту (он мазью заведовал): мол, и не мажется, к сапогу шмотками цепляется, и щетка в колтун. А Бурят свое талдычил: «Мазя утвержден в моськовский институт». И все дела.

А как сам Бурят, младший лейтенант Шамшиев, оказался в армии — одному богу известно. Приперся он сюда с женой, перекошенной какой-то, с четырьмя детьми мал мала меньше. За неимением другой жилплощади Быков поселил его в санчасти. Перед санчастью теперь на веревках все семейство сушится: лифчики голубые, трусы Бурята, детское... Хорошо хоть старших двоих на пятидневку взяли, при нем только грудной да еще рахит лет двух. В дни полочки Бурят старался носу из санчасти не высовывать: пришибут ненароком по бухоте. Быков и Лысодор его ни в копейку не ставят — уж больно не любят недоделанных. Такой этот Шамшиев поганенький, гимнастерка не ушита, на морде прыщи, штаны на заднице провисают, каблуки скособочены, не офицер — недоразумение.

Короче, у всех стариков в роте свой гуталин. А молодым, как Нуцо, или таким дедам, как Фиша, им красота без надобности. Фише бы только учиться, а Нуцо — песни петь. Он их и пел всю дорогу, пока его на губе не «расстреляли». Теперь редко поет. А вот кто его персонально стрелял, не рассказывает. Заклинило цыгана. Только Фише сказал. А мог бы и Косте сказать, Костя не из трепливых, даже по обкурке. Контролирует себя. За это мужики и уважают.

За дверью загаддели. Значит, народ с работы возвращается. Сейчас погадят — и в клуб, на суд... Костя закончил второй погон и надел готовую гимнастерку. Выходить на народ не хотелось. Его и на гражданке не особо на люди тянуло — лучше книжечку почитать, музыку послушать. Кстати, насчет музыки — не потерял ли схему высокочастотного генератора для подогрева резца? Коллеги из местной студии презентовали.

Костя пошарил в карманах. Где ж она? Вот. Он достал из кармана конверт. Нет, не то. Письмо какое-то. От Таньки?..

Костя с отвращением взглянул на конверт и вспомнил: когда он спал, молодой с КПП принес письмо — Танька привезла. Посомневался: может, выкинуть?.. Вскрыл конверт.

«Здравствуйте, Константин! Костя, ну куда ты меня вчера послал? Пришел уже поддатый, Евгения с собой зачем-то притащил. Я вас приняла по-хорошему. Я ж не виновата, что Женя ко мне на кухню пришел, когда я котлеты жарила. А в прошлый раз ты меня к нерусскому приревновал, к болгарину, который в общежитие пельмени принес для реализации...»

— К цыгану, дура,— проворчал Костя, кинув разорванное письмо в корзину. Нуцо раньше в холодильнике работал — грузчиком;

— Строиться!— раздался за дверью голос командира первого взвода Артура Брестеля. Когда начальства в роте не было, он был за старшего.— Командиры взводов — в канцелярию!— орал Брестель, подражая капитану Дощину.

Только когда Дощинин вызывал взводных в канцелярию, он им чего-нибудь да говорил там, а Артур Брестель орал так, для порядка. Брестель не только говорить не умел, он и понимал-то по-русски плохо. Не потому, что эстонец, а потому, что тупой. Год назад вместе с Костей копал землю на комбинате. Норму никто не выполнял, и гонял их Дощинин вечерами с песнями по плацу до отбоя. А после отбоя без песен гонял. Брестель был как все: норму не выполнял, водку пил, вместо работы купался. И вдруг Дощинина осенило: поставил Брестеля командиром отделения. И на следующий же день картина изменилась. Артур пахал, как пчелка, и других шугал. Попервости на него не обратили внимания. Тогда он заложил наиболее злостных паразитов.

Вечером злостные, в том числе и Костя, до ночи стучали сапогами на плацу, а потом до утра чистили картошку. Такая же картина повторилась и на следующий день. Через неделю, когда Брестель стал младшим сержантом, Женька Богданов и Миша Попов начали думать, как быть. Миша Попов пошел в первую роту и привел своего друга по наркоте Нифантьева, комсорга отряда. Вот он и возник — в плавках, слейка торчелый, обкайфованный, с вафельным полотенцем, намотанным на кулак. Брестеля вызвали из роты, и прямо под окнами санчасти Нифантьев его отоварил. Брестель улетел за штaketник — жена Бурята спешно задернула занавеску.

На следующий день Брестель, заклеенный пластырем, снова заложил неработающих, а вечером снова улетел за штaketник. А на третий день Нифантьев развел руками. Слава богу, Дощинин возвысил Брестеля в командиры взвода. Не ихнего, а первого, в другой даже половине казармы. И что интересно, отношения с Брестелем и у Женьки, и у Миши Попова, и у Кости снова наладились.

На двери клуба с утра висело объявление: «Спецсуд-40. Слушание уголовного дела о самовольном оставлении части военными строителями рядовыми Георгадзе и Соболевым. Явка всех обязательна».

Из их роты ребята. Пошли в увольнение, а поймали их через неделю в Иркутске. Машину угнали пьяные, баб каких-то раздели...

На суд Косте не хотелось идти. А не идти нельзя: подошла его очередь выступать общественным обвинителем.

У входа в клуб стоял «воронок». Привезли. Костя почувствовал неприятное дрожание в ногах. Медленно потянул на себя дверь. Клуб был набит до отказа.

Володька Соболев стоял в оркестровой яме, опираясь на декоративный плюшевый парапетик, и глядел в зал. Бритая серая голова его лениво и незаинтересованно поворачивалась, озирая клуб. Время от времени Володька слегка наклонялся вниз и что-то говорил, наверное, Амирану. Кому ж еще...

Володька сплунул, плевок лег возле ноги конвойного, тот рявкнул. Володька харкнул еще раз, в сторону. Костя удивился: не Вовкино поведение. Волнуется, вот и расплевался для понта.

На сцену солдаты таскали столы: один — для членов суда, другой — для прокурора, третий — для адвоката.

Костя присел сбоку на конец лавки, не со своими. Брестель вертел башкой — высматривал его по рядам; Костя пригибался от его взгляда.

Из правых кулис вышла шумная группа улыбающихся людей в форменных черных мундирах.

— Встать! Суд идет! — проорал Бурят. На рукаве у Бурята была красная повязка дежурного по части.

Толстый, брюхатый прокурор засел за левый стол, пару раз встал и наконец утвердился обстоятельно. Маленькая легонькая адвокатесса порхнула за правый стол. И за центральным столом уселись. Все свои — спецсуд-40, вот они, голубчики! А еще говорят: стройбат — армия. Какая ж это, на хрен, армия, если даже судят по-граждански.

Конвойный, стриженный губарь из молодых, ткнул Володьку, чтобы полностью развернулся к суду, а не полубоком стоял.

— Маму твою, пэтух комнатный! — громко сказал Амиран Георгадзе, заступаясь за неблатного своего подельника.

Конвойный лениво огрызнулся.

Костя пошарил глазами по рядам: Женьки, слава богу, нет. У Люсенки, наверное, после Таньки отсыпается, не увидит, как он выступать будет.

Пока главный судья говорил свое, адвокатесса достала из сумочки косметичку, зеркальце оперла о сумочку, стала подводить губы.

Костя теребил в руках листок с текстом обвинения, которым пользовались все общественные обвинители для ориентации. Текст Дощинин напечатал на машинке.

Володьку Соболева пригнали сюда после Кости. И тоже сунули землю копать на комбинате. У Володьки тогда деньги водились — товарищи по фарцовке из Мурманска слали, — и он ни с того ни с сего стал выручать Костю, ни разу не отказал. Нравилось ему, что Костя из Москвы, звукооператором работал — центральной, короче. Или просто от широты души. Потом Костя и с Амираном познакомился. Амиран — другой коленкор. Первый кавалер Города. Костя его специально в бане разглядывал: с виду обыкновенный, усатый, как все грузины, тело обычное, не волосатое. Но как только Амиран снял плавки, стало очевидно: репутация эта Георгадзе заслужена, что дополнительно подтверждало и слово «нахал», выколотое на самой секретной части тела.

Брюхатый прокурор попросил у суда пять лет для Амирана, судившегося повторно, и три — для Володьки.

— Карамычев! — крикнул Брестель. — Где Карамычев?!

— Не ори. — Костя встал, оправил гимнастерку.

— На сцену! — Брестель сегодня за старшего, боится, как бы оплошки не вышло.

Костя, опустив глаза, поплелся на сцену. Проходя мимо оркестровой ямы, услышал:

— Привет, Констанц! — Володькин голос.

Костя кивнул и, запнувшись на ступеньках, влез на сцену. И встал возле кулис, чтоб особо не отвечивать.

Глядя в бумажку, он пробубнил положенное. Последнюю фразу: «Прошу строго наказать подсудимых, порочащих честь Советской Армии», — он пробормотал так тихо, что председатель суда заставил повторить:

— Громче!

Когда Костя спускался со сцены в зал, Амиран подморгнул ему:

— Здравствуй, Масква! Я думал, тебя нэт.

Хрупенькая адвокатесса проверещала, что подсудимые молоды, а матери их ждут, она просит суд о снисхождении и считает три и два достаточными сроками наказания. Личико у адвокатессы было маленькое и морщинистое. Садясь на место, она взглянула на часы и нетерпеливо забарабанила пальчиком по столу.

В последнем слове Амиран попросил себе лагерь, а Володька в последний момент решил не портить биографию и, если можно, то лучше дисбат. Дисбат не судимость. Просто продлили человеку службу. Задерживается как бы.

Амиран знал, что делал, когда лагерь просил. Хотя сидеть те-

перь ему в Сибири, а не у себя в Кутаиси, как в прошлый раз, где он весь срок машины швейные налаживал в женской зоне.

В перерыве подсудимым разрешили покурить прямо здесь, в оркестровой яме. Подошли Сашка Куник, Миша Попов. Поболтали. Отошли. Володька Соболев высмотрел Костю и поманил:

— Констанц, выручи денежкой.

Костя набух краснотой, вывернул карманы.

— Нету денег. Понимаешь? Нет.

Володька усмехнулся, сплюнул не по-своему.

Амиран удивленно покачал головой:

— Эх, Масква, Масква... Нэ успел я тэбэ гáлаву разбить.

После перерыва Амирану дали три года лагеря, а Володьке, как просил, два года дисбата.

У КПП Валерка Бурмистров обнюхивал припозднившихся.

— Зажрать успел! — с радостным удивлением отметил Валерка, внюхиваясь в кружку, после того как туда дыкнул подозреваемый. Не вынимая носа из кружки, протянул Косте руку. — Кто ж так зажирает, чучело? Ванилин? Это фуфло, а не зажорка. Скажи, земель? Ты сам-то чем заедаешь?

— Ну, салол... — поежился Костя.

— Понял? — Валерка поднял указательный палец вверх. — Салол. В КПЗ! — кивнул он караульному. Тот с готовностью потянул «ванильного» за рукав.

— Валер, отпусти, — пробасил «ванильный».

— Не Валер, а товарищ старший сержант. Нажрались, суки, а зажрать толком не научились. В КПЗ.

— За «суку» отвечаешь.

— Чего? — Валерка приставил ладонь к уху, подался к «ванильному». — Повтори.

Тот молчал.

Валерка дружески потрепал его по плечу.

— Ссышь, когда страшно, значит, уважаешь. В КПЗ. Фамилию пометь, — кивнул он подручному. — Его губа полечит.

К воротам подкатил «воронок». Валерка забежал на КПП — натужно заурчал мотор, ворота разъехались.

— Повезли ребят на отдых, — сказал Валерка и спрыгнул с крыльца. — Грузин-то хрен с ним, а нашего жалко. Скажи, земель?

— Жалко, — кивнул Костя. — Им дембель в мае.

— Ишь ты. — Валерка сочувственно поцокал. — Под самый занавес... Следующий! Чья очередь, бухари?

Валерка занялся следующим пьяным.

— Вторая — все наколотые, я те дам! — базлал Валерка, не переставая обнюхивать солдата. — Я ж в Красноярск за ними ездил. В «Решеты». Привез. Быков пасть открыл, когда их увидел. Сто рыл — и все разрисованы. Струной колют, рисунок чистый. Я себе на дембель тоже наколочку сбацаю, маленькую.

К воротам подошел Бурят. Фуражка у него, как обычно, была натянута глубоко — уши оттопыривались.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — козырнул Валерка, повысив Бурята на одну звездочку. — Записочки подпишите об арестовании.

— Сколько? — спросил Бурят, вытаскивая из кармана ручку, не ручку даже, а стержень шариковый. Все не как у людей.

— Пока трое, — пожал плечами Валерка. — Четыре подпишите на всякий случай.

— Давай, — важно сказал Бурят. — По сколько суток?

— По десять, как обычно. Нормалёк.

— Завтра воскресенье, комиссия из дивизии будет, — строго сказал Бурят. — Утром КПП мыть, пола, матраса вытрусать... Я проверю.

— Вас понял,— козырнул Валерка.— Вытрухнем, как нечего делать.

Бурят потоптался еще немного для порядка и ушел домой, в санчасть.

Валерка положил тяжелую руку Косте на плечо.

— Пойдем, земля, осетринки покушаем. Погоди, забыл, тебя ж Лысодор в штабу ждет. Еврея тоже. Документы получать. Потом не чухайся, прямо сюда.

— А не надо воровать,— стоя у дверей штаба, по-домашнему увещевал майор Лысодор старшину срочной службы Рехта.— Чего ж теперь рыпаешься? Сколько ты задолжал стране и государству?

— Триста восемьдесят,— ковыряя землю хромовым офицерским сапогом, промямлил Рехт.

— Ну вот. А туда же — домой собрался,— развел руками Лысодор.— Ты сперва с казной рассчитайся... На земле поработай, покопай. На земле рублей шестьдесят в месяц заработаешь. Глядишь, к Новому году и рассчитаешься. А ты как думал?.. Не надо воровать. Сними-ка ремешочек!

Красавец Рехт расстегнул ремень и протянул Лысодору.

— Ишь как ты пряжечку изогнул, по моде.— Лысодор почти без усилия разогнул пряжку в положенное уставное состояние и вернул ремень Рехту.— Еще раз увижу — на губу... Понятно говорю?

— Так точно! — отчеканил Рехт.

— Ну, золотая рота,— Лысодор обернулся к притихшим на всякий случай дембелям,— заходи в штаб по одному. Прощеваться будем. Ицкович первый.

И Лысодор вступил в темное нутро штаба. Фиша пошел за ним.

Костя оправил гимнастерку, проверил указательным пальцем звезду — на месте ли пилотка.

— Костя, я тебя очень прошу! — Рехт ухватил Костю за рукав.— Выручай! — Он запоздало сунул руку, здороваясь.

Костя принял в сторону, хотел было удержать руку в кармане, но рука сама собой вытянулась наружу и вяло пожалала руку бывшего Костиного мучителя. Когда старшина Егор Остапыч Мороз был в отпуске, их четвертой ротой месяц командовал старшина срочной службы Рехт. Костю он тиранил за то, что москвич. Месяц не вылезал Костя с полов и через ночь чистил на кухне картошку.

Рехт — отдать ему должное — сейчас покраснел.

К штабу подошел Валерка.

— Записок не хватило, бухих полно.

— Запиши на себя пяток простыней, а?.. — канючил Рехт.— Будь другом! Ведь на полгода тормознут... Запиши, а?..

Валерка ковырялся в зубах, ожидая, что скажет Костя. Костя медленно достал пачку «Опала», вытянул сигарету, протянул пачку Валерке, тот, хоть и не курил, взял сигарету. Затем Костя аккуратненько оправил пачку и не спеша уложил ее в карман. Рехту не предложил, хотя Рехт курил.

— Ну, три простынки...

— Ты человеческий язык понимаешь, да? — полувопросительно-полуутвердительно ласково спросил Костя, снял несуществующую табачинку с языка и долго ее рассматривал.

Рехт уважительно ждал, пока Костя разберется с табачинкой.

— Ты сам-то откуда? — спросил Костя, вытирая пальцы.— Из немцев?

Рехт закивал расчесанной на пробор головой.

— А великий русский язык понимаешь?..

Рехт заволновался, побледнел...

— Я же тебе, Рехт, говорил неоднократно, чтобы ты шел. Ты ходить умеешь?.. Куда?

Костя сложил ладонь трубочкой и, приставив ее к уху старшины, шепнул ему что-то.

— Падла,— сквозь зубы процедил Рехт.

— А ты чем недоволен, в натуре? — Валерка Бурмистров шагнул к ним, не переставая ковыряться в зубах.

Рехт зашагал прочь по бетонке.

— Кусок паскудный! — вдогонку ему крикнул Валерка.— Чеши репу — и скачками! Слышь, земля,— Валерка уже перескочил на другую тему,— ты мне значок техникумовский на дембель не достанешь? Поплавок? Организуй, земля! Бутылка. Ну, две. Спиртяги.

— Спрошу,— с достоинством кивнул Костя. Как равный равному.— Куда ты их вешать-то будешь?

Валерка с трудом нагнул голову — мешал жирный подбородок — и стал осматривать свою необъятную грудь. Места для будущего значка и правда не было, все занято: «Воин-спортсмен», «Первый класс», «Мастер спорта», «Отличник Советской Армии», комсомольский значок на пластмассовой подкладке, «Ударник коммунистического труда».

— Спрошу,— еще раз пообещал Костя.— Как у тебя с собранием, приняли?

— Приняли! — Жирная Валеркина морда расплылась в улыбке.— По уставу гоняли — я те дам! Потом по политике. А я газет год не читал, сам знаешь, некогда. Короче, приняли.— Валерка подержал на лице улыбку, потом посерьезнел.— Ну, вообще в партию вступить сложно. Кроме меня, одного только приняли.

— Карамычев! — крикнул Фиша, выходя из дверей штаба.— Костя! Заходи!

Костя вошел в штаб. Фиша догнал его в коридоре и сунул четвертной.

— Ты мне будешь должен восемьдесят три рубля!

Костя ошалело уставился на него.

— Иди, чего встал?

Лысодор сидел за столом без фуражки. Костя вошел и почтительно встал у двери.

— Ну, все закончили?

Костя кивнул. Лысодор хитро прищурился.

— А бабий?.. Бабий-то галюн забыли.

— Вы не говорили,— оторопел Костя.

— Сейчас говорю,— посерьезнел Лысодор.— Еврея предупредил, тебе говорю и цыгану скажу. Надо доделать. Там дел-то на копейку. Когда отбываешь?

— Послезавтра хотим.

— Ну вот, ночью и сделаете. Подойди поближе.

Лысодор открыл сейф, вытянул из нутра толстый пакет. У Кости пересохло во рту. Лысодор про себя прочел фамилию на конверте.

— Не твой. Вот этот твой. Ка-ра-мы-чев. Константин Михайлович.

Лысодор встал, надел фуражку.

— Ну так, Константин Михайлович. Держи! — Он протянул Косте пакет.— С окончанием действительной службы тебя, Карамычев! Родителям передавай привет от командования. Службой твоей довольны.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Костя, тыкаясь пальцами в висок.

Он развернулся, шагнул к двери и замер: «А четвертак?»

Лысодор сидел раскрасневшийся, теребил бумажки. Левый ящик письменного стола был слегка выдвинут.

— Чего забыл? — не поднимая головы спросил Лысодор.

— Тут вот... — Костя подался к столу, пихнул деньги в ящик.

Лысодор на весу расправил четвертак.

— Разменять, что ль?

— Да-а-а,— проблеял Костя.

3

Костя чихнул. Еще раз, еще... И проснулся. Прочищенный чихом нос сразу учуял знакомый запах. План шаят! Анашку! Костя сел на койке, его слегка качнуло. Посмотрел время — часов не было. След белый был, а часы — ёк.

— Сняли,— пробормотал Костя, озираясь вокруг. Вора видно не было. Был запах, запах хорошего ломового плана. Дурь чистой воды.

Костя встал, поплевал на ладони — провел по гимнастерке и бридгам: липнет к хэбэ всякая парша, матрац драный, надо у молодых поменять. Потом опомнился: какой матрац? Завтра домой!

Что-то уж очень скоро напился он у Валерки на КПП. Программу «Время» хорошо помнит, «Братья Карамазовы» уже пошли затуманенные, а конец и вовсе смазлся. Где цыгане начали петь, плясать. Только вот почему там цыгане? У Достоевского евреи Мите Карамазову играли перед арестом. Это Костя помнил точно. Еще удивлялся, когда читал...

Казарма храпела.

Запах плана шел из Богданова угла, пробиваясь сквозь казарменную вонь. А перешибить ее нелегко: две с лишним сотни сапог и, соответственно, портянок.

Костя достал сигарету и долго прикуривал в надежде, что Женька заметит.

И тот заметил, свистнул тихонько:

— Ко-отик!..

Плановые были в сборе. Женька, Миша Попов, Коля Белошицкий, Эдик Штайц и незнакомый парень в накинутом бушлате. Надвинутая фуражка закрывала его лицо. Парень сидел возле Женьки. На тумбочке в консервной банке горела свечка.

— Сколько времени, Котик? — улыбнулся Женька и протянул Косте часы.— Снимать надо на ночь. Не дома. Когда отвальную?

— Перед поездом.— Костя застегнул часы.

— Ты фосфор-то стери с циферблата,— посоветовал Коля Белошицкий.— Вредно для здоровья.

— Богдан,— простонал Миша Попов,— не мурыжь, кайф проходит.

— Садись, Москва.— Эдик Штайц подвинулся.

Женька нацепил на хрупкий кончик стеклянного челима новый косяк, подлил в челим вина из кружки, стал раскуривать.

— Ты от Танюшки как добрался? — с подсвистом спросил он Костю.

— Марик Мильготин подвез.

— От какой Танюшки? — проворковал парень в фуражке. Знакомым женским голосом.

— Люся? — Костя смешался.— Вы?

— На, дембель! — Женька протянул ему раскочегаренный челим.— На посошок. Все сделали?

Костя осторожно потянул в себя замечательный дым. Челим уютно забубелькал.

— Почти. К утру кончим — и отвал.

— А нас до майских, наверное, не выпустят. Ты адрес мой не потерял питерский?

Костя проверил в записной книжке: на месте.

— Колесико не желаешь? — Коля Белошицкий достал из кармана таблетку.

Костя помотал головой.

— По люксу пойдет.

— Дай! — рыпнулся за таблеткой Эдик Штайц.

— Тебе звездюлей надо, а не колесико! — мрачно изрек Миша Попов. Миша уже неделю дулся на Эдика: послал его к знакомой аптекарше за каликами, а Эдик не тех таблеток накупил, нажрался и полдня стройбату покоя не давал — бегал ото всех в одном сапоге, а в другом, орал, змея.

— Тсс! — прошипел вдруг Коля Белошицкий, настороженно поднимая кверху вислый нос. — Показалось?..

— Менты на зоне, — вяло пошутил Миша Попов.

— Вя-язы, — гнусаво подыграл ему Эдик, приставив к шее два пальца.

На всякий случай Женька вырвал челим у Кости и спрятал в тумбочку, аккуратно спрятал, так, чтобы с носика не свалился недокурный баш. Женька замер, жестом приказав не шевелиться. Стало слышно, как бьется в банке со свечой не вовремя ожившая тяжелая муха.

— Проехали, — буркнул Миша Попов.

Женька полез в тумбочку. Протянул Мише челим. Миша затащился и закрыл глаза. Курнул еще раз и с полуоткрытым ртом отвел руку с челимом в сторону — следующему.

— Ништяк, — сказал сидевший напротив Миши Эдик Штайц. — Заторчал.

Женька тем временем высвободил челим из вялой Мишиной руки, обтер сосочек и протянул Люсеньке.

— Богдан, — из сонного омрачения возник голос Миши Попова, — ты новье будешь брать на дембель?

Он так вяло и незаинтересованно это спросил, что Женька не ответил.

— Покажи, как надо! — переживал Эдик Штайц, видя, что Люсенька неумело, с опаской берется за челим. — Людмила Анатольевна, вы не взятяжку, вы с подсосом, не сильно... Богдан, покажи толком!..

Люсенька запыхтела чрезмерно, челим заклокотал.

— Дам в лоб — козла родишь, — с закрытыми глазами пригрозил неведомому противнику Миша Попов.

— Та-ащится! — радостно отметил Эдик Штайц. — Готов Мишель. Конопелька-то наша, тутошняя. А то фуфло, фуфло...

В данном редком случае Эдик Штайц был прав. В настоящий момент курили его анашу, его изготовления, а главное — его замысла.

Минувшим летом весь отряд по воскресеньям вместо выходных стали вдруг вывозить на поля собирать картошку. Как пионеров. Только возили почему-то в автобусах — длинных машинах с высокими бортами, внутри лавки поперек, а над головой решетки, даже не встать. Хорошо хоть без охраны. Картошечку собирали соответственно. И себе, и Городу, и кому там еще... Коля Белошицкий сразу надумал, как мимо дела проплыть. Шел по гряде, ботву обрывал, возле грядки складывал, а напарник следом бежал и черенком лопаты грядки ворошил. Картошечку не трогали, упаси бог. Картошечку на зиму оставляли зимовать. А офицерье в машинах сидит, не смотрит. Тем более холодно — снежок уж начал капать. Неуютно. План считали по грядкам, не по картошке, и получилось, что в отделении Богдана перевыполнение. А собирали только Фиша с Нуцо. Всерьез ковырялись. Ну им простительно — народ деревенский.

Тогда-то Эдик Штайц и обнаружил, что здесь конопли завалились. Правда, по колено только, но сойдет в армейских условиях. Начался лихорадочный сбор. Потом Эдик пробил коноплю, пыльцу замацовал — анашка получилась первый сорт. Только вкуриться нужно — с первых разов не пробирает. А потом благодать: с табачком растер, косячок набил — и торчи!..

— Богдан, — уплывающим голосом пробормотал Миша Попов, — пихни колючего...

Женька не реагировал. Он пристроился в самом углу, приняв Люсеньку под крыло, тихонечко ее полапывал. Костя сидел напротив, ему стало совсем хорошо и хотелось, как всегда под кайфом, посмеяться и еще — стихи посочинять. Свечка разгорелась вовсю, коптящий язычок пламени вырос из консервной банки и метался перед оконным стеклом...

«Шарашитесь по роте свет голубой и таинственный... — сочинял Костя, спрятав лицо в ладони. — Шарашитесь по роте свет голубой и таинственный... И я не совсем уверен, что я у тебя единственный...»

— Богда-ан! — угрожающе прорычал Миша Попов.

Женька отлип от Люсеньки.

— Чего тебе?

— Пихни колючего...

— Завязывай, Мишель, понял? Сказал — нет, значит — нет. — И снова приобнял библиотечкару.

Миша Попов последнее время ходил не в себе. Он вообще курил мало, он на игле сидел. А в последнее время сломалась колючка — деньги у Миши кончились. На бесптичье он даже выпаривал какие-то капли, разводил водой и ширялся. Доширялся — вены ушли. И на руках и на ногах, все напрочь зарубцовано. Женька сам не ширялся, но ширятель был знаменитый, к нему из полка даже приезжали. Он Мишу и колол. А недавно сказал: «Все, некуда».

Мишаня в слезы: как некуда, давай в шею! Женька орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ломовой словишь, а мне за тебя вязы!»

От скрипа коек проснулся Старый. То лежал, смотрел на них, но спал, а сейчас зашевелился — разбудили.

Костя протянул ему челим, Старый принял его в мозолистую кодрявую руку. Ни у кого в роте таких граблей не было, как у Старого. Отпустил бы его капитан Дошинин на волю, чего он к нему пристал?..

— Хочешь, я с Лысодором поговорю за тебя? — спросил Костя.

— При чем Лысодор, он без кэпа не решает, — ответил Старый и вернул Косте челим. — Не хочу. А Дошинин не отпустит.

Он достал обычную папиросу и, видимо с отчаяния, так сильно дунул в нее, что выдул весь табак на Эдика Штайца.

— Констанц, оставь мне бушлат, — попросил Старый. — Тебе зачем?..

— О чем говорить! — кивнул Костя. — Заметано.

Костя вдруг осознал, что дембель завтра, вот он, рядом. И даже покрылся испариной. И встал.

— Чего ты? — спросил Женька.

— Пойду помогу, ребята возьмется, Фишка с Нуцо...

— Сиди! — Женька за ремень потянул его вниз. — Только кайф ломаешь. Сиди.

Люсенька закемарила. Женька подsunул ей под голову свою подушку и надвинул фуражку, чтоб скачущий язычок пламени не мешал глазам.

Потом Женька встал посреди прохода и обеими руками шлепнул по двум верхним койкам. Койки заскрипели, отозвались не по-русски.

— Не надо, Жень... — вяло запротестовал Костя.

Но Богдан уже сдернул с верхних коек одеяла.

— Егорка, Максимка!..

Сверху свесились ноги в подштанниках, и на пол прыгнул сначала крепенький Егорка, а затем нескладный, многоступенчатый полу-грузин Максимка. Оба чего-то бормотали, каждый по-своему.

— Подъем, подъем! — повторял Женька, похлопывая их по плечам.— Задача: одеться по-быстрому — и в сортир. Там Ицкович и Нуцо, скажут, что делать. Вопросы? Нет вопросов. Одеться — двадцать секунд.

Егорка и Максимка стали невесело одеваться.

— Не здесь, не здесь.— Женька вытолкал их на проход.

— Торчит! — Коля Белошицкий тронул Женьку, показывая на Люсеньку.— Людмила Анатольевна!

— А-а...— донеслось из Люсеньки.

— Насосалась, кеша кожаная...— проскрипел Миша Попов.— Слышь, Богдан, гадом быть, куруха под окнами шарится, кой-то ползает.

— Ты давай, давай! — отмахнулся от Миши Женька, но на всякий случай прислушался. Было тихо.

— Же-еня-я...— прошептала Люсенька.

— Что с тобой? Плохо?

— Тошнит...

— Сукой быть, кой-то ползает под окнами,— бухтел свое Миша Попов.

— Мам-ма...— простонала Люсенька.— Тошнит.

— Вкось пошло,— улыбнулся Эдик Штайц.— Точняк — блевать будет!

— Давай ее на улицу,— предложил не заснувший еще Старый.— На свежачок...

— Не надо...— стонала Люсенька.— Ма-ма...

Костя протянул руку к окну — из щели бил холодный воздух.

— Сюда ее, к стеклу, похолодней,— сказал он.

Люсеньку передвинули к окну, она уперлась лицом в холодное стекло.

— Ага-а...— простонала она.— Лучше-е...

— Блевать будет,— уверенно повторил Эдик.— Сейчас бу...

Эдик не успел договорить — Люсеньку вырвало прямо на стекло. Консервная банка упала на пол, свечка потухла. Люсенька привалилась щекой к окну, тихонько постанывая.

— Тряпку! — рявкнул Женька, оборачиваясь к проходу, где мялись уже почти одетые Егорка с Максимкой.

— Богдан! — прорычал из дальнего угла разбуженный Сашка Куник, кузнец из второго взвода.— Кончай базар!

— Отдыхай лежи! — заорал Женька, ощерившись.

В ответ в углу звякнули пружины — Куник встал.

— Я кому сказал: тряпку! — Женька хлопнул в ладоши.

За окном мелькнула тень, зазвенело разбитое стекло, голова Люсеньки дернулась.

— А-а! — закричала Люсенька, хватаясь за лицо руками.

— Свет! — взвыл Женька на всю роту.— Бабай! Свет!

— Рота, подъем! — спросонья заорал Бабай и врубил в казарме общий свет.

4

Разбили еще одно окно с другой стороны.

Костя судорожно рванулся к выходу.

— Куда?! На место! — Куник затолкал Костю в проем между койками.— Подъ-ем! — орал он тонким голосом, не соответствующим его огромному волосатому тулову.— Подъем!..

Женька сидел на корточках возле Люсеньки, пытаясь отодрать ее руки от лица. Сквозь пальцы высачивалась кровь и текла в рукава голубой кофточки.

— Люся, Люся,— задыхаясь, бормотал Женька.— Ну, чего ты?.. Покажи, Люсенька... Давай посмотрим...

Стекла лупили с разных сторон. Пряжки ремней, проламывая стекло, заныривали в казарму и исчезали, вытянутые наружу. Сразу стало холодно. В разбитые окна летели камни и мат.

Бабай метался по роте.

— Чего такое?! — Он подскочил к сидящему на корточках Богдану, вцепился ему в плечи.— Чего?!

— Воды! — отшвырнул его Женька.— Воды дай!

Куник вырвал у Бабая из рук графин, выскочил из казармы. И тут же ворвался назад, держась рукой за окровавленное плечо. В другой руке было зажато отбитое горлышко графина.

— Вторая рота. Блатные, падала! — рычал он.— Подъе-ем!.. Без гимнастеров!..

Холодная казарма гудела. Молодые соскакивали с верхних коек и испуганно одевались, не попадая в штанины. Двоих залежавшихся Куник сдернул сверху.

— Кому не касается?! — орал он.— Без гимнастеров! Строиться! Ремни на руку, вот так!

— Рота, отставить! — всунулся было Брестель, вспомнив, что он за начальника.

— Кыш, шушера! — Куник дал ему по башке.

— Дай ему, чтоб на гудок сел! — посоветовал прояснившийся уже Миша Попов, стаскивая узкую перешитую гимнастерку.— Раскомандовалась, сучка квелая...

— Холодно без хэбэ! — вякнул кто-то.

— Кому холодно?! — обернулся Куник.— Строиться! Рота, слушай мою команду!..

За окнами с одной стороны казармы стало светло — врубили прожектора на плацу.

— Уходят! — радостно заорал молодой у окна.

Костя рыпнулся в ту сторону: действительно, солдаты бежали через плац к казарме второй роты.

— Суки! — ощерился Куник, подстегнутый неожиданным отступлением нападавших.— Четвертая рота! За мной!.. На плац!.. Без гимнастеров!..

Выход из казармы был узкий, в одну половину двери, и четвертая рота вытекала наружу в холодную ночь тонким ручьем. Оба пожарных щита у выхода уже разобрали, и сейчас со щитов срывали красные конусные ведра.

Раздетая, в белых нижних рубашках, четвертая рота скучилась у торца казармы. Впереди был пустой, ярко освещенный бетонный плац, подернутый ночным ледком.

— Одесса! — заорал Куник.— Музыка вруби!

Коля Белошицкий вылуцился из гудящей толпы и послушно полез по железной лестнице в кинорубку.

Над плацем женскими голосами громко заныли битлы.

Белошицкий вниз не спустился.

Костя лихорадочно перебирал глазами роту: «Фиши нет, Нуцо нет, а я, я-то почему здесь? Зачем я-то? Мне ж домой!..» От зависти к отсутствующим Фишелю и Нуцо у Кости схватило живот. Он чувствовал: будет что-то страшное, о чем пока не знает этот волосатый идиот Куник, и Богдан не знает, и Миша Попов. Только он, Костя, знает...

«Господи,— стонал про себя Костя,— ведь убьют!..» Анашовый кайф вылетел из его головы, как и не было. Просто так убьют, ни за что! Пусть они все передохнут: Куник, Богдан, Миша... Он же к ним не относится. Он же не с ними. Он другой! Другой!

А Нуцо был здесь. Выпорхнул из-под руки Куника и стал с ним

рядом. С лопатой, к которой прилипла уже знакомая вонь. Он преданно смотрел на Куника, ожидая команды, и улыбался.

— Фиша где?! — крикнул ему Костя. — Где Фишка?

— За губарями побег! Валерка велел! — блеснул зубами цыган.

Поджарый Нуцо нетерпеливо прыгал вокруг огромного Куника.

— Пошли! Чего стоим? Холодно!

«Тебя кто звал?! — стонал про себя Костя. — У тебя ж отмазка!..»

Темная казарма второй роты молчала вдалеке, казалась спящей.

Над трибуной полоскался распяленный кумачовый транспарант: «Военный строитель! В совершенстве овладей своей специальностью!»

— За мно-ой! — Куник крутанул в воздухе ремнем, как шашкой, и двинул по диагонали плаца ко второй роте.

Четвертая с лопатами, ломami наперевес, галдя, повалила за ним, пряжки мотались у колен.

— Не бзди, мужики! — орал Куник. — Главное, всей хеврой навалиться!..

— «О-о гё-ол!..» — стонали битлы.

Куник был уже на середине плаца, как вдруг перед ним оказался Бурят. В расстегнутом кителе, в тапочках, Бурят судорожно цеплял на рукав красную повязку дежурного.

— Четвертая рота! Стой на место!.. Приставить ногу к ноге! — Запутавшись в командах, он обеими руками уперся в волосатую Сашкину грудь.

— Мочи Бурята!

Куник, не останавливаясь, отгреб Бурята в сторону. Тот отлетел, упал, заверещал что-то, фуражка покатила по плацу. Рота валила дальше, за Куником.

До казармы оставалось шагов тридцать. Вторая по-прежнему молчала. Становилось жутко. Видимо, это почувствовал и Куник.

— Не бзди, мужики! — снова заорал он и орал так через каждые два-три шага. Шел и орал, уже даже не оборачиваясь.

Женька со Старым рванулись вперед, чтобы не отстать от Куника. Костя тоже пошел быстрее. Женька держал в руке арматуру. Старый просто шел, шел без всего, ссутулившись по-пожилому, похожий на мастерового из фильма «Мать».

— Сука старая!.. — всхлипнул Костя, со злобой взглянув на свой кулак, в котором был зажат ремень. Опять Старый умнее всех, ремня нет — вины меньше.

Женька хлопнул его по плечу:

— Чего ты?

— Ничего! — огрызнулся Костя, стряхивая его руку.

— Не бзди, мужики! — взвился под небеса истошный визг Куника.

И вдруг черная молчаливая казарма ожила. Вспыхнул свет. Кроме центральных дверей, распахнулись боковые. И из трех прорех казармы живыми потоками наружу ломанулись блатные.

— Глуши козлов!..

— Сучье позорное!..

— Пегушня помойная!..

— Мочи пидоров!..

Костя увидел, как Куник, метнувшись навстречу толпе, сливающейся из трех потоков, увернулся от вспорхнувшего над его головой лома, и пряжкой, под свист ремня, уложил одного и, обернувшись, ловко достал первого — с ломом, уже врывавшегося в чужую толпу. Оба подмялись, звякнул о бетон покотившийся лом.

— Минус два! — провопил Куник. — Мочи блатных!

Драка расплзлась по всему плацу.

Костя сразу подался в тень трибуны, в темноту. Но и там было страшно: вдруг увидят, что прячется.

На мягких ногах вбежал он в тусующуюся толпу одетых и своих. Он крутил вокруг себя ремнем, надеясь, что никто к нему не сунется.

Его и не трогали. И он снова отбежал в тень — передохнуть. Нуцо уделал одетого — лопатой, плашмя.

— Луди вторую роту! — кричал Женька, молотя арматуриной по одетым.

Костя готов уже был в очередной раз ворваться в драку, уже ногу приготовил для толчка, но от удара в спину у него перехватило дух.

— А-а!.. Ма-а-ма!..

Пока он несколько мгновений ждал смерти, стриженный блатной, отоваривший его пряжкой, побежал дальше. Костя понял, что не умрет. За блатным рыпнулся Нуцо, оторванный от своей драки Костиным воплем, и успел приголубить блатного лопатой. Из прорвавшейся на спине гимнастерки потекла чернота. Блатной сунул руку за спину, глянул на нее и помчался к своей казарме.

— Назад! — прокричал кто-то.

Неожиданно, как по команде, вторая рота стала отступать к своей казарме. Четвертая навалилась на отступающих.

— Козлы! — орал Куник. Ремень он потерял и дрался просто так.

— Еще! — взвыл рядом с Костей Миша Попов, тыча рукой в сторону.

Костя повернул голову, и у него онемели ноги: от техкласса отвалилась толпа одетых и молча неслась на них.

И отступившая было вторая рота мощно подалась вперед. Блатные схитрили.

Полуодетые, придавленные сбоку свежими силами, заметались по плацу и, сбивая друг друга с ног, бросились домой, к казарме.

— Куда?! — заорал Куник. — Сто-ой! Стой, падлы!..

Костя бежал с зажмуренными глазами. Когда он открыл их, увидел, что в метре от него впереди несутся трое одетых с палками. Он обхватил голову руками и, споткнувшись, кубарем покатился по шершавому плацу. Одетый рыпнулся к нему с палкой над головой.

— Не бе-ей!.. — Голос Кости сорвался на писк.

— Удав гнутый! — Одетый с размаху ударил его сапогом. Хотел по голове, но Костя увернулся — попал по ребрам. И побежал дальше.

Костя потерял дыхание и на четвереньках уполз с плаца в темноту. И заткнувшись за голый куст акации, скрючился. Потом с трудом вытолкнул накопившийся воздух и понял, что опять жив.

Вдалеке из толпы одетых с криками вырывались полуодетые и неслись к казарме.

Блатные лупили оставшихся.

Вдруг Костя услышал возле своей головы цокот подков, не стройбатовский цокот... Задевая за куст, на плац выносились губари, на бегу сдергивая с плеч автоматы. Раздались короткие очереди.

Костя впервые в жизни слышал настоящие выстрелы.

Драка замерла.

— Губа-а!..

Все бросились врассыпную. Одетые бежали рядом с раздетыми. Куник с Мишей Поповым ломанулись во вторую. А одетые мчались к ним — в четвертую.

Костя отжался от земли, встал в несколько приемов, не сразу, и, наращивая ход, заковылял в роту.

На плацу, помыкивая, корячились подбитые.

Трещали выстрелы.

Костя споткнулся, налетев на сугроб, и, падая, увидел, как здоровенный длинный губарь с откляченной задницей гнал перед собой раздетого с лопатой и палил вверх из автомата.

И вдруг раздетый споткнулся, выронил лопату, свет прожектора мазнул его по лицу, блеснули зубы. Нуцо!

Губарь с разбегу налетел на него и стволом автомата ударил в спину.

Нуцо обернулся и застыл, уставившись на губаря.

— Ты-ы? — прошипел он. — Ты-ы?..

И пошел на губаря. Тот молча пятился, по-дурацки загоразживаясь автоматом.

— Ты! — выкрикнул Нуцо. — Ты!

— Не подходи! — Губарь перехватил автомат. — Убью!

Сзади над губарем взметнулась лопата. Костя видел ее блестящий штык. Губарь выронил автомат и схватился за голову. Вскрик был совсем слабый, заглушенный остатками драки и редкими выстрелами.

Нуцо шагнул в темноту, куда упал губарь, и медленно выпятился обратно.

— Беги! — громко прошипел он, выдергивая у солдата из рук лопату. — Беги, Фиша!

...Деревянные подпорки-столбики у крыльца четвертой роты были выломаны. Женька Богданов метелил одетых, но те, не обращая внимания на удары, тупо перлись в чужую роту.

Костя долго втискивался в узкий дверной проем, заклиненный ошалелой толпой. Кто-то оттолкнул его, он снова втиснулся, его ударили по лицу, он не ощутил боли. Добравшись наконец до своей койки, Костя упал на нее и с головой накрылся одеялом.

Сколько времени прошло, он не знал. Кто-то сдернул с него одеяло. Костя открыл глаза. Быков.

За разбитыми окнами тормознул «Запорожец» Лысодора. Лысодор, в шапке пирожком, в коричневом драповом пальто, быстро вошел в казарму.

— Здравствуй, Петр Мироныч! — протянул ему руку Быков. — Кто дежурным сегодня?

— Буря... Младший лейтенант Шамшиев.

В роту влетел старшина Мороз. Дернул руку к козырьку.

— Твой, Остапыч, — с удовлетворением сказал Быков. — Молодцы ребятки... Ты им сухари суши, Остапыч.

Рота молча стояла посреди казармы.

— Зачем сухари? — тупо спросил Миша Попов, пробуя зубы на шаткость.

— Кто спрашивает? — обернулся к нему Быков. — Ты, плановой? Ты зубки-то не трогай, опусти ручки... Вот так. Сухари зачем?.. Гры-ызть... Сидеть и грызть. Вот так вот, ребятки-козлятки. А вы как думали? Не хотите по-человечески служить, — голос Быкова набрал полную силу, — башкой к параше!.. Всю роту! На строгач! Роба в полоску!

— Вторая начала! — выкрикнул кто-то из строя.

— Кто сказал — шаг вперед!

Никто не вышел.

— Чего творят, падлы! — покачал головой Мороз. — Два года и тех не могут... А я, мы все вот... — Мороз поочередно ткнул пальцем в Быкова, в Лысодора и в себя. — И до войны, и войну всю, и после...

— Ты им, Остапыч, больше не объясняй, — переходя на обычный свой красивый спокойный голос, сказал Быков. — Объяснять своим можно. А это... Р-рота-а! Слушай мою команду! Становись! Равняйся! Смирно! Старшина! Поверку полным списком. Из роты никому. Где Дошинин?

— Поехали за ним.

— А кто «подъем» крикнул?

Строй молчал, но все как один невольно посмотрели на Бабая. Бабай вобрал башку в плечи и замер, вздрагивая, как от холода.

Брестель с журналом в руках начал поверку.

— Кто дневалил? — спросил Быков.

— Это не я...— заплакал Бабай.

— Что такое? — брезгливо поморщился Быков.— Старшина! Мороз подался вперед.

— Да он сейчас... Пройдет у него... Керимов! — рывкнул он на Бабая.— Чего раньше времени?! Тебя никто ничего, а ты в сопли?!

— Кричал...— залопотал Бабай.— Я не знал... Мне кричали — я кричал.

— На КПП,— бросил Быков.— Потом будем разбираться. Начинайте поверку.

В роту вбежал Валерка Бурмистров со своими.

Бабай стоял последним в строю. Слезы текли по его небритым щекам.

Мороз хлопнул по спине Валерку.

— Это... Сведи его, что ль. Чего он здесь? Тулуп дай. А то замерзнет. Тулуп, говорю, дай!

Валерка вытянулся:

— Есть!

— Понабрали армию...— бормотал Мороз.— Уводи, кому сказал! Валерка потянул Бабая за рукав.

— Пошли...

Мороз заглянул в Ленинскую комнату, покачал головой.

— А здесь-то стекла кому мешали?.. Графин где?

— Разбили при наступлении,— усмехнулся Куник.

— Ты, верзила, молчал бы! С тебя первый спрос!— Мороз погрози ему татуированным кулаком.

Брестель закончил поверку и с журналом подошел к Морозу. Мороз надел очки, взял журнал в руки.

— Все по списку? — спросил Быков Мороза.

— Никак нет, двое в больнице, один в бегах, трое насчет туалета, чистят. Их сюда без бани нельзя — в калу все...

— Карамычев здесь,— заложил Костю Брестель.

— Отбой,— скомандовал Быков и вышел из казармы.— Минута. Всем по койкам!

Строй распался, загудел.

— Слышь, Карамычев, твои не воевали, ясно? — сказал Мороз, подойдя к Костиной койке.— Ты-то сам на кой хрен в казарме?

— Не знаю...— промямлил Костя.

— Узнаешь... Следствие вот начнут — все узнаешь... Над тобой койка пустая? Я лягу.— Мороз расстегнул мундир, под мундиром была красная бабья кофта, застегнутая на левую сторону.

— Зачем вам наверх, товарищ старшина? — засуетился Костя.— Ложитесь внизу, я наверх...

— Ладно,— скривился Мороз и полез на верхнюю койку.— Это у вас, у сопляков, счеты: кому где спать... Петух жареный не долбил еще... Живые все?

— Губаря кто-то сделал,— сказал Женька.

— Их долбить — стране полегче,— сказал Старый.

— Молчал бы... Башка как колено, а домой возвратиться не можешь!

Мороз заворочался, укладываясь поудобнее.

— Кто губаря — разберутся,— покряхтел он,— а вот библиотекарке глаз хоть фанэрой зашивай...

— Откуда вы знаете?! — вздернулся Женька.

— Ишь ты! — ухмыльнулся Мороз.— Задергался, хахаль кособрюхий. Будешь ей теперь из тюрьги за увечье платить. Побахвалиться захотелось перед сикухой: нет, мол, на меня управы!.. Хочу — дурь сосу, хочу — бабу в роте черепешу... Дурак! Спать. Отбой.

Казарма затихла.

Костя лежал с открытыми глазами. Наверху под Морозом заскрипели пружины.

— А билеты-то взяли? — шепотом спросил Мороз, свесившись с полки.

— Взяли.

— Ты вот что, ты одеись и к своим иди, может, ничего, может, получится...

5

Голая — старики в плавающих, молодые в одних подштанниках, — посиневшая четвертая рота стояла выстроенная вдоль казармы.

Комиссия — коротенький полковник и два майора в сопровождении Быкова, Лысодора, капитана Дощинина, Мороза и забинтованного Бурята — неспешно бродила вдоль строя.

Уже начались хитрости: поврежденные в побоище старались по мере приближения комиссии встать в начало строя, где комиссия уже прошла. Поэтому комиссия прошла вдоль строя один раз, потом еще раз — со спины.

— Руки вверх! — скомандовал коротенький полковник.

Двести с лишним багровых стройбатовских кулаков на белых руках вскинулись к потолку.

— Туда, — негромко скомандовал полковник Сашке Кунику. Под мышкой у него синел квадратный отпечаток пряжки.

Куник понуро поплелся в Ленинскую комнату, куда комиссия загоняла явных участников.

Через некоторое время восемнадцать человек без ремней в сопровождении губарей потопали по бетонке к воротам. И Куник, и Жеңька, и Миша Попов. На губу. На КПП места мало.

В казарме встали стекла, стало теплее. Максимка оттирал присохшую к тумбочке кровь и рвоту.

— ...Вина хорошего поьем... — Нуцо ломом натягивал половые доски, а Костя шил гвоздем. — У меня вся Молдавия родня. У меня дед есть. Он еще против вашего царя воевал. Его побили, он глупой сделался. И слабый весь. Румынский царь ему пенсию платил. А потом ваши пришли перед войной. Перестали платить, враг стал...

— В Москву пусть напишет, — посоветовал Фиша.

Нуцо засмеялся.

— Да он помрет скоро. Старый... Мороз идет!

Мороз подошел к яме, заглянул в нее.

— Кончаете уж?.. Ну-ка хэбэ скидайте!

Фиша стянул робу.

— Ты-то чего раздеешься? — жестом остановил его Мороз. — Ты ж на плацу не был. Одеись назад. — Мороз покачал головой. — Ишь, какая нация шерстистая, хуже грузинов. — Обошел голого по пояс Нуцо. — Чисто. Одеись. — Посмотрел на Костю спереди, остался доволен. — Повернись! (Костя повернулся спиной.) Божечки ж ты мой!.. Ты погляди, у него ж спина!.. И пряха. След. Куда ж ты лез-то паразит! — Он пыхнул дымом в сторону.

Костя стал вяло одеваться.

— Да, кто ж губаря-то, а?..

Костя пожал плечами. И посмотрел на Нуцо. И Нуцо, улыбаясь, тоже пожал плечами.

— Работайте, — сказал Мороз. — Бог даст...

С губы донеслась песня: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди».

— Ты зубы-то сыми, — проворчал напоследок Мороз в сторону Нуцо. — Медь во рту — один вред... И людям в глаза бросается... А то слухи: с зубами ктой-то по плацу прыгал...

Мороз ушел.

Нуцо ногтями стал торопливо скovyривать бронзовые коронки, от усердия даже на землю сел.

— Ты чего? — обеспокоился Фиша. — Земля холодная, а тебе почки болят. Встань.

Перед самым ужином прибежал Валерка Бурмистров. Валерку бил колотун, тряслось все: и сиськи и брюхо...

— Земеля-я! Мать твою... — зашипел он, наступив кедом на гвоздь в доске. С перекошенной от боли мордой Валерка другой ногой придержал доску, снялся с гвоздя. — Чурка ваш повешался, на хрен!

— Бабай?! — выдохнул Костя.

— Он... Сволочь, — шипел Валерка, тряся ногой. — Заражения не будет?

— Когда?

— Да он не до смерти, — скривился Валерка. — Слышь, еврей! — крикнул он Фише, столбом замершему в яме. — Йод принеси! По-быстрому! Кому сказал?!

Фиша не трогался с места.

— Принеси, — попросил Костя. — В канцелярии аптечка.

— Сплю, земля, и чего-то прям, знаешь, ну не знаю, как сказать, — бормотал Валерка. — Встал, в глазок глянул. А он висит, ногами дрыгает. Я раз — и за сапоги!.. Чуть ему калган не оторвал.

— Живой он?

— Дышит... Я его малость... — Валерка потусовал кулаками воздух. — А чего он?! Я с него ремень брючный забыл, он на нем и повешался. Пойдем глянем, а то я один не это... Пойдем, земля...

Бабай лежал на бетонном полу в камере. И плакал. Лицо его было разбито.

— Бабай! — Костя потерял его за рукав. — Ты чего?.. Зачем ты?..

— В турму не хочу...

— Да кому ты, на хрен... — замахнулся по инерции Валерка.

— Позови Морозу! — плакал Бабай. — Позови старшину Морозу!..

— Позвать бы... — поднимаясь с корточек, полувопросительно сказал Костя. — Мороз в роте?

— За дочками в детсад пошел. Да вон он!

Мороз стоял на трамвайной остановке, держа за руки двух девочек.

Когда жена Мороза, работавшая поварихой в полку, в Шестом поселке, опаздывала на автобус, Мороз сам забирал дочек из сада, и они до темноты ошивались в роте. Богдан приволок для них со свалки трехколесный велосипед, подвинутил, подкрасил.

— Товарищ старшина! — заорал Валерка.

— Чего орешь? — Мороз потянул девочек к воротам КПП, приподнял фуражку, пятерней прочесал седые волосы.

— Чурка чуть не повешался! — выпалил Валерка. — Я сдернул!

— Чего-чего? Идите-ка погуляйте, — сказал Мороз дочкам. — Велисапед свой в каштерку возьмите, покатайтесь.

Девочки вприпрыжку убежали.

— Живой? — спросил Мороз.

— Нормальный ход. Не до смерти.

— Та-ак... — пробормотал Мороз. — Начинается...

6

Последним из трамвая вылез старик в азиатском халате и на костылях. На голове у него была огромная лохматая папаха из рассыпающихся завитков, а на единственной ноге — нерусский коричневый сапог в остроносой калоше. За спиной старика был вещмешок.

Он вылез из автобуса, подпрыгнул пару раз на ноге, установился и поправил вещмешок. Потом стал озираться.

— Стирайбат? — сказал он Косте. — Сын тут.

Костя показал на железные ворота с двумя красными звездами.

— В гости, — сказал Костя Валерке, подводя старика к крыльцу КПП.

— Фамилия?

Старик достал из-за пазухи паспорт, сунул Валерке.

— «Керимов», — прочел Валерка. — Какой роты?

— Стирайбат, — кивнул старик.

— Керимов, Керимов?.. — повторил Валерка, наморщив лоб. —

Погоди.

Валерка занырнул в КПП и пальцем поманил за собой Костю.

— Слышь, земля! Гадам быть, Бабаев пахан!

Валерка вышел на крыльцо, отдал старику паспорт.

— Вы это... — Валерка почесал за ухом. — Вы чайку попейте с дороги. Командир скоро придет, тогда... Эй!

Из караулки выскочил молодой.

— Отведешь товарища в столовую. Чтобы ему там...

Из столовой Мороз привел старика в роту.

— В ногах правды нет, — сказал он, пододвигая старому туркменную табуретку.

Старик сложил костыли и, придерживаясь за тумбочку, сел на половину табуретки, на свободную половину табуретки показал Морозу, приглашая его тоже сесть.

Мороз похлопал его по ватному плечу.

— Сиди, сиди. Дневальный где?! Рзаев!

Дневального он нашел в каптерке. Егорка дописывал хлоркой свою фамилию на подкладке нового бушлата. Под свежей фамилией «Рзаев» — фамилия прежнего владельца.

— Чем занят?! — заорал на него Мороз. — Где твоё место?

Егорка вскочил, сунул бушлат в хлам, наваленный в углу каптерки.

— Эти не разъехались, а уже застариковал, — проворчал Мороз. — И побройся хоть. От людей стыдно. — Он кивнул на старого Бабая, привалившегося лохматой папахой к стене.

Старик открыл узкие глаза.

— Оглум, мусульманмысан?

— Бяли, мусульманым, — ответил Егорка совсем иным, почтительным, голосом.

— Понимает, — удивился Мороз. — Так у вас что ж, нации одинакие?.. Или как?

— Понимаю просто, и все!

— Тогда таким порядком. — Мороз снял фуражку, провел по волосам пятерней. — Рзаев, слушай сюда. В углу у Карамычева коечку застлать товарищу чистым, полотенец... Пусть отдыхает. Расход ему вечером принесешь — покушает.

Мороз протянул старику руку. Старик засуетился с костылями, хотел встать.

— Сиди, сиди, — остановил его старшина. — Может, обойдется... Как суд решит...

— Будды, — кивнул старик и приставил костыли к стене.

Старик расположился на Богдановой койке. Сейчас он рылся в своем вещмешке.

— Не мешаю? — буркнул Костя.

Старик не понял вопроса, достал из мешка большой белый платок, расстелил его на полу. Костя подобрал ноги. Старик снял халат, под халатом был пиджак с медалями.

Встав коленями на платок, старик стоймя поставил на тумбочку папаху, сложил перед собой на груди руки, закрыл глаза и сказал, как в кино:

— Аллаху акбар...

И начал тихо стонать по-своему — молился.

В промежутках между бормотаниями он проводил руками по лицу и груди. Медали на пиджаке позвякивали, когда он нагибался.

— Аллаху акбар,— сказал старик и со скрипом стал подниматься.

Потом стащил на пол матрац и лег на него, укрывши голову платком. И тут же захрапел.

Костя принес из каптерки свою шинель и набросил на старика.

Заложив руки за спину, Мороз медленно брел по бетонке, Костя плелся за ним.

— Чего ты все ноешь?! — обернулся к нему старшина, хотя Костя молчал.— Русский язык не понимаешь! Сказано: ступай в роту.

— Билеты у нас... Мне домой...

— Домой!..— прошипел Мороз.— Ты ж на поверке торчал, дурень!.. Сводку в штаб дивизии послали, кто участвовал... пофамильно... Губарь-то помер!

— Не я же! — простонал Костя.

— А кто? Дед пихто?

Мороз остановился у входа в казарму, поднял с земли вырванную дверь. Костя дернулся помочь.

— Не лезь! — Мороз прислонил дверь к стене казармы.— Все равно не поедешь! Пока то-се... Кто губаря, кто закоперщик... Ицкович-то поумней тебя, не светился. Так что билет свой Бурмистрову отдай, он пошлет кого, хоть деньги получишь.

— А Ицкович?

— А Ицкович пусть едет.

— Фишель?! — ахнул Костя.— Так ведь это же он...

— Что он? — Мороз обернулся.

— Он... губаря...

«Характеристика на военного строителя Карамычева К. М., год призыва — 1968 (июнь), русский, б/п, 1949 года рождения.

За время службы в N-ском ВСО военный строитель рядовой Карамычев К. М. проявил себя как инициативный, исполнительный, выполняющий все уставные требования воин.

За отличный труд, высокую воинскую и производственную дисциплину рядовому Карамычеву К. М. было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Был назначен командиром отделения.

Карамычев принимал активное участие в общественной жизни роты, являлся редактором «боевого листка» и членом совета библиотеки N-ского ВСО.

Военный строитель рядовой Карамычев К. М. пользовался авторитетом среди товарищей, морально устойчив, политически грамотен.

Характеристика дана для представления в Московский университет.

*Командир подразделення: Дошинин, 1 апреля 1970 года.
«Согласен». ВРИО командир ВСО: Лысодор, 2 апреля 1970 года».*

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



ИСЦЕЛЕНИЕ

Очевидец

Под вселенский голос вьюги
на диване в темноте
поразмыслить на досуге
о Пилате и Христе.

...Как же так! — руками трогать
воздух истины, итог,
в двух шагах стоять от Бога
и не верить, что он — Бог...

Под тенистою маслиной,
на пороге дивных дней
видеть солнечного сына —
и не сделаться светлей!

Отмахнуться... Вымыть руки.
Ах, Пилат, а как же нам
под щемящий голос вьюги
строить в сердце Божий храм?

Нам, не знавшим благодати,
нам, забывшим о Христе,
нам, сидящим в Ленинграде
на диване — в темноте?

1988.

Размышления на лестничной площадке

Вот газеты хрустящие,
вот журналы... А тут,
а из этого ящика
ничего не берут.

Под завязку насовано
извещений, газет, —
сколько смысла спрессовано,
а хозяина — нет.

Хорошо, если в отпуске,
где-нибудь у реки:

в берег удочки воткнуты —
ни забот, ни тоски.

Настоящее — скомкано,
сплыли дети, жена...
Из его однокомнатной
бьет под дверь тишина!

Кто он в жизни вещественной?
Плоть в потертом пальто?
На звонок мой «общественный»
не ответил никто.

1988.

Исцеление

В пепельных глазах — зарницы!
Жизнь! — в сосудах кровь
слышна.
...Выпустили из больницы.
Изменились времена.

Кем он был в ночи минувшей,
в тине, что звалась судьбой?
Пасынком, стране не нужным?
Иноком? Самим собой.

Рвет ему лицо гримаса —
кожа в трещинах морщин.
Справочку, а также паспорт
выдал медицинский чин.

Улица выводит к людям.
Надобно забыть тюрьму.

Жаловаться он не будет —
даже Богу своему.

Примет он мильон условий,
новых он найдет друзей...
Лишь бы исцелилась совесть
времени, эпохи всей.

1988.

Два пятистишия

*

— Вы превратили Истину в руины! —
сказал поэт, забыв, что эту твердь
зубила не берут и не взрывают мины.
Она всегда нетленна и невинна
и все венчает. Даже нашу смерть.

*

Что-то было, какие-то смыслы:
то ли хутор, а может — погост.
Эти выступы почвы бугристой —
словно формулы, буквицы, числа...
И трава — в человеческий рост.

1988.

Красное и белое

Россия — единое целое,
но в заспанном сердце ее
то красное вспыхнет, то белое!
То кровное жжет, то — ничье.

За прошлым грядущее гонится,
приспичило марши играть!
И вот уже красная конница
несется на белую рать.

На что разрешение выпадет —
о том и молчим и поем.

То кровушка белая выпита,
то кровушку красную пьем.

А ежели драться не велено —
ударимся в сон-тишину,
и вот уже беленьким, беленьким,
как снегом, заносит страну...

...Но, вычерпав время напрасное,
над белым, чью грязь не отмыть,
мы будем оплакивать красное
и маршами душу томить.

1988.

Геометрия судьбы

Благословенны вертикали:
деревья, здания, столпы,
дым из трубы, стрела из стали
и частокол людской толпы...

Нет, не толпы, толпа — понура,
а знак священный бытия
есть — одинокая фигура
у моря, в поле у жнивья,

в горах на ледяной вершине,
в пыли астральной на Луне,
а кто стоит, в каком он чине,
каких кровей — не важно мне.

Стоит, живет! По вертикали.
Всем сердцем впитывая даль.
Покуда все его печали
не зачеркнет... горизонталь.

1988.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ



1984*

Роман

ТРЕТЬЯ

I

Уинстон не знал, где он. Вероятно, его привезли в министерство любви, но удостовериться в этом не было никакой возможности.

Он находился в камере без окон, с высоким потолком и белыми, сияющими кафельными стенами. Скрытые лампы заливали ее холодным светом, и слышалось ровное тихое гудение — он решил, что это вентиляция. Вдоль всех стен, с промежутком только в двери, тянулась то ли скамья, то ли полка как раз такой ширины, чтобы сесть, а в дальнем конце, напротив двери, стояло ведро без стульчака. На каждой стене было по телекрану — четыре штуки.

Он чувствовал тупую боль в животе. Заболело еще тогда, когда Уинстона захихнули в фургон и повезли. Ему хотелось есть — голод был сосущий, нездоровый. Он не ел, наверное, сутки, а то и полтора суток. Он так и не понял, и скорее всего не поймет, когда же его арестовали, вечером или утром. После ареста ему не давали есть.

Как можно тише он сел на узкую скамью и сложил руки на колене. Он уже научился сидеть тихо. Если делаешь неожиданное движение, на тебя кричит телекран. А голод донимал все злее. Больше всего ему хотелось хлеба. Он предполагал, что в кармане комбинезона завалялись крошки. Или даже — что еще там могло щекотать ногу? — кусок корки. В конце концов искушение пересилило страх; он сунул руку в карман.

— Смит! — гаркнуло из телекрана. — Шестьдесят — семьдесят девять, Смит У.1 Руки из карманов в камере!

Он опять застыл, сложив руки на колене. Перед тем как попасть сюда, он побывал в другом месте — не то в обыкновенной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Он не знал, долго ли там пробыл — во всяком случае, не один час: без окна и без часов о времени трудно судить. Место было шумное, вонючее. Его поместили в камеру вроде этой, но отвратительно грязную, и теснилось в ней не меньше десяти—пятнадцати человек. В большинстве обыкновенные уголовники, но были и политические. Он молча сидел у стены, стиснутый грязными телами, от страха и боли в животе почти не обращал внимания на сокамерников — и тем не менее удивился, до чего по-разному ведут себя партийцы и остальные. Партийцы были молчаливы и напуганы, а уголовники, казалось, не боятся никого. Они выкрикивали оскорбления надзирателям, яростно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали на полу непристойности, ели пищу, пронесенную контрабандой и спрятанную в непонятных местах под одеждой, и даже огрызались на телекраны, призывавшие к порядку. С другой стороны, некоторые из них как будто были на дружеской ноге с надзирателями, звали их по кличкам и через глазок клянчили у них сигареты. Надзиратели относились к уголовникам снисходительно, даже когда приходилось применять к ним

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2, 3 с. г.

силу. Много было разговоров о каторжных лагерях, куда предстояло отправиться большинству арестованных. В лагерях «нормально», понял Уинстон, если знаешь что к чему и имеешь связи. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, там педерастия и проституция и даже самогон из картошки. На должностях только уголовники, особенно бандиты и убийцы — это аристократия. Самая черная работа достается политическим.

Через камеру непрерывно текли самые разные арестанты: торговцы наркотиками, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Пьяницы иногда буянили так, что остальным приходилось умирять их сообща. Четверо надзирателей втащили, растянув за четыре конечности, громадную растерзанную бабищу лет шестидесяти, с большой вислой грудью; она кричала, дрыгала ногами, и седые волосы ее, собранные в узел, рассыпались от возни. Она все время норовила пнуть надзирателей, и, сорвав с нее ботинки, они свалили ее Уинстону на колени так, что чуть не сломали ему ноги. Женщина села и крикнула им вдогонку: «За...цы!» Потом, почувствовав, что сидеть неудобно, сползла с его колен на скамью.

— Извини, голубок, — сказала она. — Я не сама на тебя села — паразиты посадили. Видал, что с женщиной творят? — Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. — Извиняюсь. Сама не своя.

Она наклонилась, и ее обильно вырвало на пол.

— Все полегче, — сказала она, с закрытыми глазами откинувшись к стене. — Я так говорю: никогда в себе не задерживай. Выпускай, чтоб в животе не закисло.

Она слегка ожила, повернулась, еще раз взглянула на Уинстона и моментально к нему расположилась. Толстой ручищей она обняла его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой.

— Звать-то тебя как, голубок?

— Смит, — сказал Уинстон.

— Смит? Смотри ты. И я Смит. — И, расчувствовавшись, добавила: — Я тебе матерью могла быть.

Могла быть и матерью, подумал Уинстон. И по возрасту и по телосложению — а за двадцать лет в лагере человек, надо полагать, меняется.

Больше никто с ним не заговаривал. Удивительно было, насколько уголовники игнорируют партийных. Называли они их с нескрываемым презрением «политики». Арестованные партийцы вообще боялись разговаривать, а друг с другом — в особенности. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он услышал в общем гомоне обрывки их торопливого шепота — в частности, о какой-то «комнате сто один», что-то совершенно непонятное.

В новой камере он сидел, наверно, уже два часа, а то и три. Тупая боль в животе не проходила, но временами ослабевала, а временами усиливалась — соответственно мысли его то распространялись, то съеживались. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о том, что хочется есть. Когда она отступала, его охватывала паника. Иной раз предстоящее рисовалось ему так ясно, что дух занимался и сердце несло вскачь. Он ощущал удары дубинки по локтю и подкованных сапог по щиколоткам; видел, как ползает по полу и, выплевывая зубы, кричит «не надо!». О Джулии он почти не думал. Не мог на ней сосредоточиться. Он любил ее и он ее не предаст; но это был просто факт, известный, как известно правило арифметики. Любви он не чувствовал и даже не особенно думал о том, что сейчас происходит с Джулией. О'Брайена он вспоминал чаще — и с проблесками надежды. О'Брайен должен знать, что его арестовали. Братство, сказал он, никогда не пытается выручить своих. Но — бритвенное лезвие; если удастся, они передадут ему бритву. Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет секунд пять. Лезвие вопьется обжигающим холодом, и даже пальцы, сжавшие его, будут прорезаны до кости. Все это он ощущал явственно, а измученное тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уинстон не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки. Ведь человеку свойственнее жить мгновением, он согласен продлить жизнь хоть на десять минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка.

Несколько раз он пытался сосчитать изразцы на стенах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад он был уверен, что на улице день в разгаре, а сейчас так же твердо — что за стенами тюрьмы глухая

ночь. Инстинкт подсказывал, что в таком месте свет вообще не выключают. Место, где нет темноты; теперь ему стало ясно, почему О'Брайен как будто сразу понял эти слова. В министерстве любви не было окон. Камера его может быть и в середине здания и у внешней стены; может быть под землей на десятом этаже, а может — на тридцатом над землей. Он мысленно двигался с места на место — не подскажет ли тело, где он, высоко над улицей или погребен в недрах.

Снаружи послышался мерный топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Браво вошел молодой офицер в ладном черном мундире, весь сияющий кожей, с бледным правильным лицом, похожим на восковую маску. Он знаком приказал надзирателям за дверью ввести арестованного. Спотыкаясь, вошел поэт Амплфорт. Дверь с лязгом захлопнулась.

Поэт неуверенно ткнулся в одну сторону и в другую, словно думая, что где-то будет еще одна дверь, выход, а потом стал ходить взад и вперед по камере. Уинстона он еще не заметил. Встревоженный взгляд его скользил по стене на метр выше головы Уинстона. Амплфорт был разут; из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы. Он несколько дней не брился. Лицо, до скул заросшее щетиной, приобрело разбойничий вид, не вязавшийся с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений.

Уинстон старался стряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Амплфортом — даже если за этим последует окрик из телекрана. Не исключено, что с Амплфортом прислали бритву.

— Амплфорт, — сказал он.

Телекран молчал. Амплфорт, слегка опешив, остановился. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне.

— А-а, Смит! — сказал он. — И вы тут!

— За что вас?

— По правде говоря... — Он неуклюже опустился на скамью напротив Уинстона. — Ведь есть только одно преступление?

— И вы его совершили?

— Очевидно, да.

Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно что-то припоминая.

— Такое случается, — неуверенно начал он. — Я могу припомнить одно обстоятельство... возможное обстоятельство. Неосторожность с моей стороны — это несомненно. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я оставил в конце строки слово «молитва». Ничего не мог сделать! — добавил он почти с негодованием и поднял глаза на Уинстона. — Невозможно было изменить строку. Рифмовалось с «битвой». Вам известно, что с «битвой» рифмуются всего три слова? Вылом голову несколько дней. Не было другой рифмы.

Выражение его лица изменилось. Досада ушла, и сейчас вид у него был чуть ли не довольный. Сквозь грязь и щетину проглянул энтузиазм, радость педанта, откопавшего какой-то бесполезный фактик.

— Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялось бедностью рифм в языке?

Нет, эта мысль Уинстону никогда не приходила в голову. И в нынешних обстоятельствах она тоже не показалась ему особенно интересной и важной.

— Вы не знаете, который час? — спросил он.

Амплфорт опять опешил.

— Я об этом как-то не задумывался. Меня арестовали... дня два назад... или три. — Он окинул взглядом стены, словно все-таки надеялся увидеть окно. — Тут день от ночи не отличишь. Не понимаю, как тут можно определить время.

Они поговорили бессвязно еще несколько минут, а потом без всякой видимой причины телекран рявкнул на них: замолчать! Уинстон затих, сложив руки на колене. Большому Амплфорту было неудобно на узкой скамье, он ерзал, сдвигался влево, вправо, обхватывал худыми руками то одно колено, то другое. Телекран снова рявкнул: сидеть тихо! Время шло. Двадцать минут, час — понять было трудно. Снаружи опять затопали башмаки. У Уинстона схватило живот. Скоро, очень скоро, может быть, через пять минут, затопают так же, и это будет значить, что настал его черед.

Открылась дверь. Офицер с безучастным лицом вошел в камеру. Легким движением руки он показал на Амплфорта.

— В комнату сто один,— произнес он.

Амплфорт в смутной тревоге и недоумении неуклюже вышел с двумя надзирателями.

Прошло как будто много времени. Уинстона донимала боль в животе. Мысли снова и снова ползли по одним и тем же предметам, как шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было шесть. Болит живот; кусок хлеба; кровь и вопли; О'Брайен; Джулия; бритва. Живот опять схватило: тяжелый топот башмаков приближался. Дверь распахнулась, и Уинстона обдало запахом старого пота. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке.

От изумления Уинстон забыл обо всем.

— Вы здесь! — сказал он.

Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только пришибленность. Он нервно заходил по камере — по-видимому, не мог сидеть спокойно. Заметно было, как дрожат его пухлые колени. Широко раскрытые глаза неподвижно смотрели вперед, словно не могли оторваться от какого-то предмета вдалеке.

— За что вас арестовали? — спросил Уинстон.

— Мыслепреступление! — сказал Парсонс, чуть не плача. В голосе его слышалось и полное признание вины, и смешанный с изумлением ужас: неужели это слово относится к нему? Он стал напротив Уинстона и страстно, умоляюще начал: — Ведь меня не расстреляют, скажите, Смит? У нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал... только за мысли, а мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают. В это я твердо верю. Там же знают, как я старался. Вы-то знаете, что я за человек. Неплохой по-своему. Ума, конечно, не большого, но увлеченный. Сил для партии не жалел, правда ведь? Как думаете, пятью годами отделаюсь? Ну пускай десятью. Такой, как я, может принести пользу в лагере. За то, что один раз споткнулся, ведь не расстреляют?

— Вы виноваты? — спросил Уинстон.

— Конечно, виноват! — вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телекран. — Неужели же партия арестует невиноватого, как, по-вашему? — Его лягушачье лицо стало чуть спокойней, и на нем даже появилось ханжеское выражение. — Мыслепреступление — это жуткая штука, Смит, — нравоучительно произнес он. — Коварная. Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне. Верно вам говорю. Работал всюю, вносил свою лепту — и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь. А потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали? — Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести непристойность. — Долой Старшего Брата! Вот что я говорил. И кажется, много раз. Между нами, я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. Знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу: «Спасибо вам. Спасибо, что спасли меня вовремя».

— Кто о вас сообщил? — спросил Уинстон.

— Дочурка, — со скорбной гордостью ответил Парсонс. — Подслушивала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день — шасть к патрулям. Недурно для семилетней пигалицы, а? Я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе.

Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов. И вдруг сдернул шорты.

— Прошу прощения, старина. Не могу больше. Это от волнения.

Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями.

— Смит! — рявкнул телекран. — Шестьдесят — семьдесят девять, Смит У.! Откройте лицо! В камере лицо не закрывать!

Уинстон опустил руки. Парсонс обильно и шумно опростался в ведро. Потом выяснилось, что крышка подогнана плохо, и еще несколько часов в камере стояла ужасная вонь.

Парсонса забрали. Таинственно появлялись и исчезали все новые арестанты. Уинстон заметил, как одна женщина, направленная в «комнату 101», съезжилась и побледнела, услышав эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была, наверно, вторая половина дня; а если привели днем — то полночь. В каме-

ре осталось шесть арестованных, мужчин и женщин. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки оттопыривались снизу, и очень трудно было отделаться от ощущения, что у него там спрятана еда. Его светло-серые глаза пугливо перебегали с одного лица на другое, а встретив чей-то взгляд, тут же устремлялись прочь.

Открылась дверь, и ввели нового арестанта, при виде которого Уинстон похолодел. Это был обыкновенный неприятный человек, какой-нибудь инженер или техник. Поразительной была изможденность его лица. Оно напоминало череп. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то.

Новый сел на скамью неподалеку от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо-череп так и стояло перед глазами. Он вдруг сообразил, в чем дело. Человек умирал от голода. Эта мысль, по-видимому, пришла в голову всем обитателям камеры почти одновременно. На всей скамье произошло легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на лицо-череп, виновато отводил взгляд и снова смотрел, как будто это лицо притягивало его неудержимо. Он начал ерзать. Наконец встал, вперевалку подошел к скамье напротив, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку-черепу грязный кусок хлеба.

Телекран загремел яростно, оглушительно. Человек без подбородка вздрогнул всем телом. Человек-череп отдернул руки и спрятал за спину, как бы показывая всему свету, что не принял дар.

— Бамстед! — прогремело из телекрана. — Двадцать семь — тридцать один, Бамстед Д.! Бросьте хлеб!

Человек без подбородка уронил хлеб на пол.

— Стоять на месте! Лицом к двери. Не двигаться.

Человек без подбородка подчинился. Его одутловатые щеки заметно дрожали. С лязгом распахнулась дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, а из-за его спины появился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами. Он стал против арестованного и по знаку офицера нанес ему сокрушительный удар в зубы, вложив в этот удар весь свой вес. Арестованного будто подбросило в воздух. Он отлетел к противоположной стене и свалился у ведра. Он лежал там оглушенный, а изо рта и носа у него текла темная кровь. Потом он стал не то повизгивать, не то хныкать как бы еще в беспамятстве. Потом перевернулся на живот и неуверенно встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью вывалились две половинки зубного протеза.

Арестованные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка забрался на свое место. Одна сторона лица у него уже темнела. Рот распух, превратившись в бесформенную, вишневого цвета массу с черной дырой посередине. Время от времени на грудь его комбинезона падала капля крови. Его серые глаза опять перебегали с лица на лицо, только еще более виновато, словно он пытался понять, насколько презирают его остальные за это унижение.

Дверь открылась. Легким движением руки офицер показал на человека-череп.

— В комнату сто один, — распорядился он.

Рядом с Уинстоном послышался шумный вздох и возня. Арестант упал на колени, умоляюще сложив ладони перед грудью.

— Товарищ! Офицер! — заголосил он. — Не отправляйте меня туда! Разве я не все вам рассказал? Что еще вы хотите узнать? Я во всем признаюсь, что вам надо, во всем! Только скажите в чем — и я сразу признаюсь. Напишите — я подпишу... что угодно! Только не в комнату сто один!

— В комнату сто один, — сказал офицер.

Лицо арестанта, и без того бледное, окрасилось в такой цвет, который Уинстону до сих пор представлялся невозможным. Оно приобрело отчетливый зеленый оттенок.

— Делайте со мной что угодно! — вопил он. — Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте умереть. Расстреляйте меня. Повесьте. Посадите на двадцать пять лет. Кого еще я должен выдать? Только назовите — я скажу все, что вам надо. Мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему шесть не исполнилось. Заберите их всех, перережь-

те им глотки у меня на глазах — я буду стоять и смотреть. Только не в комнату сто один!

— В комнату сто один,— сказал офицер.

Безумным взглядом человек окинул остальных арестантов, словно задумав подсунуть вместо себя другую жертву. Глаза его остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул исхудалую руку.

— Вам не меня, а вот кого надо взять! — крикнул он. — Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо. Я все вам перескажу слово в слово — разрешите. Это он против партии, а не я.

К нему шагнули надзиратели. Его голос взвился до визга:

— Вы его не слышали! Телекран не сработал. Вот кто вам нужен. Его берите, не меня!

Два дюжих надзирателя нагнулись, чтобы взять его под руки. Но в эту секунду он бросился на пол и вцепился в железную ножку скамьи. Он завыл, как животное, без слов. Надзиратели схватили его, хотели оторвать от ножки, но он цеплялся за нее с поразительной силой. Они пытались оторвать его секунд двадцать. Арестованные сидели тихо, сложив руки на коленях, и глядели прямо перед собой. Вой смолк; сил у человека осталось только на то, чтобы цепляться. Потом раздался совсем другой крик. Ударом башмака надзиратель сломал ему пальцы. Потом вдвоем они подняли его на ноги.

— В комнату сто один,— сказал офицер.

Арестованного вывели: он больше не противился и шел еле-еле, повесив голову и поддерживая изувеченную руку.

Прошло много времени. Если человека с лицом-черепом увели ночью, то сейчас было утро; если увели утром — значит, приближался вечер. Уинстон был один, уже несколько часов был один. От сидения на узкой скамье иногда начиналась такая боль, что он вставал и ходил по камере, и телекран не кричал на него. Кусок хлеба до сих пор лежал там, где его уронил человек без подбородка. Вначале было очень трудно не смотреть на хлеб, но в конце концов голод оттеснила жажда. Во рту было липко и противно. Из-за гудения и ровного белого света он чувствовал дурноту, какую-то пустоту в голове. Он вставал, когда боль в костях от неудобной лавки становилась невыносимой, и почти сразу снова садился, потому что кружилась голова и он боялся упасть. Стоило ему более или менее отвлечься от чисто физических неприятностей, как возвращался ужас. Иногда со слабеющей надеждой он думал о бритве и О'Брайене. Он допускал мысль, что бритву могут передать в еде, если ему вообще дадут есть. О Джулии он думал более смутно. Так или иначе, она страдает, и может быть, больше его. Может быть, в эту секунду она кричит от боли. Он подумал: «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы». Но решение это было чисто умственное — и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его не чувствовал. В таком месте чувств не остается, есть только боль и предчувствие боли. Да и возможно ли, испытывая боль, желать по какой бы то ни было причине, чтобы она усилилась? Но на этот вопрос он пока не мог ответить.

Снова послышались шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил на ноги. Он был настолько поражен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он не подумал о том, что рядом телекран.

— И вы у них! — закричал он.

— Я давно у них,— ответил О'Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением.

Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке.

— Вы знали это, Уинстон,— сказал О'Брайен. — Не обманывайте себя. Вы знали это... всегда знали.

Да, теперь он понял: он всегда это знал. Но сейчас об этом некогда было думать. Сейчас он видел только одно: дубинку в руке надзирателя. Она может обрушиться куда угодно: на макушку, на ухо, на плечо, на локоть...

По локтю! Почти парализованный болью, Уинстон повалился на колени, схватившись за локоть. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, невысказанно, чтобы один удар мог причинить такую боль! Желтый свет ушел, и он увидел, что

двое смотрят на него сверху. Охранник смеялся над его корчами. Одно по крайней мере стало ясно. Ни за что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев, нет героев, снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.

II

Он лежал на чем-то вроде парусиновой койки, только она была высокая и устроена как-то так, что он не мог пошевелиться. В лицо ему бил свет, более сильный, чем обычно. Рядом стоял О'Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону стоял человек в белом и держал шприц.

Хотя глаза у него были открыты, он не сразу стал понимать, где находится. Еще сохранялось впечатление, что он вплыл в эту комнату из совсем другого мира, какого-то подводного мира, расположенного далеко внизу. Долго ли он там пробыл, он не знал. С тех пор как его арестовали, не существовало ни дневного света, ни тьмы. Кроме того, его воспоминания не были непрерывными. Иногда сознание — даже такое, какое бывает во сне, — выключалось полностью, а потом возникало снова после пустого перерыва. Но длились эти перерывы днями, неделями или только секундами, понять было невозможно.

С того первого удара по локтю начался кошмар. Как он позже понял, все, что с ним происходило, было лишь подготовкой, обычным допросом, которому подвергаются почти все арестованные. Каждый должен был признаться в длинном списке преступлений — в шпионаже, вредительстве и прочем. Признание было формальностью, но пытки — настоящими. Сколько раз его били и подолгу ли, он не мог вспомнить. Каждый раз им занимался человек пять или шесть в черной форме. Били кулаками, били дубинками, били стальными прутьями, били ногами. Бывало так, что он катался по полу, бесстыдно, как животное, извивался ужом, тщетно пытаясь уклониться от пинков, и только вызывал этим все новые пинки — в ребра, в живот, по локтям, по лодыжкам, в пах, в мошонку, в крестец. Бывало так, что это длилось и длилось без конца, и самым жестоким, страшным, непростительным казалась ему не то, что его продолжают бить, а то, что он не может потерять сознание. Бывало так, что мужество совсем покидало его, он начинал молить о пощаде еще до побоев и при одном только виде поднятого кулака каялся во всех грехах, подлинных и вымышленных. Бывало так, что начинал он с твердым решением ничего не признавать, и каждое слово вытягивали из него вместе со стонами боли; бывало и так, что он малодушно заключал с собой компромисс, говорил себе: «Я признаюсь, но не сразу. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два удара — и я скажу все, что им надо». Иногда его избивали так, что он едва стоял, потом бросали, как мешок картошки, на пол камеры и, дав несколько часов передышки, чтобы он опомнился, снова вводили бить. Случались и более долгие перерывы. Их он помнил смутно, потому что почти все время спал или пребывал в оцепенении. Он помнил камеру с дощатой лежанкой, прибитой к стене, и тонкой железной раковинной, помнил еду — горячий суп с хлебом, иногда кофе. Помнил, как угрюмый парикмахер скоблил ему подбородок и стриг волосы, как деловитые, безразличные люди в белом считали у него пульс, проверяли рефлексy, отворачивали веки, щупали жесткими пальцами, не сломана ли где кость, кололи в руку снотворное.

Бить стали реже, битьем больше угрожали: если будет плохо отвечать, этот ужас в любую минуту может возобновиться. Допрашивали его теперь не хулиганы в черных мундирах, а следователи-партийцы — мелкие круглые мужчины с быстрыми движениями, в поблескивающих очках; они работали с ним, сменяя друг друга, иногда по десять—двенадцать часов подряд — так ему казалось, точно он не знал. Эти новые следователи старались, чтобы он все время испытывал небольшую боль, но не боль была их главным инструментом. Они били его по щекам, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали помочиться, держали под ярким светом, так что у него слезились глаза; однако делалось это лишь для того, чтобы унижить его и лишить способности спорить и рассуждать. Подлинным их оружием был безжалостный многочасовой допрос: они путали его, ставили ему ловушки, перевирали все, что он сказал, на каждом шагу

доказывали, что он лжет и сам себе противоречит, покуда он не начинал плакать — и от стыда и от нервного истощения. Случалось, он плакал по пять-шесть раз на протяжении одного допроса. Чаще всего они грубо кричали на него и при малейшей заминке угрожали снова отдать охранникам, но иногда вдруг меняли тон, называли его товарищем, заклинали именем ангоца и Старшего Брата и огорченно спрашивали: неужели и сейчас в нем не заговорила преданность партии и он не хочет исправить весь причиненный им вред? Нервы, истрепанные многочасовым допросом, не выдерживали, и он мог расплакаться даже от такого призыва. В конце концов сварливые голоса сломали его еще хуже, чем кулаки и ноги охранников. От него остались только рот и рука, говоривший и подписывавшая все, что требовалось. Лишь одно его занимало: уяснить, какого признания от него хотят, и скорее признаться, пока снова не начали изводить. Он признался в убийстве видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр, в присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным шпионом Остазии еще в 1968 году. Признался в том, что он верующий, что он сторонник капитализма, что он извращенец. Признался, что убил жену, хотя она была жива и следователям это наверняка было известно. Признался, что много лет лично связан с Голдстейном и состоит в подпольной организации, включающей почти всех людей, с которыми он знаком. Легче было во всем признаться и всех припутать. Кроме того, в каком-то смысле это было правдой. Он правда был врагом партии, а в глазах партии нет разницы между деянием и мыслью.

Сохранились воспоминания и другого рода. Между собой не связанные — картинки, окруженные чернотой.

Он был в камере — светлой или темной, неизвестно, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикал какой-то прибор. Глаза росли и светились все сильнее. Вдруг он взлетел со своего места, нырнул в глаза, и они его поглотили.

Он был пристегнут к креслу под ослепительным светом и окружен шкалами приборов. Человек в белом следил за шкалами. Снаружи раздался топот тяжелых башмаков. Дверь распахнулась с лязгом. В сопровождении двух охранников вошел офицер с восковым лицом.

— В комнату сто один, — сказал офицер.

Человек в белом не оглянулся. На Уинстона тоже не посмотрел; он смотрел только на шкалы.

Он катился по гигантскому, в километр шириной, коридору, залитому чудесным золотым светом, громко хохотал и во все горло выкрикивал признания. Он признавался во всем — даже в том, что сумел скрыть под пытками. Он рассказывал всю свою жизнь — публике, которая и так все знала. С ним были охранники, следователи, люди в белом, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон — все валили по коридору толпой и громко хохотали. Что-то ужасное, поджидавшее его в будущем, ему удалось проскочить, и оно не сбылось. Все было хорошо, не стало боли, каждая подробность его жизни обнажилась, объяснилась, была прощена.

Вздрогнув, он привстал с дощатой лежанки в полной уверенности, что слышал голос О'Брайена. О'Брайен ни разу не появился на допросах, но все время было ощущение, что он тут, за спиной, просто его не видно. Это он всем руководит. Он напускает на Уинстона охранников и он им не позволяет его убить. Он решает, когда Уинстон должен закричать от боли, когда ему дать передышку, когда его накормить, когда ему спать, когда вколоть ему в руку наркотик. Он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучитель, он был защитник, он был инквизитор, он был друг. А однажды — Уинстон не помнил, было это в наркотическом сне, или просто во сне, или даже наяву, — голос прошептал ему на ухо: «Не волнуйтесь, Уинстон, вы на моем попечении. Семь лет я наблюдал за вами. Настал переломный час. Я спасу вас, я сделаю вас совершенным». Он не был уверен, что голос принадлежит О'Брайену, но именно этот голос сказал ему семь лет назад в другом сне: «Мы встретимся там, где нет темноты».

Он не помнил, был ли конец допросу. Наступила чернота, а потом из нее постепенно материализовалась камера или комната, где он лежал. Лежал он навзничь и не мог пошевелиться. Тело его было закреплено в нескольких местах. Даже затылок как-то прихватили. О'Брайен смотрел на него сверху серьезно и не

без сожаления. Лицо его с опухшими подглазьями и резкими носо-губными складками казалось снизу грубым и утомленным. Он выглядел старше, чем Уинстону помнилось; ему было, наверно, лет сорок восемь или пятьдесят. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой, размеченной цифрами.

— Я сказал вам,— обратился он к Уинстону,— что если мы встретимся, то — здесь.

— Да,— ответил Уинстон.

Без всякого предупредительного сигнала, если не считать легкого движения руки О'Брайена, в тело его хлынула боль. Боль устрашающая; он не видел, что с ним творится, и у него было чувство, что ему причиняют смертельную травму. Он не понимал, на самом ли деле это происходит или ощущения вызваны электричеством; но тело его безобразно скручивалось и суставы медленно разрывались. От боли на лбу у него выступил пот, но хуже боли был страх, что хребет у него вот-вот переломится. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, решив не кричать, пока можно.

— Вы боитесь,— сказал О'Брайен, наблюдая за его лицом,— что сейчас у вас что-нибудь лопнет. И особенно боитесь, что лопнет хребет. Вы ясно видите картину, как отрываются один от другого позвонки и из них каплет спинномозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?

Уинстон не ответил. О'Брайен отвел рычаг назад. Боль схлынула почти так же быстро, как началась.

— Это было сорск,— сказал О'Брайен.— Видите, шкала проградуирована до ста. В ходе нашей беседы помните, пожалуйста, что я имею возможность причинить вам боль, когда мне угодно и какую угодно. Если будете лгать или уклоняться от ответа или просто окажетесь глупее, чем позволяют ваши умственные способности, вы закричите от боли немедленно. Вы меня поняли?

— Да,— сказал Уинстон.

О'Брайен несколько смягчился. Он задумчиво поправил очки и прошелся по комнате. Теперь его голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на врача или даже священника, который стремится убеждать и объяснять, а не наказывать.

— Я трачу на вас время, Уинстон,— сказал он,— потому что вы этого стоите. Вы отлично сознаете, в чем ваше несчастье. Вы давно о нем знаете, но сколько уже лет не желаете себе в этом признаться. Вы психически ненормальны. Вы страдаете расстройством памяти. Вы не в состоянии вспомнить подлинные события и убедили себя, что помните то, чего никогда не было. К счастью, это излечимо. Вы себя не пожелали излечить. Достаточно было небольшого усилия воли, но вы его не сделали. Даже теперь, я вижу, вы цепляетесь за свою болезнь, полагая, что это доблесть. Возьмем такой пример. С какой страной воюет сейчас Океания?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Остазией.

— С Остазией. Хорошо. Океания всегда воевала с Остазией, верно?

Уинстон глубоко вздохнул. Он открыл рот, чтобы ответить,— и не ответил. Он не мог отвести глаза от шкалы.

— Будьте добры, правду, Уинстон. Вашу правду. Скажите, что вы, по вашему мнению, помните?

— Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

О'Брайен остановил его жестом.

— Другой пример,— сказал он.— Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение. Вы решили, что три человека, три бывших члена партии — Джонс, Аронсон и Резерфорд, казненные за вредительство и измену после того, как они полностью во всем сознались,— не повинны в том, за что их судили. Вы решили, будто видели документ, безусловно доказывавший, что их признания были ложью. Вам привиделась некая фотография. Вы решили, что держали ее в руках. Фотография в таком роде.

В руке у О'Брайена появилась газетная вырезка. Секунд пять она находилась перед глазами Уинстона. Это была фотография — и не приходилось сомневаться, какая именно. Та самая. Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке — тот снимок, который он случайно получил одиннадцать

лет назад и сразу уничтожил. Одно мгновение он был перед глазами Уинстона, а потом его не стало. Но он видел снимок, несомненно видел! Отчаянным мучительным усилием Уинстон попытался оторвать спину от койки. Но не мог сдвинуться ни на сантиметр ни в какую сторону. На миг он даже забыл о шкале. Сейчас он хотел одного: снова подержать фотографию в руке, хотя бы разглядеть ее.

— Она существует! — крикнул он.

— Нет, — сказал О'Брайен.

Он отошел. В стене напротив было гнездо памяти. О'Брайен поднял проводочное забрало. Невидимый легкий клочок бумаги уносился прочь с потоком теплого воздуха; он исчезал в ярком пламени. О'Брайен отвернулся от стены.

— Пепел, — сказал он. — Да и пепла не разглядишь. Прах. Фотография не существует. Никогда не существовала.

— Но она существовала! Существует! Она существует в памяти. Я ее помню. Вы ее помните.

— Я ее не помню, — сказал О'Брайен.

Уинстон ощутил пустоту в груди. Это — двоемыслие. Им овладело чувство смертельной беспомощности. Если бы он был уверен, что О'Брайен солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень может быть, что О'Брайен в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как отрицал, что ее помнит, и что это забыл — тоже забыл. Можно ли быть уверенным, что это просто фокусы? А вдруг такой безумный вывих в мозгах на самом деле происходит? — вот что приводило Уинстона в отчаяние.

О'Брайен задумчиво смотрел на него. Больше чем когда-либо он напоминал сейчас учителя, бьющегося с непослушным, но способным учеником.

— Есть партийный лозунг относительно управления прошлым, — сказал он. — Будьте любезны, повторите его.

— «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», — послушно произнес Уинстон.

— «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», — одобрительно кивнув, повторил О'Брайен. — Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности?

Уинстон снова почувствовал себя беспомощным. Он скосил глаза на шкалу. Мало того, что он не знал, какой ответ, «нет» или «да», избавит его от боли; он не знал уже, какой ответ сам считает правильным.

О'Брайен слегка улыбнулся.

— Вы плохой метафизик, Уинстон. До сих пор вы ни разу не задумывались, что значит существовать. Сформулирую яснее. Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит?

— Нет.

— Тогда где оно существует, если оно существует?

— В документах. Оно записано.

— В документах. И...?

— В уме. В воспоминаниях человека.

— В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?

— Но как вы помешаете людям вспоминать? — закричал Уинстон, опять забыв про шкалу. — Это же происходит помимо воли. Это от тебя не зависит. Как вы можете управлять памятью? Моей же вы не управляете?

О'Брайен снова посуровел. Он опустил руку на рычаг.

— Напротив, — сказал он. — Это вы ею не управляете. Поэтому вы и здесь. Вы здесь потому, что не нашли в себе смирения и самодисциплины. Вы не захотели подчиниться — а за это платят душевным здоровьем. Вы предпочли быть безумцем, остаться в меньшинстве, в единственном числе. Только дисциплинированное сознание видит действительность, Уинстон. Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Когда, обманывая себя, вы думаете, будто что-то видите, вам кажется, что все остальные видят то же самое. Но говорю вам, Уинстон: действительность не есть нечто внешнее. Действительность существует в человеческом сознании и больше нигде. Не в индиви-

дуальном сознании, которое может ошибаться и, в любом случае, преходяще, — только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает правдой, и есть правда. Невозможно видеть действительность иначе как глядя на нее глазами партии. И этому вам вновь предстоит научиться, Уинстон. Для этого требуется акт самоуничтожения, усилие воли. Вы должны смирить себя, прежде чем станете психически здоровым.

Он умолк, как бы выжидая, когда Уинстон усвоит его слова.

— Вы помните, — снова заговорил он, — как написали в дневнике. «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре?»

— Да.

О'Брайен поднял левую руку тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив четыре.

— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

— Четыре.

— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?

— Четыре.

На последнем слове он охнул от боли. Стрелка на шкале подскочила к пятидесяти пяти. Все тело Уинстона покрылось потом. Воздух врывался в его легкие и выходил обратно с тяжелыми стонами — Уинстон стиснул зубы, но все равно не мог их сдержать. О'Брайен наблюдал за ним, показывая четыре пальца. Он отвел рычаг. На этот раз боль лишь слегка утихла.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка дошла до шестидесяти.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!

Стрелка, наверно, опять поползла, но Уинстон не смотрел. Он видел только тяжелое, суровое лицо и четыре пальца. Пальцы стояли перед его глазами, как колонны: громадные, они расплывались и будто дрожали, но их было только четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Перестаньте, перестаньте! Как вы можете? Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, напрасно, Уинстон. Вы лжете. Вы все равно думаете, что их четыре.

Так сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно. Только перестаньте, перестаньте делать больно!

Вдруг оказалось, что он сидит и О'Брайен обнимает его за плечи. По-видимому, он на несколько секунд потерял сознание. Захваты, державшие его тело, были отпущены. Ему было очень холодно, он трясся, зубы стучали, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену, как младенец; тяжелая рука, обнимавшая плечи, почему-то утешала его. Сейчас ему казалось, что О'Брайен — его защитник, что боль пришла откуда-то со стороны, что у нее другое происхождение и спасет от нее — О'Брайен.

— Вы непонятливый ученик, — мягко сказал О'Брайен.

— Что я могу сделать? — со слезами пролепетал он. — Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Два и два — четыре.

— Иногда, Уинстон. Иногда — пять. Иногда — три. Иногда — все сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко.

Он уложил Уинстона. Захваты на руках и ногах снова сжались, но боль потихоньку отступила, дрожь прекратилась, осталась только слабость и озноб. О'Брайен кивнул человеку в белом, все это время стоявшему неподвижно. Человек в белом наклонился, заглянув Уинстону в глаза, проверил пульс, приложил ухо к груди, простукал там и сям; потом кивнул О'Брайену.

— Еще раз, — сказал О'Брайен.

В тело Уинстона хлынула боль. Стрелка, наверно, стояла на семидесяти, семидесяти пяти. На этот раз он зажмурился. Он знал, что пальцы перед ним, их по-прежнему четыре. Важно было одно: как-нибудь пережить эти судороги. Он

уже не знал, кричит он или нет. Боль опять утихла. Он открыл глаза. О'Брайен отвел рычаг.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. Наверное, четыре. Я увидел бы пять, если б мог. Я стараюсь увидеть пять.

— Чего вы хотите: убедить меня, что видите пять, или в самом деле увидеть?

— В самом деле увидеть.

— Еще раз, — сказал О'Брайен.

Стрелка остановилась, наверное, на восьмидесяти — девяноста. Уинстон лишь изредка понимал, почему ему больно. За сжатыми веками извивался в каком-то танце лес пальцев, они множились и редели, исчезали один позади другого и появлялись снова. Он пытался их сосчитать, а зачем — сам не помнил. Он знал только, что сосчитать их невозможно по причине какого-то таинственного тождества между четырьмя и пятью. Боль снова затихла. Он открыл глаза, и оказалось, что видит то же самое. Бесчисленные пальцы, как ожившие деревья, струились во все стороны, скрещивались и расходились. Он опять зажмурил глаза.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Не знаю. Не знаю. Вы убьете меня, если еще раз включите. Четыре, пять, шесть... честное слово, не знаю.

— Лучше, — сказал О'Брайен.

В руку Уинстона вошла игла. И сейчас же по телу разлилось блаженное, целительное тепло. Боль уже почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого, в складках, лица, такого уродливого и такого умного, у него оттаяло сердце. Если бы он мог пошевелиться, он протянул бы руку и тронул бы за руку О'Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас, — и не только за то, что О'Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство: не важно, друг О'Брайен или враг. О'Брайен — тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании. О'Брайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре несомненно отправит его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба. Они были близки; было где-то такое место, где они могли встретиться и поговорить — пусть даже слова не будут произнесены вслух. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, как будто думал о том же самом. И голос его зазвучал мирно, непринужденно.

— Вы знаете, где находитесь, Уинстон? — спросил он.

— Не знаю. Догадываюсь. В министерстве любви.

— Знаете, сколько времени вы здесь?

— Не знаю. Дни, недели, месяцы... месяцы, я думаю.

— А как вы думаете, зачем мы держим здесь людей?

— Чтобы заставить их признаться.

— Нет, не для этого. Подумайте еще.

— Чтобы их наказать.

— Нет! — воскликнул О'Брайен. Голос его изменился до неузнаваемости, а лицо вдруг стало и строгим и возбужденным. — Нет! Не для того, чтобы наказать, и не только для того, чтобы добиться от вас признания. Хотите, я объясню, зачем вас здесь держат? Чтобы вас излечить! Сделать вас нормальным! Вы понимаете, Уинстон, что тот, кто здесь побывал, не уходит из наших рук неизлеченным? Нам неинтересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоят явные действия: мысли — вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их переделываем. Вы понимаете, о чем я говорю?

Он наклонился над Уинстоном. Лицо его, огромное вблизи, казалось отталкивающее уродливым оттого, что Уинстон смотрел на него снизу. И на нем была написана одержимость, сумасшедший восторг. Сердце Уинстона снова сжалось. Если бы можно было, он зарылся бы в койку. Он был уверен, что сейчас О'Брайен дернет рычаг просто для развлечения. Однако О'Брайен отвернулся. Он сделал несколько шагов туда и обратно. Потом продолжал без прежнего испуга:

— Раньше всего вам следует усвоить, что в этом месте не бывает мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого. В средние века суще-

ствовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчевать ереси, а в результате их увековечила. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? Потому что инквизиция убивала врагов открыто, убивала нераскаявшихся; в сущности, потому и убивала, что они не раскаялись. Люди умирали за то, что не хотели отказаться от своих убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор — инквизитору, палачу. Позже, в двадцатом веке, были так называемые тоталитарные режимы. Были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь безжалостнее, чем инквизиция. И они думали, что извлекли урок из ошибок прошлого; во всяком случае, они поняли, что мучеников создавать не надо. Прежде чем вывести жертву на открытый процесс, они стремились лишить ее достоинства. Арестованных изматывали пытками и одиночеством и превращали в жалких, рабленых людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады. И однако всего через несколько лет произошло то же самое. Казненные стали мучениками, ничтожество их забылось. Опять-таки — почему? Прежде всего потому, что их признания были явно вырваны силой и лживы. Мы таких ошибок не делаем. Все признания, которые здесь произносятся, — правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас. Не воображайте, Уинстон, что будущее за вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит. Вас выдернут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется: ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом и в будущем. Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете.

«Зачем тогда трудиться, пытаться меня?» — с горечью подумал Уинстон. О'Брайен прервал свою речь, словно Уинстон произнес это вслух. Он приблизил к Уинстону большое уродливое лицо, и глаза его сузились.

— Вы думаете, — сказал он, — что раз мы намерены уничтожить вас и ни слова ваши, ни дела ничего не будут значить, зачем тогда мы взяли на себя труд вас допрашивать? Вы ведь об этом думаете, верно?

— Да, — ответил Уинстон.

О'Брайен слегка улыбнулся.

— Вы — изъясн в общем порядке, Уинстон. Вы пятно, которое надо стереть. Разве я не объяснил вам, чем мы отличаемся от прежних карателей? Мы не довольствуемся негативным послушанием и даже самой униженной покорностью. Когда вы окончательно нам сдадитесь, вы сдадитесь по собственной воле. Мы уничтожаем еретика не потому, что он нам сопротивляется; откуда он сопротивляется, мы его не уничтожим. Мы обратим его, мы захватим его душу до самого дна, мы его переделаем. Мы выжжем в нем все зло и все иллюзии; он примет нашу сторону — не формально, а искренне, умом и сердцем. Он станет одним из нас, и только тогда мы его убьем. Мы не потерпим, чтобы где-то в мире существовало заблуждение, пусть тайное, пусть бессильное. Мы не допустим отклонения даже в миг смерти. В прежние дни еретик всходил на костер все еще еретиком, провозглашая свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла хранить под крышкой черепа бунтарскую мысль. Мы же, прежде чем вышибить мозги, делаем их безукоризненными. Заповедь старых деспотий начиналась словами: «Не смей». Заповедь тоталитарных: «Ты должен». Наша заповедь: «Ты есть». Ни один из тех, кого приводят сюда, не может устоять против нас. Всех промывают дочиста. Даже этих жалких предателей, которых вы считали невинными — Джонса, Аронсона и Резерфорда, — даже их мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Я видел, как их перетирали, как они скулили, пресмыкались, плакали — и под конец не от боли, не от страха, а только от раскаяния. Когда мы закончили с ними, они были только оболочкой людей. В них ничего не осталось, кроме сожалений о том, что они сделали, и любви к Старшему Брату. Трогательно было видеть, как они его любили. Они умоляли, чтобы их скорее увели на расстрел, — хотели умереть, пока их души еще чисты.

В голосе его слышались мечтательные интонации. Лицо по-прежнему горело восторгом, ретивостью сумасшедшего. Он не притворяется, подумал Уинстон; он не лицемер, он убежден в каждом своем слове. Больше всего Уинстона угнетало

сознание своей умственной неполноценности. О'Брайен с тяжеловесным изяществом расхаживал по комнате, то появляясь в поле его зрения, то исчезая. О'Брайен был больше его во всех отношениях. Не родилось и не могло родиться в его голове такой идеи, которая не была бы давно известна О'Брайену, взвешена им и отвергнута. Ум О'Брайена с о д е р ж а л в себе его ум. Но в таком случае как О'Брайен может быть сумасшедшим? Сумасшедшим должен быть он, Уинстон. О'Брайен остановился, посмотрел на него. И опять заговорил суровым тоном:

— Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон,— даже ценой полной капитуляции. Ни один из сбившихся с пути уцелеть не может. И если даже мы позволим вам дожить до естественной смерти, вы от нас не спасетесь. То, что делается с вами здесь, делается навечно. Знайте это наперед. Мы сомнем вас так, что вы уже никогда не подниметесь. С вами произойдет такое, от чего нельзя оправиться, проживи вы еще хоть тысячу лет. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность — всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас все до капли, а потом заполним собой.

Он умолк и сделал знак человеку в белом. Уинстон почувствовал, что сзади к его голове подвели какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен сел у койки, и лицо его оказалось почти вровень с лицом Уинстона.

— Три тысячи,— сказал он через голову Уинстона человеку в белом.

К вискам Уинстона прилегли две мягкие подушечки, как будто влажные. Он с а л с я. Снова будет боль, какая-то другая боль. О'Брайен успокоил его, почти ласково взяв за руку:

— На этот раз больно не будет. Смотрите мне в глаза.

Произошел чудовищный взрыв — или что-то показавшееся ему взрывом, хотя он не был уверен, что это сопровождалось звуком. Но ослепительная вспышка была не о м н е н н о. Уинстона не ушибло, а только опрокинуло. Хотя он уже лежал навзничь, когда это произошло, чувство было такое, будто его бросили на спину. Его р а ч л а с т а л ужасный безболезненный удар. И что-то произошло в голове. Когда зр е н и е прояснилось, Уинстон вспомнил, кто он и где находится, узнал того, кто пристально смотрел ему в лицо, но где-то, непонятно где, существовала область пустоты, словно кусок вынули из его мозга.

— Это пройде т , — сказал О'Брайен. — Смотрите мне в глаза. С какой страшной воюет Океания?

Уинстон думал. Он понимал, что означает «Океания» и что он гражданин Океании. Помнил он и Евразию с Остазией; но кто с кем воюет, он не знал. Он даже не знал, что была какая-то война.

— Не помню.

— Океания воюет с Остазией. Теперь вы вспомнили?

— Да.

— Океания всегда воевала с Остазией. С первого дня вашей жизни, с первого дня партии, с первого дня истории война шла без перерыва — все та же война. Это вы помните?

— Да.

— Одиннадцать лет назад вы сочинили легенду о троих, приговоренных за измену к смертной казни. Выдумали, будто видели клочок бумаги, доказывавший их невиновность. Такой клочок бумаги никогда не существовал. Это был ваш вымысел, а потом вы в него поверили. Теперь вы вспомнили ту минуту, когда это было выдумано. Вспомнили?

— Да.

— Только что я показывал вам пальцы. Вы видели пять пальцев. Вы это помните?

— Да.

О'Брайен показал ему левую руку, спрятав большой палец.

— Пять пальцев. Вы видите пять пальцев?

— Да.

И он их видел, одно мимолетное мгновение, до того, как в голове у него все стало на свои места. Он видел пять пальцев и никакого искажения не замечал.

Потом рука приняла естественный вид, и разом нахлынули прежний страх, ненависть, замешательство. Но был такой период — он не знал, долгий ли, может быть, полминуты, — светлой определенности, когда каждое новое внушение О'Брайена заполняло пустоту в голове и становилось абсолютной истиной, когда два и два так же легко могли стать тремя, как пятью, если требовалось. Это состояние прошло раньше, чем О'Брайен отпустил его руку; и хотя вернуться в это состояние Уинстон не мог, он его помнил, как помнишь яркий случай из давней жизни, когда ты был, по существу, другим человеком.

— Теперь вы по крайней мере понимаете, — сказал О'Брайен, — что это возможно.

— Да, — отозвался Уинстон.

О'Брайен с удовлетворенным видом встал. Уинстон увидел, что слева человек в белом сломал ампулу и набирает из нее в шприц. О'Брайен с улыбкой обратился к Уинстону. Почти как раньше он поправил на носу очки.

— Помните, как вы написали про меня в дневнике: не важно, друг он или враг — этот человек может хотя бы понять меня, с ним можно разговаривать? Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы закончим беседу, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите.

— Любые вопросы?

— Какие угодно. — Он увидел, что Уинстон склонился на шкалу. — Отключено. Ваш первый вопрос?

— Что вы сделали с Джулией? — спросил Уинстон.

О'Брайен снова улыбнулся.

— Она предала вас, Уинстон. Сразу, безоговорочно. Мне редко случалось видеть, чтобы кто-нибудь так живо шел нам навстречу. Вы бы ее вряд ли узнали. Все ее бунтарство, лживость, безрассудство, испорченность — все это выжжено из нее. Это было идеальное обращение, прямо для учебников.

— Вы ее пытали?

На это О'Брайен не ответил.

— Следующий вопрос, — сказал он.

— Старший Брат существует?

— Конечно, существует. Партия существует. Старший Брат — олицетворение партии.

— Существует он в том смысле, в каком существую я?

— Вы не существуете, — сказал О'Брайен.

Снова на него навалилась беспомощность. Он знал, мог представить себе, какими аргументами будут доказывать, что он не существует; но все они — бессмыслица, просто игра слов. Разве в утверждении «вы не существуете» не содержится логическая нелепость? Но что толку говорить об этом? Ум его съезжился при мысли о неопровержимых, безумных аргументах, которыми его разгромит О'Брайен.

— По-моему, я существую, — устало сказал он. — Я сознаю себя. Я родился и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной. В этом смысле существует Старший Брат?

— Это не важно. Он существует.

— Старший Брат когда-нибудь умрет?

— Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

— Братство существует?

— А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим выпустить вас, когда кончим, и вы доживете до девяноста лет, вы все равно не узнаете, как ответить на этот вопрос: нет или да. Сколько вы живете, столько и будете биться над этой загадкой.

Уинстон лежал молча. Теперь его грудь поднималась и опускалась чуть чаще. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но язык отказывался служить ему. На лице О'Брайена как будто промелькнула насмешка. Даже очки у него блеснули иронически. «Он знает, —

вдруг подумал Уинстон, — знает, что я хочу спросить!» И тут же у него вырвалось:

— Что делают в комнате сто один?

Лицо О'Брайена не изменило выражения. Он сухо ответил:

— Уинстон, вы знаете, что делается в комнате сто один. Все знают, что делается в комнате сто один.

Он сделал пальцем знак человеку в белом. Беседа, очевидно, подошла к концу. В руку Уинстону воткнулась игла. И почти сразу он уснул глубоким сном.

III

— В вашем восстановлении три этапа, — сказал О'Брайен. — Учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу.

Как всегда, Уинстон лежал на спине. Но захваты держали его не так туго. Они по-прежнему притягивали его к койке, однако он мог слегка сгибать ноги в коленях, поворачивать голову влево и вправо и поднимать руки от локтя. И шкала с рычагом не внушала прежнего ужаса. Если он соображал быстро, то мог избежать разрядов; теперь О'Брайен брался за рычаг чаще всего тогда, когда был недоволен его глупостью. Порою все собеседование проходило без единого удара. Сколько их было, он уже не мог запомнить. Весь этот процесс тянулся долго — наверно, уже не одну неделю, — а перерывы между беседами бывали иногда в несколько дней, а иногда час-другой.

— Пока вы здесь лежали, — сказал О'Брайен, — вы часто задавались вопросом — и даже меня спрашивали, — зачем министерство любви тратит на вас столько трудов и времени. Когда оставались одни, вас занимал, в сущности, тот же самый вопрос. Вы понимаете механику нашего общества, но не понимали побудительных мотивов. Помните, как вы записали в дневнике: «Я понимаю как; я не понимаю зачем»? Когда вы думали об этом «зачем», вот тогда вы и сомневались в своей нормальности. Вы прочли книгу, книгу Голдстейна, — по крайней мере какие-то главы. Прочли вы в ней что-нибудь такое, чего не знали раньше?

— Вы ее читали? — сказал Уинстон.

— Я ее писал. Вернее, участвовал в написании. Как вам известно, книги не пишутся в одиночку.

— То, что там сказано, — правда?

— В описательной части — да. Предложенная программа — вздор. Тайно накапливать знания... просвещать массы... затем пролетарское восстание... свержение партии. Вы сами догадывались, что там сказано дальше. Пролетарии никогда не восстанут — ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо; вы сами знаете. И если вы тешились мечтами о вооруженном восстании — оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии — навеки. Возьмите это за отправную точку в ваших размышлениях.

О'Брайен подошел ближе к койке.

— Навеки! — повторил он. — А теперь вернемся к вопросам «как?» и «зачем?». Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть. Каков побудительный мотив?.. Говорите же, — приказал он молчавшему Уинстону.

Тем не менее Уинстон медлил. Его переполняла усталость. А в глазах О'Брайена опять зажегся тусклый безумный огонек энтузиазма. Он заранее знал, что скажет О'Брайен: что партия ищет власти не ради нее самой, а ради блага большинства. Ищет власти, потому что люди в массе своей — слабые, трусливые создания, они не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их обманывать те, кто сильнее их. Что человечество стоит перед выбором: свобода или счастье, и для подавляющего большинства счастье — лучше. Что партия — вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное — что когда О'Брайен скажет это, он сам себе поверит. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все. Знает в тысячу раз лучше Уинстона, в каком убожестве живут люди,

какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он понял все, все оценил и не поколебался в своих убеждениях: все оправдано конечной целью. Что ты можешь сделать, думал Уинстон, против безумца, который умнее тебя, который беспристрастно выслушивает твои аргументы и продолжает упорствовать в своем безумии?

— Вы правите нами для нашего блага, — слабым голосом сказал он. — Вы считаете, что люди не способны править собой, и поэтому...

Он вздрогнул и чуть не закричал. Боль пронзила его тело. О'Брайен поставил рычаг на тридцать пять.

— Глупо, Уинстон, глупо! — сказал он. — Я ожидал от вас лучшего ответа.

Он отвел рычаг обратно и продолжал:

— Теперь я сам отвечу на этот вопрос. Вот как. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть, чистая власть. Что означает чистая власть, вы скоро поймете. Мы знаем, что делаем, и в этом наше отличие от всех олигархий прошлого. Все остальные, даже те, кто напоминал нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, а впереди, рукой подать, уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть. Теперь вы меня понимаете?

Уинстон был поражен, и уже не в первый раз, усталостью на лице О'Брайена. Оно было сильным, мясистым и грубым, в нем виден был ум и сдерживаемая страсть, перед которой он чувствовал себя бессильным; но это было усталое лицо. Под глазами набухли мешки, и кожа под скулами обвисла. О'Брайен наклонился к нему — нарочно приблизил утомленное лицо.

— Вы думаете, — сказал он, — что лицо у меня старое и усталое. Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад собственного тела. Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид — всего лишь клетка? Усталость клетки — энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?

Он отвернулся от Уинстона и начал расхаживать по камере, засунув одну руку в карман.

— Мы — жрецы власти, — сказал он. — Бог — это власть. Но что касается вас, власть — покуда только слово. Пора объяснить вам, что значит власть. Прежде всего вы должны понять, что власть коллективна. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг: «Свобода это рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство это свобода. Один — свободный — человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от себя, если он может раствориться в партии так, что он с т а н е т партией, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть — это власть над людьми. Над телом — но, самое главное, над разумом. Власть над материей — над внешней реальностью, как вы бы ее называли, — не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью.

На миг Уинстон забыл о шкале. Напрягая все силы, он попытался сесть, но только сделал себе больно.

— Да как вы можете покорить материю? — вырвалось у него. — Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть...

О'Брайен остановил его движением руки.

— Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность — внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация — что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что

этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений девятнадцатого века относительно законов природы. Мы создаем законы природы.

— Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева. А Евразия, Ост-азия? Вы их пока не завоевали.

— Не важно. Завоеюем, когда нам будет надо. А если не завоеюем — какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океания — это весь мир.

— Но мир сам — всего лишь пылинка. А человек мал... беспомощен! Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.

— Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам, она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует.

— Но в земных породах — кости вымерших животных... мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до того, как стало известно о человеке.

— Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До человека не было ничего. После человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека.

— Кроме нас есть целая вселенная. Посмотрите на звезды! Некоторые — в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны.

— Что такое звезды? — равнодушно возразил О'Брайен. — Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля — центр вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас.

Уинстон снова попытался сесть. Но на этот раз ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение:

— Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими и близкими, в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии?

Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, знал, что прав. Идея, что вне твоего сознания ничего не существует... ведь наверняка есть какой-то способ опровергнуть ее. Разве не доказали давным-давно, что это заблуждение? Оно даже как-то называлось, только он забыл как. О'Брайен смотрел сверху, слабая улыбка кривила ему рот.

— Я вам говорю, Уинстон, метафизика — не ваша сильная сторона. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить, — «солипсизм». Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. И все-таки это нечто другое; в сущности — противоположное. Мы уклонились от темы, — заметил он уже другим тоном. — Подлинная власть, власть, за которую мы должны сражаться день и ночь, это власть не над предметами, а над людьми. — Он смолк, а потом спросил, как учитель способного ученика: — Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими?

Уинстон подумал.

— Заставляя его страдать, — сказал он.

— Совершенно верно. Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет полной противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничтожения. Все остальные мы истребим — все. Мы искореняем прежние способы мышления — пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между муж-

чиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к Старшему Брату. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всемогущими, мы обойдемся без науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность, жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда, запомните, Уинстон, всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. Всегда, каждый миг, будет пронзительная радость победы, наслаждение оттого, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно.

Он умолк, словно ожидая, что ответит Уинстон. Уинстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать, Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал:

— И помните, что это — навечно. Лицо для растапывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали. Все, что вы перенесли с тех пор, как попали к нам в руки, — все это будет продолжаться, только хуже. Никогда не прекратятся шпионство, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения. Это будет мир террора в такой же степени, как мир торжества. Чем могущественнее будет партия, тем она будет нетерпимее; чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм. Голдстейн и его ереси будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут громить, позорить, высмеивать, оплевывать — а они сохраняются. Эта драма, которую я с вами разыгрывал семь лет, будет разыгрываться снова и снова, и с каждым поколением — все изощреннее. У нас всегда найдется еретик — и будет здесь кричать от боли, сломленный и жалкий, а в конце, спасшись от себя, раскаявшись до глубины души, сам прижмется к нашим ногам. Вот какой мир мы построим, Уинстон. От победы к победе, за триумфом триумф и новый триумф: щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Вижу, вам становится понятно, какой это будет мир. Но в конце концов вы не просто поймете, Вы примете его, будете его приветствовать, станете его частью.

Уинстон немного опомнился и без убежденности возразил:

— Вам не удастся.

— Что вы хотите сказать?

— Вы не сможете создать такой мир, какой описали. Это мечтание. Это невозможно.

— Почему?

— Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости.

Она не устоит.

— Почему?

— Она нежизнеспособна. Она рассыплется. Она кончит самоубийством.

— Чепуха. Вы внушили себе, что ненависть изнурительнее любви. Да почему же? А если и так — какая разница? Положим, мы решили, что будем быстрее изнашивать. Положим, увеличим темп человеческой жизни так, что к тридцати годам наступает маразм. И что же от этого изменится? Неужели вам непонятно, что смерть индивида — это не смерть? Партия бессмертна.

Как всегда, его голос поверг Уинстона в состояние беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что если продолжать спор, О'Брайен снова возьмется за рычаг. Но смолчать он не мог. Бессильно, не находя доводов — единственным подкреплением был немой ужас, который вызывали у него речи О'Брайена, — он возобновил атаку:

— Не знаю... все равно. Вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит.

— Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях. Вы воображаете, будто существует нечто, называющееся человеческой натурой, и она возмущается тем, что мы творим, — восстанет. Но человеческую натуру создаем мы. Люди беско-

нечно податливы. А может быть, вы вернулись к своей прежней идее, что восстанут и свергнут нас пролетарии или рабы? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество — это партия. Остальные — вне, ничего не значат.

— Все равно. В конце концов они вас победят. Рано или поздно поймут, кто вы есть, и разорвут вас в клочья.

— Вы уже видите какие-нибудь признаки? Или какое-нибудь основание для такого прогноза?

— Нет. Я просто верю. Я знаю, что вас ждет крах. Есть что-то во вселенной, не знаю... какой-то дух, какой-то принцип, и вам его не одолеть.

— Уинстон, вы верите в Бога?

— Нет.

— Так что за принцип нас победит?

— Не знаю. Человеческий дух.

— И себя вы считаете человеком?

— Да.

— Если вы человек, Уинстон, вы — последний человек. Ваш вид вымер; мы наследуем землю. Вы понимаете, что вы один? Вы вне истории, вы не существуете. — Он вдруг посуровел и резко произнес: — Вы полагаете, что вы морально выше нас, лживых и жестоких?

— Да, считаю, что я выше вас.

О'Брайен ничего не ответил. Уинстон услышал два других голоса. Скоро он узнал в одном из них свой. Это была запись их разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступил в Братство. Уинстон услышал, как он обещает обманывать, красть, совершать подлоги, убивать, способствовать наркомании и проституции, разносить венерические болезни, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. О'Брайен нетерпеливо махнул рукой, как бы говоря, что слушать дальше нет смысла. Потом повернул выключатель, и голоса смолкли.

— Встаньте с кровати, — сказал он.

Захваты сами собой открылись. Уинстон опустил ноги на пол и неуверенно встал.

— Вы последний человек, — сказал О'Брайен. — Вы хранитель человеческого духа. Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь.

Уинстон развязал бечевку, державшую комбинезон. «Молнию» из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз догола с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело обвивали грязные желтоватые тряпки, в которых с трудом можно было узнать остатки белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трельяж. Он подошел к зеркалам и замер. У него вырвался крик.

— Ну-ну, — сказал О'Брайен. — Станьте между створками зеркала. Полюбуйтесь на себя и сбоку.

Уинстон замер от испуга. Из зеркала к нему шло что-то согнутое, серого цвета, скелетообразное. Существо это пугало даже не тем, что Уинстон признал в нем себя, а одним своим видом. Он подошел ближе к зеркалу. Казалось, что он выставил лицо вперед, — так он был согнут. Измученное лицо арестанта с шишковатым лбом, лысый череп, загнутый нос и словно разбитые скулы, дикий, настороженный взгляд. Щечи изрезаны морщинами, рот запал. Да, это было его лицо, но ему казалось, что оно изменилось больше, чем он изменился внутри. Чувства, изображавшиеся на лице, не могли соответствовать тому, что он чувствовал на самом деле. Он сильно облысел. Сперва ему показалось, что и поседел вдобавок, но это просто череп стал серым. Серым от старой, въевшейся грязи стало у него все — кроме лица и рук. Там и сям из-под грязи проглядывали красные шрамы от побоев, а варикозная язва превратилась в воспаленное месиво, покрытое шелушащейся кожей. Но больше всего его испугала худоба. Ребра, обтянутые кожей, грудная клетка скелета; ноги усохли так, что колени стали толще бедер. Теперь он понял, почему О'Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку. Тощие плечи были согнуты так, что грудь превратилась в яму; тощая шея сгибалась под тяжестью головы. Если бы его спросили, он сказал бы, что это тело шестидесятилетнего старика, страдающего неизлечимой болезнью.

— Вы иногда думали,— сказал О'Брайен,— что мое лицо — лицо члена внутренней партии — выглядит старым и потрепанным. А как вам ваше лицо? Он схватил Уинстона за плечо и повернул к себе.

— Посмотрите, в каком вы состоянии! — сказал он. — Посмотрите, какой отвратительной грязью покрыто ваше тело. Посмотрите, сколько грязи между пальцами на ногах. Посмотрите на эту мокрую язву на голени. Вы знаете, что от вас воняет козлом? Вы уже, наверно, принохались. Посмотрите, до чего вы худы. Видите? Я могу обхватить ваш бицепс двумя пальцами. Я могу переломить вам шею, как морковку. Знаете, что с тех пор, как вы попали к нам в руки, вы потеряли двадцать пять килограммов? У вас даже волосы вылезают клоками. Смотрите! — Он схватил Уинстона за волосы и вырвал клочок. — Раскройте рот. Девять... десять... одиннадцать зубов осталось. Сколько было, когда вы попали к нам? Да и оставшиеся во рту не держатся. Смотрите!

Двумя пальцами он залез Уинстону в рот. Десну пронзила боль. О'Брайен вырвал передний зуб с корнем. Он кинул его в угол камеры.

— Вы гниете живо,— сказал он,— разлагаетесь. Что вы такое? Мешок слякоти. Ну-ка повернитесь к зеркалу еще раз. Видите, кто на вас смотрит? Это — последний человек. Если вы человек — таково человечество. А теперь одевайтесь.

Медленно, непослушными руками, Уинстон стал натягивать одежду. До сих пор он как будто не замечал, до чего он худ и слаб. Одно вертелось в голове: он не представлял себе, что находится здесь так давно. И вдруг, когда он наматывал на себя тряпье, ему стало жалко погубленного тела. Не соображая, что делает, он упал на маленькую табуретку возле кровати и расплакался. Он сознавал свое уродство, сознавал постыдность этой картины: живой скелет в грязном белье сидит и плачет под ярким белым светом; но он не мог остановиться. О'Брайен положил ему руку на плечо почти ласково.

— Это не будет длиться бесконечно,— сказал он. — Вы можете прекратить это когда угодно. Все зависит от вас.

— Это вы! — всхлипнул Уинстон. — Вы довели меня до такого состояния.

— Нет, Уинстон, вы сами себя довели. Вы пошли на это, когда противопоставили себя партии. Все это уже содержалось в вашем первом поступке. И вы предвидели все, что с вами произойдет.

Помолчав немного, он продолжал:

— Мы били вас, Уинстон. Мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас пинали, пороли, оскорбляли, вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали все и вся. Как, по-вашему, может ли человек дойти до большего падения, чем вы?

Уинстон перестал плакать, но слезы еще сами собой текли из глаз. Он поднял лицо к О'Брайену.

— Я не предал Джулию,— сказал он.

О'Брайен посмотрел на него задумчиво.

— Да,— сказал он,— да. Совершенно верно. Вы не предали Джулию.

Сердце Уинстона снова наполнилось глубоким уважением к О'Брайену — уважению этого разрушителя не могло ничто. Сколько ума, подумал он, сколько ума! Не было еще такого случая, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой сразу возразил бы, что Джулию он предал. Ведь чего только не вытянули из него под пыткой! Он рассказал им все, что о ней знал, — о ее привычках, о ее характере, о ее прошлом; в мельчайших деталях описал все их встречи, все, что он ей говорил и что она ему говорила, их ужины с провизией, купленной на черном рынке, их любовную жизнь, их невнятный заговор против партии — все. Однако в том смысле, в каком он сейчас понимал это слово, он Джулию не предал. Он не перестал ее любить; его чувства к ней остались прежними. О'Брайен понял это без всяких объяснений.

— Скажите,— попросил Уинстон,— скоро меня расстреляют?

— Может статься, и не скоро,— ответил О'Брайен. — Вы трудный случай. Но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечиваются. А тогда мы вас расстреляем.

IV

Ему стало много лучше. Он полнел и чувствовал себя крепче с каждым днем — если имело смысл говорить о днях.

Как и раньше, в камере горел белый свет и слышалось гудение, но сама камера была чуть удобнее прежних. Тут можно было сидеть на табурете, а дощатая лежанка была с матрасом и подушкой. Его сводили в баню, а потом довольно часто позволяли мыться в шайке. Приносили даже теплую воду. Выдали новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву забинтовали с какой-то успокаивающей мазью. Оставшиеся зубы ему вырвали и сделали протезы.

Прошло, наверно, несколько недель или месяцев. При желании он мог бы вести счет времени, потому что кормили его теперь как будто бы регулярно. Он пришел к выводу, что кормят его три раза в сутки; иногда спрашивал себя без интереса, днем ему дают есть или ночью. Еда была на удивление хороша, каждый третий раз — мясо. Один раз дали даже пачку сигарет. Спичек у него не было, но безмолвный надзиратель, приносивший ему пищу, давал огоньку. В первый раз его затоснило, но он перетерпел и растянул пачку надолго, выкуривая по полсигареты после каждой еды.

Ему выдали белую грифельную доску с привязанным к углу огрызком карандаша. Сперва он ею не пользовался. Он пребывал в полном оцепенении даже бодрствуя. Он мог пролежать от одной еды до другой, почти не шевелясь, и промежутки сна сменялись мутным забытием, когда даже глаза открыть стоило больших трудов. Он давно привык спать под ярким светом, бьющим в лицо. Разницы никакой, разве что сны были более связные. Сны все это время снились часто — и всегда счастливые сны. Он был в Золотой Стране или сидел среди громадных, великолепных, залитых солнцем руин с матерью, с Джулией, с О'Брайеном — ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал о чем-то мирном. А наяву если у него и бывали какие мысли, то по большей части о снах. Теперь, когда болевой стимул исчез, он как будто потерял способность совершить умственное усилие. Он не скучал; ему не хотелось ни разговаривать, ни чем-нибудь отвлечься. Он был вполне доволен тем, что он один и его не бьют и не допрашивают, что он не грязен и ест досыта.

Со временем спать он стал меньше, но по-прежнему не испытывал потребности встать с кровати. Хотелось одного: лежать спокойно и ощущать, что телу возвращаются силы. Он трогал себя пальцем, чтобы проверить, не иллюзия ли это, в самом ли деле у него округляются мускулы и расправляется кожа. Наконец он вполне убедился, что полнеет: бедра у него теперь были определенно толще колен. После этого, с неохотой поначалу, он стал регулярно упражняться. Вскоре он мог пройти уже три километра, отмеряя их шагами по камере, и согнутая спина его понемногу распрямлялась. Он попробовал более трудные упражнения и, к изумлению и унижению своему, выяснил, что почти ничего не может. Передвигаться он мог только шагом, табуретку на вытянутой руке держать не мог, на одной ноге стоять не мог — падал. Он присел на корточки и едва сумел встать, испытывая мучительную боль в икрах и бедрах. Он лег на живот и попробовал отжаться на руках. Безнадежно: он не мог даже грудь оторвать от пола. Но еще через несколько дней — через несколько обедов и завтраков — он совершил и этот подвиг. И еще через какое-то время стал отжиматься по шесть раз подряд. Он даже начал гордиться своим телом, а иногда ему верилось, что и лицо принимает нормальный вид. Только тронув случайно свою лысую голову, вспоминал он морщинистое, разрушенное лицо, которое смотрело на него из зеркала.

Ум его отчасти ожил. Он садился на лежанку спиной к стене, положив на колени грифельную доску, и занимался самообразованием.

Он капитулировал; это было решено. На самом деле, как он теперь понимал, капитулировать он был готов задолго до того, как принял это решение. Он осознал легкомысленность и вздорность своего бунта против партии в то мгновение, когда очутился в министерстве любви, — нет, еще в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли в комнате, а железный голос из телекрана отдавал им команды. Теперь он знал, что семь лет полиция мыслей наблюдала его, как жука в лупу. Ни одно его действие, ни одно слово, произнесенное вслух, не укрылось

от нее, ни одна мысль не осталась неразгаданной. Даже белесую крупинку на переплете его дневника они аккуратно клали на место. Они проигрывали ему записи, показывали фотографии. В том числе фотографии его с Джулией. Да, даже... Он больше не мог бороться с партией. Кроме того, партия права. Наверное права: как может ошибаться бессмертный коллективный мозг? По каким внешним критериям оценить его суждения? Здравый рассудок — понятие статистическое. Чтобы думать, как они, надо просто учиться. Только...

Карандаш в пальцах казался толстым и неуклюжим. Он начал записывать то, что ему приходило в голову. Сперва большими корявыми буквами написал:

СВОБОДА ЭТО РАБСТВО

А под этим почти сразу же:

$$2 \times 2 =$$

Но тут наступила какая-то заминка. Ум его, словно пятась от чего-то, не желал сосредоточиться. Он знал, что следующая мысль уже готова, но не мог ее вспомнить. А когда вспомнил, случилось это не само собой — он пришел к ней путем рассуждений. Он записал:

БОГ ЭТО ВЛАСТЬ

Он принял ее. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в тех преступлениях, за которые их судили. Он никогда не видел фотографию, опровергавшую их виновность. Она никогда не существовала, он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное, но это аберрация памяти, самообман. Как все просто! Только сдайся — все остальное отсудя следует. Это все равно что плыть против течения — сколько ни старайся, оно относит тебя назад, и вдруг ты решаешь повернуть и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось, только твое отношение к этому: чему быть, того не миновать. Он сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все было просто. Кроме...

Все что угодно может быть истиной. Так называемые законы природы — вздор. Закон тяготения — вздор. «Если бы я пожелал, — сказал О'Брайен, — я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь». Уинстон обосновал эту мысль: «Если он думает, что взлетает с пола, и я одновременно думаю, что вижу это, значит, так оно и есть». Вдруг, как обломок кораблекрушения поднимается на поверхность воды, в голове у него всплыло: «На самом деле этого нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация». Он немедленно отказался от своей мысли. Очевидная логическая ошибка. Предполагается, что где-то, вне тебя, есть «действительный» мир, где происходят «действительные» события. Но откуда может взяться этот мир? О вещах мы знаем только то, что содержится в нашем сознании. Все происходящее происходит в сознании. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности.

Он легко обнаружил ошибку, и опасности впасть в ошибку не было. Однако он понял, что ему и в голову не должна была прийти такая мысль. Как только появляется опасная мысль, в мозгу должно возникать слепое пятно. Этот процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. «Самостоп» называют его на новоязе.

Он стал упражняться в самостопе. Он предлагал себе утверждения «партия говорит, что Земля плоская», «партия говорит, что лед тяжелее воды» и учился не видеть и не понимать опровергающих доводов. Это было нелегко. Требовалась способность рассуждать и импровизация. Арифметические же проблемы, связанные, например, с таким утверждением, как «дважды два — пять», оказались ему не по силам. Тут нужен был еще некий умственный атлетизм, способность тончайшим образом применять логику, а в следующий миг не замечать грубейшей логической ошибки. Глупость была так же необходима, как ум, и также трудно давалась.

И все время его занимал вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от вас», — сказал О'Брайен; но Уинстон понимал, что никаким сознательным актом приблизить это не может. Это может произойти и через десять минут и через десять лет. Они могут годами держать его в одиночной камере; могут от-

править в лагерь; могут ненадолго выпустить — и так случалось. Вполне возможно, что вся драма ареста и допросов будет разыграна сызнова. Достоверно одно: смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция, негласная традиция — ты откуда-то знаешь о ней, хотя не слышал, чтобы о ней говорили, — такова, что стреляют сзади, только в затылок, без предупреждения, когда идешь по коридору из одной камеры в другую.

В один прекрасный день — впрочем, «день» неправильное слово; это вполне могло быть и ночью, — однажды он погрузился в странное, глубокое забытьё. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что это случится сию минуту. Все было заглажено, улажено, урегулировано. Тело его было здоровым и крепким. Он ступал легко, радуясь движению, и, кажется, шел под солнцем. Это было уже не в длинном белом коридоре министерства любви; он находился в огромном солнечном проходе, в километр шириной, и двигался по нему как будто в наркотическом бреду. Он был в Золотой Стране, шел тропинкой через старый, выщипанный кроликами луг. Под ногами пружинил дерн, а лицо ему грело солнце. На краю луга чуть шевелили ветвями вязы, а где-то дальше был ручей, и там в зеленых заводях под ветлами стояла плотва.

Он вздрогнул и очнулся в ужасе. Между лопатками пролился пот. Он услышал свой крик:

«Джулия! Джулия! Джулия, моя любимая! Джулия!..»

У него было полное впечатление, что она здесь. И не просто с ним, а как будто внутри его. Словно стала составной частью его тела. В этот миг он любил ее гораздо сильнее, чем на воле, когда они были вместе. И он знал, что она где-то есть, живая, и нуждается в его помощи.

Он снова лег и попробовал собраться с мыслями. Что он сделал? На сколько лет удлинил свое рабство этой минутной слабостью?

Сейчас он услышит топот башмаков за дверью. Такую выходку они не оставят безнаказанной. Теперь они поймут — если раньше не поняли, — что он нарушил соглашение. Он подчинился партии, но по-прежнему ее ненавидит. В прежние дни он скрывал еретические мысли под показным конформизмом. Теперь он отступил еще на шаг: разумом сдался, но душу рассчитывал сохранить в неприкосновенности. Он знал, что не прав, и держался за свою неправоту. Они это поймут — О'Брайен поймет. И выдало его одно глупое восклицание.

Придется начать все сначала. На это могут уйти годы. Он провел ладонью по лицу, чтобы яснее представить себе, как оно теперь выглядит. В щеках залегли глубокие борозды, скулы заострились, нос показался приплюснутым. Вдобавок он в последний раз видел себя в зеркале до того, как ему сделали зубы. Трудно сохранить непроницаемость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. Во всяком случае, одного лишь владения мимикой недостаточно. Впервые он осознал, что если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Ты должен знать, конечно, что он есть, но покуда он не понадобился, нельзя допускать его до сознания в таком виде, когда его можно назвать. Отныне он должен не только думать правильно; он должен правильно чувствовать, видеть правильные сны. А ненависть должен запереть в себе как некое физическое образование, которое является его частью и, однако, с ним не связано — вроде кисты.

Когда-нибудь они решат его расстрелять. Неизвестно, когда это случится, но за несколько секунд, наверное, угадать можно. Стреляют сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит. За это время внутренний мир может перевернуться. И тогда внезапно, не сказав ни слова, не сбившись с шага, не изменившись в лице, — внезапно он сбросит маскировку, и — грянут батареи его ненависти! Ненависть наполнит его словно исполинское ревущее пламя. И почти в тот же миг — выстрел! — слишком поздно или слишком рано. Они разнесут ему мозг раньше, чем выправят. Еретическая мысль, ненаказанная, нераскаянная, станет недосыгаемой для них навеки. Они прострелят дыру в своем идеале. Умереть, ненавидя их, — это и есть свобода.

Он закрыл глаза. Это труднее, чем принять дисциплину ума. Тут надо уронить себя, изувечить. Погрузиться в грязнейшую грязь. Что самое жуткое, самое тошнотворное? Он подумал о Старшем Брате. Огромное лицо (он постоянно видел его на плакатах, и поэтому казалось, что оно должно быть шириной в метр),

черноусое, никогда не спускавшее с тебя глаз, возникло перед ним словно помимо его воли. Как он на самом деле относится к Старшему Брату?

В коридоре послышался тяжелый топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен. За ним — офицер с восковым лицом и надзиратели в черном.

— Встаньте, — сказал О'Брайен. — Подойдите сюда.

Уинстон встал против него. О'Брайен сильными руками взял Уинстона за плечи и пристально посмотрел в лицо.

— Вы думали меня обмануть, — сказал он. — Это было глупо. Стойте прямо. Смотрите мне в глаза.

Он помолчал и продолжал чуть мягче:

— Вы исправляетесь. В интеллектуальном плане у вас почти все в порядке. В эмоциональном же никакого улучшения у вас не произошло. Скажите мне, Уинстон, — только помните: не лгать, ложь от меня не укроется, это вам известно, — скажите, как вы на самом деле относитесь к Старшему Брату?

— Я его ненавижу.

— Вы его ненавидите. Хорошо. Тогда для вас настало время сделать последний шаг. Вы должны любить Старшего Брата. Повиноваться ему мало — вы должны его любить.

Он отпустил плечи Уинстона, слегка толкнув его к надзирателям.

— В комнату сто один, — сказал он.

V

На каждом этапе заключения Уинстон знал — или представлял себе, — несмотря на отсутствие окон, в какой части здания он находится. Возможно, ощущал разницу в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, находились ниже уровня земли. Комната, где его допрашивал О'Брайен, располагалась наверху, близко к крыше. А нынешнее место было глубоко под землей, может быть, в самом низу.

Комната была просторнее почти всех его прежних камер. Но он не замечал подробностей обстановки. Заметил только два столика прямо перед собой, оба с зеленым сукном. Один стоял метрах в двух; другой подальше, у двери. Уинстон был привязан к креслу так туго, что не мог пошевелить даже головой. Голову держало сзади что-то вроде мягкого подголовника, и смотреть он мог только вперед. Он был один, потом дверь открылась и вошел О'Брайен.

— Вы однажды спросили, — сказал О'Брайен, — что делают в комнате сто один. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате сто один — то, что хуже всего на свете.

Дверь снова открылась. Надзиратель внес что-то проволочное, то ли корзину, то ли клетку. Он поставил эту вещь на дальний столик. О'Брайен мешал разглядеть, что это за вещь.

— То, что хуже всего на свете, — сказал О'Брайен, — разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре, или в воде, или на колу — да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная.

Он стошел в сторону, и Уинстон разглядел, что стоит на столике. Это была продолговатая клетка с ручкой наверху для переноски. К торцу было приделано что-то вроде фехтовальной маски вогнутой стороной наружу. Хотя до клетки было метра три или четыре, Уинстон увидел, что она разделена продольной перегородкой и в обоих отделениях — какие-то животные. Это были крысы.

— Для вас, — сказал О'Брайен, — хуже всего на свете крысы.

Дрожь предчувствия, страх перед неизвестным Уинстон ощутил еще в ту секунду, когда разглядел клетку. А сейчас он понял, что означает маска в торце. У него схватило живот.

— Вы этого не сделаете! — крикнул он высоким надтреснутым голосом. — Вы не будете, не будете! Как можно?

— Помните, — сказал О'Брайен, — тот миг паники, который бывал в ваших снах? Перед вами стена мрака и рев в ушах. Там, за стеной, — что-то ужасное.

В глубине души вы знали, что скрыто за стеной, но не решались себе признаться. Крысы были за стеной.

— О'Брайен! — сказал Уинстон, пытаясь совладать с голосом. — Вы знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?

О'Брайен не дал прямого ответа. Напустив на себя менторский вид, как иногда с ним бывало, он задумчиво смотрел вдаль, словно обращался к слушателям за спиной Уинстона.

— Боли самой по себе, — начал он, — иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, невыносимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух — не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться. То же самое — с крысами. Для вас они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если бы захотели. Вы делаете то, что от вас требуют.

— Но что, что требуют? Как я могу сделать, если не знаю, что от меня надо?

О'Брайен взял клетку и перенес к ближнему столику. Аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал гул крови в ушах. Ему казалось сейчас, что он сидит в полном одиночестве. Он посреди громадной безлюдной равнины, в пустыне, залитой солнечным светом, и все звуки доносились из бесконечного далека. Между тем клетка с крысами стояла от него в каких-нибудь двух метрах. Крысы были огромные. Они достигли того возраста, когда морда животного становится тупой и свирепой, а шкура из серой превращается в коричневую.

— Крыса, — сказал О'Брайен, по-прежнему обращаясь к невидимой аудитории, — грызун, но при этом — плотоядное. Вам это известно. Вы несомненно слышали о том, что творится в бедных районах нашего города. На некоторых улицах мать боится оставить грудного ребенка без присмотра в доме даже на пять минут. Крысы непременно на него нападут. И очень быстро обгложут его до костей. Они нападают также на больных и умирающих. Крысы удивительно угадывают беспомощность человека.

В клетке поднялся визг. Уинстону казалось, что он доносится издалека. Крысы дрались; они пытались добраться друг до дружки через перегородку. Еще Уинстон услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже шел как будто извне.

О'Брайен поднял клетку и что-то в ней нажал. Раздался резкий щелчок. В иступлении Уинстон попробовал вырваться из кресла. Напрасно: все части тела и даже голова были намертво закреплены. О'Брайен поднес клетку ближе. Теперь она была в метре от лица.

— Я нажал первую ручку, — сказал О'Брайен. — Конструкция клетки вам понятна. Маска охватит вам лицо, не оставив выхода. Когда я нажму другую ручку, дверца в клетке поднимется. Голодные звери вылетят оттуда пулями. Вы видели, как прыгает крыса? Они прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться. Иногда они первым делом набрасываются на глаза. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.

Клетка приблизилась; скоро надвинется вплотную. Уинстон услышал частые пронзительные вопли, раздававшиеся как будто в воздухе над головой. Но он яростно боролся с паникой. Думать, думать, даже если осталась секунда... Думать — только на это надежда. Гнусный затхлый запах зверей ударил в нос. Рвотная спазма подступила к горлу, и он почти потерял сознание. Все исчезло в черноте. На миг он превратился в обезумевшее вопящее животное. Однако он вырвался из черноты, зацепившись за мысль. Есть один-единственный путь к спасению. Надо поставить другого человека, тело другого человека, между собой и крысами.

Овал маски приблизился уже настолько, что заслонил все остальное. Сетчатая дверца была в двух пядях от лица. Крысы поняли, что готовится. Одна нетерпеливо прыгала на месте; другая — коржавый ветеран сточных канав — встала, упершись розовыми лапами в решетку и сильно втягивая носом воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Черная паника снова накатила на него. Он был слеп, беспомощен, ничего не соображал.

— Это наказание было принято в Китайской империи, — сказал О'Брайен по-прежнему нравоучительно.

Маска придвигалась к лицу. Проволока коснулась щеки. И тут... нет, это было не спасение, а только надежда, искра надежды. Поздно, может быть, поздно. Но он вдруг понял, что на свете есть только один человек, на которого он может перевалить свое наказание, — только одним телом он может заслонить себя от крыс. И он иступленно кричал раз за разом:

— Отдайте им Джулию! Отдайте им Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей. Не меня! Джулию! Не меня!

Он падал спиной в бездонную глубь, прочь от крыс. Он все еще был пристегнут к креслу, но проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космос, в межзвездные бездны — все дальше, прочь, прочь, прочь от крыс. Его отделяли от них уже световые годы, хотя О'Брайен по-прежнему стоял рядом. И холодная проволока все еще прикасалась к щеке. Но сквозь тьму, объявшаую его, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки захлопнулась, а не открылась.

VI

«Под каштаном» было безлюдно. Косые желтые лучи солнца падали через окно на пыльные крышки столов. Было пятнадцать часов — время затишья. Из телекранов точилась бодрая музыка.

Уинстон сидел в своем углу, уставясь в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на громадное лицо, наблюдавшее за ним со стены напротив. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись. Без зова подошел официант, наполнил его стакан джином «Победа» и добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой в пробке. Это был раствор сахараина, настоящий на гвоздике, — фирменный напиток заведения.

Уинстон прислушался к телекрану. Сейчас передавали только музыку, но с минуты на минуту можно было ждать специальной сводки из министерства мира. Сообщения с африканского фронта поступали крайне тревожные. С самого утра он то и дело с беспокойством думал об этом. Евразийские войска (Океания воевала с Евразией; Океания всегда воевала с Евразией) с устрашающей быстротой продвигались на юг. В полуденной сводке не назвали конкретных мест, но вполне возможно, что бои идут уже возле устья Конго. Над Браззавилем и Леопольдвилем нависла опасность. Понять, что это означает, нетрудно и без карты. Это грозит не просто потерей Центральной Африки; впервые за всю войну возникла угроза самой Океании.

Бурное чувство — не совсем страх, а скорее какое-то беспредметное волнение — вспыхнуло в нем, а потом потухло. Он перестал думать о войне. Теперь он мог задерживать мысли на каком-то одном предмете не больше чем на несколько секунд. Он взял стакан и залпом выпил. Как обычно, передернулся и тихонько рыгнул. Пойло было отвратительное. Гвоздика с сахараином, сама по себе противная, не могла перебить унылый маслянистый запах джина, но, что хуже всего, запах джина, сопровождавший его день и ночь, был неразрывно связан с запахом тех...

Он никогда не называл их, даже про себя, и очень старался не увидеть их мысленно. Они были чем-то не вполне осознанным — скорее угадывались где-то перед лицом и только все время пахли. Джин всколыхнулся в желудке, и он рыгнул, выпятив красные губы. С тех пор как его выпустили, он располнел, и к нему вернулся прежний румянец, даже стал ярче. Черты лица у него огрубели, нос и скулы сделались шершавыми и красными, даже лысая голова приобрела яркий розовый оттенок. Официант, опять без зова, принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», раскрытый на шахматной задаче. Затем, увидев, что стакан пуст, вернулся с бутылкой джина и налил. Заказы можно было не делать. Обслуга знала его привычки. Шаматы неизменно ждали его и свободный столик в углу; даже когда кафе наполнялось народом, он занимал его один — никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Ему даже не приходилось подсчитывать, сколько он выпил. Время от времени ему подавали грязную бумажку и

говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что берут меньше чем следует. Если бы они поступали наоборот, его бы это тоже не взволновало. Он всегда был при деньгах. Ему дали должность — синекуру, — и платили больше, чем на прежнем месте.

Музыка в телекране смолкла, вступил голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Но передали не сводку с фронта. Сообщало министерство изобилия. Оказывается, в прошлом квартале план десятой трехлетки по шнурам перевыполнен на девяносто восемь процентов.

Он глянул на шахматную задачу и расставил фигуры. Это было хитрое окончание с двумя конями. «Белые начинают и дают мат в два хода». Он поднял глаза на портрет Старшего Брата. Белые всегда ставят мат, подумал он с неясным мистическим чувством. Всегда, исключений не бывает, так устроено. Испокон веку ни в одной шахматной задаче черные не выигрывали. Не символ ли это вечной, неизменной победы Добра над Злом? Громадное, полное спокойной силы лицо ответило ему взглядом. Белые всегда ставят мат.

Телекран смолк, а потом другим, гораздо более торжественным тоном сказал: — Внимание: в пятнадцать часов тридцать минут будет передано важное сообщение! Известия чрезвычайной важности. Слушайте нашу передачу. В пятнадцать тридцати!

Снова пустили бодрую музыку.

Сердце у него сжалось. Это сообщение с фронта; инстинкт подсказывал ему, что новости будут плохие. Весь день с короткими приступами волнения он то и дело мысленно возвращался к сокрушительному поражению в Африке. Он зрительно представлял себе, как евразийские полчища валят через нерушимую прежде границу и растекаются по оконечности континента подобно колоннам муравьев. Почему нельзя было выйти им во фланг? Перед глазами у него возник контур западного побережья. Он взял белого коня и переставил в другой угол доски. Вот где правильное место. Он видел, как черные орды катятся на юг, и в то же время видел, как собирается таинственно другая сила, вдруг оживает у них в тылу, режет их коммуникации на море и на суше. Он чувствовал, что желанием своим вызывает эту силу к жизни. Но действовать надо без промедления. Если они овладеют всей Африкой, захватят аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды, Океания будет разрезана пополам. А это может повлечь за собой что угодно: разгром, передел мира, крушение партий! Он глубоко вздохнул. В груди его клубком сплелись противоречивые чувства — вернее, не сплелись, а расположились слоями, и невозможно было понять, какой глубже всего.

Спазма кончилась. Он вернул белого коня на место, но никак не мог сосредоточиться на задаче. Мысли опять ушли в сторону. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльной крышке стола:

$$2 \times 2 = 5$$

«Они не могут в тебя влезть», — сказала Джулия. Но они смогли влезть. «То, что делается с вами здесь, делается навечно», — сказал О'Брайен. Правильное слово. Есть такое — твои собственные поступки, — от чего ты никогда не оправившись. В твоей груди что-то убито — вытравлено, выжжено.

Он ее видел; даже разговаривал с ней. Это ничем не грозило. Инстинкт ему подсказывал, что теперь его дела почти не интересуются. Если бы кто-то из них двоих захотел, они могли бы условиться о новом свидании. А встретились они нечаянно. Произошло это в парке, в пронизывающий, мерзкий мартовский денек, когда земля была как железо, и вся трава казалась мертвой, и не было нигде ни почки, только несколько крокусов вылезли из грязи, чтобы их расчленил ветер. Уинстон шел торопливо, с озябшими руками, плача от ветра, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Она разительно переменилась, но непонятно было, в чем эта перемена заключается. Они разошлись как незнакомые; потом он повернул и нагнал ее, хотя и без особой охоты. Он знал, что это ничем не грозит, никому они не интересны. Она не заговорила. Она свернула на газон, словно желая избавиться от него, но через несколько шагов как бы примирилась с тем, что он идет рядом. Вскоре они очутились среди корявых голых кустов, не защищав-

ших ни от ветра, ни от посторонних глаз. Остановились. Холод был лютый. Ветер свистел в ветках и трепал редкие грязные крокусы. Он обнял ее за талию.

Телекрана рядом не было, были, наверно, скрытые микрофоны; кроме того, их могли увидеть. Но это не имело значения — ничто не имело значения. Они спокойно могли бы лечь на землю и заняться чем угодно. При одной мысли об этом у него мурашки поползли по спине. Она никак не отозвалась на объятие, даже не попыталась освободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо приобрело землестый оттенок, через весь лоб к виску тянулся шрам, отчасти прикрытый волосами. Но дело было не в этом. А в том, что талия у нее стала толще и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды после взрыва ракеты помогал вытаскивать из развалин труп и поражен был не только невероятной тяжестью тела, но его жесткостью, тем, что его так неудобно держать, словно оно было каменное, а не человеческое. Таким же на ощупь оказалось ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверно, стала совсем другой.

Он даже не попытался поцеловать ее, и оба продолжали молчать. Когда они уже выходили из ворот, она впервые посмотрела на него в упор. Это был короткий взгляд, полный презрения и неприязни. Он не понял, вызвана эта неприязнь только их прошлым или вдобавок его расплывшимся лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья, рядом, но не вплотную друг к другу. Он понял, что сейчас она заговорит. Она передвинула на несколько сантиметров грубую туфлю и нарочно смяла былинку. Он заметил, что ступни у нее раздались.

— Я предала тебя,— сказала она без обиняков.

— Я предал тебя,— сказал он.

Она снова взглянула на него с неприязнью.

— Иногда,— сказала она,— тебе угрожают чем-то таким.. таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь: «Не делайте этого со мной, сделайте с кем-нибудь другим, сделайте с таким-то». А потом ты можешь притворяться перед собой, что это была только уловка, что ты сказала это просто так, лишь бы перестали, а на самом деле ты этого не хотела. Неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет, ты согласна спастись таким способом. Ты хочешь, чтобы это сделали с другим человеком. И тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе.

— Думаешь только о себе,— эхом отозвался он.

— А после ты уже по-другому относишься к тому человеку.

— Да,— сказал он,— относишься по-другому.

Говорить было больше не о чем. Ветер лепил тонкие комбинезоны к их телам. Молчание почти сразу стало тягостным, да и холод не позволял сидеть на месте. Она пробормотала, что опоздает на поезд в метро, и поднялась.

— Нам надо встретиться еще,— сказал он.

— Да,— сказала она,— надо встретиться еще.

Он нерешительно пошел за ней, приотстав на полшага. Больше они не разговаривали. Она не то чтобы старалась от него отделаться, но шла быстрым шагом, не давая себя догнать. Он решил, что проводит ее до станции метро, но вскоре почувствовал, что тащиться за ней по холоду бессмысленно и невыносимо. Хотелось не столько даже уйти от Джулии, сколько очутиться в кафе «Под капитаном» — его никогда еще не тянуло туда так, как сейчас. Он затосковал по своему угловому столику с газетой и шахматами, по неиссякаемому стакану джина. Самое главное, в кафе будет тепло. Тут их разделила небольшая кучка людей, чему он не особенно препятствовал. Он попытался — правда, без большого рвения — догнать ее, потом сбавил шаг, повернул и отправился в другую сторону. Метров через пятьдесят он оглянулся. Народу было мало, но узнать ее он уже не мог. Всего несколько человек торопливо двигались по улице, и любой из них сошел бы за Джулию. Ее раздавленное, огрубевшее тело, наверно, нельзя было узнать сзади.

«Когда это происходит,— сказала она,— желание у тебя именно такое». И у него оно было. Он не просто сказал так, он этого хотел. Он хотел, чтобы ее, а не его отдали...

В музыке, лившейся из телекрана, что-то изменилось. Появился надтреснутый, глумливый тон, желтый тон. А потом — может быть, этого и не было на

самом деле, может быть, просто память оттолкнулась от тонального сходства — голос запел:

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня —
Я тебя, а ты меня...

У него навернулись слезы. Официант, проходя мимо, заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина.

Он поднял стакан и понюхал. С каждым глотком пойло становилось не менее, а только более отвратительным. Но оно стало его стихией. Это была его жизнь, его смерть и его воскресение. Джин гасил в нем каждый вечер последние проблески мысли и джин каждое утро возвращал его к жизни. Проснувшись — как правило, не раньше одиннадцати ноль-ноль — со слипшимися веками, пересохшим ртом и такой болью в спине, какая бывает, наверно, при переломе, он не мог бы даже принять вертикальное положение, если бы рядом с кроватью не стояла наготове бутылка и чайная чашка. Первую половину дня он с мутными глазами просиживал перед бутылкой, слушая телекран. С пятнадцати часов до закрытия пребывал в кафе «Под каштаном». Никому не было дела до него, свисток его не будил, телекран не наставлял. Изредка, раза два в неделю, он посещал пыльную, заброшенную контору в министерстве правды и немного работал — если это можно назвать работой. Его определили в подкомитет подкомитета, отпочковавшегося от одного из бесчисленных комитетов, которые занимались второстепенными проблемами, связанными с одиннадцатым изданием Словаря новояза. Сейчас готовили так называемый Предварительный доклад, но что им предстояло доложить, он в точности так и не выяснил. Какие-то заключения касательно того, где ставить запятую — до скобки или после. В подкомитете работали еще четверо, люди вроде него. Бывали дни, когда они собирались и почти сразу расходились, честно признавшись друг другу, что делать им нечего. Но случались и другие дни: они брались за работу рьяно, с помпой вели протокол, составляли длинные меморандумы — ни разу, правда, не доведя их до конца — и в спорах по поводу того, о чем они спорят, забирались в совершенные дебри, с изощренными препирательствами из-за дефиниций, с пространными отступлениями, даже угрозами обратиться к начальству. И вдруг жизнь уходила из них, и они сидели вокруг стола, глядя друг на друга погасшими глазами, — словно привидения, которые рассеиваются при первом крике петуха.

Телекран замолчал. Уинстон снова поднял голову. Сводка? Нет, просто сменили музыку. Перед глазами у него стояла карта Африки. Движение армий он видел графически: черная стрела грозно устремилась вниз, на юг, белая двинулась горизонтально, к востоку, отсекая хвост черной. Словно ища подтверждения, он поднял взгляд к невозмутимому лицу на портрете. Мыслимо ли, что вторая стрела вообще не существует?

Интерес его опять потух. Он глотнул джину и для пробы пошел белым коном. Шах. Но ход был явно неправильный, потому что...

Незванное, явилось воспоминание. Комната, освещенная свечой, громадная кровать под белым покрывалом, и сам он, мальчик девяти или десяти лет, сидит на полу, встряхивает стаканчик с игральными костями и возбужденно смеется. Мать сидит напротив него и тоже смеется.

Это было, наверно, за месяц до ее исчезновения. Ненадолго восстановился мир в семье — забыт был сосущий голод, и прежняя любовь к матери ожила на время. Он хорошо помнил тот день: ненастье, проливной дождь, вода струится по оконным стеклам и в комнате сумрак, даже нельзя читать. Двум детям в темной, тесной спальне было невыносимо скучно. Уинстон ныл, капризничал, напрасно требовал еды, слонялся по комнате, стаскивал все вещи с места, пинал обшитые деревом стены так, что с той стороны стучали соседи, а младшая сестренка то и дело принималась вопить. Наконец мать не выдержала: «Веди себя хорошо, куплю тебе игрушку. Хорошую игрушку... тебе понравится» — и в дождь пошла на улицу, в маленький универмаг неподалеку, который еще время от времени открывался, а вернулась с картонной коробкой — игрой «Змейки — лесенки». Он до сих пор помнил запах мокрого картона. Набор был изготовлен скверно. Доска в трещинах, кости вырезаны так неровно, что чуть не переворачивались сами собой. Уинстон смотрел на игру надувшись и без всякого интереса. Но по-

том мать зажгла огарок свечи, и сели играть на пол. Очень скоро его разобрал азарт, и он уже заливался смехом, и блошки карабкались к победе по лесенкам и скатывались по змейкам обратно чуть ли не к старту. Они сыграли восемь конов, каждый выиграл по четыре. Маленькая сестренка не понимала игры, она сидела в изголовье и смеялась, потому что они смеялись. До самого вечера они были счастливы втроем, как в первые годы его детства.

Он отогнал эту картину. Ложное воспоминание. Ложные воспоминания время от времени беспокоили его. Это не страшно, когда знаешь им цену. Что-то происходило на самом деле, что-то не происходило. Он вернулся к шахматам, снова взял белого коня. И сразу же со стуком уронил на доску. Он вздрогнул, словно его укололи булавкой.

Тишину прорезали фанфары. Сводка! Победа! Если перед известиями играют фанфары, это значит — победа. По всему кафе прошел электрический разряд. Даже официанты встрепенулись и наострили уши.

Вслед за фанфарами обрушился неслыханной силы шум. Телекран лопотал взволнованно и невнятно — его сразу заглушили ликующие крики на улице. Новость обежала город с чудесной быстротой. Уинстон расслышал немного, но и этого было достаточно — все произошло так, как он предвидел: скрытно сосредоточившаяся морская армада, внезапный удар в тыл противнику, белая стрела перерезает хвост черной. Сквозь гам прорывались обрывки фраз: «Колоссальный стратегический маневр... безупречное взаимодействие... беспорядочное бегство... полмиллиона пленных... полностью деморализован... полностью овладели Африкой... завершение войны стало делом обзримого будущего... победа... величайшая победа в человеческой истории... победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона судорожно двигались под столом. Он не встал с места, но мысленно уже бежал, бежал быстро, он был с толпой на улице и глох от собственного крика. Он опять посмотрел на портрет Старшего Брата. Колосс, вставший над земным шаром! Скала, о которую разбиваются азиатские орды! Он подумал, что десять минут назад, всего десять минут назад, в душе его еще жило сомнение и он не знал, какие будут известия: победа или крах. Нет, не только евразийская армия канула в небытие! Многое изменилось в нем с того первого дня в министерстве любви, но окончательное, необходимое исцеление совершилось лишь сейчас.

Голос из телекрана все еще сыпал подробностями — о побойце, о пленных, о трофеях, — но крики на улицах немного утихли. Официанты принялись за работу. Один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон в блаженном забытии даже не заметил, как ему наполнили стакан. Он уже не бежал и не кричал с толпой. Он снова был в министерстве любви, и все было прощено, и душа его была чиста, как родниковая вода. Он сидел на скамье подсудимых, во всем признавался, на всех давал показания. Он шагал по вымощенному кафелем коридору с ощущением, как будто на него светит солнце, а сзади следовал вооруженный охранник. Долгожданная пуля входила в его мозг.

Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в черных усах. О, жестокая, ненужная размолвка! О, упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренных джином слезы прокатились по крыльям носа. Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О НОВОЯЗЕ

Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангоца, или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения — ни устно, ни письменно. Передовые статьи в «Таймс» писались на новоязе, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старояз (то есть современный литературный язык) будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции: члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов

и грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в девятом и десятом изданиях Словаря новояза, считался промежуточным и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в одиннадцатом издании Словаря.

Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев англосоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая англосоцу, мысль, постольку поскольку она выражается в словах, станет буквально невысказанной. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсесть все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений — по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму.

Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса: словарь А, словарь В (составные слова) и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно; грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А, поскольку правила для всех трех категорий одни и те же.

Словарь А заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни, — связанные с едой, питьем, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и т. п. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких, как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар», но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь одно четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий.

Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первая — чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и в принципе это относилось даже к самым отвлеченным, как, например, «если»: «еслисть», «еслинно» и т. д. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался; словом-производителем могли стать и глагол, и существительное, и даже союз; суффиксами пользовались гораздо свободнее, что позволяло расширить гнездо до невысказанных прежде размеров. Таким образом были образованы, например, слова «едка», «яйцевать», «хвостистски» (наречие), «убежденец». Если существительное и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался: так, слово «писатель» означало карандаш, поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и т. д. Прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например, «пальтовый», «жабный», от них — соответствующие наречия и т. д.

Кроме того, для любого слова — в принципе это опять-таки относилось к

каждому слову — могло быть построено отрицание при помощи «не». Так, например, образованы слова «нелицо» и «недонос». Система единообразного усиления слов приставками «плюс-» и «плюсплюс-», однако, не привилась ввиду неблагозвучия многих новообразований (см. ниже). Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так, у прилагательных появились две сравнительных степени: «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным (чаще отглагольным) путем сцепления близких слов в родительном падеже: «наращивание ускорения темпов развития». Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как «подустать», «надвзять», «отоварить», «беспреступность» (коэффициент), «зарыбление», «обескоровить», «довыполнить» и «недододать». Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть свести разнообразие живых корней в языке к минимуму.

Второй отличительной чертой грамматики новояза была ее регулярность. Всякого рода особенности в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в спряжении глаголов были по возможности устранены. Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая», «махать» спрягался единственным образом «махаю» и т. д. Слова «цыпленок», «крысенок» во множественном числе имели форму «цыпленки», «крысенки» и соответственно склонялись; «молоко» имело множественное число — «молоки»; «побой» употреблялось в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного: «займ». Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «равный», «тракторный» и «двухвесельный». В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными: «завозразить» (проект), «задействовать» (человека), «растаять» (льды), «умалчивать» (правду), «взмыть» (пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями). Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились, за исключением «кто» и «чей». Последние были упрощены, и во всех случаях их заменило местоимение «который» («которого»). Отдельные неправомерности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или такое, которое может быть неверно услышано, считалось *ipso facto*¹ плохим словом, поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по преимуществу это касалось словаря В. Почему придавалось такое значение удобопроизносимости, будет объяснено в этом очерке несколько позже.

Словарь В состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд, — иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию. Не усвоив полностью основ англсоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать староязовским словом или даже словами из словаря А, но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова В представляли собой своего рода стенограмму: в несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обычном языке.

Все слова В были составными². Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера: от «благомыслия», означавшего приблизительно ортодоксию, правоверность, происходил глагол «благомыслить», причастие «благомыслящий», прилагательное «благомысленный», наречие «благомысленно» и т. д.

Слова В создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно пре-

¹ В силу одного этого (лат.).

² Составные слова, такие, как «речепис», «рабень», встречались, конечно, и в словаре А, но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели.

парированных — лишь бы их было удобно произносить и оставалось понятным их происхождение. В слове «мыслепреступление», например, «мысль» стояла первой, а в слове «благомыслие» — второй. Поскольку в словаре В удобопроизносимость достигалась с большим трудом, слова здесь образовывались не по такой жесткой схеме, как в словаре А. Например, прилагательные от «Минилюба» и «Миниправа» были соответственно «минилюбный» и «миниправный» просто потому, что «-любовный» и «-праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же их склоняли и спрягали как обычно.

Некоторые слова В обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в «Таймс»: «Старомысли ненутрят ангсоц». Кратчайшим образом на староязе это можно изложить так: «Те, чьи идеи сложились до революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма». Но это не адекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведенной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «ангсоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в ангсоце, почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слова «старомысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов наподобие «старомысла» состояла не столько в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется немногочисленных, расширилось настолько, что обнимало целую совокупность понятий; упаковав эти понятия в одно слово, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей Словаря новояза было не изобрести новое слово, но, изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов оно аннулирует.

Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства — но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких, как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука», просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мыслепреступление», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, — в слове «старомыслие». Большая точность была бы опасна. По своим воззрениям член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются «ложным богам». Ему не надо было знать, что имена этих богов — Ваал, Осирис, Молох, Астарта и т. д.; чем меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал Иегову и заветы Иеговы; а поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами — ложные боги. Подобным образом член партии знал, что такое правильное поведение, и до крайности смутно, лишь в общих чертах, представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами: «злосекс» (половая аморальность) и «добросекс» (целомудрие). «Злосекс» покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения, а кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности, все было преступлениями и в принципе карались смертью. В словаре С, состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных нарушений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое «добросекс», то есть нормальное сожителство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины. Все остальное — злосекс. Новояз почти не давал возможности проследить за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна; дальше не было нужных слов.

В словаре В не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» (лагерь радости, то есть каторжный лагерь) или «Минимир» (министерство мира, то есть министерство войны), обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понима-

ние подлинной природы строя. Например, «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова — с «хорошим» оттенком, когда их применяли к партии, и с «плохим», когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями, — идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура.

Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл, было сведено в словарь В. Названия всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий кроились по привычной схеме: одно удобопроизносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющих понять его происхождение. В министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался доко, отдел литературы — лито, отдел телепрограмм — телео и т. д. Делалось это не только для экономии времени. Членистые слова стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти двадцатого века; особенная тяга к таким сокращениям, была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «Коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно, в новоязе же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что, сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету столь же легко узнаваемому и столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести, почти не размышляя, в то время как «Коммунистический Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же образом «Миниправ» вызывает гораздо меньше ассоциаций (и их легче предугадать), чем «министерство правды». Этим объяснялось не только стремление сокращать все что можно, но и на первый взгляд преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить.

Благозвучие перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла. Когда надо было, регулярность грамматики неизменно приносилась ему в жертву. И справедливо, ибо для политических целей прежде всего требовались четкие, стриженные слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А оттого, что все они были скроены на один лад, слова В только прибавляли в весе. Многие из них — «ангсоц», «злосекс», «радлаг», «нарпит», «старомысл», «мыслепол» (полиция мыслей) — были двух- и трехсложными, причем ударения падали и на первый и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной. Это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь — в особенности такую, которая касалась идеологических тем, — по возможности независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо — по крайней мере иногда необходимо — подумать, перед тем как заговоришь; партиец же, которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпустить правильные суждения автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому, новояз — его орудие — предохранит его от ошибок, фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу ангсоца, еще больше обличит ему дело.

Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком лексикон новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть кричающий по-утиному. Как и некоторые другие слова В, «речекряк» имел двойственное значение. Если кря-

кали в ортодоксальном смысле, это слово было не чем иным, как похвалой, и когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов: «идейно крепкий речевик», — это был весьма теплый и лестный отзыв.

С л о в а р ь С был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова. Лишь немногие из них имели хождение в бытовой и в политической речи. Любое нужное слово научный или инженерный работник мог найти в особом списке, куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов, общих для всех списков, было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука»: все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц».

Из вышесказанного явствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно — но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство. Можно было, например, сказать: «Старший Брат плохой». Но это высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином, разные ереси свалив в одну кучу и заклеивив совокупно. В сущности, использовать новояз для неортодоксальных целей можно было не иначе как с помощью преступного перевода некоторых слов обратно на старояз. Например, новояз позволял сказать: «Все люди равны», — но лишь в том смысле, в каком старояз позволял сказать: «Все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно: что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальные значения. На практике любому, воспитанному в двоемыслии, избежать этого было нетрудно, а через поколение-другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, что «равенство» когда-то имело второй смысл — гражданское равенство, а «свобода» когда-то означала свободу мысли, точно так же как человек, в жизни своей не слышавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки просто потому, что они безымянны, а следовательно, немислимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливей и отчетливей — все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становиться их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их не должным образом.

Когда старояз окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы, не вполне подчищенные, там и сям сохранились, и, откуда люди помнили старояз, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старояза на новояз было невозможно, если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее бытовое действие или не был в оригинале идейно выдержанным (выражаясь на новоязе — благомысленным). Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из Декларации независимости:

Мы полагаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными, всех их создатель наделил определенными неотъемлемыми пра-

вами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство...

Перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, это вогнать весь отрывок в одно слово: мыслепреступление. Полным переводом мог стать бы только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти.

Именно таким образом и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого. Из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведа их труды в согласие с учением англоца. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс, и некоторых других; по завершении этих работ первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым; ожидалось, что завершатся они не раньше первого или второго десятилетия двадцать первого века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов — технических руководств и т. п., — их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

ВЕЧНЫЙ ГОД

В 1984 году мир отмечал очень странный юбилей: не дату рождения или смерти писателя, не год выхода в свет его книги, а год, обозначивший время действия в книге. Случай, кажется, единственный в мировой литературе. В тот год («последний год застоя», по новейшей хронологии) и в наших газетах появились сообщения о «юбилейной» книге, туманные и столь противоречивые, что их можно посчитать за одно из первых и совершенно непреднамеренных проявлений плюрализма. В одних статьях говорилось, что этот антисоветский роман вопреки воле его талантливого автора стал «зеркалом капиталистической действительности»; в других, напротив, утверждалось, что автор бездарен, а на гребень мировой славы его вознесла конъюнктурная волна. Последнее утверждение можно опровергнуть, даже не читая романа, — достаточно заглянуть в любое библиографическое издание. Так, в библиографии утопической литературы, изданной в Бостоне в 1979 году, на страницах, отведенных 1948 — 1949 годам, означено: «Блэр Э., «1984» (псевдоним: Дж. Оруэлл) — классическая тоталитарная дистопия» (вид негативной утопии). Только редкая в библиографиях оценка — «классическая» — выделяет знаменитую книгу: в 1948—1949 годах каждая третья из выходивших в свет утопий была негативной. Да, это годы «холодной войны», но листаем наугад десять страниц назад и вперед — и оказывается, что и в 1936—1937 и в 1972—1973 годах та же самая картина. Почти все эти книги ныне забыты, а слава Оруэлла, как и его предшественников — Замятина и Хаксли, не тускнеет. Конфронтации сменялись конвергенциями, а поток изданий «1984» пересекал все холодные и теплые течения, и когда воображаемый год догнал хронологический, популярность книги достигла пика. По сведениям журнала «Футурист», к февралю 1984 года только в Англии имелось одиннадцать миллионов копий. Заметим сразу, что ожидание оруэлловского кошмара именно к 1984 году — результат массовой аберрации читательского восприятия: герой живет при англоце четвертый десяток — стало быть, «последняя в мире тоталитарная революция» произошла в середине XX века. Во всяком случае, оторвав листок календаря, люди с облегчением вздохнули: как ни кошмарен этот мир, оруэлловский — страшнее. Похоже, что 1984 — год, который никогда не наступит, обнадеживали нас футурологи. Но не точней ли мнение историков о фантазиях Оруэлла и Хаксли: если мы еще не дожили до описанного ими будущего, то этим мы в какой-то мере обязаны им. А если мы все-таки придем к нему, мы должны будем признать, что знали, куда идем.

Спор, наступит ли и когда, не имеет смысла по отношению к роману. Как факт духовной биографии человечества 1984 год наступил однажды и навсегда — тем летом 1949 года, когда роман печатали одновременно типографии Лондона и Нью-Йорка. «Нас охватил такой острый ужас,— вспоминают первые читатели романа,— будто речь шла не о будущем. Мы боялись с е г о д н я, смертельно боялись». Фантастический 1984 й заменил собой реальный в сознании людей и, может быть, в их истории. «Не думаю,— размышляет английский писатель Дж. Уэйн,— что приход тоталитаризма в Европу задержали два романа — «1984» и «Спящая тьма» Кёстлера¹... но они сыграли в этом огромную роль».

Вышедший на рубеже двух полувеков, роман как бы подвел итог первому — с его двумя мировыми войнами, великими революциями и Хиросимой. Именно в это полувековье произошли те события, которые метят, маркируют века в истории, определяя один как «век Просвещения», другой — как «век великих географических открытий», третий — как «век геноцидов».

Недолгая жизнь Эрика Блэра (1903—1950) пришлось на первую половину века, но творчество и судьба Джорджа Оруэлла принадлежат второй его половине — времени, когда литературное новаторство ищет предельно естественных форм, а борьба за место под солнцем сменяется стремлением к опрощению. «Чужацтва» Оруэлла — простая пища, уголь, свечи, коза, огород — сегодня для многих людей его круга стали нормой. Конечно, Оруэлл ясно сознавал, что делает художественный сюжет из своей жизни. «Автобиографическую заметку» 1940 года он заканчивает реликвией: «Хотя все здесь написанное — правда, я должен признаться, что мое подлинное имя не Джордж Оруэлл». Мемуаристы полагают, что выбор в качестве псевдонима грубоватого и «природного» названия английской речушки — Оруэлл — определялся его желанием создать «второе я» — простое, ясное, демократичное... Но для Оруэлла во всякой р о л и был риск двоемыслия, а единственное противоядие от двоемыслия — память о том, что было раньше. Перед лицом смерти он с последней суровостью свел эти счёты, вписав в завещание просьбу: не писать биографии Эрика Блэра, ибо «всякая жизнь, увиденная изнутри, есть только цепь унижительных компромиссов и неудач».

Итак, он сочинял судьбу — как многие писатели, может быть, с необычно резко выраженной избирательностью. Торил тропу не столь широкую, сколь глубокую. Не ездил вокруг света, не отдавался жизни литературной богемы. Но он страстно стремился к тому, чтобы главные события века: экономическая депрессия, фашизм, мировая война, тоталитарный террор,— стали событиями его л и ч н о й жизни. Поэтому он побывал и безработным, и бродягой, и судомоем, и солдатом (будучи пацифистом), и корреспондентом газет и радио (при отвращении к политике и пропаганде); был задержан по подозрению в шпионаже, бежал с чужим паспортом. При раннем и интенсивном туберкулезном процессе все это было особенно опасно, а по исходным социальным возможностям — никак не обязательно. Он был вторым ребенком в обедневшей, но аристократичной (по шотландским истокам) семье англо-индийского чиновника (родился в Бенгалии), и хотя унижительное, на стипендию, пребывание в элитарной приготовительной школе дорого ему стоило (страшный мир, запечатленный им в посмертно изданной повести о детстве, он как-то назвал своим «маленьким 1984»), оно открывало ему путь в колледж и к блестящей карьере. Но, окончив Итон, он поехал в Бирму полицейским. Потом несколько лет жил в Париже изгоем и неудачником, но вскоре его книги «пошли». Он написал автобиографическую диологию «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» и «Дорога на Уайген». Вторая — художественно-документальный репортаж о командировке (от известного левого издательства) на охваченный безработицей шахтерский север Англии, перемежаемый его первой политической исповедью — покаянием эгоцентричного интеллектуала перед лицом великого народного бедствия.

В жизни каждое событие по-своему важно — у судьбы всегда есть центр, который одновременно и ее начало и ее конец. Судьбу Оруэлла определило одно из самых сложных событий новейшей истории — гражданская война в Испании.

Вступив в антифашистское ополчение ПОУМ, лидеры которого были в открытой оппозиции к Испанской компартии и резко осуждали сталинский террор, Оруэлл поставил себя в положение человека, которого могут в любую минуту обвинить в предательстве — только потому, что ПОУМ вдруг была объявлена «троцкистской бандой» и «пятой колонной Франко».

¹ А. Кёстлер, «Спящая тьма» («Нева», 1988, № 7—8).

Строка поэта: «Я все равно паду на той, на той единственной, гражданской» — поразительно точно ложится на судьбу Оруэлла. Раненный опасно в горло (он почти на год лишился голоса), Оруэлл больше не воевал, но испанская война осталась его единственной Войной и в более сокровенном смысле. Он поехал в Испанию от левой газеты, потому что от правой можно было ехать только к Франко. Тогда он верил, что левые политики и народ борются за одно дело. В Каталонии он увидел, что это не так, что народу нужны земля и воля, а левым, точно так же как и правым, — идеология и власть. Но самым страшным для него было сознание невозможности рассказать об этой ситуации. Это несуществование целых пластов человеческого опыта Оруэлл понял как судьбу человека в тоталитарном мире. И духовно принял эту судьбу. Спасенный друзьями и женой от ареста, пыток, унижений, гибели, он, англичанин до мозга костей, прожил, по свидетельству друзей, всю оставшуюся жизнь в глубоком внутреннем отождествлении с жертвами фашизма и сталинизма. «И», а не «и ли!» И в 1943-м, в дни Сталинграда, один против всех и всего вокруг, он начал писать антисталинскую сатиру «Скотный двор»², которую долго не решались печатать ни левые, ни правые. Горький привкус одиночества ощущим в его признании другу, писателю Кёстлеру: «В 1936 году, в Испании, остановилась история». Испания дала ему позицию, принятую в своем существе раз и навсегда и именно поэтому свободно меняющуюся относительно всего временного, конъюнктурного, формального. О сути этой позиции он сказал, казалось бы, ясно: «Каждая серьезная строчка моих работ с 1936 года написана прямо или косвенно против тоталитаризма и в защиту демократического социализма, как я его понимал. Это оставалось его внутренним убеждением — как художнику и публицисту ему дано было изобразить только уродливые тени и зловещие контуры антиидеала. Его художественные символы: Ангсоп, Старший Брат, Двоемыслие, Новояз, — стали ведущими понятиями политического мышления во второй половине XX века, а модель общества, в котором живут и погибают Уинстон и Джулия, политики по емкости и силе сопоставляют с Левиафаном Гоббса.

При жизни Оруэлла чаще всего называли диссидентом внутри левых. Сейчас его судьба повторяет посмертную судьбу Диккенса, о котором сам Оруэлл сказал: «Его может присвоить каждый желающий». Не так ли было и с Достоевским? Потомки всегда борются за предков, ставших классиками. Судите сами: «Он был предтечей неоконсерваторов, точнее ранним неоконсерватором, потому что искал политическую и нравственную мудрость в инстинктах простого человека, а не в интеллектуальных установках», — убежденно говорит крайне «правый» Норман Подгорец. А идеолог «новых левых» Раймонд Уильямс с не меньшей страстью утверждает: «В глубинных своих пластах английская «новая левая» — потомки Оруэлла, человека, стремившегося жить, как большинство англичан, вне официальной культуры».

Атомная бомба dokonала Оруэлла: она лишила возможности выбора между Востоком и Западом, оскорбляла его патриотизм. Ведь даже в 1940 году, когда он был увлечен «революционным пацифизмом» и пытался противостоять начавшейся войне как «империалистической», у него вырвалось: «О! Что сделаю я для тебя, Англия, моя Англия?» Он стал искать политический выход в проектах создания суверенной свободной Европы — «Социалистических Штатов Европы».

Отчаяние оказалось творчески плодотворным: пропустив сквозь него все, что понял, прочитал и написал до этого, уединившись в холоде и полуголоде северного острова, он написал этот роман с такой катастрофической для здоровья скоростью, что оставшихся после его выхода в свет и триумфа семи месяцев хватило только на завешание, архивы, доработки, несколько рецензий да на бесплодные попытки объяснить, что он хотел и чего не хотел сказать своим романом.

...А мир уже понимал, что такое Оруэлл. Из Штатов летели недоступные по тем временам сильные антибиотики, в Швейцарии друзья готовили ему место в санатории: перед смертью, как случается, вдруг стало лучше. Один из самых близких, Ричард Рис, не успел попрощаться: он уехал в Канаду. «Я был в литературном собрании; вдруг кто-то вошел и сказал: «Умер Оруэлл». И в наступившем молчании меня пронзила мысль: отныне этот прямой, добрый и яростный человек станет одним из самых властных мифов XX века».

В. ЧАЛИКОВА.

² Д. Оруэлл, «Скотный двор» («Родник» (Рига), 1988, № 3—7).

«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Неизвестные стихи Бориса Пастернака

В 1957 году Пастернак окончил биографический очерк «Люди и положения» признанием, что говорить в нем «о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции», он не станет, потому что писать об этом можно только так, «чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы». Тем самым он констатировал, что литература, сила и искренность которой соответствовали бы конкретному пластическому воплощению исторической трагедии России, еще не существует и создать ее в то время было невысказано.

Написанная им по настоянию редакции краткая глава, обобщенно характеризующая эту тему, не была включена в окончательный текст очерка. Переход от февральской революции к Октябрьской дан в ней с яркостью символического обозначения. Фигурой, олицетворяющей трагический символ, предстает Ленин, неожиданно приехавший из-за закрытой границы:

«Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких он видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяниям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения».

Заметим, что это во многом дословный пересказ характеристики Ленина из «Высокой болезни». Там его непреклонная воля названа горячкой гения; а речь на IX съезде Советов — отчетом обо всем, «что кровью былей начерталось». Аналогия вождя революции с разрушительной силой пробегавшего и взрыва шаровой молнии ведет к заключению:

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Революционная буря многократно и многопланово присутствует в творчестве Пастернака. Реалистически он выразил ее ход в романе «Доктор Живаго», рисуя последовательную реакцию социально не выделенного человека творческой складки на события 1917 и начала 1918 года.

Стихийно светящееся революционное лето, когда, «казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды», постепенно сменяется осенью распада, сознанием промедления, подобного смерти, нереальности и бессилия Временного правительства.

Нарушение устойчивости общества, пошатнувшаяся в результате военных поражений прочность обихода позволили «столбам тайных нравственных залеганий» вырваться наружу. От лица прошедших «тяжелую школу оскорблений» в романе «Доктор Живаго» выступает Стрельников, воспринявший революцию «как взрыв собственного гнева, как свою кровную расплату за долгое и затянувшееся надругательство». Словами Стрельникова Пастернак говорит о Ленине, который впитал в себя весь XIX век со всеми его революциями и новыми системами идей, чтобы «олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое».

«Из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся солдатская революция» пугает Юрия Живаго. Вопреки этому преклонение перед идеей революции, воспитанное в нем тем кругом, к которому он принадлежал, прорывается искренним восхищением первыми декретами советской власти. Но он не подчинен идейным иллюзиям и, трезво глядя на происходящее, убеждается в том, что реальность расходится с провозглашенным.

Для большинства творческой интеллигенции России, таких людей, как Горький, Короленко, точкой преткновения стали проявления бессмысленного насилия в начале

1918 года: чудовищный по жестокости и кровопролитности бунт матросов в Кронштадте, разгон Учредительного собрания, арест, а затем преступное убийство его депутатов А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина в палате Марининской больницы¹.

Стихотворения, связанные с неприемлемым для Пастернака насилием, могли бы войти в книгу «Темы и вариации» (1916—1922), напоминание о том, что «в наши дни и воздух пахнет смертью: открыть окно, что жилы отворить», варьируется во многих стихотворениях в этой книге. Это делается обобщенно и иносказательно, указаний на конкретные события нет, поскольку явление берется шире — им полон воздух, это его химический состав. Логично было бы ожидать большей конкретности в стихотворениях и вариантах, не включенных автором в окончательный текст. Действительно, в первоначальном варианте стихотворения «Мне в сумерки ты все пансионеркою...» упоминается «шум машин в подвалах трибунала». При внимательном чтении подобные приметы страшного времени можно выделить во многих местах книги.

Несколько лет тому назад рукопись неизвестного стихотворения 1918 года, посвященного расстрелу заложников, была обнаружена в Йельском университете, и в 1984 году его опубликовал Ал. Раннит в «Новом журнале» (№ 156):

Боже, Ты создал быстрой касатку.
 Жжется зарей, щебечет, летит
 Низясь, — зачем Ты вдунул десятку
 Приговоренных свой аппетит?
 Чем утолю? Как заставлю зардеться
 Утром ужасным, когда — Ничто
 Идол и доля красногвардейца,
 В это ужасное утро — То?
 Стал забываться за красным желтый
 Твой луговой, вдохновенный рассвет.
 Где Ты? На чьи небеса перешел Ты?
 Здесь, над русскими, здесь Тебя нет.

Незадолго до этого был найден еще один автограф. Это исписанный с трех сторон двойной лист пожелтевшей бумаги. На первой его странице — стихотворение о расстреле Шингарева и Кокошкина (вероятно, без начала), две другие — отклик на кронштадтские события, связанные в представлении автора с общим ходом революции. Рукопись пролежала в семейном архиве более шестидесяти лет, сохраненная лишь потому, что Пастернак не подозревал о ее существовании. Стихотворение переписано набело, хотя носит на себе явные следы эскизности поспешной записи — повторы рифмовки и образов говорят об отсутствии последней отделки и окончательного выбора вариантов.

Русская революция

Как было хорошо дышать тобою в марте
 И слышать на дворе, со снегом и хвоей
 На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий
 Ломающее лед дыхание твое!

Казалось облака несут, плывя на запад,
 Народам со дворов, со снегом и хвоей
 Журчащий, как ручьи, как солнце сонный запах,
 Все здешнее, всю грусть, все русское твое.

И теплая капель, буравя спозаранку
 Песок у желобов, грачи, и звон тепла
 Гремели о тебе, о том, что, иностранка,
 Ты по сердцу себе прием у нас нашла.

¹ Шингарев А. И. (1869—1918) — врач и публицист, министр земледелия и финансов Временного правительства. Кокошкин Ф. Ф. (1871—1918) — государственный контролер во Временном правительстве. Как депутаты Учредительного собрания от партии кадетов были арестованы в конце ноября 1917 года и заключены в Петропавловскую крепость. После разгона Учредительного собрания были переведены в больницу и в ночь с 7 на 8 января убиты двумя ворвавшимися в палату революционными матросами.

Что эта, изо всех великих революций
Светлейшая, не станет крови лить; что ей
И кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюда.
Как было хорошо дышать красой твоей!

Казалось ночь свята, как копоть в катакомбах,
В глубокой тишине последних дней поста.
Был слышен дерн и дром, но не был слышен Зомбарт.
И грудью всей дышал Социализм Христа.

Смеркалось тут... Меж тем, свинец к вагонным дверцам
(Сиял апрельский день) — вдали, в чужих краях
Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем.
Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь.

А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.
Был слышен бой сердец. И в этой тишине
Почудилось: вдали курьерский неся, пломбы
Тряслись, и взвод курков мерещился стране.

Он, — «С Богом, — кинул, сев; и стал горланить, — к черту —
Отчизну увидав, — черт с ней, чего глядеть!
Мы у себя, зй жги, здесь Русь, да будет стерта!
Еще не все сплылось; лей рельсы из людей!

Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
Покуда целы мы, покуда держит ось.
Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!»

Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье.
И чад в котельной, где на головы котлов
Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью
Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев.

* * *

...Мутится мозг. Вот так? В палате?
В отсутствие сестер?
Ложились спать, снимали платье
Курок упал и стер?

Кем были созданы матросы,
Кем город в пол-окна,
Кем ночь творцов; кем ночь отбросов,
Кем дух, кем имена?

Один ли Ты, с одною страстью,
Бессмертный, крепкий дух,
Надмирный, принимал участие
В творенье двух и двух?

Два этих — пара синих блузок.
Ничто. Кровоподтек.
Но если тем не «мир стал узок»,
Зачем их жить завлек?

Сарказм на Маркса. О, тупицы!
Явитесь в чем своем.
Блесните! Дайте нам упиться!
Чем? Кровью? — Мы не пьем.

Так вас не жизнь парить просила?
 Не жизнь к верхам звала?
 Пред срывом пухнут кровью жилы
 В усильях лжи и зла.

Не позволяя себе ограничиваться первыми впечатлениями и не замыкаясь в предвзятости, Пастернак всегда старался увидеть смысл происходящего, понять его логику и правду. То же понятие «звукового лица» истории находим мы в знаменитом портрете Ленина в «Высокой болезни», но в 1928 году, когда писались ее заключительные стихи, острота и близость момента были заслонены ощущением хода времени, с которым отношение к центральному событию века приобретало все большую широту. В 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции, он писал поэту С. Обрадовичу:

«В моем понимании Октябрь шире того трагического пятиактного членения, при котором событие, переживая катастрофу, годится в рельефные темы для самостоятельной вещи, выводящей это событие, как лицо или как предмет, в его смеющихся перипетиях.

Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию в элемент нашего исторического дня».

Естественно искать завершающую точку развития этой мысли в «Докторе Живаго». Действительно, эта тема раскрывается почти в самом конце романа, где говорится об изменениях художественного образа в процессе создания живой, пластической формы.

«...кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровотокающего и болезнетворного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая здесь частный случай до общности всем знакомого». Речь идет о законах преобразования явлений внешнего мира в обладающие бессмертной формой и восхитительно запоминаемые создания духовного мира человечества.

Известна блоковская рекомендация: «Сотри случайные черты». Что же она значит, когда художнику суждено жить в эпоху стремительных апокалиптических перемен? Отзовись он на только что совершившееся или на перспективно обещанное — какова вероятность, что слова его не станут ложью при ближайшем повороте истории, ломающей все проекты и только этими неожиданностями дающей возможность на что-то надеяться?

Пастернак говорил, что правильно понятое настоящее уже и есть будущее. Но как трудно это выполнить, если логическое, непрерывное продолжение хода событий сулит нам только перспективу всеобщей гибели.

Художнику приходится жертвовать временным ради вечного, находить опору в обостренном чувстве значительности жизни, в умении понимать язык происходящего и повторяющегося, в художественных открытиях, не поддающихся анализу и понятных только из опыта творческого бессмертия предшествующих поколений. Пастернак называл это вкусом бессмертия и определял его в письме Ольге Фрейденберг такими словами:

«Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений и наилучших ручательств и вытекающее из этого стремление избежать наивности и идти по правильной дороге, с тем чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гило не по вине твоей ошибки».

Оставшись один после отъезда Лары, Юрий Живаго оплакивал также и «то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим Богом, Богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики».

Такого стихотворения нет в тетради Юрия Андреевича, но упоминание о нем — след сохраненного чувства, которое двигало автором, когда он писал эти ранние наброски 1918 года.

Публикация и комментарий Е. Б. ПАСТЕРНАКА.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АНДРЕЙ БИТОВ

★

БЛИЗКОЕ РЕТРО, ИЛИ КОММЕНТАРИЙ К ОБЩЕИЗВЕСТНОМУ

По инерции пера, исходя из выявившихся к концу романа «Пушкинский дом» отношений с героем, автор тут же приступил к комментарию, писанному якобы в 1999 году якобы героем, уже академиком Львом Николаевичем Одоевцевым, к юбилейному изданию романа. Тут автор давал возможность бедному герою поквитаться с автором: соблюдая академическое достоинство, тот аргументированно выводил автора на чистую воду, то есть попросту избобличал в невежестве. Автор как мог защищался, пытаясь выдать комментарий за пародию, но герой стал превосходить автора квалификацией...

И автору вдруг, как говорили в старину, наскучило. И замысел протянуть диалог автора и героя до конца века не состоялся. Автор не заметил, как увлекся совсем иным комментарием, построенным по принципу, диаметрально неакадемическому... Он стал комментировать не специальные вещи, а **о б щ е и з в е с т н ы е** (по времени окончания романа, то есть к 1971 году *).

Автора вдруг осенило, что в последующее небытие канут как раз общеизвестные вещи, о которых современный писатель не считал необходимым распространяться: цены, чемпионы, популярные песни... И с этой точки зрения в комментарии 1999 года Льву Николаевичу как раз логично было бы рассказать именно о них. «Боюсь, однако, что он сочтет это недостойным науки (или забудет...)», — подумал автор. Между тем предметы эти могут уже сейчас показаться совершенно неведомыми иноязычному читателю. С национальной точки зрения восприятие в переводе есть уже восприятие в будущем времени. Сегодня интересно и то, как стремительно устаревает (и в чем...) текст, именно нацеленный в будущее. Как проваливается все! Близкое ретро, ближайшее... а вот уже и вчерашнее, даже вот сегодняшнее. Время — выскальзывает, как мыло... Ошибка лезет на ошибку. Неточность на неправду. Не только развитие моды — судорожная попытка хоть что-то удержать в памяти на опыте недавнего, вчерашнего забвения.

Странный опыт! Сколь произвольно выбирает последовательный текст свои реалии... Комментируя то то, то это, автор мог только удивляться такой разрозненности и неглавности жизни. Когда же наконец перечитал подряд — получилась картинка, вышло повествование, неожиданно логичное. Автору даже не хотелось бы, чтобы читатель прерывал чтение романа заглядыванием. Комментарий этот — род чтения самостоятельного для тех, кто романа не читал; род перечитывания — для тех, кто его читал когда-то.

¹ Оглавление... «Что делать?». «Отцы и дети». «Герой нашего времени»... и т. п.

Автор считает, что одного взгляда на оглавление достаточно, чтобы не заподозрить его в так называемой элитарности, упреки в которой запестрели в наших литературных журналах и газетах (чуть ли не единственная у нас беда...). Вовсе не обязательно знать хорошо литературу, чтобы приступать к чтению данного

* Возвращения к комментарию растянулись, однако, до 1978 года.

романа, — запаса средней школы (а среднее образование в нашей стране обязательное) более чем достаточно. Автор сознательно не выходит за пределы школьной программы. (То же в отношении и других упоминаний... см. прим. 61).

² ...эта ясность... чуть ли не вынуждена специальными самолетами...

7 ноября (25 октября ст. ст.), как правило, бывает отвратительная погода. Таково время года. Мокрый снег, летящий в лицо, не способствует праздничному настроению тысяч демонстрантов, намокают флаги и лозунги. Однако в последние годы бывает, что на время демонстрации устанавливается достаточно ясная, хотя и пронзительная погода. Подобное обстоятельство всегда отмечается в праздничных газетах, ему придается значение. По непроверенным данным, погода и впрямь устанавливается, причем — сверху, получившими праздничное спецзадание боевыми самолетами (см. прим. 7 о погоде).

³ ...детское слово «Гастелло» — имя ветра...

Иностранная красота этой фамилии способствовала славе подвига и в конечном счете ее затмила: все знают фамилию героя, но не все — что он сделал. Известно, что — летчик. Имя Гастелло, как и имя не читанного еще Монте-Кристо, осело на чистых стенках памяти детей моего поколения первым романтическим слоем. Гастелло Николай Францевич (1908—1941) — Герой Советского Союза, модифицировал подвиг Нестерова (см. прим. 5), на пятый день войны погиб как камикадзе: направил свой подбитый горящий самолет на колонну немецкой военной техники и взорвался вместе с нею.

⁴ Раскидайчик

— дешевая базарная игрушка, продается на улицах во время демонстраций 1 Мая и 7 ноября, обычно цыганами. Представляет собой мячик из бумаги, набитый опилками, стянутый меридианами ниток, на длинной тонкой резинке; брошенный, он возвращается назад к владельцу. Раньше репертуар подобных игрушек был значительно богаче: и «уйди-уйди», и «американский житель», и «тещин язык», и леденцовые петушки, и много других соблазнительных штук. Теперь ассортимент сведен к красным флажкам и воздушным шарам (нелетающим); еще встречается раскидайчик, но с каждым годом все реже. Думаю, тут действуют свои экономические причины, диктующие частному рынку, но пока они диктуют, их просто разучились делать, эти игрушки.

⁵ Нестеровская петля

— Нестеров Петр Николаевич (1887—1914) — великий русский летчик, выполнивший в 1913 году так называемую мертвую петлю. Погиб, впервые применив в воздушном бою таранный удар.

⁶ «Север»

— сорт дешевых, «работяжьих» папирос (раньше еще была «Красная звезда», но она снята с производства); курение «Севера» является некоторой социальной характеристикой; дешевизна, возможность не вынимать изо рта, когда заняты или испачканы руки, необходимость часто прикуривать, потому что папироса легко гасла, наконец, принадлежность к определенному поколению, начавшему курить в военные и предвоенные годы и не изменившему своему вкусу, делают производство их все еще рентабельным. Но и в этих папиросах есть что-то от раскидайчика — однажды они, как и он, исчезнут, вытесненные жвачкой, «Мальборо» и пепси-ролой.

⁷ ...погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль...

До сих пор ленинградцы любят попрекнуть Петра за то, что он заложил свой город в болоте. По их убеждению кроме плохой погоды в воздухе присутствуют некие «миазмы», способствующие простуде (раньше говорили: лихорадке — но выразительное это слово уже там, куда отлетает раскидайчик...), и это так: хронические заболевания уха, горла, носа чрезвычайно распространены в Ленинграде. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь один образчик стиля, тем более что он относится к пушкинской эпохе:

«Климат С.-Петербурга, несмотря на главный свой характер — непостоянство, должен быть отнесен к последовательным.

Весна начинается довольно поздно. В начале мая нередко случается видеть падающий снег. В 1834 году снег шел 18 мая!

Лето весьма кратковременно. Хорошего, теплого времени редко бывает более шести недель; прочие, так называемые летние, дни во всем уподобляются дням поздней осени.

О с е н ь, нередко весьма продолжительная, есть самое неприятное в Петербурге время, коего главные принадлежности: туман, дождь, ветер, а иногда снег, скоро исчезающий при температуре между —2 и —6 Реом. Чрезвычайная краткость дней дает повод сказать, что в течение октября, ноября и декабря Петербург покрыт мраком, особенно для жителей высшего класса, которые, просыпаясь поздно, едва успевают узреть дневной свет, скрывающийся в ноябре и декабре около трех часов пополудни» («Статистические сведения о Санкт-Петербурге», 1836, изданы при Министерстве внутренних дел).

^{8, 9} ...*революционная подворотня, легендарный крейсер...*

В 1819 году К. И. Росси приступил к завершению ансамбля площади перед Зимним дворцом. Мастерство его с особым блеском сказалось в проектировании арки, соединяющей здания министерств с Главным штабом. Она была переброшена над Луговой Миллионной (ныне ул. Герцена), раньше подходившей к площади по касательной. Решительно повернув последний отрезок улицы, Росси вывел ее на площадь точно напротив центра фасада Зимнего, зафиксировав таким образом положение оси симметрии всего ансамбля.

Росси навел дуло на Растрелли сильно заранее, и хотя и впрямь вовсе не бежали перепоясанные пулеметными лентами революционные матросы на Дворцовую площадь сквозь арку Главного штаба, а просто эйзенштейновским кадрам был впоследствии придан характер фотодокументов; хотя и не был отбит угол Зимнего, который до сих пор демонстрируют экскурсоводы, выстрелом с «Авроры»; хотя никакого боя за Зимний не было и охраняли его не кадеты, а женский батальон; хотя введение нового стиля смазало не только факт, но и дату, так что революция Октябрьская, а праздники ноябрьские... хотя ни штурма, ни залпа, ни ноября... автор не разделяет этого мелколиберального торжества: мол, ничего не было. Как же не было!.. А это все — что такое?

Взятие Зимнего — триумф Росси.

¹⁰ *Дюма*

Александр (отец) (1802—1870) — национальный гений Франции, популярный в России. В 1858 году Дюма совершил путешествие в Россию и описал его своим скоростным пером — «Из Парижа в Астрахань». В. В. Розанов в статье «Вокруг русской идеи» писал, что гению достаточно любых крох опыта, чтобы суметь воссоздать точную картину. Он имел в виду Гоголя, проехавшего разок в кибитке и сочинившего «Похождения Чичикова», и Бисмарка, подписавшего в России не что-нибудь, а сразу главное слово «ничего» («нищезово»). Александра Дюма можно вставить в этот ряд, ибо это именно он подарил России «развесистую клюкву».

¹¹ ...*попытаемся писать так, чтобы и клочок газеты... мог быть вставлен в любую точку романа...*

Автора уже спрашивали, и опережая подобные вопросы, отвечаю: никакой пародии здесь нет, клочок подлинный, и я не потратил много времени, отыскивая курьез в ворохе подшивок. Я нашел его там, где их можно найти (в поселке Рыбачий Калининградской области, бывшем Росситене в бывшей Восточной Пруссии (бывший Бисмарк...) в августе 1970 года), и не употребил по назначению. Самый большой упрек, который можно было бы вчинить автору, это что он отщипнул доставшийся ему обрывок в двух местах исключительно ради графической выразительности. Можно предположить, что это из «Литературной газеты» (одним из основоположников которой был тот же Пушкин).

¹² ...*Лева был зачат в «роковом» году...*

Что могут значить подобные кавычки? Какой смутный яд изволил капнуть здесь автор?... Автор просит учесть, что хотя и бегло, хоть и формально, он начал свое повествование не с зачатия героя, а на двадцать лет раньше, прогнав относительно вечный в ноябре ветер по маршрутам 1917 года.

¹³ ...*«Во глубине сибирских руг...»*

Это стихотворение мы заучивали наизусть в 1949 году. Сейчас мне особенно приятно представить себя в том классе, с чувством произносящим строки:

Россия вспрянет ото сна!

Там, в 6«А» классе 213-й мужской средней школы, была заложена основополагающая брешь между эмоцией и сознанием. Эмоция абстрагировалась как реакция на пафос. Впрочем, на перемене мы по-своему борлись с этим растлецием, повторяя строки иначе:

Во глубине сибирских руд
Сидят два мужика и

Но и в такой редакции мы понимали лишь последнее слово (которое и теперь — точки)... Мы не понимали, что это не вообще крестьяне, а нечто более определенное: мужик — это зек (не блатной). Лагерный фольклор был значительно более распространен, чем сведения о лагерях. Мы знали наизусть много таких лагерных переделок из знаменитых басен, песен и стихотворений, не ведая о их происхождении. Впрочем, пионерлагерь — тоже лагерь. Тема обретает развитие и в наше время:

Храните гордое терпенье ..

¹⁴ ...не читал никаких Павок и Павликов...

Морозов Павлик (1918—1932) — пионер-герой, по-своему отомстивший Тарасу Бульбе, которого проходили в классе: донес властям на собственного отца. За это был убит кулаками. Шекспир здесь заключается в том, что кулаками его убил родной дед (отец отца), не дав посрамить Тараса .. Тема обретает развитие и в наше время:

На стене висит топор
И простынка розовая..
Мы с папашею играли
В Павлика Морозова.

Павка... То, что у нас всегда чрезвычайно ценились герои, преодолевающие свои увечья: писатели без глаз или рук, летчики без ног... особая тема.

¹⁵ «Здоровье»

— один из популярнейших советских журналов (основан в 1955 году), образчик подлинного китча. Свидетельство того же «освобождения»: стало м о ж н о. Стало можно прочесть, что бывает аборт, онанизм и даже — оргазм! Почему Лева, основанный в том же году (окончание школы, первая любовь), мог небрежно заглядывать в журнальчик.

¹⁶ ...широченные чесучовые брюки отца...

Перед смертью И. В. Сталина ширина брюк доходила до 40—45 сантиметров, уже 35 сантиметров пошив брюк был запрещен. Вскоре после смерти в мастерских стали шить и 30 сантиметров, но за 22 сантиметра еще выгоняли из вуза.

¹⁷ ...с есенинской чистотой и обреченностью в глазах...

Есенин в описываемом году был запрещен, лагерно популярен. Лишь в 60-е годы популярность Сергея Есенина официально и окончательно возродилась и достигла популярности Хемингуэя. Это первые два писателя, чьи портреты стали продаваться в киосках «Союзпечати». Хемингуэй улыбается глазами, загримированный под популярного артиста Ефима Копеляна *; Есенин же — в шляпе, с трубкой и тростью (Америка!..), с ангельским выражением глаз и губ.

¹⁸ ...можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной граммы...

Поколение писателей, к которому принадлежит и автор, очень уж эксплуатировало свое так называемое военное детство. Объясняется это не только тем, что первыми воспоминаниями человека стали ужасные события, но и тем, что это последнее поколение, которому удалось вскочить на подножку великого исторического события, закрыть ряд. Революция, гражданская, «военный коммунизм», нэп, коллективизация, индустриализация, Отечественная... — к этому прибавляется разве что восстановление, но и оно закрывается смертью Вождя; мир, труд, будни последующих лет уже лишены окраски героической принадлежности; жила военного времени истощена непосредственными участниками, но продолжает

* Дядя Эдина Копеляна.

эксплуатироваться ввиду развития самой отрасли. Все труднее становится найти узнаваемые ростки прошлого в настоящем: стареющие героини романов и пьес вызывают недоверие тем, насколько хорошо сохранились и молодо выглядят; все труднее встретить девушку, с которой развела война, и полюбить ее вновь; адюльтеры свеженьких бабушек пользуются успехом лишь у самих исполнительниц, продляющих ампулу юности вплоть до Дома ветеранов, потому что и артисты эти того же поколения. Агония темы затянулась, отодвигая надежду, что кто-нибудь наконец-то возьмется за настоящее время жизни.

¹⁹ «Москвошвей», «Лендежда»

— крупнейшие предприятия готовой одежды (теперь переименованы в фирмы).

У Манделъштама:

Я человек эпохи Москвошвей —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак!
Как я ступать и говорить умею...

²⁰ ...проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилен для Советов...

С финнами у нас открытая граница. В одну сторону. Они едут к нам без визы, предъявляя свой паспорт. Мы же оформляем заграничный паспорт в капстрану. В субботу и воскресенье Ленинград наводняется пьяными финнами, приехавшими на автобусах и собственных автомобилях. То ли пейзаж близок глазу как родной, то ли хочется после этого еще больше выпить, то ли Ленинград и впрямь очень красивый город, какого у них нет. Существуют три версии, почему они пьют именно у нас: одна — что у них вообще сухой закон, другая — что водка у них по карточкам и мало, третья — что просто у нас дешевле. Ленинград соответственно не то чтобы наводнен, но все-таки финский ширпотреб встречается в нем чаще, чем в других городах. Еще лет пятнадцать назад нейлон, орлон, терилен казались нам верхом роскоши и изыска. За гнусную нейлоновую кофточку финн мог не просыхать с утра до вечера. Автор лично не может с тех пор сносить один костюм и один плащ финского производства: они — вечные. Свобода их к нам приезда куплена одним, четко нами выполняемым условием: они не принимают наших беженцев. Существуют две-три ходячие ленинградские легенды о трагических дураках, которые каким-то образом умудрились этого не знать. Одна из них почти гуманна: финский полицейский сопровождает попросившего политического убежища в наше родное посольство для сдачи, почему-то пешком, так патриархально доходят они до парома на шведский берег, и здесь полицейский просит беглеца подождать его, пока он купит сигарет, полицейский заходит за угол и там ждет и десять и пятнадцать минут — выглядывает, а тот стоит, смотрит тоскливо в сторону Швеции и ждет полицейского. «Ну, пошли...» — со вздохом говорит полицейский через полчаса.

²¹ ...прошвырнуться по Невскому...

Из сленга 50-х годов. Еще говорили: прошвырнуться по Броду. Прошвырнуться — пройтись, прогуляться; по Броду — по Бродвею. Брод был во всех более или менее городах. Русское значение слова «брод» подкрепляло жизненность идиомы: прошвыривались медленно, не отрывая толстых подошв от асфальта, и впрямь будто что-то преодолевая более вязкое, чем воздух, будто вброд. Естественно, в Ленинграде Бродом был Невский, но не весь, определенный его отрезок по левой стороне, от Садовой до Литейного. И назад. Насыщенное было время!

²² Борис Вяткин

— р. 1913, знаменитый ленинградский коверный клоун конца 40-х — начала 50-х годов. Нашел свою маску, пародируя сначала шпану, а затем стилияг (номера «Мама вундеркинда», «Тарзан»). Выходил почти без грима, в щегольском костюме, в сопровождении партнерши Манюни — дрессированной собачки.

²³ Магазин «Советское шампанское»

— на Невском проспекте, между Садовой и Малой Садовой. Знаменитая «культурная забегаловка», где можно было выпить «бурого медведя» (коньяк с шампанским 100×100). К сожалению, закрыта в 1970 году в очередную антиалкогольную кампанию.

²⁴ «Волга»

— марка советского легкового автомобиля Горьковского автозавода (б им. Молотова), с каждой новой моделью продвигающегося к «мерседесу».

²⁵ «Юность»

— литературный журнал, созданный в 1955 году (первый редактор — В. Катаев), дитя оттепели, так до конца и не отогревшееся. В журнале зародилась так называемая молодежная и исповедальная проза, подкупавшая искренней несложностью и пользовавшаяся необыкновенной популярностью (на инерции живой репутации журнал и сейчас имеет тираж более двух миллионов): А. Кузнецов (остался в Англии в 1969 году), А. Гладиллин (уехал на Запад в 1977 году), В. Аксенов (обязан журналу своей славой, оправдав ее последующей работой)...

²⁶ *...творец космогонической теории... играет в теннис...*

Сталин, как и Гитлер, имел свою космогонию, место Гербигера и еще кто-то в которой занимали Шмидт и Фесенков. В теннис, однако, играл академик Опарин, основоположник другой тотальной теории — происхождения жизни.

²⁷ *...«Журчат ручьи, кричат грачи...»*

Популярная песенка из к/ф «Моя любовь» или «Сердца четырех»* в исполнении Целиковской или Серовой (перед войной). Фильмы любопытны теперь лишь разительным сходством с нацистскими фильмами.

²⁸ *...офицер был царский... стал красный...*

Автор выслушал упрек одного советского писателя, достаточно известного, совмещавшего в своем творчестве линии «Нового мира» и «Октября», в том, что подобный переход неизбежно свидетельствует о шкурности и продажности моего героя; автор выслушал и позволил себе не согласиться. Во-первых, царский — это еще не белый, а во-вторых, в ту пору люди еще не были вооружены современными оценками, что бесполезно знать всем, вершащим суд (мог — не мог, понимал — не понимал, раскололся — не раскололся...) над людьми, безответно затерянными в Истории, из исторически более выигрышного и безопасного положения. Это я к тому, чтобы упрекнувший меня автор, находясь нынче на том же Западе, не упрекал меня в недостаточно смелом использовании свободы слова, находясь в более выигрышном положении (насчет не получить ответа).

²⁹ *...вывез из Германии...*

Нехорошо, конечно, со стороны дяди Диккенса, но три «мебели» — не так уж и много по сравнению с тем, что вывозилось чинами повыше.

³⁰ *...бритва «жиллетт»...*

Этот станок для безопасной бритвы был в моем детстве своеобразным памятником исчезнувшей цивилизации. Отец им бреется до сих пор. При этом он показывает, какую именно часть своей конструкции запатентовал г-н Жиллетт так, что уже полвека, если не больше, никто не может ее усовершенствовать, а он гребет миллионы. Действительно, мое детство характеризовалось отсутствием импорта. Все, что когда-то было, куда-то еще до меня делось. Оставалась вот эта бритва, хранимая отцом, как хранят разве боевое оружие. Впервые побрился я именно его бритвой. Когда я узнал, что мой будущий тесть тоже всю жизнь бреется «жиллеттом», невеста стала мне как бы еще роднее. Этот ритуал развешивания, установки лезвия («визитная карточка марсианина», по определению Мандельштама), затем протирания и продувания трубочек делал меня мужчиной. А теперь... И качество щеки не сравнить, и обрядности никакой.

³¹ *...вензель «Н» с палочкой внизу...*

Получается, что графин принадлежал Николаю I (1825—1855), но автор в этом не совсем уверен. Слишком часто он встречал в разных домах такой графин. И хотя после революции проводился демонстративный аукцион дворцовой утвари, так что многие вещи могли попасть к самым неожиданным владельцам, все-таки их не могло быть столько, чтобы в каждом доме оказалась вилка, или чашка, или стул (чаще скатерть...). Автор не знаток, и проконсультироваться в данный момент ему не с кем, но он бы не удивился, если бы такие графины водились до революции в каждом трактире, а вензель бы символизировал государственную

* Неточно. Из фильма «Весна» с Орловой. (Уточнение редактора.)

монополию, или правление императора, или трехсотлетие дома Романовых, или принадлежность поставщику двора... Во всяком случае трудно поверить, что у царя было столько одинаковых вещей, чтобы каждому хватило. Просто не только царской утвари, но и дореволюционного ширпотреба осталось так мало, что они обрели индивидуальность, превратились из старых в старинные, в антиквариат.

³² ...*морганизм менделизм...*

Из кампаний 1949 года... Не так давно пошла по рукам анонимная повесть «Николай Николаевич». Это даже не «самиздат», а фольклор. Уникальная в своем роде проза. Так вот в ней все про морганизм-менделизм и сказано.

³³ ...*Чифирь, чифирек...*

У Л. Толстого в «Казаках» чихирь — казачья самогонка. В наше время чифирь — это чай чрезвычайной концентрации, популярнейший лагерный напиток. Способов заварки существует бессчетное множество. Напиток готовится по секрету изготовителя. Каждый колдует как хочет. Чай не за-варивается, а вы-варивается. Получается густо-коричневый, непрозрачный настой, сверху плавает радужно-ржавая пленка. Чтобы кайф не пропал, чай вываривается и второй и третий раз; конечно, это не сравнить с первачком. Пьют мелкими глоточками, передавая по кругу (компания три-четыре человека) и старательно куря после каждого глоточка. Учащается пульс, расширяются зрачки, поднимается давление, проходит сонливость и усталость — чифирист начинает торчать. Торчаг до утра, сначала за разговором, а потом уже отрешенно и тупо. Чифирият обычно ночью в компании с дневальным или в сушилке (у кого печка). Прекрасна эта тишина и темнота с красноватыми отблесками на лицах... Есть рецепты усиленного, смертельного чифирия — на махорке, на спирту, водке, одеколоне, но на практике они употребляются редко, потому что курево и спиртное достать бывает труднее чая и их предпочитают потреблять в чистом виде.

³⁴ ...*буржуйка...*

Маленькая кустарная печка, которую можно быстро истопить всяким мусором и дрянью — согреться и вскипятить чайник. Бывают круглые, бывают квадратненькие, из железа, чугуна, из листов для пирогов — формы разнообразны, зависят от навыка кустика и доступного ему материала. Труба выводится прямо в форточку. И печка и слово возникли во время топливного (и прочего) голода в 1918 году. Топили мебелью и книгами — отсюда и деклассированность нового слова. Уцелевшими буржуйками спасались и во время второй мировой войны, так продлилась жизнь этого лихого слова.

³⁵ ...*Зяблик...*

По латыни *fringilla*. Это самая дальняя граница эрудиции автора.

³⁶ *Гостиница «Европейская».*

Наряду с «Асторией» самая фешенебельная из старых гостиниц (1874) в Ленинграде. Расположена на бывшей Михайловской улице, в 1940 году переименованной в улицу И. Бродского, не иначе как в честь рождения поэта. После закрытия ресторана «Восточного», обжитого ленинградской фарцой и богемой, многие осиротевшие завсегдатаи перебрались по соседству на крышу — ресторан на верхнем этаже гостиницы, примечательный тем, что расположен под фонарем (стеклянной крышей), а обычных окон в этом заведении нет. Крыша тоже уже портится, но туда все еще можно сходить пообедать, если, конечно, все столы не зарезервированы под иностранцев. Но если вы финн или имеете подход к метрессе, то пообедаете.

³⁷ ...*«Афродита», «Атлантида», «Зеленая шляпа»...*

Это только мне, на фоне бритвы «жиллетт» (см. прим. 30), эти романы могли казаться «модерными» (см. прим. 59). Как современник Лоти и Бенуа читала еще моя бабушка, молоденькая и хорошенькая, не дожидаясь перевода. Майкл Арлен же посовременнее, родился и умер год в год с дядей Диккенсом (1895—1956). Любопытно, что он — армянин (Тигран Куюмджян).

³⁸ ...*полурри из грибоедовских вальсов...*

Грибоедов Александр Сергеевич (1796—1829) — окончил университет шестнадцати лет, знал дюжину языков, профессионально увлекался дипломатией и поэзией, женился на грузинской княжне Нине Чавчавадзе, был за-

резан в Турции, гроб с его телом встретил, путешествуя в Арзрум, Пушкин, о нем написан один из лучших романов — «Смерть Вазир-Мухтара»... К тому же прекрасно музицировал, автор нескольких вальсов, исполнявшихся профессионалами (автор их не слышал, но расспрашивал музыковедов, которые отзывались благосклонно). Такое многообразие интересов и короткая жизнь не позволяли ему посвятить себя как следует литературе. Он автор только «Гсря от ума».

³⁹ ...Было много наивного и трогательного в этих старых предателях...

Здесь и далее автор недоговаривает о разоблачениях сексотов, доносчиков, анонимщиков, о пафосе выведения на чистую воду, особенно сильным после 1956 года, когда Хрущева понял так, что теперь можно. Эти тенденции не особенно развились и мало к чему привели. Впрочем, немало и то, что про многих непокаренных стало известно, в чем они замешаны. Автор судит лишь о том, что знает. Вот две судьбы, сложившихся противоположным образом, несмотря на общий характер заслуг... М., полковник, если не генерал ГБ, замешанный во всем, в чем можно быть замешанным, служивший в охране Вождя (пробовавший, не отравлен ли суп); кинодраматург, соавтор множества сценариев (по одному был снят лучший детектив послевоенных лет); сел в 1952 году по доносу своего соавтора (бывшего в 1937 году главным следователем СССР), вышел досрочно в 1954-м, но уже как жертва культа; первое, что он сделал, — пошел к своему соавтору, но не бить морду, а предложить работать вместе над новым сценарием. Был директором высшего учебного заведения (замечательного!), я у него учился и многим ему обязан. Э., литературовед, человек богатой и темной биографии; сидел сразу после революции, написал там книгу, похваленную нашим выдающимся наркомом просвещения, с начала нэпа забросил литературу и подался в предприниматели, разбогател, возил любовницам тюльпаны из Голландии самолетом (легенда); после его смерти мой знакомый У. нашел у него в архиве (необычайно бедном, много раз разобранном и сокращенном самим Э.) фотографию 30-х годов: Э. с какими-то типичными лицами в США (сам Э. никогда не поминал об этом); в 1949 году оказался советником по вопросам культуры чуть ли не у самого Берии, получил соответственно за какую-то книженцию Сталинскую премию — всем известно, что это за советы, которые дает такой советник; в 1957 году его исключили из Союза писателей за доносы в 1949-м (он оказался единственным(!) исключенным), на показательном суде его защитная речь оказалась кратка. «А сколько писателей сотрудничало с вами в эти годы?» — спросил он сидевшего в президиуме представителя ГБ, а тот ответил с неожиданной определенностью: «Каждый пятый». Э. сел и больше ничего не добавил. Потом его, правда, восстановили в Союзе (знаменательно), но на процессе никто не мог доказать конкретно и документально, кого именно он посадил, и он доживает свой век старшим научным сотрудником, не теряя интереса к литературе и жизни. Я ему обязан критической поддержкой. В именах, которые он хвалит, виден не утраченный в доносах литературный вкус. Хвалит он с тем же деловым цинизмом, с каким, по-видимому, когда-то ругал.

В институте, в котором он трудится, имеются еще две биографии, аналогичные разобраннным: директор и его первый зам. Их я знал значительно меньше. У обоих была чудовищная репутация. Репутация и есть репутация — она живет сама, независимо от носителя. Я любитель задать либералу вопрос: а что сделал такой-то, про которого вы?.. — и получить в ответ округлившиеся от ужасного многозначения глаза, переход на шепот, палец к губам, но так и не получить информации. Директор был мне симпатичен, вальяжен, глаза его смотрели, советская вельможность была в нем сдобрена и более принадлежным барством; он был упоенный собою карьерист: полагал, что добивается положения, сообразного своим качествам, знаниям и талантам. Он был ребячлив: полагал, что все склонны оценить его вместе с ним самим. Он взлетал, и тут бывал пойман на отсутствии дистанции, и — гремел. Он сел в 1947 году, уже вхожий на самый верх. По выходе (жертва) получил пропущенные посты и звания, но опять стал метить в министры, и тут опять обнаружилось, что он не свой. Его номенклатура была заморожена. Знал ли он за собой грехи, страдал совестью?.. У него была тяжело больная жена, он был приятнейший мужчина, но возился с нею неотступно, трогательно и благородно. У него была тайная программа — издать в России насильно пропущенную классику XX века: Кафку, Пруста, Джойса, — и он ее осуществил,

он их издал, снабдив рафинированно-кривозеркальными отражениями собственных предисловий. И умер ни с того ни с сего, так и не поняв, так и не разочаровавшись, что дорога в сверкавший верх была ему заказана. Именно потому. Говорю, что он был ребячлив.

Его зам не был так вальяжен, репутация его будто бы подтверждалась участием в кампании 1949 года. Как же я был удивлен, услышав дифирамбы ему от вдовы самого пострадавшего, на мой взгляд, писателя — Зоценко. Оказалось... Симметрично директору он оказался главным ходатаем (причем реальным, деятельным) по собраниям сочинений Зоценко, Платонова, Булгакова. Он пользовался своей «заслуженной» репутацией как рычагом: его нельзя было заподозрить сверху; и он ушел в глухую «несознанку» перед мнением снизу, по опыту зная, откуда подносят спичку. Но люди, умеющие не проболтаться, затеяв розыгрыш, могущие не оправдываться, когда есть чем и отчего, всегда мне казались чем-то. Тут я, конечно, необъективен. Когда через пятнадцать лет бесполезных редакционных усилий наконец вышел Мандельштам, он был снабжен статьей этого зама, причем статья эта шла вместо прекрасной статьи Л. Я. Гинзбург. Все это так бросалось в глаза, будто написано специально для невооруженного взгляда либерала. Однако Мандельштам наконец вышел; хоть и малым тиражом, хоть и на валюту; со статьей Гинзбург он бы не вышел... Здесь видна логика ходатая по чужим наследствам. Он преданно и послушно умирает следом за своим директором, но не исполнив в отличие от того свою триаду, так и ограничившись Мандельштамом. А вдруг Промыслу не все равно, чьими руками творятся хорошие дела...

Итак, есть схема для быстрого обобщения: 4 — 2 — 4... Первый ход.

Директор и директор. Оба красивы, представительны, вельможны. Оба вовремя «пострадали», успев стать жертвами уходящей эпохи. Оба дальше не пошли по карьере. Оба соблюдали свою грозную репутацию гонителей и душителей перед теми, кому по-своему благодетельствовали. Оба любили свои заведения.

Зав и зам. Оба некрасивы, как щельмы. Оба запятнаны окончательно и бесповоротно. Оба пытались делать хорошие дела не просто неотмытыми, а теми же руками и способами. Оба не рассчитывали на большее, чем имели.

У всех четверых признаки жизни и своего рода масштабности. Все четверо скорее жертвы реабилитации, чем культа. Все четверо благодетели, меценаты: двое — живым, двое — мертвым. Все обобщаются демагогией реальных, то есть состоявшихся, добрых дел. Думаю, что такого рода «замаливание» было интуитивным, грехи — не впущенными в сознание, быстро заслоненными добрыми намерениями и достаточно трезвой оценкой: а судьи кто? Слишком много развелось ни в чем не замешанных (ни в зле, ни в добре), потому что с самого начала — ничтожных. Все четверо знали пропасти, заглядывали туда, и им нетрудно было себе представить морскую болезнь «незапятнанных» коллег, имей те хоть долю их опыта. Вот, в огрублении, их логика, даже пафос: позвольте, а чего стоили сами-то пострадавшие? Да если бы они хоть хорошо писали!.. а то ведь — ужас, ужасно плохо... никакой литературы не было, а та, что была... так кто же как не мы, единственные, реально помогли их воскресению? Кто поддержал на нашей убогой современной поверхности единственные три всплывших, полуживых головы (чтобы не захлебнулись, да, если хотите, в том самом, в нем...)? Я, я, Я, я. Одна логика, все тот же отечественный (по отсутствию и тени демократии) и уже не отечественный (по бессовестности и бесчеловечности) расчет.

⁴⁰ ...что-то по системе Станиславского...

Как никто толком не мог сказать, что такое социалистический реализм, а только он и был вместо литературы, так никто не знал системы Станиславского, хотя она и была вместо театра. Вершине полагалось быть одной, и вершина эта вздымалась всегда над нашей территорией. Поэтому когда одного нашего видного футбольного тренера спросили, по какой системе намерена играть его команда в некоем ответственном матче, он не без блеска ответил интервьюеру: «По системе Станиславского».

⁴¹ ...любил повосхищаться краткостью, «толковостью» толкований «этого шведа»...

Автор «Толкового словаря» был по происхождению датчанином. Дядя Митя знал это не хуже современных эрудитов, склонных его поправить.

«Толковым не оттого назван словарь, что мог получиться и бестолковым, а оттого, что он слова растолковывает» (В. И. Даль).

⁴² ...некую Софью Власьевну...

В одном из чеховских писем была упомянута некая Жозефина Павловна. Мол, здоровье его ничего, но холодно, и Жозефина Павловна мерзнет. В комментариях пояснено: «Ж. П. — неизвестная знакомая Чехова».

С. В. — неизвестная знакомая дяди Диккенса.

⁴³ ...Отец, папа, культ — какие еще есть синонимы...

См. прим. 12—16, 26—27, 32, 39—40, 44—46, 51, 57, 60—61, 64, 80, 83, 90—91, 97, 103, 109, 116.

⁴⁴ ...фондовый зал...

Особый зал в крупных библиотеках, куда вхож далеко не каждый любопытный человек. Нужен допуск. Допуск выдается по ходатайству учреждения, в котором вы работаете. Или не выдается. Есть допуски различных степеней, по которым могут выдаваться материалы с тем или иным грифом секретности. Есть материалы, за которые расписывается в особой книге каждый, имевший к ним доступ. Здесь, наверно, много интересного в тонкостях, но автор не только не вхож, но и не посвящен. Распределяется все. В том числе и информация, и знания, и правда. Действительно, у нас нет общества потребления — у нас общество распределения. По меткому замечанию, кажется К. Чуковского, самым редким материалом является вчерашняя газета. Зачем доходить до орвелловских ухищрений с искажением информации в прошлом году, когда можно просто не выдавать прошлогоднюю газету. Чтобы невзначай не заметить то, что всем известно: какой друг стал врагом и какой враг — другом.

⁴⁵ ...рукоплещут из лож...

В конце 40-х — начале 50-х годов косяком пошли биографические фильмы о великих русских, с ласковым прищуром смотрящих в светлое будущее сегодняшнего дня, с тенью печали, что им не доведется его увидеть, что им не довелось родиться в истинно своем, нашем времени, и с тем большей истовостью совершающих свои подвиги на благо его, приближая его приближение. Павлов, Мусоргский, Пржевальский, Глинка... Попов... Это было, кстати, в связи с борьбой с космополитизмом и утверждением русского приоритета во всех областях. Люди эти, принадлежавшие разным эпохам и сферам деятельности, были родственно похожи, сыгранные одним и тем же актером (Борисовым или Черкасовым), родственно же и связаны с народом и между собою... Вот в карете Пушкин и Гоголь наблюдают строительные работы, народ поет «Дубинушку». «Красив русский народ в труде!» — восклицает Пушкин. «Но забит, загнан в невежество и нищету...» — с видимыми миру слезами, сквозь невидимый смех вторит Гоголь. «Михаил Иванович!» — восклицают оба, увидев тут же прислушивающегося к народным напевам, припавшего к истоку своему великого Глинку. «А я вас ищущу!» — говорит Глинка, — сегодня премьера „Руслана и Людмилы“; и вот Глинка дирижирует, а в ложе, с трудом подавляя восторг, сидят Пушкин, Гоголь и примкнувший к ним Грибоедов — для него не нашлось реплики: просто сидит, кивает в очках, «горе, — говорит, — уму»... Роднили их и биографии, вот обязательные моменты: а) советуется с простым народом: мудрый просветленный старик говорит им сказку, поет старинную песню, дает дельный инженерный совет; б) признание Запада: Глинку не соблазняет карьера великого итальянского композитора, Лист с восхищением исполняет «Марш Черномора»; Павлову, ежащегося у буржуйки, предлагает институт в Калифорнии; Попову подсовывает миллион Маркони, тот выгоняет его, произнося гневную речь обступившим его студентам; английский полковник предлагает Пржевальскому открывать Индию. «Нет! — говорит тот. — Китай наш брат, у него великое будущее!» Гладит по голове смышленного китайчонка, уже постигшего компас — китайцы тоже кое-что открыли первыми — и сейсмограф; в) мучительный творческий процесс в конфликте с великим князем или княгиней, обычно в этот момент кредиторы выносят роля, собаку с фистулой, подающий первые признаки жизни первоаппарат; г) шестые по длинной ковровой дорожке, в седой гриве и окружении верных, так и не обретших самостоятельности учеников, бурные аплодисменты, переходящие в о....., отворачивается великий князь, и рукоплещут, вываливаясь с галерки, студенты.

В армии со мной служил некий Марьямов, прибалтненный, полуцвет, с примечательно торчавшими в стороны ушами, он был признанным комиком нашего барака. У него было два коронных номера: чтение раннего Маяковского («Вошел в парикмахерскую, сказал спокойно: „Будьте добры, причешите мне уши“») и Стасов в роли Черкасова (великолепно гнусаво-громоподобно: «Господа! мне стыдно за вас!»). И теперь, когда вспоминаю эти фильмы, то непременно в исполнении Марьямова, перенесшего их в подлинное место действия: барак, нары, серое х/б.

⁴⁶ ...образ Жажды...

В 1965 или 1966 году я зашел в ЦДЛ к самому открытию — не было ни одного человека, и пока я пил свой кофе, появился один, приковавший мое внимание. Он был в пиджаке на голое тело и в ботинках на босу ногу, долговяз и необыкновенно лохмат. Буфетчица, однако, приняла его предупредительно, как своего. Выдала ему большой бокал чего-то красного — то ли крушон, то ли вино, то ли компот... Он взгромоздился на табурет к самой стойке, взял обеими руками бокал и приник... точно так, как описано в романе.

В 1965 году вышел роман Юрия Домбровского «Хранитель древностей», я прочитал его несколько позже, года через три, и стал восторженным его почитателем; в 1970-м окончательно написал своего деда, а в 1973-м поселился в голицынской богадельне и там познакомился с другим ее постоянным обитателем — Домбровским и тогда, кроме чести стать собутыльником любимого писателя, был счастливо поражен: как раз с него я писал первый портрет деда. То, что Домбровский великий человек, что биография его включает те же испытания (с 1932 по 1956-й, о чем я понятия не имел), что тот — это он, — все это польстило мне.

Жить в России и не иметь лагерного опыта невозможно. Если вы не сидели, то имели прикосновения и проекции: сами были близки к этому или за вас отволокли близкие и дальние родственники или ваши будущие друзья и знакомые. Лагерный же быт растворен повсюду: в армии и колхозах, на вокзалах и в банях, в школах и пионерлагерях, вузах и студенческих стройотрядах. Он настолько присутствующ, что не узнавать его в лицо можно, лишь не побывав в настоящем лагере.

Многие мои друзья сидели, по маленькому и по большому, от трех до пяти лет, но деда среди них не было. (Они были почти моего поколения, на восемь — десять лет старше.) Своего деда я сочинил из очень слабых реальных посылок.

Поводом для его «предположения» послужило начало возрождения репутации М. М. Бахтина и первые сведения о нем, полученные от В. В. Кожина: что Бахтин пострадал не в 1937, а в 1928 году, что его по-всеми спасло; что он без ноги; что появившиеся неожиданно деньги (от переиздания книги) он прячет в самоваре; что боится переезжать из своего Саранска... Затем вот этот образ жаждущего... И еще одна судьба, почти никому не известная до сих пор, о которой я узнал летом 1964 года вскоре после смерти ее обладателя. Я передаю ее из чужих уст.

Игорь Афанасьевич Стин, граф, репрессированный, но так и не реабилитированный, скончался в поселке Сыр-Яга Коми АССР в возрасте семидесяти (приблизительно) лет, где работал геологом в разведочной партии. Моя добрая приятельница Наташа Ш. работала с ним. Я встретил ее вскоре после похорон, потрясенную смертью, она могла говорить только о Стине. Она привезла с собой небольшое наследство: маленькую любительскую фотокарточку и четыре бобины с магнитофонной записью новелл Стина в авторском исполнении. С фотографии смотрел седой, юношески стройный, с красивым, породистым лицом человек. Рассказы он исполнял в застолье, и между новеллами был слышен пьяный полуодобрительный гул, как между песнями. Я слушал пленку лишь один раз, новеллы хотя и прозвучали для меня несколько чересчур значительно и патетично (возможно, за счет нетрезвого исполнения — но голос был приятный, хрипло-молодой и низкий), были они хорошего литературного уровня, а две-три новеллы были совершенно превосходны и произвели на меня сильное впечатление. По материалу их можно разделить на лагерные и барские (воспоминания о поместном детстве). Проза не терпит пересказа, тем более миниатюра требует передачи слово в слово, но я лишен какой бы то ни было возможности воскресить текст (Наташа Ш. тоже умерла) и я вынужден... Вот лагерная миниатюра. Старый зек целую неделю готовится к свиданию со старухой: бреется, моется, штопается и стирается — волнуется, как молодой. Его товарищи сопереживают, но, как потом становится ясно,

предвкусывают спектакль (свидание не первое). Наконец наступает день, старик с утра не находит себе места, залезает на столб и высматривает оттуда старуху. Весь лагерь (воскресенье) напряженно ждет. И вот наконец она вываливается из-за бугорка. Кажется, даже раньше становится слышна ее ругань. Старик ей начинает вторить. И так они начинают сближаться, как в дуэли, все удлинняя периоды мата, все витиеватее, пока, поравнявшись, не достигают виртуозности. У старухи тяжелая корзина со снетью, с еще теплыми пирожками, у обоих ручьем текут слезы, и матерят друг друга они все неистовей. Им восторженно внимают самые искушенные знатоки и слушатели. Все, что я пересказал, скрыто в минимальных размерах, а весь текст — дословное воспроизведение их «дуэли». Слушая новеллу, вы неизбежно заплачете слезами стариков. (Подобный сюжет, правда, встречается у Зоценко.) А вот — «поместная»... Старый Стин был суров и чрезвычайно сух с сыном. Маленький Стин его боялся и в то же время по-детски тосковал по его любви (кажется, рос без матери, не помню...). Однажды мальчик («я» в новелле) пробрался в отсутствие отца в строго-настрога запрещенную для него библиотеку и, достав первую попавшуюся книгу (а это оказалась энциклопедия на «П»), стал разглядывать и увлекся. Он не заметил, как за спиной его оказался отец. А мальчик как раз разглядывал разворот с картинками, где прекрасно-ярко были нарисованы разнообразные попугаи. Особенно один нравился ему, большой и неправдоподобно разноцветный. «Ну, и какой тебе нравится больше всех?» — услышал мальчик из-за плеча. Мальчик перепугался: никогда еще отец не задавал ему никаких вопросов, тем более так добродушно, не наказав за самовольство... У мальчика возникло чувство, что от его ответа зависит все дальнейшие отношения с отцом, что с этого момента, может быть... Но он такой человек, думал мальчик, ему же не может понравиться то же самое, что мне, мальчишке... надо угадать... Но попугаев было так много! Они все перепутались в его бедной голове от напряжения... «Ну же?» — уже строже сказал отец. «Вот этот, — готовый расплакаться, сказал мальчик, ткнув в первого попавшегося, серенького и невзрачного. «Странно, — хмыкнул отец. — А мне вот этот». И указал на того самого, большого и разноцветного, которым и любовался мальчик. И, резко повернувшись, вышел из библиотеки. Кажется, больше ни разу не выпадало мальчику такой же возможности сблизиться с отцом. (Рассказ чем-то напоминает бунинского «Ворона», но Стин мог не знать о нем, поскольку он относится к эмигрантскому периоду творчества писателя.)

Эти три впечатления и легли в основу, позволили «предположить» Модеста Одоевцева. Позднее автор познакомился с некоторыми похожими людьми-судьбами. (Например, с тем же Домбровским, с О. В. Волковым... и много прочитал не читанной им до того лагерной литературы.) Многое теперь он мог бы уточнить и добавить, но вряд ли мог бы написать.

⁴⁷ ...хороший человек, меня дважды не убил...

Мой друг по институту, потомственный рабочий, так однажды положительно охарактеризовал своего соседа: «Хороший человек... Меня дважды чуть на работу не устроил». Сказано так было с основанием, искренне. Заслуга Коптелова, в таком измерении добра, неизмеримо больше.

⁴⁸ ...распльвчатый и невидимый, как японский ниндзя...

В советских научно-популярных журналах в свое время появилось много статей (перепечаток с зарубежных изданий) об этой фантастической средневековой секте «невидимок» — шпионов и наемных убийц. Искусство их было непревзойденным: они умели освобождаться от оков, расчленяя собственные суставы, исчезать из закрытых помещений, подслушивать с помощью каких-то гибких трубок на немалом расстоянии и растворяться в воздухе, скрываясь от преследования. Носили специальную бесформенную незаметную одежду, способствующую подобному растворению в тени или в сумерках. Реальность существования невидимок производила большое впечатление на незрелое сознание автора (и, по видимому, самих издателей популярных журналов).

⁴⁹ ...Вы будете читать «Улисса» в 1980 году...

Не знаю, можно ли сейчас, через пятнадцать лет после пророчеств Модеста Платоновича, в 1971 году, утверждать с тою же уверенностью. Поговаривают, что, может быть, и даже вскоре, мы увидим «Портрет художника в юности». Но

мало ли что поговаривают!.. Говорят даже, что не эта и не следующая, а после следующей — в Москве обязательно состоится Олимпиада, то есть именно в 1980-м...

⁵⁰ ...На темной и пустой улице шофер нагавал Лева по шее...
См. прим. 59.

⁵¹ ...Сыр-Яга (она же Вой-Вож и Княжпогост)...

Поселки в Коми АССР (см. также прим. 46 — И. А. Стин). Имена их стали известны главным образом по расположению в них в годы репрессий гигантских лагерей. Автору довелось проделать своеобразную «экскурсию», насмешливый смысл которой дошел до него много позднее, — тогда он просто служил в СА (армии) в ВСО (военно-строительных отрядах), прежде носивших привычное название стройбат (строительный батальон). Как очкарика, не имеющего годной специальности, к тому же с полувьшим образованием (тогда еще в армии и человек со средним образованием встречался редко), что смущало начальство, автора через месяц-полтора перекидывали из отряда в отряд с группой таких же негодных, блатных, недоразвитых, больных; таким образом, я объехал многие бывшие места в Карелии, Архангельской области и Коми, еще толком не понимая, чему обязан их запустением. Работали мы на лесоповале, жили в бараках в зоне со снятыми часовыми (один раз даже с не снятыми — под «попками», за проволоккой: вновь организованный отряд был гостеприимно принят на свою территорию дисбатом, дисциплинарным батальоном), ходили в лагерном х/б (зелененькую беспогонную форму ввели только в 1958 году). Правда, голосовали в Советы. Лишь много лет спустя я догадался, в какие скобки истории был заключен: 1957—1958... К концу шел процесс реабилитации, освободилась масса лагерей, кому-то, однако, надо было продолжать внезапно прерванную работу... Знаменитое сокращение вооруженных сил было отчасти попыткой заткнуть эту дыру: дело в том, что стройбаты в численность вооруженных сил не входили — распогоненные солдаты были сброшены десантами на территорию бывших лагерей. И хотя никто из солдат не признавал себя за зека, форма обидела многих (ее поспешили сменить), а лагерный воздух подсознательно входил в души вместе с дыханием: пьянство, саботаж, выродившаяся уголовщина, проигранное обмундирование, чифирь и наколки — все это расцвело пышным цветом, и даже угроза трибунала мало чему помогла (выездная сессия не прекращала свою работу в течение двух месяцев).

Совершив эту «экскурсию», эту легкую пародию на лагерь, я читал впоследствии книги о лагерях не только с чувством узнавания, но и с прямым узнаванием.

⁵² ...слесарь Пушкин...

Многие отмечали парадоксальные генетические рифмы в русских фамилиях. Например, прокурор Казнин, чемпион мира по сабле Кровопусков, балерина Семеняка, борец Медведь и т. п. Инструктора по идеологии, с которыми я столкнулся в молодости, Чурбанов, Тупикин и Плешкина, сидели чуть ли не в одной комнате, и пусть они были по-своему неглупые люди... Или вот, открываю газету «Ленинградская правда» — информация о заседании обкома: присутствовали секретари обкома Посибеев, Бобовиков, Неопиханов, секретари райкомов Комендантов, Чернухин, Бугаенко.

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь один документ, списанный мною со стенки солидного учреждения (ИМЛИ — род Пушкинского Дома), как стихотворение:

Приказ

Утвердить новый состав пожарной комиссии:

Зайцев

Немец

Погорелов

Белина

Пилипук

Гресс

Гридчина-Рудь

Гончарок

Резникова
Затирка
Пожидаев
Арзанов

Все это не преувеличение, а подлинник.

⁵³ ...явления, лишь сейчас едичные, но которым суждено будущее (Рахметов)...

Николай Рахметов, один из героев романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», — революционер, «человек будущего». Когда его проходили в школе, наибольшее впечатление в романе произвводил на ребят именно он. Во-первых, потому, что воспитал в себе ту самую «силу воли», которую все хотели иметь, во-вторых, потому, что мечтательное воображение Николая Гавриловича наделило его невероятной физической силой (как и Базаров, выкинул кого-то в пруд, но к тому же гнул пятаки и побарывал быка за рога), в-третьих, спал на гвоздях, на что никто из нас не был способен, даже самый волевой (о факирах и йогах тогда еще мало знали, поскольку йога была «реакционное, буржуазное, религиозное учение») Именно Рахметов давал повод литературоведам толковать «Что делать?» как первое произведение социалистического реализма по постановке проблемы типического, всегда бывшей краеугольным камнем реализма (критическое). Рассуждения о природе типического были точь-в-точь такие, как и в нашем романе.

⁵⁴ ...автор презирает аристократию всей сутью своего плебейства, которому не досталось...

Чтобы окончательно отбросить все возможные подозрения в аристократическом происхождении, автор пользуется случаем заявить, что по социальному своему происхождению он мещанин. Происхождение его точь-в-точь как у Мишеля Синягина из одноименной повести Мих. Зощенко: «Он был сыном дворянки и почетного гражданина». Автор поживаясь, но легко способен себе представить рецензию или фельетон, посвященный этому роману, — «Мишель Синягин наших дней» (варианты — «70-х годов», «пятiletки качества» и т. п.).

⁵⁵ ...дег тоскует по месту последней ссылки (где-то, кажется, в Хакасии)...

Автор побывал в Хакасии в 1964 году. В краеведческом музее в Абакане он повстречал энтузиаста-археолога, явного бывшего зека. Крепкий старик достал из часового кармашка галифе маленького черного божка плодородия, подарившего ему в его годы дочь. Этот замечательный старик и послужил толчком для деда другого образца (варианта).

⁵⁶ ...тот самый кагр, который надлежит выстричь...

Любопытный эпизод есть в советской экранизации «Отелло» (1956). Уже задушив Дездемону, Бондарчук выходит на берег моря и там, сидя на камне, имеет длинный-длинный план — смотрит в морскую даль и плачет; ему хватает метража сыграть всю ту неопределенно-сильную гамму чувств, положенную большому актеру; слезы прочертили в гриме две дорожки, а в чистом медитеранско-ялтинском небе, куда он смотрит с такой выразительностью, как раз летит самолет, прочерчивая свою белую нить. Удивлению старого мавра нет предела.

⁵⁷ ...будто ему надо сдавать нормы ГТО...

Комплекс спортивных норм ГТО («Готов к труду и обороне СССР») введен Высшим советом физической культуры в 1931 году. Под лозунгом массового движения его обязаны были с энтузиазмом сдавать старики и дети. Сдача этих норм обязательна для школьника и студента. Во многом это выродилось в формальность, но если не строго обязательно выполнение нормативов, то необходимо уважительное посещение. Иначе преподаватель может не поставить зачет, а это ставит под угрозу всю учебу студента независимо от успехов по основным дисциплинам. На практике, однако, не без волокиты и унижений все выходят из положения: как-то эти нормы сдаются, как-то все выполняют нормативы (например, по плаванию — не умеющие плавать...) — студенты выполняют нормы, а преподаватели план.

⁵⁸ ...на ДНК проступил общий знак качества...

Знак качества введен в 196(?) году. Представляет собой небольшой пятигранник, внутри которого написано «СССР» Ставится на продукцию, достигшую по качеству мировых стандартов. Одним из первых таких продуктов им была

отмечена водка. Но после общественного обсуждения в печати было решено не ставить высокий знак на вредных продуктах: алкогольных напитках и сигаретах. Необходимость поставить на чем-нибудь Знак качества ставят некоторые предприятия в тупик, и тогда он появляется на очень неожиданных изделиях (вспомните сами... Вот видите! Уже уходит, уже забывается!).

⁶⁹ ...«В эту тихую лунную ночь де Сент-Ави убил Моранжа...»

Ср. прим. 50: «На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее...»

Конструкция и музыка фразы общая. Единственный писатель, оказавший на автора прямое влияние, был Пьер Бенуа (1886—1962). Другие непосредственные влияния автор отрицает. Он исключительно щепетилен и тупо честен в этом вопросе: во всем, в чем можно признаться, он признается. Подробнее по вопросу о влияниях см. прим. 66, 122.

⁶⁰ ...присвоил Печорину звание Героя Нашего Времени...

Звание Герой Советского Союза введено постановлением ЦИК в 1934 году. С вручением высшей награды Родины — ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1939). Оно именно присваивается: «Присвоить имяреку звание...» По-видимому, разрушение чувства собственности привело к изменению грамматики: стало возможно присвоить не себе, а кому-то. В небезызвестной песне Алешковского есть строки:

А главное, за что звезду героя?..
Ему б вообще не надо бы давать...

Поначалу это звание было окутано густым романтическим ореолом. Героев было еще мало, и звание было нелегко заработать. После войны, после смерти Сталина, его стали давать куда щедрее. В народе были недовольны такой девальвацией, особое осуждение вызвало присуждение этого звания Насеру. Впрочем, в этом осуждении большую роль играло не унижение звания, а распространенное в народе убеждение, что мы всех кормим, самим прикрыть нечем, а они потом нас же... Народный опыт во внешней политике.

⁶¹ ...И когда мы встретим в газете заголовок «Время—жить», можно сказать с уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий завет.

Смерть Сталина проделала первую дырочку в занавесе. Оттуда посочилось, а у нас всех было ощущение, что хлынуло. Мы смотрели первые французские, итальянские, польские фильмы, мы читали первые американские, немецкие, исландские книги (так, первый современный роман был «Атомная станция» Х. Лакснесса в 1954 году). Не важно, если эти книги писались и издавались двадцать, тридцать лет назад, — они воспринимались сейчас. «Три товарища» Ремарка были явлением 1956 года, а не 1937-го. «Потерянное поколение», разразившееся романами в 1929 году, были мы (словно не было перерыва между мировыми войнами). Как в школе всем преподавалась одна и та же литература, так, и выйдя из нее, мы все продолжали «проходить» одни и те же книги, одновременно читая Ремарка, Фейхтвангера, Хемингуэя. Вы читали? вы читали? — был основной метод знакомства и сближения (несложно было обнаружить общие вкусы). Анекдот о милиционерах, думающих, что подарить на день рождения своему другу («Бритву?» — «Бритва у него уже есть». — «Часы?» — «Часы у него уже есть». — «Фотоаппарат?» — и т. д., все у него уже есть. Видят плакат «Книга — лучший подарок!». «Подарим книгу!» — радуется первый. «Книга у него уже есть», — безнадежно отвечает второй...), так вот этот анекдот оборачивается другим смыслом, не милицейским: книга — это Кафка, Ремарк, Хемингуэй, Пастернак — то, за чем гоняются, чего не достать; «книга у него уже есть» — это значит он достал последний (единый для всех) дефицит. Когда в Истории намечается движение жизни, все люди, им достигнутые, становятся как бы одного поколения (военного, хрущевского...), все читают одну книгу и волнуются ею. Но хоть читают! Когда История снова замирает, так и не хлынув, люди утомленно разбираются на вкусы и поколения и уже ничего не читают, благоустраиваясь в нише остановки. Хлебный голод сменяется на книжный: достать книгу, чтобы она «уже была»; вкусы, с упоением разработанные интеллектуалами ушедшей эпохи, спущены вниз на правах товара; даже наш неподвижный рынок уже приспособился выпускать фешенебельными корками, под «фирму», мертвейшие

нечитаемые книги — и иностранные, и классические, и памятники, — все это уже мебель, а не дух. Ничего к нам не хлынуло в дырочку, никто на нас оттуда не заглядывает — это мы хлынули и застряли, это мы из зала рассматриваем сцену через слабо проковыренную актерами дырочку...

⁶² ...Мы недавно «просмотрели» фильмы...

См. прим. 74.

⁶³ ...«Христос, Магомет, Наполеон»...

Слова Сатина из пьесы «На дне» — Лева проходил ее в школе как раз в то время, с которого начинается следующая глава.

⁶⁴ ...5 марта 1953 года умер известно кто...

Сталин. Дата спорная, официальная. Но всем было куда важнее, чтобы он умер официально, а не фактически. Тридцать лет — не шутки! Я родился, была война, я учился, я влюбился — это все при нем... А сколько людей при нем умерло! И никогда не узнает, что он — тоже. Однако мы знаем о нем теперь много больше, чем тогда. Что знали мы, школьники его школы? Что он не спит ночами, работает: горит его окно. Что он прочитывает в день пятьсот страниц (великий читатель!), а мы вот урока, трех страничек, не осилили. Что у Ленина были (хоть и мало) ошибки (какие, неизвестно), а он не ошибся ни разу. Что он участвовал в создании автомобиля «ЗИС-110», но из скромности не назвал свою фамилию (за автомобиль дали Сталинскую премию — не мог же он сам себе ее вручить!...). Были и вопросы, так и не разрешенные (в обоих смыслах): был ли он на фронте? знал ли иностранные языки?.. Конечно, был, только секретно; конечно, знал, но не любил говорить, только читал (те самые пятьсот страниц). А он уже не стригся, не фотографировался, не говорил речи... Когда в 1952 году его наконец увидели в кинохронике (на XIX съезде), то пожалели: старичок... Мой однокашник, мальчик с нежным лицом, занимавшийся в балетном кружке и делавший пируэты на перемене, сказал мне доверительным жарким шепотом: «А Маяковский — враг». (Мы проходили поэму «Владимир Ильич Ленин»...) «Что ты!» — испугался я. «А как же! Довольно валяться на перине клоповой, товарищ секретарь, на тебе, вот! Просим приписать к ячейке эркаповой сразу коллективно весь завод!» (До сих пор не знаю, как поставить ударение: мой однокашник сказал «клоповой»...) «Ну и что?» — не понял я. «А то, — неслышно сказал бдительный мальчик, — что секретарем тогда был КТО?..»

⁶⁵ ...кольцо «желтого металла», как выразился бы следователь...

Протокольная точность. Ведь не посплав на специальный анализ, следователь не может с законной уверенностью утверждать, какое кольцо — золотое или медное. Никак нельзя, заводя дело, начинать со следственной ошибки... «У задержанного (потому что еще не проверено, что я Битов А. Г., это пока что всего лишь мои слова) изъяты: ремень брючный — 1 шт., очки, часы круглые желтого металла («А если потом скажу, что золотые?» — «Я тебе покажу смефуечки!»)... желтого металла, денег 006 коп.» — «Распишитесь! Да не в том, с чем вы не согласны! а в том, что у вас изъяли...» Копию своей подписи я прочитал на следующий день под протоколом.

⁶⁶ «Краткий курс»...

«Краткий курс истории ВКП(б)» — наряду с книгой «И. В. Сталин (краткая биография)» — был обязательным для всех обучающихся. Говорили с полной убежденностью (если бы это была ошибка, то простительная...), что их написал сам Сталин. Почему не подписал?.. Из той же скромности. Автора ведь на обложке нет? Неужели он сам свою биографию писал?.. Ну во всяком случае редактировал. И впрямь обложка выглядела странно: сначала крупно СТАЛИН как название книги, а помельче как подзаголовок «краткая биография», — почему бы не так: Сталин — автор, а под ним — название книги.

⁶⁷ ...Они продолжали «встречаться»...

После исчезновения обращения друг к другу все, кто моложе пятидесяти, превратились в «девушек» и «молодых человек». Так же, как и обращение, исчезло сколько-нибудь внятное обозначение для внебрачных отношений: «дружить», «встречаться»...

«Раньше они дружили, а потом начали встречаться», — рассказывала мне

одна девушка про свою подругу. Я попросил разъяснить мне разницу. «Сам понимаешь», — покраснела девушка.

⁶⁸ ...взгляд упал на сундук...

Где, по-видимому, прятался автор .. См прим. 48.

⁶⁹ ...до реформы...

Реформа 1961 года повысила курс рубля в десять раз. «Помяните мое слово, — говорили маловеры, — пучок травы, который стоил 10 копеек, и будет стоить десять». (Сейчас пятнадцать — двадцать.) Все продолжали думать старыми деньгами, рассчитывались новыми. Путались. Моя теща постоянно ошибалась, но уже не в десять, а в сто раз: опять меня обсчитали, взяла рубль вместо десяти копеек, а это десять рублей по-новому... в таком роде. Единственный человек, мне известный, который разбогател на этой реформе, был мой однокурсник по институту З., очень интеллигентный и бедный юноша: он копил медные копейки (после войны был долгий и упорный слух, что за сорок рублей копейками можно получить патефон, только никто толком не знал где... хорошо, что не срок за задержку разменной монеты, — есть такая статья...). К реформе он накопил четыре мешка, которые и выросли в одночасье в десять раз (копейки не обменивались). Теперь З. в Канаде.

Кажется, автор совершил ту же ошибку (в сто раз), но не в силах был пересчитать.

⁷⁰ ...Ростов (на Дону)...

Есть еще и другой Ростов (Великий), старинный русский городок. Почему-то все знают, что Ростова — два, хотя в Ростов Великий реже кого занесет. Во всяком случае при затяжной игре в города, когда все запасы знаний исчерпаны, а победитель все еще не выявлен, как правило, возникает ситуация на букву Р: «Ростов!» — «Уже был». — «Так я про другой Ростов...»

⁷¹ ...(весь разговор Митишатъева о евреях, кто из их выпуска был или не был им)...

По существу этого разговора автор может показать следующее: такой разговор, без сомнения, был. Подозреваю даже, что он не слишком оригинален.

Зимой 1964 года, под новый, 1965 год автор был в Москве и читал у друзей главы из своего романа, в частности эту. Всем понравилась. Среди слушателей оказался и еврейский поэт Овсей Дриз, которому тоже понравилось. Красивый был человек! Седой, беззубый, молодой... Мы с ним подружились с того дня и достаточно часто встречались, и вот через несколько лет он как-то склонился ко мне доверительно (мы выпивали) и сказал: «Сделай, что попрошу!..» — «Для тебя, Овсей, все!» — «Вычеркни!» «Что вычеркнуть?» — опешил я. «Ну тот разговор...» — «Какой разговор?» (Я никак не мог ни предположить, ни вспомнить.) «Ну тот, который ты читал». — «Когда?» — «Тогда, помнишь...» — «А-а... вот ты о чем, но почему же? Ведь я...» — «Ты мне обещал». — «Когда?» — «Сейчас». «Но почему я должен вычеркивать, что написал?! — возмутился я. — Ведь я не в том смысле... я как раз в обратном...» «Все равно вычеркни!» — непреклонно твердил он. «Но я же...» — «Я тебя когда-нибудь о чем-нибудь просил? Я тебе когда-нибудь что-нибудь не так сказал?.. Вычеркни». — «Но я...» «Я же тебя люблю и тебе верю, — говорил он, — и это не для меня прошу, а для тебя». Долго мы пререкались, и я обижался на него. Он был неумолим; я обещал подумать, расстроив его своей несговорчивостью. Больше мы не виделись, он вскоре умер. Это было его завещание, которое я не выполнил. Он мне сказал тогда: «Пойми! Это та-а-кая кров'! та-ка-ая кров'! — Он так замечательно, красиво, картаво и беззубо говорил... — Тебе не следует к ней прикасаться... никому не следует. Это так страшно! — добавил он. — Ты не представляешь, лучше тебе не знать...» Я сказал, что знаю про погромы, Майданек и т. д. Он отмахнулся, он не то имел в виду. «Эт-то та-ак ст'а-ашно...» — нараспев повторял он. Что-то прилипло ко мне, непонятное, неизвестное, черное, как ночь, и я испугался и рассмеялся с дрожью. Я не знал, о чем он говорит. «Может, обойдется, а может, нет... — сказал он, словно выдавая тайну, словно рискуя (перед смертью, как оказалось) и все еще недоговаривая. — Это такая бездонная кро-ов'... бездна... И тебя нет. И ты ничего никогда не объяснишь, никогда не поправишь...» Я не понял его до конца, отогнал смутную, непросветленную догадку — но я ему поверил. «Подумаю», — сказал я, расстроив его уклончивостью.

Мне уже не нравится этот разговор (как написан...). Может, я еще его и вы...

⁷² ...«Христос — Магомет — Наполеон...»

Не надо забывать, что Митишатъев — однокашник Левы (см. прим. 63).

⁷³ ...Писарев в руке Митишатъева...

Может быть, это был и не Писарев...

⁷⁴ ...показ редкостного фильма, не то Хичкока, не то Феллини.

Либеральная веточка, хрущевский побег... Никто сразу не отметил высшей формы недемократичности, выразившейся в новом влекущем понятии «просмотр». На него надо попасть. К этому надо приложить старание и даже страсть. Изначальная потребность в приобщении к современной культуре стремительно выродилась в чистую форму престижности: я это видел, я там была... Именно там, на первых еще просмотрах, на людях появились джинсы, замшевые пиджаки и дубленки — будто сами выросли. На лицах обладателей стало вырабатываться особое выражение подавленной гордости, понимаемое изнутри как свобода и естественность. Вопрос, откуда это на вас, не был бы никак удовлетворен, он был бы незрителен, шокинг. Усилия попадания на просмотр, доставания джинсов и т. д. выносились за скобки подсознания, унижение с лихвой покрывалось процентами с престижа. Просмотровый зал в этом смысле явился не столько очагом и рассадником вкуса, не столько первой ласточкой предстоящего расширения перспектив, сколько лабораторией дефицита — понятия, совершенно поглотившего к сегодняшнему дню все бывшие либеральные устремления. Именно эти люди, первыми прорвавшиеся на просмотр, стали писать книги о режиссерах и фильмах, никогда не показанных народу, защищать диссертации о ни разу не переведенных философах и т. д. Образовав круг, они же его и замкнули, охотно не допуская других к своим возможностям. Тенденция обратилась в привилегию, устроив и тех и других. Затяжка гаек шла всем впрок. И не мудрено, что теперь книга потеряла читателя, а театр зрителя. Книга у того, кто может ее достать, а в театре сидят люди, которые сумели в него попасть. «Просмотреть» фильм, если верить русскому языку, — значит, его не увидеть. Пропасть, естественно отделившая художника от народа, стала окончательной, образовалась почти естественно, а главное — бескровно. О, как бескровно! Теперь уже можно было бы обойтись и без допусков, пропусков и запретов: ничто ни до кого не дойдет и никто никуда не попадет. Но это столь удачно сложившееся соотношение надо сторожить, чтобы никогда не пропадала тень запрета, проекция репрессии, чтобы на горизонте всегда стояла идеологическая туча. Иначе зал опустеет, и его заполнят новые люди, а книга попадет в руки читателя. Ах, как все сложилось! Само ведь собой. И это не они — вы, вы! Я.

⁷⁵ ...ФАЛ, ЛФМ... — бессмысленно гумал Лева...

Ф а л — конец (морск.). Отсюда — фалить, фаловать.

⁷⁶ ...Что-то кудрявые и не встречаются нынче?..

С кудрявыми плохо... Мой отец никогда не был кудрявым, но мать рассказывает, что в медовый месяц он вдруг закурчавел. Для того чтобы определить, естественно ли вьется волос или это завивка, судебная экспертиза применяет простой прием — бросает волос в воду: естественный распрямляется, искусственно завитой — нет. Это авторское предположение, но, возможно, не кудрявых, а счастливых стало меньше (см. прим. 117).

⁷⁷ ...Приложение ко второй части...

Глава «Профессия героя» требует слишком большого количества примечаний специального свойства. Отчасти они имеются в публикации этой главы в № 7 «Вопросов литературы» за 1976 год, куда автор отсылает неведомого читателя.

⁷⁸ ...многочисленные на Западе исследователи Пруста...

На соображения, связанные с сопоставлением Л. Толстого и Пруста, автора навела в разговоре Л. Я. Гинзбург.

⁷⁹ ...но он нашел третьего, и они у него охотно «скинулись»...

Скинуться на троих — выражение, родившееся сразу после хрущевского подорожания водки. В той же песне (см. прим. 60) дальше поется:

**Он нашу водку сделал дорогою
И на троих заставил распивать.**

Раньше ее пили на двоих, скидывались по рублю, а копейки как-нибудь наскребали. Теперь стало не хватать копеек, и стали скидываться втроем по рублю. Пить оттого, что та же бугылка приходится теперь на троих, какая раньше приходилась на двоих, меньше не стали, потому что стали скидываться дважды. В зарубежной прессе известен рассказ американского классика (то ли Стейнбека, то ли Колдуэлла) «Как я был Хемингуэем», подробно описывающий этот новый русский обычай.

При публикации в «Вопросах литературы» выражение это, отнесенное к классикам, было сочтено непочтительным, и слово «скинулись» было заменено на «сошлись».

⁸⁰ ...бедный всадник...

Автор не собирается отстаивать качество этого каламбура, но воспользуется случаем изложить одно беглое наблюдение. Последнее довоенное издание Достоевского наблюдалось в 193(?) году. Потом он совершенно не издавался как крайне реакционный, буржуазный, не понявший, оклеветавший и т. д. Наконец все после той же смерти (как много она разрешила? — вся страна разрешила с этой смертью, которую вынашивала, как рождение, тридцать лет...) в 1954 году (сдано в набор 29/Х-53) впервые после перерыва вышли именно «Бедные люди», с которых Достоевский начал свою карьеру. «Униженные и оскорбленные» — в 1955-м... И последовавшие издания выходили в хронологической последовательности, будто Достоевский писал их наново. И наконец к 1965 году набежала возможность выпустить собрание, куда вошли даже «Бесы». Академическое издание, начатое в ознаменование столетия писателя, довольно быстро повторило пройденное и снова замерло над «Дневником писателя», как над пропастью.

Автор не библиофил, но в его разрозненной библиотеке имеется бесценный экземпляр — «Бедные люди» 1954 года с надписью на развороте: «П-ч Тане, чемпиону лагеря во всех трех сменах по прыжкам, метанию гранаты и бегу.

Нач. лагеря: ...

Ст. п/вожатая: ...

Профсоюз работников культуры. П/лаг. № 17».

⁸¹ ...как сказал про меня поэт...

Четверостишие из Глеба Горбовского.

Осенью 1968 года я подписал в издательстве договор на этот роман. (Правда, в договоре был опущен эпитет «Пушкинский» как цензурный и оставлен только «Дом».) Это означало аванс (1125 руб.). Страшно счастливый, я пришел домой. Буквально следом появился Глеб, настроенный мрачно и требовательно (тогда он еще пил). Он мне почитает стихи, а я сбегая за бутылкой. К моему удивлению и восторгу, он начал читать именно с этого четверостишия. И хотя стихотворение было пронизано каким-то антипрозаическим пафосом и таило выпад, я был потрясен совпадением, граничащим с прозрением. Роман!.. Причем именно «Дом». Я допросил его с пристрастием — о моем «Доме» он впервые от меня слышал. Мы выпили. На следующий день, забежав в издательство (насчет когда деньги...), я узнал, что вчера буквально следом за мной издательство посетил Горбовский, увидел договор, поинтересовался, был ли я здесь, и, узнав, что я только что вышел, последовал за мною. Пафос стихотворения был в том, что не будь он поэт, а пиши романы, у него было бы много денег.

⁸² ...для сдачи норм ГТО...

См. прим. 57.

⁸³ ...— Он...— и выразительно постучал по перилам...

Раньше, когда это и впрямь грозило жизни, стукачей угадывали безошибочным чутьем, по запаху и обходили стороной, а если было не обойти, замыкались. Интуиция выработалась потрясающая: кому, что и когда можно говорить. Человек переключался в ту же секунду, не замечая, почти не испытывая неудобства. Область этой подвижной корреляции языка не изучена, не описана как феномен. Этот рефлекс, работавший с безошибочностью инстинкта, во многом атрофировался, как только отпала непосредственная угроза жизни. Стук теперь угрожает разве карьере: человек может не поехать за границу, остановиться на служебной лестнице, в крайнем случае слететь с нее на пролет ниже. Но на уровне меркан-

тилизма инстинкт не работает, точно угаданное знание отсутствует, а воображение их не заменит. Теперь подозревать за собою стук — почти повышение, этим можно похвастаться громким шепотом. Наличие стукача подразумевается на каждом шагу: накрывается подушкой телефон, включается изысканная музыка... Успех ближнего подозрителен: почему его выпустили, почему напечатали, почему выставили?.. И впрямь — не почему. Каждый, в меру своей образованности и привычки логически мыслить, стал думать за власть, забыв, что она не думает, а — есть. Подозревать стало либо некого, либо всех. А будет надо — возьмут. По дороге вы вспомните, что забыли вытащить карантиш из телефонного диска.

⁸⁴ ...отчего это так приятно произносить: кня-я-язь... (и далее).

Суть Митишатьевым схвачена грубо, но верно. У нас уже уважают за титул, в основном каким-то детским, из Дюма вычитанным уважением. Девочки без подсказки играют в принцесс и королев — врожденный ролялизм. Все это соскучившееся детство неожиданно выперло в кинематографе — в потоке заведомых фильмов актеры с чувством и вкусом начали играть отрицательных персонажей: белых, дворян, офицеров, князей... комиссары стали получаться все дежурней и проще. В среднеазиатском кино эта тенденция так заголилась, что поток юбилейных картин типа «остерн» был метко кем-то назван «Басмачфильм».

⁸⁵ ...Это был старый Бланк...

Аллюзию (см. прим. 121) «Бланк — Ленин» автор решительно отвергает. Она бессмысленна. Я о ней не знал, когда писал, никакого Бланка не знаю... (но — и не вычеркнул, когда узнал).

⁸⁶ ...об «Октябре» и «Новом мире»...

Резкость их контраста была главным культурным завоеванием так называемой либеральной эпохи. Если при основании журналов названия их были синонимами, то теперь в передовых умах они стали антонимами: «Октябрь» был отвергнутым прошлым, а «Новый мир» невнятным, но «к лучшему» будущим. Наличие их обоих означало время. Что оно течет. Что оно — есть. Диалектическая разность наконец восторжествовала и дала плод — нового двуглавого орла. Чем ярче разгоралась рознь журналов, тем более становились они необходимы друг другу и в каком-то, пусть неосознанном и нециничном, смысле начинали работать на пару, на шулерский слам. Но, по остроумному выражению одного биолога, «никакого симбиоза нет — существует взаимное паразитирование». Разницу подменили рознью, а практически неизвестно, кто умер первым, но тогда умер и второй. Да, сначала был разбит «Новый мир», но и торжество «Октября» оказалось не менее скоростижным: без «Нового мира» оно уже ничего не знало. Борьба с «Новым миром» была для «Октября» самоубийством. Возможно даже, что самоубийство Кочетова это доказывает. Но факт, что потребность в контрасте была истрачена, истории больше не требовалось, и горький факт, что именно «либералы», а не «октябристы» имеют особые заслуги в развитии этой энтропии. Я хорошо помню фразу, уже означавшую агонию: «Он печатается и там и там». Она говорилась не про левых и правых, а про — «н а с т о я щ и х» писателей. Теперь имена этих журналов — снова синонимы.

Вот слезы одного крокодила по этому поводу:

Помню, два редактора, бывало,
лихо враждовали меж собой.
На полях читаемых журналов
благородно шел
достойный бой.

Средь стального грома
без опаски
продвигались лошади рысдой...
Был один
прямой по-пролетарски,
а другой —
с крестьянской хитрецей

Рядышком их ранние могилы.
Поправляю розы на снегу.

это именно она наряду с прискоком Пушкина («Ай да Татьяна! Какую штуку выкинула!..») и симптомами отравления у Флобера входит в расхожую триаду массовой эрудиции по теме «психология творчества».

Локоть принадлежал М. А. Гартунг, старшей дочери Пушкина.

⁹³ ...Тут бы гоголевское восклицание...

Любопытно, что основоположник соцреализма М. Горький в художественном отношении, кроме романа «Мать», ничего для нового направления не дал. Он дал ему ряд лозунгов, собственную фигуру и ряд образчиков нового писательского поведения, не больше. За художественными открытиями молодая литература «сходила» прежде всего к Л. Толстому и, как ни странно, к Гоголю, писателям, мягко говоря, очень далекой идеологии. Начиная с Шолохова и Фадеева, все писатели «полотен» не могли не прибегнуть к той или иной толстовской интонации. И современная наша классика, включая К. Симонова, и даже не упоминаемый всуе изгнанник (в той своей ипостаси, в какой он как художник бывает соцреалистичен)... катятся на паровой его тяге. В самое же залакированное время и эта эпическая интонация стала слишком объективна, тогда-то и прибегли иные к интонации гоголевской, но именно и исключительно романтической его интонации. Откройте антикварную книгу «Кавалер Золотой звезды», и вас закачает на днепровской волне: «Чуден Днепр...» Пафос! Большой пафос! Еще больше... «Ты думаешь, я не знаю, за что мне платят? За пафос!.. — с горечью признался мне в ЦДЛ ныне крупный деятель третьей волны. — И те, — добавил он, — и эти».

⁹⁴ ...Паровая музыка играла «Дунайские волны»...

Автор испытывает слабость к этой музыке. Она ему нравится прежде, чем он понимает, что она ему нравится, и во всяком случае не потому, что должна нравиться. Услышанная внезапно на вольном воздухе, она попадает сразу в кровь, минуя вкус и голову. Но марши — еще безусловней, еще точней. После них вальсы — уже рафинад и упадок. Марши — это первомузыка ныне обсуждений. Однако снобизм меломанов дошел до того, что была записана пластинка старинных маршей и вальсов для слушания в совершенно неподходящих интерьерах. В прекрасном исполнении сводного военного оркестра под управлением генерал-майора и с главным дирижером — полковником. На одной стороне — марши, на другой — вальсы. И вот что любопытно: маршами дирижирует полковник, а вальсами — генерал. (Так секретари Союза кинематографистов, ратуя за современную тематику, предоставляют ее режиссерам, еще добывающимся того же, что и они, положения, а сами экранизируют русскую классику...)

⁹⁵ ...подкинул белый шарик и поймал на черный...

См. прим. 4.

⁹⁶ ...синий... топот мундира...

Старая милицмейская форма (сочетание синего с красным — еще дореволюционного происхождения). В 1970 году (сначала в столице) начался переход на новую благородно-дипломатическую форму цвета маренго. Вообще за последние годы большой прогресс наблюдается в области вторичных милицмейских признаков: спецмашины заграничных марок, рации, краги, шлемы, звезды на погонах... — все это стало красивее, и всего этого стало больше.

⁹⁷ ...Документ-эксперимент (экскремент)...

Автору засела в незрелый мозг история, рассказанная старшим братом, студентом Ленинградского университета, в самом начале 50-х годов. Она характерна и эпохально бездарна. Ректор университета, сорокалетний академик-математик, лауреат Сталинской премии, мастер спорта по альпинизму, горнолыжник, романтически поразил голодное воображение студентов тех лет, кроме своих титулов, еще и следующей легендой: якобы он ехал на колбасе (буфер трамвая), милиционер засвистел и снял его с колбасы, потребовал документы, тот достал книжечку члена (Академии наук), мол, провожу научный эксперимент, милиционер взял под козырек: «Продолжайте, товарищ академик!»

Нет, я все-таки слишком давно живу!

⁹⁸ ...«Правило правой руки Митишатъева» (Если человек кажется дерьмом — то он и есть дерьмо.)...

Мука с этими мнемоническими правилами!.. Автор никогда не мог справиться ни с правой, ни с левой рукой, ни тем более с буровчиком. Либо он пони-

мал законы, либо запоминал правило. Автор и теперь не помнит эту мнемонику, а только муку, с ней связанную. Вот мука-то и пригодилась.

⁹⁹ ...Представь себе, айсбергов на этом острове тоже нет...

Шутка эта не принадлежит автору (он так не шутит), не принадлежит она даже и Митишатеву, который в данном случае переиначивает шутку не то Ильфа, не то Петрова.

^{100, 101} ...Как это случилось? — тут неуловимый переход... (и до конца абзаца).

...Раздался стон, скрип, авторский скрежет... (и до конца абзаца).

Авторский эвфемизм. Автор убежден, что любой сюжет основан на ложном допущении, иначе он не будет замкнут и растворится в той самой жизни, у которой нет ни линии, ни темы, ни судьбы — ничего от структуры. Скажем, такой человек, как Раскольников, не мог убить процентщицу (он мог убить Лизавету, вторая жертва, естественно, после первой, но — первая невозможна). Перед Достоевским стоял выбор: преступление или наказание? — пойти за сюжетом или за героем. Либо взять героя, который мог убить процентщицу (он бы и не убил Лизавету), но это был бы не Раскольников, а роман — это Раскольников, это — наказание. Достоевский предпочел героя правде сюжета; но без сюжета, пусть основанного на ложном жизненном допущении, герой бы не вступил в реакцию той силы, какая была необходима Достоевскому. Достоевский соврал в сюжете и выиграл роман.

Можно найти и другие примеры. Язвы сюжетных допущений всегда на виду, на них коростой нарастают скороговорка, пропуск, прием. Но без них произведение не наберет силы, не выскочит на энергетический уровень великого произведения. Меня всегда смущала эта маленькая неправда больших вещей, и, восхищаясь достижениями, полученными с ее помощью, я никогда не мог на нее решиться для себя. С огорчением я понимаю и принимаю это в себе как недостаток силы. Но не могу преодолеть.

Как ни ослаблен сюжетно этот роман, но и он был замешен на метафорическом допущении, не выдержавшем проверку правдой: герой должен был быть убит на дуэли (смягченно: пьяной) из старинного дуэльного пистолета. Все шло хорошо, пока это ожидалось (но только потому, что это ожидалось), и все стало решительно невозможно, когда подошло вплотную. Литературный суп — обязательно из топора (в «Преступлении и наказании» это буквально так), но приходит мгновение облизывать его на правах мозговой кости. А невкусно. Тут и сыплется последняя специя, колониальный товар: прием, фокус, ужимка, авторский голосок... Как раз то, ради чего все, — всегда тяп-ляп (когда уже есть кораб...).

¹⁰² ...«очко» — те же пригородные ужимки...

Очко (двадцать одно) — игра умная, психологическая, на нервах (на нарах). В нее проигрывается и последний рубль, и последние штаны, и жена, и жизнь. Поэтому прикупивший карту ничем не должен выдать ее достоинства. Задача не обрадоваться и не огорчиться слишком трудна для охваченного азартом человека. Поэтому карта открывается для себя медленно, чуть-чуть, как бы тайком даже от себя, не только чтобы не подсмотрели, но чтобы удержать маску. Так играют на нарах, такую же манеру можно увидеть в пригородных электричках: то ли народ, который в них ездит, отчасти деклассирован и успел всякого повидать, то ли лавки в вагоне напоминают отчасти нары...

¹⁰³ ...хромое слово «дилогия»...

В эпоху все более широкого развертывания «полотен» в нашей литературе все стали стремиться к написанию не просто большого эпического романа, но непременно трилогии. Скажем, «Заря» — «В бурю» — «Покой нам только снится» или «Шторм» — «Рассвет» — «Смерти не будет» (третий роман обычно дописывается уже в либеральное время, когда в моде были длинные названия). Писатели, позже включившиеся в это коврюткачество, не успевшие дойти до третьего или начавшие со второго, родили это новое в литературе жанровое обозначение неоконченной трилогии — дилогия. За нее уже пора получать премию. Постепенно стало ясно, что третий и необязателен. Понятие «дилогия» оказалось утвержденным как новый, секретарский жанр.

¹⁰⁴ ...поднимает с полу листок. (Не меньший интерес представляет для нас и другая поэма Гомера — «Одиссея»). .

Листок подлинный (см. прим. 52). Найден в том же месте, что и клочок газеты (см. прим. 11), но по другому адресу (Москва, ул. Руставели, 9/11 — общежитие Литературного института им. Горького).

¹⁰⁵ ...Работа — аккордная...

При отсутствии конкуренции и безработицы существуют три основных вида зарплаты: повременная, сдельная и аккордная. Последний вид идеологически не поощряется как ведущий к штурмовщине, рвачеству, нарушениям требований охраны труда, таящий в себе зернышки капиталистического предпринимательства. К аккордной оплате прибегают в крайних случаях (когда надо сделать быстро и хорошо). Это заранее назначенная сумма за определенный объем работы, без учета времени и числа работающих (см. прим. 123).

¹⁰⁶ ...Не было никакого такого теперь «народу»...

Пока ничего не происходит — все становится другим. О колоссальных изменениях, происшедших после войны в структуре города, интеллигенция узнала по невозможности нанять какую бы то ни было прислугу. И только интеллигенция несколько окрепла материально, как окрепли и те, кого можно было нанять: переселились, обзавелись и «унижаться» не хотели. Плодом революционных преобразований явилось то, что никто не захотел служить другому, а общество, кажется, на этом основано. Не захотели «унижаться», то есть окончательно расхотели работать. Процесс этот длительный и сложный: отрыв от земли, бегство из деревни, обретение городского статуса, — произошел скрыто от глаз коренного горожанина. И он жеманно обнаружил, что «прислуги не достать».

¹⁰⁷ ...«Дивная, нечеловеческая музыка»...

Воскликание В. И. Ленина о Л. ван Бетховене из очерка А. М. Горького. После чего что «Лунная», что «Аппассионата» стали исполняться наравне с гимном.

¹⁰⁸ ...может всплыть утопленник...

По реке плыл пароходик и стрелял иногда из пушечки... Описание подобной ловли можно найти у М. Твена в «Гекльберри Финне».

¹⁰⁹ ...специальный клей БФ-2...

Рождение нового наименования во времена культа было явлением. Оно происходило раз в год, а то и реже. «Клюква в сахаре», «Рябина на коньяке», велосипед «Турист», холодильники «ЗИС» или вот клей БФ-2... Это были не предметы, а понятия, всеми отмечаемое движение жизни. Этим клеєм клеили все; было склеено все, когда-либо разбитое; я боролся с искушением что-нибудь разбить, чтобы склеить. За клей была присуждена Сталинская премия, и все восприняли факт этот с большим удовлетворением. Уже немного оставалось... Нет, Сталин был обречен. Появление того же БФ-2 было одним из звонков. Стиляги ведь тоже... Здесь в романе описано уже их движение. А первые появились еще до смерти — ласточки. Что-то стало появляться — вот в чем приговор. Кто-то сообщил мне историческую примету, что Россия стерпит все от своего правителя до поры, пока он не посягнет на две вещи: русский язык и евреев («Марксизм и вопросы языкознания» и «дело врачей»). В некоторых случаях примета подходит... Но, по-моему, и БФ-2 — признак.

¹¹⁰ ...коричневое право принадлежать самим себе...

Автору трудно вразумительно объяснить эту окраску. Во всяком случае на нацизм он не намекает. Но и нельзя сказать, что это только цвет кала.

¹¹¹ ...«И *на тебе эту еврейскую пепельницу!*» (О музейном экспонате — чернильнице Григоровича)...

Любопытная сторона антисемитизма, перерастающего в манию преследования: перестают узнавать русских! И в лицо и по фамилии. Надо быть белобрысым, курносым, корявым и хамом с неременной фамилией на «ов» и несомненным отчеством, чтобы в тебе не усомнились. Забыли, что у русских длинный нос, — гоняются за вырождением как национальной чертой. И Григорович ни при каких обстоятельствах не еврей.

¹¹² ...медные люди...

Опять, не вдаваясь в обсуждение качества каламбура, отсылаю к прим. 80.

¹¹³ ...Нет, нет, Готтих мне ничего не говорил... Какой Готтих?..

Если Готтих и впрямь стукач, то стучал бы он скорее всего именно этому заму (см. прим. 83).

¹¹⁴ ...*Видит ли своим вставным глазом зам?*..

Автор проживал некоторое время в общежитии Литинститута (см. прим. 104). Так вот, директором этого общежития (комендантом) был бывший комендант Бутырской тюрьмы, прозванный Циклопом за одноглазость. Теперь он зам директора того же института (по АХЧ). Это не означает, что автор писал с натуры, — обычное совпадение, подтверждающее правило.

¹¹⁵ ...*Это был тот самый американский писатель.*

См. прим. 79.

¹¹⁶ ...*па-ге-ге, пластически выражающее тоску по Параше...*

Это не пресловутая чечетка нетерпения (Параша — с большой буквы). Параша (Прасковья, по-видимому) — героиня все той же поэмы «Медный всадник». На нее написан балет Р. М. Глиэром, того же рода, что и клей БФ-2 (см прим. 109). Полагаю, что в нем должно быть па-де-де.

¹¹⁷ ...См. также прим. 56, 76.

. : : : : :
 : : : : :
 : : : : :

¹¹⁸ ...*Эпиграф из «Бесов» Ф. М. Достоевского...*

Учитывая все растущую тенденцию отмечать любые юбилеи и даты, автор подумывал посвятить свой роман столетию выхода «Бесов». Не только скромность установила его, но и то, что у него неокончательное, двойственное отношение к великому роману. Ставить свой роман в хвост «Бесам», как бы подхватывая традицию и продолжая линию, было бы не только опасно по сравнению, но и не точно (последнее — важнее). Дело в том, что в некоторых вопросах все-таки остается неясно, что впереди чего: явление или отражение его, закон или его формулировка, поступок или мысль, дело или слово. Да, Достоевский с исключительной силой гения «просветил» насквозь, как рентген, явление, еле зачавшееся, еще ничтожное. Но ничтожное и есть ничтожное. Не просветил ли он его и во втором смысле? Не сформулировал ли зло, настолько недееспособное, что никогда не смогло осознать себя? Было ничто, а стало явление! описанное гением! Это ли не лестно?! Значит, мы есть, раз про нас пишут! И кто пишет! и как!.. Факт тот, что бесы вошли в силу, когда о к а з а л и с ь, после романа. Естествен (и принят) такой взгляд, что гений прозревает будущее, и бесы развернулись бы и без романа, а Достоевский предостерег. Но никто еще не внимал художественным предостережениям. Литература вообще не для «пользования». Она не лекарство и не все остальное, что не литература. Пользоваться ею умеют только сами бесы. Им все в лыку, все в строку. Несозидательные силы всегда разрушительны, даже если пассивны. Каким образом может быть активным то, что не способно ничего создать? Только обратив на себя чужую созидательную энергию, хотя бы в виде внимания. Что может привлечь большее внимание, чем великий роман?.. У бесов — ни гордости, ни уважения, ни паче... Они есть только в сознании других, иначе их нет. Не считать, что они есть, — это подвергнуть их самонанигиляции. Не вдохнул ли в них Федор Михайлович?.. Не вдыхаем ли мы теперь?

Так что автор передумал посвящать роман. Он о другом. Он — о плодах отношения, а не о силах. Копаться в силах — это вызывать их к действию. Куда!.. Автор не посвятил, а принял обязательство закончить роман к знаменательной дате — к столетию со дня рождения бесов.

¹¹⁹ ...*мы прилагаем лемму...*

Ахиллес и Черепаха... Мне казалось, я тут же эту лемму найду, когда меня спросят... Оказалось, нет. Я пока не нашел такой леммы. Зато я нашел, что такое л е м м а: доказываемая истина, имеющая значение только для другой, более значительной истины — теореме.

¹²⁰ ...*Общество охраны литературных героев от их авторов...*

Вряд ли такое общество было бы намного менее дееспособно, чем прочие общества охраны (природы, памятников). Литературный герой — тоже явление природы и памятник. Во всяком случае возможности симпозиумов и конгрессов имеются, а что еще может поделать общество охраны, как не развлечься на благородном и почтенном основании?

Мой просвещенный друг рассказал мне о существовании значительной книги Даниила Андреева (сына писателя) «Роза мира». Это большое системное сооружение духа, здание Бытия. Написано в лагере. Любопытны даты написания — 1949—1958. То есть пока был еще культ, а потом разоблачение его, пока сходились и расходились две эпохи, этот человек спокойно сидел между, не в историческом, а в Богом ему отпущенном времени, и делал свое дело. Так вот у него (по пересказу) мир многослоен и в каждом слое реален, и один из этих слоев населен (!) литературными героями. (К вопросу о силе допущения... Н. Федорову, чтобы построить великое здание Общего Дела, потребовалось императивное воскрешение всех мертвых.) Не знаю, что в целом выстроил Д. Андреев, но даже на периферии своей постройки он допустил жизнь литературных героев не в каком-нибудь переносном, как у меня, а в буквальном и подлинном смысле. Из здравого смысла ничего не создать. Он — паразит. (См. также прим. 100, 101.)

¹²¹ ...Я виноват в этой, как теперь можно говорить, «аллюзии»...

Это и впрямь стало редакционным словом. Я его часто слышу. Означает оно (как я его понимаю по употреблению — толкового, словарного смысла я так и не узнал) различное восприятие одного и того же. Скажем, вы хотели сказать и думаете, что сказали, одно, а вас поняли (или можно понять) иначе, может, даже в противоположном смысле, во всяком случае не так, как вы бы хотели, и т. д. Вы не намекали, а получился у вас намек, вы и не думали сказать что-нибудь против, а вот получилось... Думаю, что новая жизнь этого слова обеспечена не столько возможным многосмыслием сказанного, сколько его дву-смыслием и тем, что: «Есть мнение!..» — и безмолвный палец в потолок, и посылку у нас сейчас очень вежливое мнение, то чтобы не оскорбить честного человека неоправданным подозрением, а тем более не обвинить, и родилась эта удобная редакционная форма — словечко «аллюзия». Вместо недавнего прямодушного: ну это, батенька, не пойдет, это вы загнули, да понимаете ли вы, где вы собираетесь печататься?.. — через промежуточно-грозное: понимаете ли вы, что вы написали?! — к мягкой форме: вы не то написали... вы, конечно, этого не имели в виду, я-то понимаю, что вы хотели сказать, но вот ведь вас легко можно понять и вот так... но вы ведь так не хотели, не хотите?.. давайте снимем, заменим, изменим... При этом чаще всего и автор хотел сказать то, что сказал, и редактор его прекрасно понял, и именно в том, в его смысле.

Чтобы не быть голословным, приведу два-три («двойку-тройку», как говорят в отчетных докладах) примера «чистых» аллюзий из собственной практики, когда я впрямь не предполагал, что написал что-то, «чего нельзя», а оказалось... Например, в «Путешествии к другу детства» (1965) я лечу на Камчатку и по долгу торчу в промежуточных аэропортах из-за нелетной погоды. Этот прием мне был необходим, чтобы успеть все рассказать за время вынужденных остановок. Редактор был напуган: «Это что же получается? «Над всей страной крошечная нелетная погода»... У вас так и написано! Это как же вас можно понять, что...» И дальше началась такая политика, о которой я и впрямь не подозревал и сам испугался. «Но я имел в виду лишь метеорологические условия, никаких других! Явление природы...» «Я вам верю», — сказал редактор. Фразу эту мы сняли.

Вообще про погоду — опасно... Мне не дали назвать книгу «Жизнь в ветреную погоду» (1967): какой климат? где погода? откуда ветер дует?.. В повести «Кюлесо» (1971) у меня был пассаж о реальном месте спортивных страстей в окружающем мире. Для масштаба я взял газету и обнаружил в ней три, и то перевернутых, строки о заполнившем все мои мысли и чувства событии. После возмущения по этому поводу я пошел вбок: а если бы я знал, какие действительные страсти, какие судьбы стоят за другими мимолетными сообщениями, например назначение и отзыв посла?.. А погода, далее восклицал я, вообще явление космическое, а о ней как мелко?.. В общем, крайне спокойный и умиротворенный вывод. А в конце пассажа следовал парадоксальный как бы вопрос: «Знаете ли вы, что самые быстрые мотоциклы производят сейчас в Японии и что, пока мы все пугаемся Китая, эти японцы куда-то вежливо и бесшумно торопятся?..» Что этот дурацкий вопрос мог вызвать аллюзию, я предполагал и был готов снять про Китай, ибо у нас его не положено поминать всуе, но я никак никогда не мог предположить, как все обернется... «Здорово это ты... Лихо...

метко...» «О чем ты?» — спросил я, предполагая Китай. «Про посла ты едко... Сводишь счеты?» «Помилуй, с кем?..» — недоумевал я. «С кем, с кем... Ишь, делает вид... С Толстиковым!» «С каким еще Толстиковым?..» Вот что оказалось. Как раз в день работы с редактором было опубликовано, что Толстиков, бывший первый секретарь Ленинградского обкома, назначается послом в Китай. Тогда и впрямь было много разговоров о том, что он каким-то образом проштрафился, прогневил и его снимут. Никто, конечно, не ожидал, что в Китай... И вот сняли, и надо же, ни днем позже чем в день редактирования «Колеса». Его сняли, но сняли и мой абзац про посла (и про Китай, конечно). Я предлагал только про Китай, мол, тогда не будет мостика, не станет и намека. Я говорил, что написал этот абзац больше года назад, когда Толстиков прочнейше сидел на месте, что, когда это будет напечатано (ведь не завтра же!), все о нем и думать забудут и он сам будет далеко... Бесполезно! Характерно для аллюзии, что она действует именно в момент редактирования, отдаленный как минимум на полгода от аллюзий, связанных со временем опубликования, которых никто предположить не может.

Названия вещей поражаются аллюзией в первую очередь. Вот пример, связанный уже с «Пушкинским домом». Опубликовав в розницу за пять лет усилий пять глав, в основном из второй части романа, я решил их объединить в книге под заглавием «Герой нашего времени». И весь цикл и каждая глава сопровождалась эпиграфами из Лермонтова, что делало ясным прием. Категорически нет! Что, что же можно подумать, что именно такой герой нашего времени, как ваш Одоевцев? Споры были бесполезны. Цикл был назван «Молодой Одоевцев», и даже под эпиграфами стояли то «Бэла», то «Дневник Печорина» — названия глав, но ни в коем случае не того романа, из которого они взяты. Под запрет попал Лермонтов, а не Битов. Пример чистой аллюзии дан в прим. 85 и (отчасти) 71.

¹²² ...«*A la recherche du deslin perdu*» и «*Hooligan's wake*»...

По-французски автор не знает, а «Поминки по Финнегану» не читал и не видел (не один он...). Здесь я воспользуюсь случаем объясниться по скользкому вопросу литературных влияний, по которому никогда не следует объясняться самому, чтобы не оказаться неизбежно заподозренным именно в том, от чего отрицаешься.

Конечно, я прекрасно сознаю, что вторичность — не простое повторение, что быть вторичным можно и не ведая, что повторяешь, что влияние можно уловить и из воздуха, а не только из прочитанной книги, что изобрести по невежеству еще раз интегральное исчисление все равно легче и для этого не требуется гений Ньютона, что первооткрыватель — это качество, а не регистрационный номер. Слышать звон бывает более чем достаточно, не обязательно знать, откуда он. Упоминания имени, названия книги бывает достаточно, чтобы опалиться зноем открытия. Зная, что кто-то взял высоту, не будешь надеяться перепрыгнуть чемпиона, ставя планку пониже. Достаточно знать, что кто-то рискнул, пошел на подвиг, чтобы твое самостоятельное намерение совершить то же самое стало вторичным. Литература, слава Богу, не спорт и не наука — свершения в ней не принимают вид формул и рекордов, в ней могут иметь цену одни и те же сюжеты, поднятые разными индивидуальностями, в ней могут одновременно и разновременно самостоятельно зарождаться близкие формы — они будут ценны. Но и в ней первое, как правило, сильнее независимо от него рожденного второго. С рождением и повторением новых форм обстоит сложнее: гении, как правило, не изобретали новых, а синтезировали накопленное для них. У Марлинского и Одоевского изобретений в слове больше, чем у Пушкина, Лермонтова и Гоголя, их изобретениями воспользовавшихся. У Ф. Сологуба мы найдем стихи, написанные «раньше» Блока. Но «Процесс» все-таки мощнее «Приглашения на казнь»; но как жаль бы было, если бы Набоков «вовремя прочитал» Кафку и не стал бы братья за «Приглашение»...

Все это автор как бы понимает... От влияний было бы глупо отказываться. Но мне все-таки хочется отвести некоторые упреки в прямых подражаниях, которые автор уже слышал и надеется еще услышать.

Наиболее существенны три: Достоевский, Пруст и Набоков.

Пруста мне легче всего отвести — он не русский, этот упрек меня не волнует. Не исключено, что я попал под его влияние, когда начал роман, когда писал «Фанну» и «Альбину». За год до этого как раз впервые его читал, читал «Любовь Свана», и она мне многое напомнила в самом себе, была узнаваема, произвела впечатление и т. д. Но еще перед этим чтением я закончил повесть «Сад» (1963), и мне кажется, что в «Фанне» гораздо больше именно этого автовлияния, я все еще не отошел от «Сада». В общем, Пруста я не отрицаю, это меня не волнует.

Сложнее с Достоевским, влияние которого вообще невозможно отрицать. Но тут есть два оттенка. Первый — что он один из самых «незапоминаемых» писателей и поэтому ему трудно было непосредственно подражать без перечитывания накануне. Я к тому времени давно его не перечитывал. И второй — что влияние Достоевского — вовсе не обязательно литературное влияние. Он еще не изжит, он встречается в самой жизни, тем более в российской, и лишь для человека, узнающего жизнь преимущественно по литературе (каковы критики), тавро Достоевского поразит и существующую действительность. Описанность явления еще не означает его исчезновения из жизни (хотя должна бы... об этом в другой раз...). В Достоевского легко «попасть», именно забыв о нем и выйдя из-под его влияния, попасть по жизни, по личному опыту. У нас в России все еще так думают, так чувствуют, как у Достоевского, может, даже в большей степени, чем в его время. Тут сказалась та же пронзительность просвечивания, что и в социальных пророчествах «Бесов» (см. прим. 118). Так что в «подражание» Достоевскому может столкнуться сама действительность, описанная, но не отмененная (а даже утвержденная) им, не он сам. Вот характерный эпизод из личного опыта... В 1965 году я попал на поминки Е. (без всякого правильного смысла; я с ним не был даже знаком, не был и на похоронах... — по-достоевски, по-русски...). Это был человек рекордно страшной репутации, бандит и убийца, главарь 1949 года. Но что-то и в нем было не просто так (черной краски не хватило, так он должен был бы быть черен...). По рассказам, под конец жизни он не мог читать ни одной строчки выпестованной им литературы, ушел в затвор, читал только Чехова и Достоевского, жена его истово вдарилась в религию, ходила в черном, как монашка, общался он только с ней (ее еще видели на людях, а его годами никто). Такой, значит, поворот. Умер. Я застал поминки в разгаре. Общество, кроме одного человека, сошлось несколько разнообразное и своеобразное: они были пародийно похожи на героев Достоевского. Были тут и Свидригайлов, и Шатов, и шарж на Ставрогина, и копия Верховенского, и два-три Лебядкиных (это я сейчас так пишу — тогда мне эти аналогии почему-то не пришли в голову, может, как раз из-за очевидного сходства; к тому же с тех пор я многих из них узнал поближе и по отдельности удостоверился в каждом случае, а соединил сцену еще позже...). Пили. Верховенский не пил, остальные — много. Говорили речи. О покойниках плохо не говорят, и все начинали хорошо, отмечали размах и талант (к тому же и в ораторах было мало чего кристального), но потом как-то вдруг скатывались в глубокое но и, выкарабкиваясь из него, кончали прямым поношением. И так было с каждым. Народу было много, большинство просто пило, чокалось, ржало, гуляло по буфету, откровенно забыв о покойном, а те, кто пытался вправить (из лучших побуждений: как-никак смерть...) застолье в должное русло, исправно покойного поносили. Но — пили и ели. В жизни не представлял себе таких поминок! Зрелище затягивало своею отвратительностью и как-то вязко не отпускало от себя, будто все это должно было еще, сверх всего, чем-то таким кончиться, что лучше бы и уйти вовремя, да никак невозможно. И — разрядилось. И как раз тогда, когда я не выдержал и собрался уходить, а за мною еще трое... И тут Верховенский обнаружил пропажу тридцати рублей. Все только этого и ждали — что началось! какая изысканность предложений и предположений... Никому не выходить, всех по очереди обыскать... Все-таки такое оказалось невозможно. Единогласно нашли жертву — ею оказалась самая молоденькая и смазливая (и бедная!) девушка, которую привел Шатов под неизвестной фамилией. Она — отрицать и в слезы. Они (актив, мигом сложившаяся звездочка, пятерка...) — шмоната. Обсудили технику. Удалились, волоча ее за собой. (Сам Шатов с выражением непреклонной образцовости подталкивал ее в спину, назидательно увещевая.) Верховенский в радостном комсомольском возбуждении был впереди и всюду вокруг (он был похож и на более современного

вожака — Олега Кошевого). В общем, ее раздели в специально отведенной комнате — меня там не было, — ничего не нашли. Снова было предложено всех шмонать. Не помню, как я вырвался, унося эту сцену в зубах, трепеща от этого подарочка по линии опыта: уж куда-нибудь у меня эта сценочка войдет, не денется!.. И придумывать ничего не надо... Так целиком и плюхнется в роман, как в болото, разбрызгивая главы... Несколько лет держал я эту главу в запасе, да вот все романа подходящего не писалось... И — не пришлось. Перечитал-таки «Преступление и наказание», дошел до поминок Мармеладова, и глаза на лоб полезли: один к одному! Тоже своего рода аллюзия. Вот и я, описывая наспех этот эпизод, забыл о главном, о виновнике, о смерти, о самом покойном, как забыли в момент шмона все участники. Это ли не возмездие — такие поминки! И отсюда единственный возможный тост в его пользу: значит, страдал, значит, недаром затвор, значит, светилась в этой черной дыре точка совести, раз Господь успел покарать при жизни страданием и глумлением на похоронах, пока душа еще видела... Ведь кто ушел, избежав расплаты, на том окончательный крест, у того уже не было души, чтобы карать, того уже просто не бывало на этой земле. А этот Е., может, уже по облачку под ручку с Антон Палычем беседует, и Антон Палыч так журит его слегка... нет, от влияния Достоевского тоже никак не отказаться.

А от Набокова мне и не хочется отказываться. Но, с учетом всего выше и ниже сказанного, как раз и придется: имя я услышал впервые году в 1960, а прочитал — в декабре 1970-го. Как я изворачивался десять лет, чтобы не прочесть его, не знаю — судьба. Плохо ли это, хорошо ли бы было, но «Пушкинского дома» не было бы, прочти я Набокова раньше, а что было бы вместо — ума не приложу. К моменту, когда раскрыл «Дар», роман у меня был дописан на три четверти, а остальное, до конца, — в клочках и набросках. Я прочитал подряд «Дар» и «Приглашение на казнь» — и заткнулся, и еще прошло полгода, прежде чем я оправился, не скажу от впечатления — от удара, и приступил к отделке финала. С этого момента я уже не вправе отрицать не только воздушное влияние, но и прямое, хотя и стремился попасть в колею написанного до обезоружившего меня чтения. Всякую фразу, которая сворачивала к Набокову, я старательно изгонял, кроме двух, которые я оставил специально для упреков, потому что они были уже написаны на тех забежавших вперед клочках... Вот что написал по такому же поводу сам Набоков 25 июня 1959 года в предисловии к английскому переводу «Приглашения на казнь» (1934), вспоминая обстоятельства выхода этой книги по-русски:

«Эмигрантские критики, которых эта вещь весьма озадачила, хоть и понравилась, думали, что различили в ней «кафкианскую» нить, не зная, что я не владел немецким и был полностью несведущ в современной немецкой литературе и еще не читал ни одного французского или английского перевода сочинений Кафки. Нет сомнения, существуют определенные стилистические связи между этой книгой и, скажем, моими более ранними рассказами (или более поздними...); но их нет между нею и «Замком» или «Процессом». В моей концепции литературного критицизма нет места категории «духовной близости», но если бы мне пришлось подыскивать себе родственную душу, то я выбрал бы, конечно, этого великого художника, а не Дж. Орвелла или иного популярного поставщика иллюстрированных идей и публицистической беллетристики. Между прочим, я никогда не мог уразуметь, почему любая моя, без различия, книга пускала критиков в суетливые бега на поиски более или менее прославленных имен для необузданных сравнений. За последние три десятилетия они навешали на меня...»

И далее следует список из двух десятков взаимоисключающих имен, охватывающих пять веков и столько же литератур, включая Чарли Чаплина и героя одного из романов Набокова, писателя по профессии...

Подражая ему (на этот раз в твердой памяти), отному читателя к прим. 59.

И еще вот что. Литература есть непрерывный (и не прерванный) процесс. И если какое-то звено скрыто, опущено, как бы выпало, это не значит, что его нет, что цепь прервана, — ибо без него не может быть продолжения. Значит, там мы и стоим, где нам недостает звена. Значит, здесь конец, а не обрыв. Чтобы нанизать на цепь следующее (новое) звено, придется то, упущенное, открыть заново, восстановить, придумать, реконструировать по косточке, как Кювье. Тут

повторения и открытие пороха не так страшны, как неизбежны. Набокова не может не быть в русской литературе потому хотя бы, что он — есть. От этого уже не денешься. Его не вычесть, даже если не знать о его существовании. Другое дело, что такого рода палеонтология неизбежно слабее неизвестного оригинала. Набоков есть непрерывная русская литература, как будто ничего не произошло с ней после его отъезда; судьбе пришлось уникально извернуться, чтобы организовать персонально для него феномен внеисторичности. Набоков мог продолжать ту литературу. Такой бы она была, такой бы она стала. Он ее продлил, он ее закрыл. Ту. Но как бы ни была прекрасна та, проза еще будет писаться. Писали же после золотого века Пушкина, Лермонтова и Гоголя, хуже, но — писали. Отошел и серебряный и бронзовый век. Но есть еще медный, оловянный, деревянный, картофельный, глиняный, наконец, г....., и все это еще будет литература, прежде чем окончательно наступит век синтетический, бесконечный, как вечность.

Как видите, автор относится к собственной работе всерьез. Он полон веры. Ему все еще есть что делать*.

* Например, это — 122, а вот — 123... «свой 101%...».

101% есть то минимальное перевыполнение плана, которое уже влечет за собой определенные прибавки к заработной плате. Цифра эта — 101 — так часто мелькает в отчетах, что не может не вызвать подозрений. Один мой приятель слегка погорел на этом деле. В очерке о китобоях (бывших в то, докосмонавтское, время в особой моде) он отразил именно этот процент перевыполнения ими плана. Сколько это означало: сто и одного кита или пятьдесят и половину — не знаю, но очерк со скандалом был снят в цензуре, потому что план по китам оказался возможным лишь выполнить, но никак не перевыполнить, ибо право на это убийство регламентируется неким международным соглашением и никак не может быть перевыполнено. «И м» это непонятно — 101%... Таково и это, последнее, примечание. Их теперь 101%.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ШУБКИН

★

ТРУДНОЕ ПРОЩАНИЕ

Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым.

Карл Маркс,

Не первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.

Максимилиан Волошин,

Вшуме газетно-журнальных баталий, в стычках литературных партий и групп общественная мысль все ближе подступает к пониманию роли, которую играли и играют в нашей жизни сложившиеся структуры власти. Эти структуры заслуживают пристального внимания. Исторически возникшие из отрицания того, что было прежде, они все хотели разрушить до основания. Новая власть отвергла всю пошлую «органику», естественное движение и развитие в природе, в обществе, в сельском хозяйстве, в культуре, духовной жизни. Она нашла твердую опору, всеобъемлющий принцип разрушения старого — насилие. Оно же стало главным инструментом в руках созидателей нового мира.

ЛИХА БЕДА — НАЧАЛО

Нельзя отождествлять нашу власть, ее аппарат, бюрократию с западными или российскими формами. Специфика, особенность ее проявлялась уже при рождении. В ходе Октябрьской революции старый, царский государственный аппарат был действительно сломан и разгромлен. В кабинетах министров и товарищей министров, за столами мелких и крупных чиновников появились люди с новой идеологией в кожанках, бушлатах, шинелях, перепоясанные пулеметными лентами, с маузерами, бомбами и наганями.

После захвата власти и разгона Временного правительства эти люди ставили перед собой неординарные цели. Страна рассматривалась ими как база мировой революции, которая вот-вот должна была вспыхнуть. «Было время,— говорил в 1924 году в Политотчете ЦК РКП(б) XIII съезду партии Г. Зиновьев,— когда в момент Брестского мира даже Владимир Ильич считал, что вопрос о победе пролетарской революции в целом ряде передовых стран Европы есть вопрос двух-трех месяцев. Было время, когда у нас, в Центральном Комитете партии, все часами считали развитие событий в Германии и Австрии... Мы считали тогда, что, во-первых, раз мы возьмем власть, то этим самым за в т р а развяжем руки революции в других странах»¹.

Первостепенной задачей было удержать и расширить захваченную власть, не делить ее ни с кем. Нужно было создать войско для самозащиты и для помощи революционным движениям в Европе и в Азии. Нужно было организовать производство, транспорт и распределение средств производства и продуктов. А главное, нужно бы-

¹ «XIII съезд РКП(б). Стенографический отчет». М. 1963, стр. 40.

ло, чтобы рабочие и крестьяне трудились, создавая все необходимое для государства, для армии, для решения поставленных задач.

Как же этого можно было добиться?

Еще из произведений Маркса было известно о двух альтернативах: либо экономическое, либо внеэкономическое принуждение к труду, то есть насилие. Для революционеров насилие обладало огромной притягательностью. К тому же непрофессионал, взявшийся за такую невероятно сложную, требующую специальной подготовки работу, как управление, и не знающий, как решить ту или иную проблему, обычно прибегает к единственно знакомому ему методу — насилию. О нем слагались песни и научные труды. Оно было освящено авторитетом основоположников марксизма².

Здесь среди правящей группы серьезных разногласий не было. «Военный коммунизм» импонировал большинству, как и предложенная в 1920 году Троцким грандиозная программа решения хозяйственных задач путем превращения страны в систему концентрационных лагерей, где каждый обязан считать себя «солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнять; если он не выполнит — он будет дезертиром, которого карают».

Подобные декларации не были лишены своеобразной логики. Если все предприятия, заводы, фабрики, железные дороги и прочее становятся государственной собственностью, если размещение и распределение всех материальных элементов производства (средств производства, сырья, топлива и т. п.) жестко планируется из центра, то как же быть с рабочей силой, без которой они не могут функционировать? Допускать, что рабочие сами будут избирать себе местожительство, профессию, работу? Но в таком случае мы сталкиваемся с очевидными противоречиями: средства производства (станки, оборудование, сырье и т. д.) отправляются на север, а рабочая сила желает ехать на юг, завод строится в Сибири, а народ живет в Молдавии и т. п. Как избежать этого? По логике, принятой тогда, ответ был очевиден: только насильственное, принудительное распределение людей по отраслям, закрепление их за предприятиями может в этой ситуации тесно связать средства производства и рабочую силу. Примерно так рассуждали творцы гигантской, охватывающей всю страну системы принудительного труда.

Необходимым условием ее было создание командно-карательного аппарата в хозяйственной области. Для этого старые кадры управляющих не годились. Лишь в отдельных случаях можно было под контролем использовать «спецов». Нужны были другие люди. Они нашлись. Это и была та новая бюрократия, полуграмотная, прошедшая единственную школу — воюющую армию с ее безжалостно приказными методами, разрешающими командирам посылать подчиненных на смерть, с недоверием ко всему, что было непонятным и непривычным, но со стремлением к приращению власти, с установкой, на горе буржуям, насилием разрушить весь мир.

Главная надежда молодых послереволюционных вождей и бюрократов — непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. «Военный коммунизм» не был каким-то временным, случайным этапом. В него в партии верили все снизу доверху, в том числе и та «тонкая прослойка твердокаменных», о которой так часто пишут и теперь. Эта вера в возможность насильственной переделки мира вопреки желанию людей, связанная с полным отмежеванием от всего, что было прежде — от календаря до алфавита, — простотой и всеобщностью иерархических структур, принятых в армии, в партии, в государстве, отсутствием моральных тормозов: все дозволено солдатам партии, все, что служит делу, — объясняет многое. И то, как легко прикончили у нас нэп и перешли к страшным 30-м годам. И то, как трудно решаются у нас сейчас проблемы радикальной экономической реформы, перестройки вообще.

Вот почему было бы наивно относить бюрократизацию политического руководства только к застою периоду. А такая точка зрения имеет место. Утверждается также, что период застоя не есть продолжение сталинизма, ибо при Сталине двойного мышления не существовало (тогда как им была пронизана вся жизнь), а руководители были честны и бескорыстны (а «пакеты», а дачи, а кремлевки?).

Один только пример из статьи «„Родина“ и ее экипаж», опубликованной в «Правде», где рассказывается о героическом перелете В. Гризодубовой, П. Осипенко и М. Рас-

² В. Селонин очень тонко и глубоко показал роль внеэкономического принуждения в послереволюционный период в своей статье «Истоки» («Новый мир», 1988, № 5).

ковой в сентябре 1938 года. Когда спасенным летчицам представилась возможность поговорить по радио с родными в Москве, мать В. Гризодубовой, порадовавшись, что все летчицы живы-здоровы, тут же попросила ее выручить Женю Лемешонок и Леню Митюшкина, которых в Хабаровске «какие-то мерзавцы посадили». «А история произошла действительно отвратительная,— пишет С. Богатко.— Бывшие ученики инструктора Гризодубовой, супруги-летчики после окончания Тушинской высшей школы были направлены на Дальний Восток. Там, в Хабаровске, им выделили квартиру, и они ее заняли. Потом некто заявил: мне эта квартира нравится, пусть убираются. Летчики ответили: с какой стати?! Тогда их обоих забрали... При аресте двухлетнего ребенка сломали позвоночник, и мальчик потом восемь лет провел в гипсе».

Итак, летчиков арестовали, при этом сломали позвоночник двухлетнему ребенку, чтобы квартиру получил некто. Удивительно лишь, что автор статьи, рассказывая сегодня эту чудовищную историю, не называет фамилию этого некто. Тем не менее автор приоткрыл технологию получения квартир и других благ в тот период. Можно даже провести историко-социологическое исследование, которое позволит установить, кто занимал квартиры и дома репрессированных, кто присваивал их мебель, вещи, все, что было нажито их трудом.

А судьба Героя Советского Союза С. С. Щирова, о котором рассказали «Известия»? О его заключении в особый лагерь сроком на двадцать пять лет, поскольку он не примирился с тем, что Берия принудил к сожительству его жену. Так использовал власть и насилие не один Берия. Истории, типичнейшие для тех времен.

Нельзя говорить и о какой-то «высокой социальной мобильности в 30-е годы», словно речь идет о нормальном обществе. Подчиненный пишет доклад на начальника, того ликвидируют, и первый получает повышение — вот такая была «вертикальная мобильность». Вряд ли насильственные устранения миллионов людей и связанные с этим перемещения можно поэтому называть социальной мобильностью в обычном социологическом смысле этого термина.

Сосредоточение всей власти — после весьма краткого сосуществования в правительстве с левыми эсерами — в руках группы вождей, которые командовали от имени партии, форсировало огосударствление экономики. Не возникало даже тени сомнений — способны ли они управлять таким невероятно сложным организмом, как народнохозяйственный комплекс, который испокон веков регулировался и управлялся объективными экономическими законами. Попытка использовать эти законы воспринималась как уступка капитализму, предательство социализма.

Но в 1921 году первые же решения отказаться от принуждения и администрирования, предоставив некоторую свободу действий экономическим законам, оказались весьма успешными, что позволило за несколько лет восстановить подорванное войной народное хозяйство. Сталин и его окружение не извлекли уроков из этого опыта, ждали подходящего случая, чтобы ликвидировать нэп и вернуться к внеэкономическим, насильственным методам управления. Это вскоре было сделано и сопровождалось огромным ростом бюрократического аппарата.

В политической сфере усиление произвола способствовали решения X съезда РКП(б), запретившие образование фракций и группировок внутри партии. Эти чрезвычайные решения, принятые в разгар гражданской войны, впрочем, как и многие другие, продолжали действовать и в условиях мирного развития. Вообще закрепление чрезвычайных мер, принятых в исключительных обстоятельствах, стало как бы нормой управления почти всеми сферами жизни общества. Так и роль насилия возрастала, пролонгировалась, казалось, навечно. Таким образом, сначала запрет оппозиционных, а потом и всех других партий, отмена свободы печати, ликвидация контроля со стороны общества, создание однопартийной системы, затем запрещение фракций внутри партии и в результате полная бесконтрольность руководящей группы (так как любое несогласие могло быть немедленно истолковано как фракционная борьба). Все это не могло не привести к монопольному господству правящей группировки, а затем — к явной и тайной борьбе внутри ее за абсолютную власть одного.

СУДЬБА ФАРАОНОВЫХ КОРОВ

После XX съезда КПСС, утверждают многие, были созданы гарантии против реставрации насилия, произвола, репрессий. Очень распространенная оценка. С ней, к сожалению, я согласиться не могу.

Конечно. Н. С. Хрущев превосходил по смелости, по силе характера других наследников Сталина. Те смертельно боялись правды о миллионах жертв, погибших в годы террора. Все они прямо или косвенно были повязаны, давали санкции на аресты и расстрелы, принимали участие в допросах и пытках, клеймили имена безвинно погибших, преследовали их жен и детей. Хрущев своим «закрытым докладом» на XX съезде способствовал освобождению из тюрем и лагерей тех, кто выжил, восстановил честное имя многих из тех, кто погиб. Несмотря на свою прошлую деятельность, которая в принципе ничем не отличалась от работы других подручных Сталина, Хрущев одним этим мужественным поступком заслужил благодарность миллионов людей и свое место в истории.

Но продолжающаяся трагедия нашего общества в том и состоит, что после сенсационных разоблачений Н. С. Хрущев так и не поставил коренного вопроса: что же нужно сделать в партии, в стране, чтобы эти кошмары, этот террор, этот геноцид никогда больше не могли повториться? По существу, ничего сделано не было. Напротив, отдельные попытки поставить и обсудить этот вопрос немедленно сурово квалифицировались как враждебные происки, подрывающие основы социализма. Официально провозглашалось, что партия указала на свои ошибки, а это, дескать, достаточная гарантия, что они больше никогда не повторятся. Были проведены кадровые передвижки по принципу «чужих меняем на своих». Но уже при Брежневе началось возрождение сталинщины.

Что же это за политическая система, которая неминуемо собирает в одних руках гигантскую, невиданную в истории человечества власть, перемалывает всех соратников, которые должны были бы вроде ограничивать и контролировать ее, или превращает их в подручных, заплечных, готовых на что угодно? Ведь уровень бесконтрольности этой власти в руках одного человека может сравниться лишь с ее фантастическим объемом.

Возникает вопрос: допустимо ли конструировать политические структуры в расчете лишь на умного и доброго вождя? А если он не добр, а народ для него что пыль лагерная? А если он не умен и за его решения народ должен платить страданиями? Почему гражданин чувствует себя совершенно не защищенным от произвола власти? Вдруг вождю или его наследнику вздумается произвести чистку миллионов этак на десять? Ведь реально помешать никто не сможет; все бразды правления в руках верхнего эшелона, вернее одного. А готовых начать чистку хоть пруд пруди. У них давно руки чешутся. И платные, упитанные, с перекошенными от бесконечного вранья глазами идеологи немедленно объяснят, что агенты всех иностранных разведок пробрались в наши ряды.

Не означает ли это, что в самом конструировании политического механизма страны допущены крупнейшие ошибки? В результате он может функционировать только так, как при Сталине (наиболее чистый случай), или приближаясь к этому (годы застоя и консерватизма при Брежневе), когда каждый политически мыслящий человек думал: «Ну вот, еще год, два, три, и все будет опять, как при генералиссимусе». Может быть, исходным пунктом при разработке политической системы все-таки должен быть расчет на несовершенство человеческой природы — на то, чтобы общество способно было защитить себя от неограниченной власти (злого, глупого, своекорыстного, пизозфренического) вождя и чтобы имел место действенный механизм контроля? А уже в зависимости от этого решать другие вопросы?

На ошибки при конструировании главного политического механизма партии еще в начале века указывал Плеханов. Он категорически возражал против предложений «представителей» о чрезмерной централизации в партии и чрезвычайных полномочиях Центрального Комитета, который может, если найдет нужным и полезным, своей властью раскассировать комитет или другую организацию, лишить того или другого члена партии его прав.

«Вообразите, — писал он, — что за Центральным Комитетом всеми нами признано пока еще спорное право «раскассирования». Тогда происходит вот что. Ввиду приближения съезда, ЦК всюду «раскассировывает» все недовольные им элементы, всюду сажает своих креатур и, наполняя этими креатурами все комитеты, без труда обещивает себе вполне покорное большинство на съезде. Съезд, составленный из креатур ЦК, дружно кричит ему «ура!», одобряет все его удачные и неудачные действия и рукоплещет всем его планам и начинаниям. Тогда у вас, действительно, не будет в

партии ни большинства, ни меньшинства, потому что тогда у нас осуществится идеал персидского шаха...

«Представители» убеждены, что меня испортили экономисты и что я вследствие этого сделался слишком уступчив. Меня так часто обвиняли в неуступчивости, что мне очень приятно приобрести репутацию уступчивого человека. Но под страхом утраты этой, только что приобретенной мною репутации я скажу «представителям», что в этом вопросе я буду неуступчив до конца. Я — централист, но не бонапартист. Я стою за создание сильной централистической организации, но я не хочу, чтобы центр нашей партии съел всю партию, подобно тому, как тощие фараоновы коровы съели жирных»³.

Эти опасности в тысячу раз возрастают, когда партия приходит к власти, сосредоточивает в своих руках огромную экономическую и политическую мощь. Беда усугубляется тем, что, однажды приняв эту политическую модель, ее затем начинают репродуцировать — по ней были слеплены и государство, и комсомол, и профсоюзы, даже пионерская организация. В результате создается объединенный центр этих иерархических структур — номенклатура, которая совместными усилиями подавляет все формы самостоятельности, самоорганизации и инициативы, а насилие становится основным принципом управления.

ПУТЬ К АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ

«Бей своих, чтоб чужие боялись!» Трудно определить, социального или биологического происхождения такая линия поведения. Ведь вот биологи полшутя-полусерьезно порой определяют социологию как частный случай этологии — науки о поведении животных.

Биологи же как-то познакомили меня с очень симпатичным, родившимся в неволе волком по кличке Жулик, который был совсем как собака: добрый, смиренный, даже ласковый.

Жулик жил в клетке с другими волками. Семья как семья: старый волк — глава, Жулик, волчица и двое волчат. И хотя Жулик был вполне взрослым волком, в иерархии он занимал второе место.

Однажды старый волк уехал на кино съемки в Среднюю Азию. На следующий день я случайно оказался у этой клетки. Там творилось нечто невообразимое. Волчица и волчата испуганно жалась по углам. А Жулик с налитыми кровью глазами, словно бешеный, бросался и на них и на людей, которые отваживались приблизиться к клетке. Железные прутья дрожали от его ударов, он яростно клацал зубами, морда была в желтовато-розовой пене. Жулик неожиданно получил новую роль — стал первым номером, главой семьи — и утверждал свое господство. Долго смотрел я на его дикие, сумасшедшие прыжки, вспоминая других особей, достигших высшей власти...

Сталин раньше остальных разглядел органические свойства создаваемой структуры власти, понял, какие фантастические возможности открывает она для неограниченной личной диктатуры. Он увидел и орудие, которое обеспечивало достижение этой цели (аппарат), и методы (насилие, тотальный террор).

В этот же период происходило огосударствление профсоюзов. Они превратились в «приводной ремень» партии, перестали быть представителями и защитниками экономических интересов трудящихся. Теперь каждый трудящийся оставался один на один с огромным всемогущим аппаратом принуждения и не мог отстаивать свои экономические права. Профсоюзы преобразовались в придаток администрации, которая использует их для усиления давления на рабочих, повышения интенсивности труда.

Оставалась еще духовная сфера жизни. Здесь события развивались драматично. Стремительное наступление, развернутое против православной церкви в первую очередь, а также против католицизма, ислама, буддизма, проводилось отнюдь не в ходе диспутов. Все было проще: священнослужителей арестовывали, а церкви, костелы, мечети, дацаны, монастыри закрывали, взрывали, сжигали. Образовавшийся гигантский духовный вакуум власть пыталась заполнить разными формами язычества: культом вождя, кастрированным марксизмом, которым придавали религиозную окраску, — а их

³ Г. В. Плеханов. Сочинения. М.—Л. 1926, т. XIII, стр. 90, 92.

пропагандисты становились как бы служителями культа, единственно верного и обязательного для всех.

Последним, и главным, оплотом независимости народа оставалась в 1928 году деревня с ее 26 миллионами крестьянских хозяйств. Наверное, сталинскую коллективизацию и следует считать решающим ударом. Когда самые трудолюбивые, самостоятельные мужики были раскулачены, выселены, ликвидированы, погибли от голода, уже ничто не мешало торжествующему проникновению в деревню принудительных административных методов управления.

Разгром крестьянства и религии был разгромом народной культуры и нравственности, расцветом вседозволенности, насилия, жестокости и одновременно подготовкой кадров для продолжения репрессий. Новые кадры были готовы на любые дела. Это был тот аппарат, который хотел создать и создал Сталин.

О сути этой политической машины начинали догадываться и ее творцы-жертвы. По мнению Бухарина, свидетельствует Б. Николаевский, самым скверным результатом были «глубокие изменения в психологии тех коммунистов, кто принимал участие в этой кампании и, не сойдя с ума, стал профессиональным бюрократом. Для таких террор стал после этого нормальным методом управления, а повинение любому приказу свыше стало главной добродетелью».

Все это подготавливало новый этап террора. Он обрушился не только на коммунистов. Под его катком оказался весь народ: коммунисты и беспартийные, маршалы и командиры, чиновники и служащие, рабочие и крестьяне, профессора и писатели. В 1937 году по сравнению с предыдущим годом количество арестованных по обвинению в контрреволюции возросло в 10 раз. История человечества еще не знала такого массового уничтожения людей, как в годы коллективизации и в 30-е годы. Миллионы из них в чем не повинных людей были расстреляны, погибли в тюрьмах и лагерях.

Все это делали не инопланетяне. Те, кто расстреливал, арестовывал, доносил, охранял, еще живут среди нас. Они и сейчас пишут протесты в газеты, мемуары, требуют ужесточить законы, запретить демократию, гласность. У них свои герои, вожди, свой календарь со своими неожиданными для нормальных людей счастливыми и несчастными датами. Скорбными для них являются 1921, 1953, 1956, 1985 годы. А радостными — 1929, 1937 годы, предвоенный период, 1964 год.

Да не только для них. Те, кто в эти годы стремительно продвигался по службе, вспоминают их с удовольствием. «...Мне хочется сказать доброе слово о времени предвоенном,— писал, например, Г. К. Жуков.— Оно отличалось неповторимым, своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, какой-то одухотворенностью и в то же время деловитостью, скромностью и простотой в общении людей».

А между тем такого разгула насилия история не знала. Шаг за шагом население было лишено всех средств существования. Оно могло получать их (зарплату, трудовые пайки) лишь из рук власти. Оно лишалось права менять работу и местожительство. Идеологическая обработка постоянно опиралась на прямое насилие, массовые репрессии, расстрелы. Страх за жизнь свою и своих близких парализовал волю.

Те, кто прошел эти огни, воды и медные трубы, не участвуя непосредственно в репрессиях, находясь, скажем, на хозяйственной работе, тоже получили тяжелейшие травмы, даже если и не осознают этого. Их тоже заставляли голосовать, подписывать письма, участвовать во всей вакханалии.

Страх уже не на уровне сознания, а подкорки, спинного мозга — вот что характеризует деятеля той эпохи. И пусть не надеются обмануть нас те, кто пишет сегодня, что, дескать, тогда это было необходимо и полезно. Всегда это было вредно, бесчеловечно, как и в доисторическую эпоху, так и в новейшее время, даже если и прикрывалось посулами построить в ближайшие годы царство божие на земле.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

А что же народ? За что ниспосланы ему такие испытания? Как мог он мириться с ростом этого чудовища? Может, правы те, кто объявляет национальными особенностями нашего народа склонность к обожествлению силы, преклонение перед властью; безграничное рабское терпение? Когда, как, почему был потерян социальный иммунитет, способность отстаивать свою жизнь, честь, достоинство, права, противостоять произволу? Все это непростые вопросы.

Выдающийся советский генетик и этолог, член-корреспондент АН СССР Л. В. Крушинский однажды озадачил меня вопросом: «Да, да, социология, социальная психоло-

гия — все это интересно. Но скажите, наши обществоведы изучают, например, такие проблемы: «Генетические последствия Октябрьской революции и гражданской войны» или «Генетические последствия коллективизации»? Ведь, наверное, при социальном анализе никак нельзя игнорировать качество населения, генофонд нации, страны? В самом деле: что же происходило с составом, численностью, качеством населяющей нашу страну популяции?

Разумеется, эта тема требует специального историко-демографического анализа. Здесь мы лишь хотели просто привлечь к ней внимание и привести некоторые доступные данные. Если попытаться хотя бы количественно посмотреть на изменения в населении нашей страны, то картина по материалам наших и зарубежных историков вырисовывается такая.

1914—1917 годы. Бушует первая мировая война. По данным ставки, к лету 1917 года число убитых составило 775 тысяч человек. Называя эту цифру в книге «Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население» (М. «Наука», 1986), из которой мы приводим ниже ряд расчетов, член-корреспондент АН СССР Ю. А. Поляков считает наиболее близкой к действительности (с учетом убитых и пропавших без вести вплоть до марта 1918 года) 908 тысяч человек. К ней нужно добавить еще умерших от ранений и болезней в госпиталях (по расчетам Б. Ц. Урланиса — 395 тысяч человек, по данным Е. З. Волкова — 1126 тысяч человек). И хотя за эти годы население страны тем не менее выросло, даже тогда проблема гибели миллионов тревожила многих. Например, Максим Горький в «Несвоевременных мыслях» в мае 1917 года протестовал против отправки в окопы «культурно-ценных людей», рассказывая, как гибнут они: «И с чем мы будем жить, израсходовав свой лучший мозг?»

С осени 1917 к 1922 году численность населения сократилась почти на 13 миллионов человек. (Из них, по одним данным, 1,5—2 миллиона, по другим — больше эмигрировало.)

По подсчетам Ю. А. Полякова, общий итог людских потерь, понесенных страной с 1914 по 1922 год, с учетом несостоявшихся рождений и включая эмиграцию, «превышает, вероятно, 25 миллионов». (Академик С. Г. Струмилин на основе расчетов по материалам переписи 1920 года определил общий итог людских потерь — свыше 21 миллиона душ.) Эти огромные потери касались, естественно, наиболее активной части населения — интеллигенции, офицеров, командиров, солдат, рабочих, крестьян.

Специально следует сказать об эмиграции. В нее были выброшены не только представители старого режима, но и огромное количество ученых, философов, писателей, композиторов, певцов, видных деятелей культуры. Это миф, что так называемый тонкий слой твердокаменных мог заменить их. Деятели культуры и науки, ушедшие в эмиграцию, формировались на великих традициях русской культуры, особенно XIX века. Они существенно повысили интеллектуальный потенциал Европы и Америки. В то же время это был огромный, часто невозполнимый вычет из отечественной культуры, из нашего генофонда.

Огромные потери самой трудолюбивой, энергичной, активной группы населения понесла наша страна в годы коллективизации. В «Правде» В. Данилов и Н. Теццов называют цифру 1 100 тысяч раскулаченных хозяйств. Но эту цифру нужно умножить еще на число членов семей (а семьи тогда были немалые) да учесть хотя бы 3—4 миллиона человек, погибших от голода. За эти годы прямые и косвенные потери (умерло от голода, погибло в ходе коллективизации, потери от снижения рождаемости) оцениваются в 10—13 миллионов человек. Разумеется, это не очень надежные данные. По подсчетам некоторых западных исследователей, только на Украине погибло от голода 5,5 миллиона человек. Все это касалось не только Украины. Делегат XIX партийной конференции поэт Олжас Сулейменов пишет: «Кто знает, что в конце 20-х годов казахов проживало на территории республики 6 миллионов? А после коллективизации — 3? Не много в масштабах страны, но для нас — половина нации. Безо всякой войны и безо всякой огласки. Но со всеми признаками геноцида, организованного ретивыми чиновниками».

«Большой террор» — так назвал Роберт Конквест свое исследование, посвященное массовым репрессиям 30-х годов. И здесь в оценке потерь сталкивается с большими трудностями, поскольку он не имеет доступа к архивам и материалам переписей населения. К тому же есть серьезные основания предполагать, что даты смерти погибших в конце 30-х годов были фальсифицированы, в частности переброшены на военные годы. Тем не менее представление о потерях могут дать цифры, которые, как и при коллективизации, измеряются миллионами. «Наши оценки, — пишут, например, известные

американские демографы Барбара А. Андерсон и Брайан Сильвер в работе «Демографические исследования и катастрофы населения в СССР», — наводят на мысль о возможности сценария с дефицитом населения от 16 до 26 млн. человек в период с 1926 по 1939 год». Если попытаться сделать грубую прикидку, то получается, что из-за огромных потерь после коллективизации до 1939 года население сократилось на 6—16 миллионов человек. Впрочем, возможно, эти цифры изменятся при получении более полных данных о потерях во время коллективизации и последовавшего за ней голода.

«Таким образом, — пишет Роберт Конквест, — даже при невозможности точного подсчета нетрудно усмотреть, что все эти оценки, если их сопоставить с оценками числа арестов и расстрелов, не противоречат в высшей степени осторожной оценке примерно следующего порядка (не считая обычных уголовников, которых ведь нельзя рассматривать как жертв сталинского террора):

В тюрьмах и лагерях на январь 1937 г.	— около 5 млн.
Арестовано между январем 1937 г. и декабрем 1938 г.	— около 7 млн.
	<hr/>
Итого	— около 12 млн.
	<hr/>
Из них расстреляно	— около 1 млн.
Умерло в заключении в 1937—1938 гг.	— около 2 млн.
	<hr/>
Итого погибших	— около 3 млн.
	<hr/>
В заключении на конец 1938 г.	— около 9 млн.
В тюрьмах	— около 1 млн.
В лагерях	— около 8 млн.».

В ряде лагерей третья часть заключенных погибала в течение первого года. По оценкам Конквеста, в 1933 году смертность составляла 10 процентов, а в 1938 году возросла до 20 процентов. В период с 1938 по 1950 год погибло 12 миллионов человек, и к ним нужно прибавить еще по крайней мере миллион расстрелянных. Террор в основном коснулся мужчин в возрасте от тридцати до пятидесяти пяти лет, и в большинстве это были наиболее активные, все помнящие и понимающие люди, лучшая часть популяции.

40-е годы, годы войны, до сих пор вызывают споры среди демографов и историков. Сталин привел цифру 7 миллионов погибших, разумеется, ничем это не обосновывая. Хрущев назвал 20 миллионов человек. Ее единственным обоснованием, как говорят специалисты, была разница между численностью мужчин и женщин соответствующих возрастов. Цифра 20 миллионов погибших уж очень круглая, чтобы быть точной и достоверной. «Мне до сих пор неясно, — пишет академик А. М. Самсонов, — откуда взялись эти 20 миллионов погибших советских людей. Простое арифметическое вычитание из данных 1939 г. о количестве населения данных 1946 г., уже дает значительно больше — 27 миллионов человек. Некоторые исследователи, учитывая потери естественного прироста населения, показывают цифру в 50 миллионов». Вот и приходится не из архивов, не из публикаций Госкомстата или Министерства обороны СССР, а из работ западных исследователей получать эти данные. Стефан Розефилд в одной из своих работ пишет, например: «Данные показывают, что Советский Союз пережил 37 миллионов насильственных смертей в течение 40-х годов. Цифра почти в два раза больше, чем число официально признанных, связанных с войной жертв».

Уж если с такими оговорками и с такой вилок мы вынуждены давать количественную оценку наших людских потерь, то, естественно, еще труднее оценить качества погибших людей. Впрочем, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что в эмиграцию вышвырнули выдающихся представителей интеллигенции, что в годы коллективизации погибли самые работающие мужики, их семьи, а в конце 30-х годов — наиболее активные интеллигенты, рабочие да и крестьяне тоже. Что же касается войны, то здесь погиб цвет нашего народа, самые молодые, жизнеспособные его представители. Не принимали участие в войне либо бронированные, связанные с аппаратом или с военной промышленностью, либо негодные по тем или иным медицинским показателям люди.

Эти потери крайне отрицательно сказались на генофонде страны. Когда на протяжении сравнительно короткого исторического периода из состава и численности различных форм (аллелей) разных генов в населении систематически срезаются самые здоровые, активные, жизнестойкие — это не может не сказываться на качественном составе популяции, на распространении разного рода наследственных болезней, уродств, не

может не влиять на социальные характеристики общества, в частности на его духовный потенциал, на социальный иммунитет к разного рода злоупотреблениям власти. С другой стороны, сама власть в этот период пополнилась в значительной мере выходцами из города и деревни типа Игнашки Сопронова (один из персонажей романа В. Белова «Кануны»), которые придавали ей свой специфический колорит.

Характеристика генофонда населения страны могла бы быть более конкретной и детальной, если бы материалы социальной статистики были открыты. Но даже и так, на уровне предварительного анализа, видно, что пережитые после Октябрьского переворота народом испытания представляли собой не только демографическую, но и генетическую катастрофу. С ее последствиями мы и наши потомки вынуждены будем считаться еще многие десятилетия, а может быть, и сотни лет.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ, ДУХОВНОЕ

На эти базисные генетические процессы накладываются происходившие в стране социальные, социально-психологические и духовные перемены. Работала машина массового уничтожения; война, начатая государством против своего собственного народа, вела не только к потере наиболее активной и самостоятельной части его, к разрушению традиционной веры, культуры, ценностей жизни, нравственности. На выжившую часть населения обрушился чудовищной силы пресс лжи, фальсификаций, запугивания, который калечил даже самых стойких.

Дело не в рабском терпении русского народа. Есть, видимо, такой уровень насилия, когда лопаются позвоночки... Ту же сталинскую модель испытали десятки народов в СССР и за рубежом. К сожалению, результат был тем же самым.

Может быть, поэтому с годами становится все труднее произносить такое привычное в прошлом сочетание — *homo sapiens*. Кровавые войны, тиранические диктатуры, постоянный прогресс в одной только гонке орудий самоуничтожения, разрушение защищающей нас от смертоносных космических лучей атмосферы, озоновые дыры, отравленные реки, озера и моря, наркотики, СПИД, процветающий между людьми культ жестокости. И это ставшее бытом насилие над природой, обществом, самим собой прикажете считать плодами мысли и труда человека разумного?

Вглядываясь в пятиллиардную массу людей, населяющих шар земной, все-таки тишишься понять, определить, что же представляет собой человек, хотя и догадываешься, что одним прилагательным его суть не раскроешь. Вот почему, не претендуя на какую-то концепцию, и предложил я такую условную триаду: человек биологический, человек социальный, человек духовный. В разных соотношениях все три персонажа живут в каждом человеке.

Человек биологический — существо, озабоченное удовлетворением своих потребностей. Так и хочется написать — элементарных потребностей. Ведь речь идет о еде, одежде, жилище, воспроизводстве своего рода, которое опять же требует питания, одежды, жилища. Казалось бы, при нынешнем уровне цивилизации и прогресса удовлетворение всех этих потребностей рода человеческого должно бы уже перестать быть существенным. Ан нет, и не только в слаборазвитых странах, но и в нашей стране, властителей которой еще недавно пучило от гордыни: мы впереди планеты всей! Но все знали, что и у нас абсолютное большинство людей озабочены главным образом обеспечением этих элементарных биологических потребностей: как добыть мясо, масло, сахар; как достать обувь, одежду; как хоть на старости лет получить крышу над головой; как прокормить, одеть, вылечить, устроить наследников. Многие десятилетия жизни на грани голода, в многотысячных хвостах за мануфактурой (вот уже экономисты подсчитали, что на стояние в очередях мы тратим ежегодно 65 миллиардов человеко-часов), в безнадежном ожидании ордера на жилье, которое всегда к кому-то уплывает... Увы, за этими заботами десятки миллионов усталых людей забыли о своем высоком предназначении и не видят иных ценностей, кроме первичных потребностей. Нет, нельзя эти потребности называть элементарными, ибо они далеко еще не удовлетворены. И пока что они, а не добро и зло являются героями главного поля боя — сердца человеческого.

Человек социальный существует как бы в иной плоскости. Правда, не будем забывать, что у животных тоже есть рассудочная деятельность, существуют определенные социальные организации. Понаблюдайте, например, за обитателями Сухумского обезьяньего питомника, и вы увидите там довольно сложные иерархические

структуры, разделение власти, труда и многое другое, что мы привыкли отождествлять лишь с человеческими сообществами. Но ни одна ветвь эволюции на земле не является, пожалуй, такой общественно взаимосвязанной по производству и распределению продуктов, установлению правил общежития, созданию мегаполисов и государств, развитию массовых коммуникаций да и вообще по взаимной зависимости, как человеческая.

Если социальная деятельность мотивирована лишь материальным интересом, человек биологизируется. И даже если он одет в модный современный костюм, пользуется компьютером, сидит за рулем автомобиля, рационально мыслит, то есть соображает, что ему выгодно, а что — нет, он недалеко ушел от наших предков.

Такой социально-рациональный тип получил широкое распространение. В социологии его нередко определяют как «внешне ориентированную» личность в отличие от личности «внутренне ориентированной». По сути, такой человек весь вовне. Годами в его сознание внедрялось, что он — продукт среды. И в конце концов он поверил. Тем более что тем самым он получил бессрочное алиби, с него как бы сняли ответственность за свои поступки.

Если такой тип не нарушает какие-то нормы, то лишь потому, что боится наказания. Он как бы в вечном жестоком противоборстве с обществом, с теми или иными социальными институтами. И на угрозы общества он отвечает выработкой своей контркультуры. Красть нехорошо, за это посадят в тюрьму, говорит ему общество. Правильно, но не пойманный не вор, возражает он.

У человека рационального, как видно, нет внутренних ограничений, можно сказать, что он лишен совести. Благодаря этому несовершенству он оказался способен получать удовольствие от того, что ему удалось кого-то перехитрить, обмануть. У человека рационального одна реальная цель жизни — получение максимума удовольствий. В основе его помыслов и действий — свой кровный интерес (обеспечить воспроизводство своего рода, удовлетворить свои биологические плюс некоторые социальные потребности, часто связанные с первыми, — богатство, власть, престиж). К духовным, нравственным ценностям у него снисходительно-ироническое отношение, как к пережиткам прошлого, хотя он и понимает, что людей нравственных можно использовать в своих интересах.

Человек социально-радикальный непрерывно, словно четки, перебирает варианты: это выгодно, это не выгодно. Он не только постоянно добывает, но и торгует социальной информацией, которая для него окрашена материально. В основе его отношений с другими — стремление меньше дать, больше взять, но как минимум обеспечить эквивалентный обмен. Добыче и обмену информацией в значительной мере подчинены его личные отношения — знакомства, дружба и т. п.

Такой человек очень привязан к благам этого мира. У него высоко развито чувство самосохранения. Он презирает сантименты, у него нет чувства родины, его он считает придумкой пропаганды. Правда, у него развито ощущение групповой солидарности, чувство команды. У него может быть мало мужества, но много гибкости. Он не имеет твердых нравственных опор, да и зачем они ему в меняющемся, сиоминутном мире?

Как видно, человек социально-рациональный — гедонист. Он оживлен, но не одухотворен. Он импровизатор-исполнитель, но вряд ли творец. Он не религиозен, он суверен, сплошь и рядом бывает во власти светских форм религиозного сознания.

Словом, такой человек — существо во многом несовершенное. Но по мере того как у нас происходит насыщение элементарных биологических потребностей, человек социальный становится все более массовым явлением. Он может выступать в разных ипостасях и ролях: и «купца» и «кавалериста», — но суть его едина. Изучение и отрицание его средствами литературы и искусства — необходимое условие формирования человека нравственного, духовного.

Человек духовный — это, если говорить кратко, по-старому, человек с совестью. Иначе говоря, со способностью различать добро и зло, оценивать свои помыслы и поступки, формулировать для себя нравственные предписания, требовать от себя их исполнения. «Нравственное образование делает нас просто «человеком», то есть существом, отражающим на себе отблеск божественности и потому высоко стоящим над миром животных», — писал еще В. Г. Белинский. Человек духовный преодолел в себе опаснейшее искушение — видеть смысл существования только в удовлетворении своих все более изощренных потребностей. Благодаря этому он обрел новую

грань свободы, которая делает его способным служить высшим ценностям культуры, поискам смысла бытия.

Разумеется, он понимает огромную роль экономических и социальных проблем общества, но он всегда видит в них не цель, а средства. Он экологичен, так как знает, что природа не бездонная бочка, из которой можно черпать до бесконечности, что нужно быть способным ограничивать свои капризы и потребности, чтобы сохранить природу и жизнь. Он не может полагать, что творимые людьми социальные институты могут быть выше их самих, а магия природы и искусства для него не менее важна, чем материальное, ибо благодаря им растет духовное богатство мира.

Человек духовный не против рационального знания, но он угадывает его ограниченность, чувствует, что в мире немало есть такого, «что и не снилось нашим мудрецам». Работая в науке, он сохраняет определенную отстраненность, самостоятельность. Он никогда не позволяет авторитетам, мифам и идолам науки увлечь себя целиком. Именно благодаря этому основные научные открытия сделаны свободными, бескорыстными и самоотверженными людьми. Об этом недавно напомнили игумен Андроник (Трубачев) и П. В. Флоренский — внуки трагически погибшего выдающегося ученого и религиозного мыслителя П. А. Флоренского. «Культ человека, не ограниченного в деятельности и правах высшими, надчеловеческими духовными ценностями, неизбежно приводит в области искусства — к культу крайнего индивидуализма, в области науки — к культу оторванного от жизни знания, в области хозяйства — к культу хищничества, в области политики — к культу личности. В то время, когда Флоренский начал писать об этом, казалось невероятным, что уже XX век приведет культуру, да и все человечество, к возможности самоуничтожения. И лишь спустя пятьдесят лет после кончины Флоренского, когда культура вновь обратилась к поискам вечных истин, к истокам и родникам подлинной духовности, мы убеждаемся, что он был прав в своих тревожных прозрениях».

Итак, человек биологический, социальный, духовный. С развитием человечества может существенно расширяться область духовного, нравственного, все больше людей начинает в своих помыслах и поступках руководствоваться повелениями совести. Но может и наоборот — сфера духовного вытесняться, насильственно разрушаться и заменяться социальными или биологическими эрзацами. Такую эпоху пережил наш народ.

Это была не только демографическая и генетическая катастрофа. Если прежде структура биологического, социального, духовного представляла собой своеобразную пирамиду, основанием которой было биологическое, а вершиной — духовное, нравственное, то революционные преобразования не только обезглавили ее. По существу, был ликвидирован человек социальный, поскольку любая самостоятельная общественная жизнь была запрещена. Ведь нельзя же считать социальной жизнью тяготину и обязательку разного рода митингов и собраний, постыдность принудительных и подконтрольных «выборов» из одного кандидата, машины единогласного голосования, исправно поднимавшие сотни рук как в центре, так и на местах. В первые послереволюционные годы среди коммунистов порой раздавались отчаянные призывы: поскольку, дескать, у нас в стране нет демократии, так давайте сохраним ее хоть в партии. Но вскоре эти голоса умолкли навсегда. Человек перестал быть даже «общественным животным».

Большинство людей было обречено на чисто биологическое существование. Невероятные трудности и лишения, связанные с удовлетворением элементарных потребностей в питании, одежде, жилище, потеснили у многих и многих все мысли о правах и гражданском достоинстве. Человек биологический стал главным героем этого времени.

ОТ КРУГА К ЭЛЛИПСУ

Вот в какой бездне оказался наш народ. Не удивительно, что и после смерти Сталина, хрущевской оттепели, брежневских мрачных лет застоя, консерватизма и коррупции он еще не почувствовал себя сувереном, не поверил, что все это всерьез и надолго, хотя все газетные странички шуршат о демократии и гласности.

Еще Маркс предупреждал, что в условиях подцензурной печати, когда правительство слышит лишь свой собственный голос, народ впадает отчасти в политическое суеверие, отчасти в политическое неверие либо, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью.

Нечто подобное произошло и с нашим обществом, где существуют группы людей не просто с разным опытом, а порой и с противоположными ценностями и ориентациями.

К первой группе можно было бы отнести миллионы людей, выросших в условиях социальных и политических суеверий, которые, надо полагать, не без умысла так неудачно названы культом личности⁴. Среди них те, что были вдохновителями, организаторами, идеологами и исполнителями массовых репрессий, партийные деятели тех времен, члены троек и особых совещаний, прокуроры и следователи, сотрудники инстанций, оперуполномоченные, охранники, филеры, исполнители приговоров и пр. и пр. Их ядро — идеологи, разрабатывавшие «научную» систему практики великого террора государства против своих подданных, заряжавшие исполнителей нечеловеческой злобой и ненавистью, внушавшие им принципы вседозволенности, освобождавшие их от элементарных норм нравственности, от «химеры, называемой совестью», как выражался Гитлер.

Предпосылка нового мышления — пробуждение совести. Без этого разум легко становится слугой эмоций, корыстных интересов и потребностей. И что-то не очень верится, что среди непосредственных участников массового террора начнется возрождение совести, стыда и памяти. Здесь часто срабатывает эффект «верного Руслана», по Г. Владимову. Речь идет и об искренней позиции тех или иных людей в защиту Сталина. Возьмите, например, тех городских юношей и девушек в Тбилиси, которые, отмечая первую годовщину его смерти, собирались у памятника Сталину, читали стихи, говорили речи, их сердца были переполнены гордостью и волнением. «Ведь вот эти взрослые: вчера еще они пресмыкались перед ним, лстили ему, вылизывали его сапоги до блеска. Теперь пинают мертвого льва, обливают его помоями. А мы, молодые, — думали они, — вели и ведем себя честно. Как раньше поклонялись ему, так и теперь мы всем сердцем с ним. Даже если это грозит нам наказанием».

Так и теперь: не дети, а убежденные сединами, десятилетиями славившие отца и учителя всех времен и народов, уже не хотят отказываться от мифов прошлого, с высоко поднятой головой стоят они против исторической правды.

Впрочем, среди тех, кто захвачен политическими суевериями сталинизма, немало людей, которые никак не были связаны с деятельностью гигантской репрессивной машины. Они просто работали и жили, часто в очень тяжелых условиях. Чтобы выжить, они старались приспособиться к этой системе, кланялись грозным земным богам, всегда в позе подчинения, руки по швам, с девизом «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю». И лишь изредка с обреченным вздохом: «Да, лес рубят — щепки летят». Приученные к постоянному страху, лжи, командам, лозунгам, они как бы привыкли к запахам крови и железа и начали считать, что иначе нельзя, что у них нет полной информации, что Сталин думает за них. Люди обычно не любят состояния внутренней раздвоенности, разроенности, расчлененности. Они стремятся к внутреннему единству. Это и использует репрессивная пропаганда: кто не с нами, тот против нас. Если хочешь быть, то принимай (и истово принимай), что тебе внушают. Так многие, подчас незаметно для самих себя, становились сталинистами. А потом с годами уже трудно было признать, что ими просто манипулировали, что их околпачили, заставили принять античеловеческие ценности жизни. Многие из этих людей в ходе развития процессов демократизации и гласности начинают прозревать, и им нужно помочь избавиться от этих суеверий и предрассудков.

Вторая группа — это люди, впавшие в политическое неверие, в скептицизм. Массовое неверие есть проявление умирания гражданского общества, ставшего результатом перманентного, ничем не ограниченного диктата государства над ним. Результатом своего рода «синдрома длительного сдавливания». Государство раздавило общество. Люди перестали верить, что рабочие, крестьяне, служащие могут работать, а не халтурить, не химичить, не воровать и своим трудом зарабатывать средства, необходимые для жизни себе и своей семье. Что руководство и его органы на местах действительно могут быть озабочены проблемами граждан, населения, а не тем, чтобы, дорвавшись до власти, поблажить вволю, устроить синекуры своим родственникам, обеспечить себя и их на всю жизнь. Что суды могут судить по закону, по справедливости, а не шить дела тем, кто не дал в лапу или не прикрыл себя телефонным пра-

⁴ В определении Г. Попова «Административная Система», которым сейчас стали широко пользоваться, мне кажется приемлемым лишь второе слово — «система». Да, безусловно, это не культ, а система. Первое же слово — «административная» — не раскрывает сути этой системы. Наверное, все-таки точнее «Тоталитарная Система».

вом. Что не люди для государства или партии, а, наоборот, государство, партия для людей. Что народ поэтому имеет право в любой момент путем демократических процедур, а не путем бунта или латиноамериканского переворота сменить тех, кто использует власть для себя, а не для народа.

Этих неверящих, скептиков, циников у нас тьма-тьмушая. Да и удивительно, если бы было иначе. Уже несколько поколений воспитывается в этом ключе, особенно в тех районах страны, через которые история проехала от А до Я. В других местах, например у эстонцев, цинизма и скепсиса меньше. Тут большинство верят, что они смогут организовать нормальную социальную жизнь, если им не будут мешать. А у нас в России не верящих ни во что навалом. Среди них немало и тех, кто обрел после XX съезда партии надежду, но вскоре был ввергнут в брежневское безвременье, в «славные десятилетия» застоя, позора и коррупции.

Скепсисом и цинизмом поражена и наша молодежь. Многие не только не верят в благие намерения общественных институтов и организаций, но рассматривают их как враждебные, непонятно, по какому праву господствующие над ними силы. Отчужденные, потерянные, отверженные, они, как только появилась возможность, валом повалили в неформальные организации и группы: хорошие, плохие — да свои.

Третья группа — это те, кто отвернулся от государственной жизни. Чудовищные катаклизмы и конвульсии, обман, незащищенность жизни от власть предержащих не могли не выталкивать миллионы людей в частную жизнь. Так образовалась одна из самых крупных групп населения, в которую входят рабочие, крестьяне, городские служащие и т. д. Нет, они не говорят о себе, подобно гордым англосаксам: мой дом — моя крепость. Крепость рухнула, и в дом в любой момент могут ворваться. Моя хата с краю, я ничего не знаю — так определили свою жизненную позицию те наши люди, которые просто хотели жить, растить детей, но не хотели иметь никакого отношения к этой лживой политической жизни. Эти люди сохранили нормальный здоровый инстинкт жизни, только перестали быть гражданами. Но кто может бросить в них камень?

Здесь же, в этой толпе, мы узнаем знакомые лица мещан, филистеров. Они прошли через все режимы, через все войны и революции. Их узкие взгляды и мелкие интересы оказались вполне совместимыми со всеми империями, демократиями и диктатурами. Они легко вычислялись властью и использовались для ее нужд.

Исчезло гражданское общество, исчезла и его основа — честные, работающие люди, граждане. А человек, переставший быть гражданином, равнодушный к обществу, имеет определенные преимущества потому, что лишен всяких моральных ограничений. Он в чем-то похож на тех, у которых совесть в результате соответствующих манипуляций была ампутирована государством. А у него совесть просто атрофировалась.

Особняком от этих групп — жертвы сталинского террора, жены, дети, внуки, родственники так называемых врагов народа. Трудно исчислить величину этого слоя. Но поскольку погибли, пострадали миллионы людей, то, видимо, речь может идти также о миллионах, если не о десятках миллионов наших сограждан. Многие из них сами пострадали как члены семей «врагов народа». Сталиным и его подручными соответствующая статья очень широко использовалась. Отвечали все до десятого колена. А для обмана населения распространялась легенда — «Сталин сказал: сын за отца не отвечает».

Как же можно сохранять, не переписывая, всю нашу историю, игнорируя судьбы жертв сталинизма! «Великая эпоха» проехала по ним как танк, и, естественно, у многих из них есть свои выстраданные мнения о вожде, его соратниках, его системе и «приводных ремнях». Поэтому среди жертв сталинизма много людей неравнодушных, активных, готовых отдать жизнь за то, чтобы эти ужасы не повторились вновь. Они являются решительными сторонниками перестройки, надежных гарантий от злоупотреблений властью, последовательной демократизации нашей жизни.

Так вкратце можно охарактеризовать некоторые слои населения нашей страны. Как видно, оно состоит из очень разных, иногда противоречивых групп. Я уж не говорю о том, что судьбы каждого из нас неповторимы, а к изучению личности не вредно порой применить своеобразный «геологический» подход: видеть, как на крутом берегу, наслоенные друг на друга геологические пласты, сформированные разными эпохами. В человеке это не мертвые пласты, между ними циркулирует своеобразная магма — и мысль, и страсть, и кровь.

В одном из своих опытов академик И. П. Павлов вырабатывал у собак рефлекс на круг: при демонстрации круга у собаки начиналось слюноотделение. После того как этот рефлекс приобретал устойчивый характер, И. П. Павлов начинал демонстрировать собаке фигуры, где круг постепенно превращался в эллипс. Животное не знало, как реагировать, у него начиналась сшибка, истерика, граничащая с умопомешательством. Так обстоит дело со многими нашими согражданами теперь, когда в условиях гласности на них обрушивается поток новой информации, раскрытых документов, забытых имен, которые требуют честных, мужественных усилий мысли, чтобы отказаться от вбитых в голову ложных предрассудков, примитивных схем, лжи.

ДУХОВНЫЙ ВАКУУМ ИЛИ НРАВСТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

Особо следует сказать о судьбе человека духовного. После революции происходило невиданное в истории выкорчевывание нравственных основ народа. Десятки миллионов людей, для которых вера давала ответы на важнейшие вопросы их бытия, поддерживала их в этой жизни, придавала ей смысл, облегчала смерть и в то же время была важным социально-регулятивным институтом, были поставлены перед выбором: скрывать свои религиозные убеждения (это в условиях массового ссыла и доносительства было весьма опасно) либо отказываться сначала внешне, а потом и по существу от своей веры. Подрастающее поколение, разумеется, не получало никакого духовного воспитания.

Возник огромный духовный вакуум. Вместо старой морали стала насильственно внедряться новая, истоки которой в принципах заговорщических организаций вроде «Катехизиса революционера», наставления, написанного Сергеем Нечаевым. Да-да, тем самым Нечаевым, который с товарищами убил в гроте Петровской (ныне Тимирязевской) академии ни в чем не повинного студента Иванова (просто для того, чтобы повязать кровью членов созданной им организации). Потом Нечаев бежал на Запад. Его соучастников судили. Отчеты об этом судебном процессе, публиковавшиеся в русских газетах, подтолкнули Ф. М. Достоевского написать своих знаменитых «Бесов».

Говоря о революционере, Сергей Нечаев писал: «Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему». Характерной чертой этой позиции было не только презрение и ненависть ко всем проявлениям общественной нравственности, но и непонимание сложных истоков ее социально-регулятивных функций.

Многие понимали ограниченность такого подхода еще в дореволюционные времена и отвергали релятивистскую мораль. Моя тетка, словесница Надежда Феоктистовна Шубкина, как-то процитировала мне шутовское стихотворение, ходившее у них на Бесугужевских курсах в Петербурге в начале века:

Ранним утром встает социал-демократ —
Член великой Российской единой.
Буржуазную плоть в пролетарский халат
Облекает с презрительной миной.
Поплескавши на личность небрежно водой
И подумав о массах при этом,
Опускается он пред иконой святой —
Пред великого Маркса портретом...
«Поведи, чтоб в деревню проник капитал,
Чтоб эсеров разрушились козни,
Чтобы даже младенцы смотрели на свет
С точки зрения классово-розни...»
Так молился эсдена, восставши от сна,
Но в ответ на мольбы социала
Молвил Маркс: «Отойти от меня, сатана,
И прочти первый том «Капитала!»

Прав А. Гулыга: «...без признания морального абсолюта никакие императивы не работают, неизбежно возникает нравственный релятивизм и конформизм, принципы приспособляются к обстоятельствам».

К сожалению, и в послереволюционный период понимание нравственности нередко упрощалось. «Мы говорим,— писал В. И. Ленин,— что наша нравственность

подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата»⁵. Десятилетиями ни слова не говорилось об общечеловеческой морали и ценностях, нравственным признавалось лишь то, что служит данному классу и его организациям.

Особую роль в насаждении релятивистской нравственности, а точнее безнравственности, играли комсомол и школа. Мы уж не говорим о замене принципа «чти отца своего» феноменом Павлика Морозова. В школе с младенчества преподавание всех общественных наук, в том числе и отечественной литературы, которая, казалось бы, во многом могла способствовать нравственному воспитанию подрастающего поколения, ведется с партийных, классовых позиций. К этому в значительной мере сводится весь процесс «формирования нового человека».

Маркс не зря опасался марксистств. «Ни в начальные, ни в средние школы,— предупреждал Маркс,— не следует вводить таких предметов, которые допускают партийное или классовое толкование. Только такие предметы, как естественные науки, грамматика и т. д., могут преподаваться в школах. Правила грамматики, например, не изменятся в зависимости от того, будет ли их объяснять религиозно настроенный тори или свободомыслящий. Предметы, допускающие противоречивые выводы, должны быть исключены из школ; их изучением могут заниматься взрослые под руководством таких преподавателей, как г-жа Ло, которая читает лекции о религии».

Самое главное и самое трудное — воспитание нравственного идеала. Он не может создаваться и внедряться насильно, по велению власть имущих. Аморальна попытка подsunуть в качестве нравственного идеала для молодежи, для целого народа фигуру политического деятеля, фюрера, вождя, которому по самой своей роли, по природе своей профессии непременно приходится лукавить, а часто и лгать.

Идея нравственная предшествует общественному идеалу. «...что такое общественный идеал, как понимать это слово? Конечно, суть его в стремлении людей отыскать себе формулу общественного устройства, по возможности безошибочную и всех удовлетворяющую,— ведь так? — спрашивает Ф. М. Достоевский и продолжает: — Но формулы этой люди не знают, люди ищут ее все шесть тысяч лет своего исторического периода и не могут найти. Муравей знает формулу своего муравейника... но человек не знает своей формулы. Откуда же, коли так, взяты идеалу гражданского устройства в обществе человеческом? А следите исторически и тотчас увидите, из чего он берется. Увидите, что он есть единственно только продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, и что было так спокон века и пребудет во веки веков. При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее».

Часто цитируют сцену из романа «Подросток», в которой Аркадий допытывает Версилова: в чем великая мысль, самая великая? Версилов отвечает евангельской притчей: «обратить камни в хлебы — вот великая мысль. Но все же «только в данный момент великая: наелся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: „Ну вот я наелся, а теперь что делать?“» Вопрос остается вековечно открытым.

А вот как эту чрезвычайно важную (сегодня бы сказали: антипотребительскую) идею рассматривает Достоевский в одном из писем. Сначала он совершенно определенно указывает, что идея «камни и хлебы» есть теперешний социальный вопрос, а не просто притча об искушении Христа дьяволом. «Дай им всем пищу, обеспечь их, дай им такое устройство социальное, чтоб хлеб и порядок у них был всегда,— и тогда уже спрашивай с них греха. Тогда если согрешат, то будут неблагодарными, а теперь — с голодухи грешат...» — так формулируется одна позиция.

«На это Христос отвечал: «не одним хлебом бывает жив человек» — то есть сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту. Христос же знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в Себе и в Слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда как дай им хлеб, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу. Но если дать и Красоту, и Хлеб вместе? Тогда будет

⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 309.

отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни».

Как видно, Достоевский дает глубокую социальную и общественно-философскую трактовку этой евангельской притчи, показывая невозможность решения социального вопроса, когда игнорируется нравственный идеал.

Эти мысли важны и сегодня, когда мы вступили в сложный период возрождения, поиска новых экономических отношений, демократизации, гласности, когда сама общественно-историческая ситуация, поиск социального идеала заставляют задуматься об особой опасности недооценки духовных проблем.

В сохранении и обогащении нравственного и социального идеалов важнейшую роль играет историческое и культурное самосознание народа. Оно обеспечивает постоянное воспроизводство нравственных устоев народа, его общественное и гражданское творчество. Насильственный разрыв связей со своей собственной историей, попытки отнять прошлое у народа, исказить, фальсифицировать его, столь характерные для радикальных революций, подобны национальной катастрофе. Лишь сильные народы способны после такого потрясения сохранить себя, восстановить свои идеалы. Такой восстановительный период нередко бывает затяжным, не сразу обретается и утраченное самосознание.

Впрочем, многолетними усилиями официальной пропаганды о нашем прошлом и настоящем создана такая торричеллиева пустота, что она может заполняться чем угодно. А фальсифицированная история всегда плодит фальшивые гражданские и нравственные идеалы.

Одна из самых заезженных схем — истоки сталинщины искать у Ивана IV. Дескать, в этой стране была изначальная жестокость. Иначе русские не могут. Не хотелось бы выступать здесь в роли автора, склонного только восхищаться нашим прошлым. Как и у любого народа, у нас тоже всякое бывало. Но вдумчивый исследователь, прежде чем бросать такого рода обвинения целому народу, должен скрупулезно сопоставлять исторические процессы в нашей стране с аналогичными явлениями в других странах в тот же период. Ивана Грозного и надо сравнивать с тогдашними европейскими и восточными монархами. И вряд ли ученый найдет крупные отклонения даже в этом чрезвычайном периоде государства Российского от других режимов того времени.

Что же касается России, русского народа, то полезно вспомнить, что жили на этой земле православные люди, христиане. Хотя и очень непростые отношения были между церковью и государством. Многие годы хранила церковь тайну исповеди. Святой Дмитрий Ростовский писал: «Если бы какой государь или суд гражданский повелел и силой понуждал иерея открыть грех духовного сына и если бы мукой и смертью грозил, иерей должен умереть паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешить».

Однако один из первых указов синода — высшего государственного органа, ведавшего делами российской православной церкви, созданного в 1721 году Петром I, — гласил: «Ежели кто на исповеди духовному отцу своему некое злое и нераскаянное умышление на честь и здравие государево, наипаче же измену или бунт объявит, то должен духовник довести вскоре о том, где надлежит, в Преображенский приказ или Тайную канцелярию. Ибо сим объявлением не порокуется исповедь, и духовник не преступает правил евангельских, но еще исполняет учение Христово: обличи брата, аще же не послушает, повеждь церкви. Когда уже так о братнем согрешении Господь повелевает, то кольми паче о злодейственном на государя умышлении».

Отмена тайны исповеди наряду с другими мерами, направленными на огосударствление церкви, осуществленными синодом, обер-прокурор которого назначался Петром I, вели к расколу между верующими и священниками, подрывали веру, нанесли такие тяжелые удары по русской православной церкви, от которых она так и не смогла вполне оправиться.

Тем не менее роль православия в истории России нельзя принижать. О доброте, совести, милосердии, сострадании наши предки слышали с малых лет и почаще, чем мы с вами. Да и примеры духовного подвижничества были перед ними. И всегда на Руси были праведники и святые. Это не могло не сказаться на поведении народа и власти. Была трудная, но достойная великого народа история, которая обеспечивала ему устойчивое и видное положение во всемирном историческом потоке.

Ожесточение в народе сейчас? Да, конечно. Боюсь, что по этому показателю занимаем мы нынче одно из первых мест в мире. Откуда же оно взялось? Трудный вопрос, но подходы к нему все же видны. Все, что сдерживало прежде,— это тонкий слой христианской цивилизации. Он в первую очередь ограничивал в людях зверя. А когда он был с воодушевлением разрушен, когда был создан культ насилия, когда осквернено было все, во что верил народ, то много ли осталось человеческого? Интенсивно шло и перевоспитание. Через шизофренические идеи всюду видеть врага. Через братоубийственную гражданскую войну. Через обостряющую классовую борьбу. Через коллективизацию. Через массовый террор. Через немислимые жестокости и несправедливости второй мировой войны. Через сведение человека, личности к роли насекомого, которого власть в любой момент может прихлопнуть. Как из этого культа насилия и террора не возникнуть ожесточению?!

Ныне это ожесточение пострашнее СПИДа. С ним-то не сегодня, так завтра справятся, небось придумают какую-нибудь вакцину. А вот как нам от жестокости избавиться, от презрения к личности другого, к самому себе? Не знаю рецептов, но полагаю, что нельзя в этом деле ничего бездумно отбрасывать, в частности то, что служило человечеству многие века. Иначе опять мы будем похожи на цивилизованных людей только покроем костюма.

На народ же пытаются возложить ответственность за террор и массовые репрессии. Находятся люди, которые, «теоретизируя» и «обобщая», может быть, и сами того не желая, снимают ответственность с организаторов террора. Пишут, что парадокс «социалистического» культа заключается в том, что наибольшую силу ему придает опора пролетарской революции на широкую демократическую социальную базу — попросту говоря, ее демократический характер. Помилуй бог! Какой там «социалистический» культ?! Какая там демократическая социальная база?! Какая там демократия?!

К ним примыкают утверждения наших публицистов о «синдроме толпы». Еще, дескать, нет показаний обвиняемых, нет приговора, но массы уже пылают злым энтузиазмом. Общество превратилось в толпу, обуреваемую энтузиазмом без мысли, без чувства — лишь с экстазом поклонения божеству.

Это было бы верно, если б речь шла о нормальном обществе. О «синдроме толпы», о «степени ее искренности» можно говорить лишь тогда, когда люди имеют хотя бы минимальную свободу волеизъявления. Но мы имеем дело с иной системой. Тут все проще, грубее. Об обстановке, в которой оказалось наше общество в 30-е годы, особенно в период московских процессов, можно судить по многочисленным фактам и свидетельствам. Приведу лишь один. Секретарь Киевского обкома ВКП(б) Кудрявцев, говорится в постановлении январского Пленума ЦК ВКП(б) 1938 года, на партийных собраниях неизменно обращался к выступавшим коммунистам с вопросом: «А вы написали хоть на кого-нибудь заявление?» В результате, констатирует Пленум ЦК ВКП(б), в Киеве были поданы политически компрометирующие заявления почти на половину членов городской партийной организации.

Не «синдром толпы», а прямая угроза физического уничтожения тебя и твоей семьи — вот что толкало людей на «дикие порывы» и «энтузиазм». А тройки и особые совещания работали куда производительнее французских трибуналов, и не только в столице, но и далеко от Москвы. И директивы они получали не от масонов, а из Кремля за подписями Сталина, Жданова, Ежова, Берии, Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова и других.

В своей статье «Какая улица ведет к храму?» («Новый мир», 1987, № 11) И. Клямкин высказывает ряд интересных соображений о технологии террора, о том, как уже в 20-е годы власть и Игнашка Сопронов (упоминавшийся персонаж из романа Василия Белова «Кануны») находят друг друга и начинают войну против крестьянства. Однако затем появляются рассуждения о том, что «со всем этим мужики мирились», что «они будут терпеть Игнашкин произвол, не теряя веры в правду власти». (На это справедливо возражал О. Лацис в статье «Перелом» — «Знамя», 1988, № 6.)

Нет, нельзя так интерпретировать отношения власти и народа, особенно нашего крестьянства. В статье «Оборванная нить» («Новый мир», 1988, № 8), посвященной крушению крестьянской культуры, Ксения Мяло справедливо пишет, что «была самобытная и разнообразная крестьянская культура, как всякая культура, имеющая право быть независимо от того, нравится она нам или нет, мстящая — подобно тому, что являет нам экология,— бесчисленными последствиями с долгим резонансом за грубое вторжение в нее. Так пристало ли нам сейчас, когда кончается время для соби-

рания тех обломков, из которых еще можно попытаться воссоздать хоть сколько-нибудь достоверный ее портрет, слагать новый миф, где жертва оказывается даже не соучастником, а единственным виновником преступления?»

Фальсифицирована и история Великой Отечественной войны. Знаете ли вы, например, что знаменитая героиня войны Зоя Космодемьянская — дочь врага народа? Поэтому все райвоенкоматы в соответствии с инструкцией не брали ее в армию. А она только что окончила школу, врвалась на фронт. Хотела доказать всем, что отец пострадал несправедливо. После долгих хождений она добралась до горькома комсомола. Ее зачислили в партизанский диверсионный отряд. И через несколько дней их группа попала в плен к немцам. Зоя вела себя под пытками героически и была повешена фашистами. Ну почему же до сих пор не расскажут о ней правду?

Нелепое размежевание происходит сегодня среди пишущих. Одни «сознательно односторонние» ратуют за экономические нововведения. Другие — за демократию, политические реформы. Третьи доказывают, что основа всему — нравственность.

Известный литератор, выступая по телевидению, доказывал, что дело все в том, чтобы у власти был хороший совестливый человек, все остальное от лукавого. Вроде бы и делать ничего не надо — только ждать. Спору нет: от нравственности руководителя государства многое зависит, особенно в жестко централизованных системах, где она заметно сказывается на уровне общественной морали. Но надеяться, что в ходе политических игр наверху обязательно окажется честнейший — глубочайшее заблуждение. Оно только мешает наведению элементарного порядка в управлении обществом.

Очень распространилось в последние годы и противопоставление материальной заинтересованности и нравственности. Если, дескать, удовлетворить наши элементарные потребности, то обнаружится, как мало значит для нас материальные стимулы. Если не перемудривать, а иметь в виду основные формы, которые поуждают людей трудиться — экономическое и внеэкономическое принуждение, — то безнравственно прежде всего второе, поскольку оно неизбежно ведет к тоталитаризму. Представления о том, что материальные стимулы у нас мало что значат, родились, однако, не случайно. Они в какой-то мере отражают существовавшее и существующее состояние общества, когда в результате уравниловки, низкой оплаты и пустых прилавков многие категории работников в общественном секторе довольно равнодушно относятся к тем жалким прибавкам, которые они получают. Однако стоит насытить рынок товарами, как материальные стимулы начнут работать с такой эффективностью, которую мы сейчас и предполагать не можем.

Эту проблему, конечно, нельзя упрощать — не все сводится к одной только материальной заинтересованности. Человеку, даже занятому самым простым трудом, далеко не безразлично, в каком обществе он живет, к каким целям оно стремится, что ждет его и его детей в будущем. Гражданский же, социальный идеал, как мы говорили, может основываться лишь на нравственном. В этом смысле общественная мораль не только обеспечивает организацию, дисциплину, качество труда, но и является важным стимулом, который, однако, может быть начисто перечеркнут насилием и принуждением. Тут неврдно присмотреться и к тысячелетнему опыту религии, прежде всего христианства, которое успешно справилось с ролью духовного пастыря, утверждало мораль, основывающуюся не на преходящем, сиюминутном авторитете вождя, а на вечном, абсолютном, решало социально-регулятивные функции, создало механизмы нравственного самосовершенствования.

Нет, не простое это дело — продвигаться на всех фронтах сразу: решать проблемы экономики, политики, совершенствовать духовную сферу. Может быть, поэтому появляется порой желание скоропалительного успеха. И вот уже объявляют: в нашей стране совершилась нравственная революция.

Полноте! Какая революция? Мы не всегда можем быть умными, но хотя бы не быть смешными. Впрочем, я обратил внимание на это заявление в нашей печати еще и потому, что оно отражает довольно распространенное мнение. Многие полагают, что осуществить экономическую реформу — трудное дело. Демократизировать общество — ну хотя бы создать такую систему, чтобы выбирать не из одного кандидата, а из двух, — тоже очень сложно. А вот совершить нравственную революцию нам ничего не стоит, раз плюнуть.

До возрождения общественной морали нам еще шагать и шагать. Дай бог в ходе экономической реформы, восстановления демократических институтов и правового го-

сударства, создания гражданского общества подойти нам к тому, что можно было бы действительно назвать нравственным возрождением, тем более нравственной революцией. Она посложнее, чем захват власти, и бывает куда реже, чем революция политическая.

СОБСТВЕННОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ

Наивно ожидать скорой нравственной революции. Надежнее исходить из грустных реалий — иметь в виду не ангелоподобных «прорабов перестройки», а массы людей униженных, оскорбленных, обманутых, которые только сейчас робко начинают выпрямляться, догадываться, что и они могут быть гражданами.

Одна из главных предпосылок роста производства товаров и услуг — расширение политических прав, утверждение суверенности личности. Люди забыли, что не они живут для государства, а государство для них, что они являются гражданами со всеми своими неотъемлемыми правами и обязанностями. Вот откуда кризис доверия ко всем социально-политическим институтам. Вот почему так туго идет перестройка.

Гигантская задача, которая стоит сейчас перед нашей страной, — переход от внеэкономического принуждения к труду, к экономическому стимулированию и регулированию народного хозяйства. По существу, это означает — перевернуть всю структуру управления с головы на ноги. Без этого не удовлетворить элементарные потребности населения, не пробудить его к активной экономической, социальной и гражданской жизни.

Только свободный труд может быть эффективным и производительным. Это предполагает решительные изменения форм собственности, отказ от государственной монополии, свободное развитие различных форм, в том числе кооперативной, личной и частной собственности. Тогда прекратится раскрестянивание крестьянства, отчуждение рабочего от труда и власти, а ученые, писатели, художники из наемных слуг государства и партии станут его свободными партнерами.

Трудящийся человек должен быть хозяином, владельцем, распорядителем создаваемых им благ и услуг. Он сам решает, что и как производить, где и почему продавать. Но он обязан платить соответствующие налоги государству, которое должно обеспечить экологический контроль, охранять здоровье потребителей, бороться с хищническим использованием природных ресурсов земли, рек, озер, морей, воздушного бассейна. Все виды собственности должны быть поставлены в равные условия, и средства производства, сырье и т. п. должны им продаваться по одинаковым ценам. Иначе никакой здоровой конкуренции не получится. Смешанная экономика необходима. Необходимы и все ее элементы: государственные, кооперативные, акционерные, государственно-капиталистические, личные и частные предприятия.

Сейчас газеты много пишут о значении изменения отношений собственности для повышения производительности труда. Меньше задумываемся мы о связи форм собственности с развитием и укреплением демократии. Многими демократия понимается как рай для бойких самовыраженцев.

Эти дискуссии и споры могут стать ответственными, а позиции осознанными и устойчивыми, если они пропущены через интерес. А интерес — через собственность. Вот почему возникновение, например, независимых фермеров-крестьян должно привести к устойчивому, стабильному, коллективному выражению их интересов в политической сфере. То же самое касается кооперативов, рабочих, работников умственного труда, других социальных групп в нашем обществе.

Экономическая независимость — основа демократии. Если человек не является на самом деле хозяином, то не может у него быть и чувства хозяина. Как заметил однажды писатель А. Левиков, нельзя у зайца воспитать чувство волка. Но когда хозяин — это действительно хозяин, то без всяких призывов появится и чувство хозяина, и хозяйский интерес, и свое социально-экономическое осознание своего отношения к платформам различных кандидатов, претендующих на управление политическими и социальными процессами. Только экономически независимый человек, создатель материальных и духовных благ может без демагогии защищать свои интересы, которые обеспечивают вместе с тем и удовлетворение разнообразных потребностей всего населения, общества в целом. Это важное условие перестройки и демократизации.

Но это лишь одно из условий. Чтобы стать активными, инициативными работниками и гражданами, люди должны вновь обрести веру в то, что социально-политиче-

ские институты способны функционировать не против них, а ради их блага и свободы. Личность не может обеспечить свой суверенитет, свое саморазвитие и самореализацию, если ей не будут предоставлены определенные неотъемлемые права и гарантии, защищающие ее от любого насилия власти, партии, государства, их представителей на местах.

Вот почему так необходимы коренные изменения политической системы в нашей стране. Вперед или назад? — вот вопрос, который возникает у каждого здравомыслящего человека при анализе первых шагов этой реформы. Опять начинаются панегирики съездам Советов, другим органам власти, существовавшим до 1936 года. Опять забывают, что именно существовавшие тогда структуры власти и привели к тоталитарному режиму, массовым репрессиям, диктатуре Сталина. Неужели мы и в самом деле не способны критически подойти к сформировавшимся в первые годы после 1917-го структурам и сделать элементарный вывод: двигаться надо не назад (иначе мы вновь и вновь придем к тоталитаризму), а вперед, ибо только на этом пути мы обеспечим контроль над властью, гарантируем реальные права и свободы, развитие демократии?

Хотя революционного нравственного скачка ожидать не приходится, забота о совершенствовании морального состояния общества — наша главная забота. Когда расширяются демократия и гласность, когда из «котлована» выбираются миллионы людей со всеми своими социальными и национальными предрассудками, когда как подданные, так и власти совсем почти не имеют опыта разрешения противоречий и конфликтов, и те и другие склонны прибегать к насилию.

В этих условиях по-другому выглядит коренной вопрос человеческого бытия — проблема свободы личности. Конечно, царство божие внутри нас, главное — внутренняя свобода человека. Именно она давала людям — пусть это были одиночки — силы отстаивать истину, выступать против предрассудков толпы, против диктатуры тирана. Отсюда — подвижничество, святость, героизм.

Да, научить добру народ свободный — прекраснее, чем волю дать рабам. Об этом писал еще Омар Хайям. Мне близки слова поэта Владимира Корнилова: «По-моему, внешняя свобода дает возможность реализовать свою внутреннюю свободу, т. е. гармонию. Несвободный же человек в условиях внешней свободы вносит в мир свой хаос, свое безобразие, которое прежде в период жестких регламентаций, детерминированного поведения ему порой приходилось прятать. Теперь же он жаждет реализовать себя за счет ограничения свободы других людей, а то и насилия над ними».

В нашей истории волны насилия начиная с гражданской войны накладывались друг на друга, и их интерференция дала такой уровень концентрации жестокости, который делал нас опасными не только друг для друга, но и для всего человечества. «Повивальная бабка» истории из временной, эпизодической фигуры стала главным действующим лицом, постоянной спутницей нашей жизни. Это любимое слово — «расстрелять»! Как широко и легко им пользовались до войны, на фронте и в тылу, в послевоенные годы. Об этом могли бы рассказать мои сверстники 1923 года рождения, которые в июне 1941-го шагнули со школьных парт в окопы. Да вот осталось их сейчас маловато — всего 2—3 процента. Впрочем, и те, кто постарше, тоже, наверное, помнят, как редко это страшное слово расходилось с делом...

Это жестокость, порождающая жестокость. Нет, не в политической наивности неформалов таится грозная опасность для нашего общества — опыт приобретается со временем, — а в этом спрессованном, передающемся из поколения в поколение насилии. Оно может иметь разные идеологические облики, но все они страшны своей самоубийственной жестокостью к людям и природе. В этом самое ужасное наследие сталинщины. И чем скорее мы избавимся от него, тем больше будет оснований причислять себя к цивилизованному миру.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — НАДЕЖДЫ ВЕДОМСТВ И ТРЕВОГИ ОБЩЕСТВА

От редакции. В № 9 «Нового мира» за прошлый год была опубликована статья А. Адамовича «„Честное слово, больше не взорвется“, или Мнение неспециалиста». Писатель размышлял о причинах чернобыльской трагедии, реальном состоянии дел в затронутых бедой районах Белоруссии¹ и о дальнейших перспективах развития атомного энергопроизводства, рассказывал об опасениях и тревогах, которые вызывают у людей планы широкого строительства новых атомных станций.

Статья А. Адамовича и отзывы специалистов на нее вызвали поток читательских откликов. Нам присылают письма, статьи, шлют вырезки из местных газет и резолюции массовых митингов. Подавляющая часть откликов — это тоже «мнения неспециалистов», однако, как нам представляется, их аргументы, умонастроения, страхи и тревоги — такая же важная, требующая учета реальность, как и сейсмичность территории, на которой возводится атомная станция.

У человеческого общества, как показывают события последних месяцев, есть свой порог стойкости, игнорировать который недальновидно и опасно.

Не имея возможности вынести на страницы журнала все письма, поступившие в редакцию, мы публикуем их сокращенную подборку и извлечения из присланных материалов, отражающие, на наш взгляд, различные позиции читателей.

Наш город Наровля Гомельской области находится в зоне, примыкающей к Чернобыльской АЭС. В восьми километрах от нас проходит граница тридцатикилометровой зоны, поэтому нам близка и понятна озабоченность нашего белорусского писателя Алеся Адамовича. Все это довелось пережить и нам: и эвакуацию детей, вывезенных лишь 7 мая, и отправки на работу в зону для заготовки кормов, и невозможность сбыть личный скот из-за повышенного содержания радиации. Наблюдали и осторожность приехавших для встречи с нами ученых и медиков, которые приезжали со своими термосами и мешочками с бутербродами, но, однако, заверяли нас, что раньше, до аварии, у нас не хватало в воде йода, железа, а сейчас стало много лучше.

Мы приглашали этих товарищей приезжать отдыхать с семьями в эти края, раз тут так хорошо, но никто почему-то не приехал...

Летом 1988 года не более 50 процентов семей выезжали из зоны на оздоровление, да и как могут поехать те, у кого отпуск 15 — 18 дней? Почему на Севере получают дополнительные отпуска, а для наших районов этого нет? Не зря называют эти 30 рублей дополнительного пособия, которые мы получаем, гробовыми.

В районе снабжение из рук вон плохое: все продукты поступают по кооперативным ценам. Например, мясо 4 — 5 рублей за килограмм. Поэтому многие употребляют овощи, мясо, яйца, молоко со своих хозяйств...

Что практически сделано для оздоровления? По разу облили водой дома, кое-где вывезли грунт (а в частных огородах он так и остался), заменили заборы, крыши, об-

¹ На заседании Политбюро ЦК КПСС 24 января сего года обсуждалось положение дел в районах Белоруссии, подвергнувшихся радиоактивному заражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Выделяются дополнительные средства, центральным и местным органам поручено принять «дополнительные меры». Лучше поздно, чем никогда.

новили асфальт, получаем по три баночки мясных консервов на человека в месяц — вот и все. В районной газете поднимался вопрос о показаниях фона, но их так и не сообщают. Дети гуляют везде — на улице, в парке, — купаются в реке, загорают, возятся в песке. Дрова возим из прилегающего леса, в который вход и въезд запрещен (правда, по рекомендации тов. Ильина горшки в печах накрываются крышками)...

Анализы крови у детей ухудшаются, а где взять для них чистые продукты? Молоко условно чистое, овощи — условно, мясо — условно. Мы что — условно живущие? Зачем же, возникает вопрос, в этой условной зоне переводить бешеные деньги на строительство, на дезактивацию, на радиологические посты на дорогах, работники которых ленятся взять в руки дозиметр? Неужели некому подсчитать, что экономнее создать новые поселки и отселить людей, чем продолжать это разбазаривание средств?

Конечно, могут сказать, что никто нас не держит, но ведь никто нас и не ждет! Куда поедешь, да еще с семьей? Опять 10 — 15 лет ждуть квартиру?..

Почему члены нашего правительства, его глава могут ехать за границу, в другие страны и республики и ни разу не приехали к нам в Белоруссию, в пострадавшие районы Гомельской области? У нас много вопросов к ним, и, возможно, многое бы решилось с их приездом, но с приездом ради встречи с простыми людьми, а не с руководством.

В. Дьяконов, Л. Дебелова и другие
(всего 123 подписи).

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

По долгу службы мне сейчас приходится ежедневно читать десятки, а то и сотни писем, содержащих протесты против дальнейшего развития атомной энергетики от самых разных людей, чаще всего далеких от нее. Поток писем все растет, напряжение вокруг атомных новостроек увеличивается. Появились настоятельные требования общественности разрешить проводить митинги, демонстрации, марши протеста, референдумы против строительства атомных станций. Естественно, что на такие мероприятия мы, специалисты-энергетики, стремимся попасть, всячески пытаемся разъяснить ситуацию, поделиться опытом, развеять необоснованные страхи, ответить на вопросы людей.

Каков же первый итог этих встреч?

Во-первых, в большинстве областей и союзных республик движение против строительства атомных электростанций возглавили народные фронты борьбы за перестройку. Таким образом, почти автоматически получилось, что если ты за перестройку, то ты против атомной энергетики. Каково?

Во-вторых, как правило, общественность выступает не против энергетики или атомной энергетики вообще, а только против размещения крупных энергообъектов около своего дома.

В-третьих, все организованные и неорганизованные выступления направлены не на выяснение экологических либо технико-экономических особенностей строящихся электростанций, а сразу на поиски путей их закрытия. При этом улюлюканьем и свистом сопровождается любая попытка объяснить реальное положение дел с энергетикой в данном регионе или рассказать о тех способах повышения безопасности АЭС, которые внедряются сегодня в нашей стране и за рубежом.

Как же так получилось, что безответственность и некомпетентность воспринимаются как героизм, как борьба за перестройку, как выражение чаяний народа, а при одном только нашем появлении у микрофона пальцы складываются для свиста? В Казани, кстати, для этой цели используется сирена воздушной тревоги. Невольно возникает вопрос: а может быть, мы, энергетики, действительно стали проводниками ведомственных амбиций и зря отстаиваем право АЭС на существование?

Сотни тысяч людей в Крыму, на Украине, в Горьком, Казани, Ярославле, Прибалтике, Воронеже поднялись в единодушном стремлении пресечь развитие этой отрасли народного хозяйства, и только специалисты остались убежденными сторонниками атомной энергетики. Неуютно, признаюсь, плыть против такого бурного течения. И все-таки давайте еще раз попытаемся спокойно взвесить все обстоятельства, сопутствующие развитию АЭС, и дать им оценку среди других способов получения электричества и тепла.

Любая тепловая электростанция, дизель, двигатель внутреннего сгорания — одним словом, все, что сжигает органическое топливо, поглощает кислород и выбрасывает в атмосферу целый букет вредных окислов, и в том числе углекислый газ. Факт этот общеизвестен, но почему-то недооценивается. А ведь сегодня в мире сжигается около 10 миллиардов тонн так называемого условного топлива. Пока лесные массивы, оставшиеся на Земле, справляются с регенерацией, то есть обратным превращением углекислого газа в кислород. Но к 2000 году — всего через двенадцать лет — потребление органического топлива на планете удвоится и достигнет 20 миллиардов тонн условного топлива. При этом все леса мира, даже при условии, что с сегодняшнего дня их перестанут вырубать, а будут только высаживать, не смогут поддерживать необходимую концентрацию кислорода в атмосфере. Известно, что достаточно снизить содержание кислорода с нормальных 20—21 до 17—18 процентов, как наступает удушье и смерть. Так на что же мы надеемся? На то, что человечество сможет ограничить себя в автомобилях, самолетах, тепле, бытовых условиях, приостановить развитие промышленности?

А ведь это еще не все. Выбрасываемые при сгорании органического топлива газы создают вокруг Земли особый теплонепроницаемый слой, в результате чего развивается «парниковый эффект» — глобальное потепление на планете. Ученые предсказывают, что при нынешних темпах развития промышленности «парниковый эффект» может вызвать необратимые последствия для жителей Земли к 2020—2040 годам.

Если это не домыслы отдельных «горячих» голов (а похоже, что на сей раз мы действительно близки к исчерпанию возможностей атмосферы самовосстанавливаться), то надо уже сейчас подумать о международном законодательстве, ограничивающем темпы сжигания органического топлива во всех отраслях человеческой деятельности.

А что же взамен? А взамен:

ресурсо- и энергосбережение,

атомная энергетика,

гидроэлектростанции,

альтернативные источники энергии (ветер, солнце, геотермальные воды, приливы, биоэнергетика, энергия малых рек и т. д.).

Почему я в такой последовательности расставил пути преодоления надвигающейся катастрофы? Давайте разберемся.

С тем, что на первом месте стоит ресурсо- и энергосбережение, как правило, все согласны. И энергетики, и экологи, и экономисты.

Потребление электроэнергии в развитых странах, там, где главенствуют энергосберегающие технологии, к 2000 году увеличится, по некоторым оценкам, на 28 процентов по сравнению с сегодняшним днем. В развивающихся же странах, там, где энерго- и ресурсосбережение еще не в почете, увеличение потребления электроэнергии к 2000 году составит 46 процентов. Эффект от ресурсо- и энергосбережения, как видите, очень велик. Хотя справедливости ради надо сказать, что такого эффекта можно достигнуть только при определенном достаточно высоком уровне развития науки, промышленности, электроники, земледелия и при хорошо отлаженном механизме управления народным хозяйством.

Обратите внимание на тот факт, что само по себе ресурсо- и энергосбережение еще не позволяют остановить рост электропотребления, удастся только замедлить темп этого роста, приблизить его к темпу роста численности населения страны. Строительство новых генерирующих мощностей — это объективная необходимость для всех стран мира в обозримом будущем. Приходится подчеркнуть этот важный вывод, поскольку на некоторых встречах с общественностью мне доводилось видеть расчеты, из которых следует, что если мы в Советском Союзе в ближайшие годы наведем порядок в народном хозяйстве и внедрим ресурсо- и энергосбережение, то потребность в электроэнергии должна снизиться по абсолютной величине и можно будет не только прекратить строительство АЭС, но закрыть все действующие атомные и часть гидравлических электростанций. Это, на мой взгляд, неверно.

Почему альтернативные источники электроэнергии оказались на последнем месте? Нет, отнюдь не потому, что я не верю в их успешное развитие. Просто сегодня они существуют в виде отдельных лабораторных (макетных) или, в лучшем случае, в виде опытных образцов. Даже если с сегодняшнего дня в развитии альтернативных источников электроэнергии будут вкладываться такие же средства, как в развитие других энергетических технологий (а это, видимо, надо сделать), то до момента их

широкого промышленного внедрения пройдет не менее двадцати пяти — тридцати лет. Но ведь за это время мы, как уже было сказано, исчерпаем возможности нашей атмосферы. Человечество просто не может далее без ограничений жечь органическое топливо.

Таким образом, остаются атомные и гидравлические электростанции. Ирония судьбы состоит в том, что именно эти два вида электроэнергетики подвергаются сейчас наиболее активному противодействию со стороны общественности. Так что же, спросит читатель, если атомная и гидроэнергетика фатально неизбежны, значит, надо безропотно мириться с гниющими волжскими берегами и чернобыльскими взрывами? Ни в коем случае! Надо приложить максимум усилий для создания экологически чистых электростанций, сжигающих уголь, газ и нефть. Даже если предварительная подготовка и очистка топлива и внедрение дополнительных мер по очистке и переработке продуктов сгорания приведут к значительному удорожанию электроэнергии, то все равно это надо делать. Ведь «традиционная» энергетика останется основой для получения тепла и электроэнергии в ближайшие десятилетия во всем мире. Однако, если подтвердятся прогнозы экологов и снижение концентрации кислорода и развитие «парникового эффекта» станут угрожающими, следует решительным образом ограничить масштабы сжигания органики. Кстати, коснуться это должно не только электростанций, но и всех потребителей моторного топлива, металлургов, химиков. Вот это и будет тот самый случай, когда производства, поглощающие кислород и вырабатывающие углекислый газ, станут социально неприемлемыми, и не потому, что плохо работают очистные сооружения, а потому, что такова физическая природа явления. Для того же, чтобы эта ситуация не застала нас врасплох, следует уже сейчас не жалеть средств на развитие «альтернативных» источников энергии. Работа эта должна выйти из разряда любительских увлечений и стать государственной задачей. И выполнять ее должны специальные научные организации и производственные предприятия, у которых сие будет основной целью, а не факультативным промыслом, как сейчас.

Что же касается атомной энергетике, то она как раз призвана создать условия для перехода с «традиционной» на «альтернативную» энергетiku. Расчеты показывают, что даже при нынешних экономических и экологических критериях доля АЭС в общем энергобалансе должна возрасти с нынешних 11 до 25—50 процентов, в зависимости от региона.

Возможно ли в принципе обеспечить безопасность АЭС? Да, возьму на себя смелость утверждать, что это возможно.

Среди наиболее часто обсуждаемых недостатков и опасностей, которые таит в себе атомная энергетика, можно рассмотреть:

- использование большого количества воды,
- тепловое загрязнение природы, наличие радиоактивных отходов,
- возможность крупных аварий с плавлением топлива и выходом радиоактивных продуктов деления в окружающую среду.

Начнем с воды. Для работы 4—6 современных атомных энергоблоков достаточно иметь пруд-охладитель площадью в несколько десятков квадратных километров. Это могут быть небольшие естественные озера, затопленные овраги, искусственные пруды. В подавляющем большинстве случаев их удастся выбрать или создать без ущерба для земледелия. Вода в пруде-охладителе нужна для отвода тепла от конденсаторов турбин — это третий (по счету от реактора) контур охлаждения станции. С радиоактивными элементами вода третьего контура не соприкасается. Местное население и работники АЭС широко используют пруды-охладители для развития водных видов спорта. Есть и еще одна возможность использовать теплую воду прудов, но об этом чуть позже.

При работе станций вода в прудах-охладителях нагревается на 10—12 градусов по отношению к естественной температуре для данного сезона и поэтому испаряется несколько интенсивнее, чем в соседних водоемах. Так вот, работа всех атомных станций СССР сегодня приводит к испарению около 1—1,5 кубического километра воды в год. Для сравнения скажу, что, согласно подсчетам товарища Ф. Шипунова, только из Волги на промышленные, сельскохозяйственные и бытовые нужды невосполнимо расходуется около 40 кубических километров воды в год. Таким образом, вся атомная энергетика страны потребляет менее процента той воды, которая расходуется на народнохозяйственные нужды в европейской части СССР.

Теперь о тепловом загрязнении. Тепловое загрязнение существует реально. Если место для пруда-охладителя можно выбрать так, чтобы он не мешал ни земледелию, ни питьевому водоснабжению, ни рыбоводству, то избежать его нагрева на эти самые 10—12 градусов по отношению к естественной температуре не удастся. Температурный режим прудов-охладителей влияет на микроклимат вокруг АЭС и на развитие аквафлоры и аквафауны этих прудов.

Я не берусь рассуждать о том, насколько вредно это влияние, — не специалист. Хотя большую часть жизни прожил около АЭС, купался сам, купал детей, пил воду, ловил рыбу — в общем, делал все то, что и тысячи моих коллег, работающих в атомной энергетике. Но если профессионалы биологи начали выражать озабоченность, значит, надо проблему изучить и разобраться в ней досконально. Нам же, энергетикам, важно, что больше половины энергии, вырабатываемой реактором, сбрасывается в воду. Ведь коэффициент полезного действия атомного энергоблока не превышает сегодня 34—35 процентов. Долгое время считалось, что сбросное (так мы его называем) тепло использовать практически невозможно — слишком мала температура воды: 30—35 летом и 12—15 градусом зимой. Однако сейчас намечались некоторые пути использования сбросного тепла. На Курской АЭС попробовали воду из пруда-охладителя прокачивать по специальным трубам, уложенным в грунте. Результат получился обнадеживающий: два-три урожая овощей, ягод и кормовой зеленой массы в год. Экспериментом заинтересовались специалисты в области сельского хозяйства, ВАСХНИЛ, растениеводы. В сентябре прошлого года на Курской АЭС было проведено специальное совещание, посвященное проблеме использования сбросного тепла, заключены договоры с рядом научных организаций страны.

Еще большее впечатление производит рыбоводческое хозяйство, созданное на сбросном тепле Курской станции. Вся пищевая продукция, получаемая в зоне АЭС, подвергается тщательной проверке специальными службами так называемой внешней дозиметрии и санэпидемстанциями. Каких-либо факторов, способных повредить здоровью людей, до сих пор не обнаружено.

Перейдем теперь к радиоактивным отходам (РАО), образующимся при работе АЭС. Отходы эти делятся на две группы: высокоактивные (отработанное ядерное топливо) и низкоактивные (инструмент, спецодежда, изношенные детали механизмов и трубопроводов, мусор, фильтрующие материалы, упаренные до минимального объема жидкие радиоактивные растворы и т. д.). Сколько же этих отходов образуется на атомной станции? Один энергоблок мощностью 1000 МВт нарабатывает в год два кубических метра высокоактивных отходов — отработанного ядерного топлива. Легко подсчитать, что вся атомная энергетика СССР в год дает около 80 кубических метров таких отходов. Много ли это? Это объем средней двухкомнатной квартиры. Однако, и тут спору нет, в этих отходах сосредоточена значительная радиоактивность, опасная для человека и окружающей нас природы. Именно поэтому специалисты начали заниматься проблемой обращения с отходами АЭС еще в 50-х годах — одновременно с разработкой первых проектов атомных станций. За это время создана целая технологическая цепочка, включающая выгрузку топлива из реактора, его хранение в бассейнах на АЭС, перевозку в специальных транспортных контейнерах, хранение в централизованных хранилищах и т. д. Ни одна АЭС не может быть пущена, если не закончены строительно-монтажные и наладочные работы на оборудовании, предназначенном для транспортировки и хранения радиоактивных отходов. За этим следит Госатомэнергонадзор СССР. Многие, наверное, видели на фотографиях, как роботом загружаются в реактор свежие топливные сборки (еще их называют кассетами), — так вот в таком виде они и проходят весь цикл хранения и транспортировки. Ни на каком этапе их не надо разбирать, крошить, мельчить, то есть исключена возможность потерять частичку активного урана, что-то рассыпать, забыть или украсть.

Что же касается низкоактивных отходов, то их количество исчисляется десятками или сотнями кубических метров в год на одну АЭС и зависит от масштаба тех ремонтных, реконструктивных работ, которые проводились в данном году. Одна из основных задач персонала АЭС — так эксплуатировать станцию, чтобы отходов этих образовалось как можно меньше, а образовавшиеся отходы переработать, чтобы опять-таки всемерно сократить их объем.

Как я уже сказал, жидкие отходы упаривают до сметанообразной массы, горючие отходы сжигают в специальных печах с очисткой дымовых газов, негорючие — брикетируют, прессуют. Все это позволяет уменьшить объем отходов в десятки,

сотни раз. Только после этого переработанные отходы направляют на хранение в специальные емкости или железобетонные бункеры, расположенные на территории АЭС. Размер хранилищ обеспечивает работу станции в течение всего расчетного срока службы. За каждым таким хранилищем ведется строгий контроль, а при их сооружении соблюдаются необходимые меры, исключающие попадание радиоактивности в окружающую среду.

Теперь о радиоактивности. Замечено, что радиоактивный фон от ТЭС, работающих на угле, в 6—10 раз превышает радиоактивный фон от АЭС. Это связано с тем, что трансурановые элементы довольно равномерно рассеяны в земной коре. Таким образом, добывая любое полезное ископаемое, будь то уголь, руда или другие минералы, мы извлекаем на поверхность и какой-то объем радиоактивных элементов. Разница только в том, что в атомной промышленности каждый кубометр твердых, жидких или газообразных отходов очищается, контролируется и захоранивается, а в других отраслях промышленности отходы открыто хранятся в золе, шлако- или шламоотвалах.

Что же дает нам право надеяться на решение этой сложнейшей проблемы, объективно существующей в атомной энергетике? Да именно количество отходов. Будь их столько же, сколько образуется в угольной энергетике, металлургии или химической промышленности, не было бы и АЭС. То обстоятельство, что мы на атомных станциях имеем дело с сотнями, а не с миллионами кубометров отходов, что их можно строго учесть, переработать и надежно хранить, и дает нам такое право. Кстати, это же обстоятельство позволяет сегодня не принимать в спешке окончательного решения по способам длительного (на сотни лет) захоронения отходов. Есть несколько проработанных вариантов. Они различаются и предлагаемой конструкцией контейнеров, и глубиной захоронения, и требованиями к геологическим структурам, но пока мы в состоянии не спешить — лучше не спешить. Поэтому сейчас во всех странах, развивающих атомную энергетiku, идет основательное изучение этого вопроса, подбираются необходимые материалы, разрабатываются технологии, ведется обмен опытом. Решение о способе длительного захоронения отходов — ответственное решение, и принять его надо, располагая всей суммой современных знаний.

Вот здесь оппоненты вправе задать вопрос: «А как же быть, если станция отработала свой ресурс? Ведь в этом случае ее надо ликвидировать — и количество отходов многократно возрастет!» Да, это сложная проблема. Может быть, после проблемы повышения безопасности самая сложная в атомной энергетике. Но давайте и ее разберем по порядку.

Прежде всего: чем обусловлен срок службы АЭС, записанный сегодня в проектах станций, — тридцать лет? Во-первых, недостаточным знанием того, как изменяются свойства конструкционных материалов за этот срок. Ведь всей истории атомной энергетики немногим более тридцати лет. Во-вторых, за это время оборудование (в особенности системы контроля, управления и различные вспомогательные элементы станции) морально устареет.

Есть обоснованные прогнозы, позволяющие надеяться на то, что ресурс АЭС может составить пятьдесят — семьдесят лет. Однако всегда могут встретиться случаи, когда продление ресурса АЭС по тем или иным причинам невозможно или нецелесообразно. Что тогда? Тогда можно в имеющиеся строительные объемы (здания, сооружения), если это экономически обосновано, установить новую современную реакторную установку (демонтировав предварительно старую, отработавшую свой срок). При этом объем радиоактивных отходов, подлежащих переработке, сокращается до минимума, а станция получает как бы вторую жизнь.

Не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, что здесь все ясно и понятно. Важно понять, что эта проблема при всей своей сложности принципиально разрешима. Она, я бы сказал, не столько технического, сколько экономического свойства. Надо найти наиболее оптимальный способ ее решения, взвесив при этом и безопасность и стоимость работ.

Ну и наконец последнее: каков же риск крупных аварий с выходом радиоактивности за пределы АЭС, можно ли принципиально снизить этот риск? Интерес к этим вопросам у широких слоев общественности всего мира возник в связи с аварией на АЭС «Тримайл-Айленд» в США и особенно после аварии в Чернобыле. Последняя авария — самая крупная за всю историю атомной энергетики, из нее и давайте исходить.

Согласно материалам суда над виновниками аварии, происшедшее стало возможным в результате большого числа упущений и ошибок персонала станции. Много гово-

рилось о той обстановке, которая подготовила чернобыльскую аварию: это и самоуспокоенность людей, подкрепленная общим ликованием по поводу успешного развития атомной энергетики, и тот дух безответственности, который долгое время царил в нашем народном хозяйстве и не миновал энергетику, и общее снижение уровня профессиональной подготовки операторов АЭС, вызванное бурным развитием отрасли при нехватке в подготовке специалистов.

Чернобыль показал: для повышения безопасности надо в первую очередь воспитать и профессионально подготовить необходимое количество специалистов. Задача крайне трудная, но выполнимая. Для ее решения отобрано около десяти лучших союзных вузов и с ними заключены долгосрочные договоры на подготовку персонала для АЭС: создана сеть учебно-тренировочных центров и учебно-тренировочных пунктов, с тем чтобы было где провести первичный отбор и подготовку поступающих специалистов и постоянно поддерживать профессиональные навыки на должном уровне. Сейчас работают тренажеры на Нововоронежской и Смоленской АЭС, строятся еще 15. Постепенно начали мы вводить в практику психофизиологический отбор поступающих к нам специалистов — ведь не каждый человек способен встать к пульту современной электростанции. Кому-то лучше работать в лаборатории, в КБ — там, где не требуется принимать оперативные ответственные решения.

Второе направление работы по повышению безопасности АЭС — усовершенствование того комплекса оборудования, которое мы называем реакторной установкой. Это собственно реактор со всеми вспомогательными системами и устройствами, обеспечивающими его нормальное функционирование. Цель — достичь такого состояния, когда реактор становится нечувствительным к отдельным поломкам оборудования и ошибкам персонала. Мы называем это состояние внутренне присущей безопасностью.

Повинуясь физическим законам, а не только командам автоматики или оператора, реактор должен останавливаться и сохранять безопасное состояние до тех пор, пока не будут устранены все неполадки и исправлены ошибки. Это важнейшая задача современного реакторостроения. Мы надеемся, что к 2000 году в СССР и во всем мире будут строиться только такие реакторные установки. Принципиальные пути решения этой задачи намечены — сейчас надо воплотить их в конкретные конструкторские разработки, испытать на стендах, внедрить в производство.

Параллельно с этим идет непрерывная работа над повышением безопасности действующих и строящихся АЭС.

Часто спрашивают: а какова вероятность повторения чернобыльской аварии, каков риск? Так вот вся наша работа по повышению безопасности действующих, строящихся и проектируемых АЭС имеет целью приближение к величине один раз в сто тысяч и даже в миллион лет.

Ну а если все-таки?.. Если произойдет то самое сочетание дефектов и ошибочных действий, которое бывает один раз в сто тысяч лет? В этом случае наша задача — не дать радиоактивным продуктам аварии выйти за пределы станции. Это третья направленная работа над повышением безопасности АЭС.

Мировая и отечественная практика имеет несколько опробованных вариантов систем локализации продуктов аварии. Один из них — защитная железобетонная оболочка, закрывающая реакторную установку как бы гигантским колпаком. Во время аварии на АЭС «Тримайл-Айленд» такая оболочка выдержала испытание на прочность и герметичность — радиационная обстановка вокруг аварийного энергоблока осталась нормальной. Аналогичные защитные сооружения создаются теперь у нас. Все водяные реакторы мощностью 1000 МВт, которые являются основой нашей атомной энергетики на ближайшее будущее, снабжены такими оболочками. Кроме давления и температуры, возникающих при аварии внутри оболочки, она рассчитана и на внешние воздействия: землетрясения, взрывная волна, ураганы, даже падение самолета.

Я хотел бы повторить еще раз основную идею этой публикации. В атомной энергетике много сложных проблем, здесь изложена только часть, но среди них нет, как мы думаем, принципиально неразрешимых.

Надеюсь, что обстановка гласности и демократии, возрождающаяся сейчас вокруг нас, не позволит совершить прежних ошибок. Там, где общественность всерьез взялась за дело, там и дисциплина укрепилась, и качество работ заметно выросло, и головоулыбства стало меньше. Это видно и на строительстве энергетических объектов.

Что же касается нынешних бурных дебатов, ведущихся повсеместно вокруг проблем атомной энергетики, ну что ж, надо пройти и через это. Ничего, кроме

пользы, кроме повышения ответственности за принимаемые решения, это не даст, причем ответственность эту должны сознавать в полной мере как сторонники, так и противники дальнейшего развития атомной энергетики.

А. К. Полушкин,

главный инженер Главного научно-технического управления Минатомэнерго СССР.

Мне тридцать семь лет. Я простой рабочий. С 30 апреля по 30 июля 1987 года по призыву военкомата я работал на Чернобыльской АЭС по ликвидации последствий аварии.

Перед отправкой прошел медицинскую комиссию, где был признан здоровым и годным для работы в зоне радиации. Я был здоров.

Каков финал после Чернобыля?

В августе 1987 года я прибыл домой. И теперь не выхожу из больниц.

1987 год. Август, октябрь — больницы; декабрь — санаторий.

1988 год. Апрель — амбулаторное лечение; май, июнь, июль — больницы; сентябрь — амбулаторное лечение; октябрь — больницы.

В составе пятой роты я работал на крышах третьего и четвертого энергоблоков. Был старшим бригадиром, командиром отделения первого взвода. В нашем взводе было три бригады. Все эти бригады подчинялись мне как заместителю командира взвода. Наша рота считалась ротой кровельщиков.

Нас послали на крыши блоков, где были еще сотни рентген излучения. Сами понимаете, что защитных комплектов, спецодежды, кроме марлевой повязки, на нас не было. В период моего нахождения доза облучения была 10 рентген. Получив ее, мы должны были выводиться из опасной зоны. Дневная доза облучения — 0,25 — 0,30 рентгена. Но всего этого никто не придерживался. Работа была поставлена так, что никому ничего не надо.

Очень часто дозиметристы делали неточный замер радиации. Где надо было работать 5 минут, мы работали 15 — 20. Аппаратура измерительная была старой, показывала неправильно. Измерительные карандаши вообще были негодные. Больше дневной нормы писать было запрещено, так что с виду все было хорошо. Набрав дневную норму, спускались с реактора. Но здесь приходил раствор или битум, и нас снова посылали на крышу. Бардак был большой, который назывался «сложной обстановкой». Бедную крышу мы не делали, а просто мучали.

Чего было много, так это руководителей. Только сделаем, закончим работу — приходит другой руководитель. Начинаем ломать. Другой взвод делает заново. Пусть со мной встретится любой академик, профессор. Я ему прямо скажу и докажу, что с нашим здоровьем никто не считался. На крышу нас гнали просто как баранов. Свои 10 рентген мы набрали за тридцать—сорок дней. Как вы думаете, вывезли нас из опасной зоны? Как работали, так и продолжали работать. Когда я со своим отделением стал возмущаться, нас стали пугать прокурором.

Истинных чернобыльцев, которые ликвидировали аварию, всего несколько тысяч. Эти несколько тысяч положили всю тяжесть на свои плечи.

Со своим взводом я веду переписку. Ребята говорят: пока не поздно, надо выступить всем. Где найти такого прокурора, который бы возбудил уголовное дело против тех, кто с нами так обошелся? За спины других я на Чернобыле не прятался. За свою работу получил 10 почетных грамот. В каждой написано: «За мужество и героизм. За высокое профессиональное мастерство». Кто нас награждал, обещали всякие блага. Но потом все скоро забылось. А мы бодем.

В. С. Луценко

(Салехарг).

АЭС — НЕПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК

Виноваты ли люди в том, что у них складываются ужасающие образы, неблагоприятные впечатления о ядерной энергетике? Думаю, что нет. Серьезных аварий на атомных электростанциях, на урановых предприятиях, на военных ядерных комплексах в мире было множество. Случались и сотни инцидентов на ядерных предприятиях, каждый из которых мог перерасти в ядерную катастрофу. Поэтому нужны действитель-

но правдивые, аргументированные оценки степени безопасности использования атомных электростанций. Нужны честные, полные оценки экономичности и экологичности АЭС. Пока сторонники ядерной энергетики таких расчетов в пользу безопасности и приемлемости АЭС не привели нигде. Усилившиеся заверения о надежности АЭС после чернобыльской аварии, главным образом должностных лиц, больше сеют сомнений и настраивают общественность на скептический лад, а то и вовсе против ядерной энергетики.

По моим наблюдениям, в мировой ядерной энергетике происходят радикальные перемены, потому что опасность использования АЭС остается высокой, а экономичность и экологичность все еще убедительно и обоснованно не доказаны. Мне кажется, необходимо внести ясность хотя бы в фактологию.

Антиядерное движение усилилось после аварии 28 марта 1979 года на втором блоке атомной станции «Тримайл-Айленд», расположенной в шестнадцати километрах от Харрисберга, столицы штата Пенсильвания (США). Авария случилась из-за неисправности клапанов в охлаждающей системе. Четыре дня операторы не могли точно диагностировать повреждение. В итоге произошло расплавление активной зоны энергоблока. Экономический ущерб составил около двух миллиардов долларов. Катастрофа случилась в Америке, а в Европе уже скандировали демонстранты: «Пенсильвания — всюду!» Общим результатом массовой кампании против строительства и использования АЭС было то, что она, во-первых, заставила замедлить (либо законсервировать) темпы развития небезопасной ядерной энергетики, во-вторых, способствовала принятию ряда мер по повышению безопасности АЭС, в-третьих, вынудила правительства ядерных держав искать альтернативные экологические и безопасные источники энергии.

В то время наши лидеры атомных разработок продолжали считать, что советские станции достаточно надежны, в перестройке нуждаются программы ядерной энергетики у них, там, на Западе. Поэтому ни широкого обсуждения, ни пересмотра энергетической политики у нас не состоялось. В безгласное время мы просто не знали, что происходит в этой закрытой зоне. Да и сейчас, впрочем, ненамного больше знаем. Через десять лет наконец мы узнали о крупном пожаре на Белоярской АЭС 30 декабря 1978 года, в тушении которого участвовало более 1200 человек («Социалистическая индустрия», 21.10.88). Оказывается, основания для беспокойства были и в те годы, но никто не тревожился или не подозревал об опасности.

Чернобыльская катастрофа прямо-таки встряхнула мир и вызвала новую волну антиядерного движения во многих странах. По свидетельству Х. Бликса, сразу после аварии резко упали заказы на авиабилеты в Европу и резервирование номеров в европейских гостиницах. Известно, что ЕЭС наложило запрет на ввоз продуктов питания из зон поражения. Первоначальная информационная неопределенность и растерянность вызвали противоречивые чувства и реакции. Ведь повышение уровня радиации наблюдалось в 20 странах, в радиусе двух тысяч километров от Чернобыля. Причины для тревог у мировой общественности были. В Австрии и Италии, например, повышенное содержание йода-131 обнаружилось даже в молоке. Главная причина тревог, однако, в другом. Чернобыль мог оказаться всюду. Только в Европе имеется 177 энергоблоков (без СССР). 119 из них расположены на расстоянии менее ста километров от границ с другими странами.

Реакция на новую ядерную катастрофу и ее результаты на этот раз была более внушительной, чем в 1979 году. Опросы общественного мнения показали, что более чем две трети населения в странах Европы выступают против строительства новых АЭС, около половины — за закрытие действующих ныне станций. Даже во Франции, где наиболее сильна ориентация на ядерную энергетику, 59 процентов населения высказались против этого вида энергетики.

После чернобыльской аварии некоторые страны заявили о полном отказе от ядерной энергетики, ряд стран отложил принятие решения, в других резко упали заказы на АЭС, что привело к кризису отрасли. Поскольку наши специалисты упорно отрицают замедление темпа роста ядерной энергетики после крупной аварии, приведем фактические сведения, опираясь на данные МАГАТЭ. На 31 декабря 1987 года в эксплуатации находилось в мире 417 энергоблоков суммарной мощностью 296 876 МВт. В стадии сооружения было 119 блоков (мощность — 100 417 МВт).

После аварии на АЭС «Тримайл-Айленд» с 1980 по 1986 год начали строительство 99 энергоблоков, тогда как за такой же семилетний период с 1973 по 1979 год было начато сооружение 184 энергоблоков. Право же, наблюдается весьма заметное паде-

ние темпов строительства новых АЭС: на 85 единиц. Это означает, что инвестиции в ядерную энергетику за семь лет сократились примерно на 100 миллиардов долларов.

Чернобыльской аварией атомная промышленность нанесла сама себе новый тяжелый удар. В 1986 году было начато строительство лишь одного нового реактора «Иката-3» в Японии, тогда как в предыдущем году начато было сооружение 13 новых энергоблоков (в 1984-м — 10, в 1983-м — 20). Позитивных изменений в пользу ядерщиков в 1987 году не произошло. Число блоков в стадии сооружения продолжало резко сокращаться. Вот какова динамика за последние пять лет: в 1983 году в стадии сооружения было 207 блоков, в 1984-м — 170, в 1985-м — 156, в 1986-м — 144, в 1987-м — 119. Но такие очевидные тенденции и факты отрицаются нашими специалистами, которые занимают высокие посты в ядерной индустрии.

Всего лишь пять лет тому назад в стадии сооружения находилось 207 реакторов в мире, а к 3 декабря 1987 года это число упало до 119. Такая динамика, несомненно, характеризует предкризисное состояние отрасли. Кризис же неприятен. Он не только подвергает сомнению нынешний статус атомной промышленности, но и ставит отрасль в сложное экономическое и политическое положение.

Все же будем объективны. Суммарное число строящихся и уже подключенных в сеть энергоблоков остается пока стабильным и даже имеет слабую тенденцию роста: 1983-й — 520 блоков, 1984-й — 525, 1985-й — 530, 1986-й — 532, 1987-й — 536. Вводятся в основном те реакторы, которые начали строить ранее. И в ближайшие годы суммарное число строящихся и подключенных в энергосеть реакторов, по-видимому, стабилизируется, а затем будет снижаться. Впрочем, иногда бывают исключения. В 1987 году Тайвань неожиданно подключил 6 ядерных энергоблоков, которые ранее не учитывались как строящиеся. До этого Тайвань вообще не имел АЭС.

Коль скоро факт свертывания или замораживания ядерно-энергетических программ в мире стал принципиальным вопросом, следует назвать страны, определившие свою политику. Сразу после чернобыльской аварии правительство Филиппин прекратило строительство единственного реактора. В тот же год прекращено строительство двух энергоблоков в США. Единственный реактор строила Австрия в Цветендорфе, но правительство решило законсервировать его и в законодательном порядке запретило дальнейшую реализацию ядерно-энергетической программы.

Бразилия закрыла единственную действующую атомную электростанцию и приостановила работы на двух строящихся АЭС. В Китае несколько лет назад начали строить АЭС, но и там решили отложить свои планы сооружения ядерных реакторов. Вопрос о сроках закрытия существующих АЭС обсуждается и в ФРГ. Еще в 1985 году правительство Дании приняло решение никогда не развивать ядерную энергетику у себя в стране. Эти данные собраны Институтом по наблюдению за мировыми проблемами — Уорддуотч, которые опубликованы в журнале «Энергия» (1988, № 8).

С 1986 года в Швеции не строят новых АЭС, где в эксплуатации имеется 12 энергоблоков. Шведский министр энергетики и охраны окружающей среды и развития Биргитта Даль в августе 1988 года сообщила, что согласно опросу общественного мнения от 70 до 80 процентов населения страны высказываются против использования ядерной энергетики. По ее утверждению, опасной считает АЭС и правительство Швеции. Демонтаж 12 ядерных реакторов и 4 АЭС намечено закончить к 2010 году («За рубежом», 1988, № 34). Политика постепенного отказа от АЭС в Швеции подтверждается и данными МАГАТЭ. Правительства Финляндии и Нидерландов также отложили принятие решений о расширении своих программ по ядерной энергетике. В Японии на АЭС «Гэнкай» случилась авария и произошла крупная утечка радиоактивной жидкости из системы охлаждения, и жители города Сага потребовали демонтировать реактор.

Как свидетельствует институт Уорддуотч, с 1980 года в США не поступило ни одного нового заказа на строительство АЭС. Журнал «Тайм» также пишет, что после аварии на «Тримайл-Айленде» в США не поступило ни одного заказа на коммерческий ядерный реактор (21 июля 1986 года, стр. 52). По данным МАГАТЭ, с 1983 по 1987 год отменено 11 строек.

Интенсивную ориентацию на ядерную энергетику проявляет СССР. В настоящее время у нас строится 15 энергоблоков, второе место занимают США — 13 блоков, за ними идет Япония — 12 блоков, во Франции строится 10 реакторов.

Всю эту статистику я привел для того, чтобы читатель сам сделал вывод о том, действительно ли оппоненты политики ядерной энергетики «дезинформируют» обще-

ство о нынешних тенденциях в ее развитии, как в этом их обвиняют, или все-таки они говорят правду.

Руководители ядерной науки и индустрии утверждают: атомные станции безопасны, меры предосторожности принимаются. Заверять-то заверяют. И раньше заверяли. Но пока еще не созданы атомные реакторы нового поколения. Нет нужды доказывать, что обнаружение и устранение дефектов оборудования каждый раз после аварий никак не служит показателем высокой надежности техники и зрелости отрасли. Приемлем ли риск использования особо разрушительных объектов при условии неполного знания факторов опасности? Ответ очевиден. Но происходит невероятное. Атомщики не то чтобы постоянно стремятся выявить факторы опасности. Они, похоже, предпочитают избегать фиксировать их.

«Согласно выводам судебно-технической экспертизы уровень технологической дисциплины на Чернобыльской АЭС не соответствовал предъявляемым требованиям. На станции имели место систематические нарушения технологического регламента, значительно количество останков блоков по вине персонала. Не во всех случаях выявлялись причины нарушений, в отдельных случаях истинные причины нарушений скрывались... За период 1980—1986 годов в 27 случаях из 71 расследования вообще не производилось, а многие факты отказа в работе оборудования даже не регистрировались в журнале учетов». Это из обвинительного заключения персоналу ЧАЭС («Московские новости», 1987, № 32). И неспециалисту ясно, что каждая незученная, незарегистрированная или умышленно скрытая причина отказа оборудования, нарушения технического регламента может снова заставить врасплох.

Многое из того, что творится в атомной энергетике, у нас общественность не знает. Обзор же опубликованной информации о состоянии ядерной энергетике в мире позволяет заключить, что АЭС функционируют на уровне неприемлемого риска, в условиях чрезмерной угрозы и существенного превышения издержек пользы. За тридцать лет существования атомных станций случилось три крупные ядерные катастрофы: в 1957 году в Уиндскайле (Великобритания) произошла авария в реакторе с выбросом радиоактивных продуктов деления, в 1979 году на АЭС «Тримайл-Айленд» и в 1986 году авария на Чернобыльской АЭС. Удалось установить еще восемь случаев серьезных аварий на АЭС, когда происходил взрыв в реакторе, расплавление активной зоны, повреждение защитной оболочки: 1959-й — Санга-Сюзанна (США), 1961-й — Айдахо-Фолс (США), 1966-й — Детройт (США), 1969-й — Сен-Лоран (Франция), 1974-й — Вюргассен (ФРГ), 1975-й — Браун-Ферри (США), 1979-й — Ойстер-Крик (США), 1982-й — Джин (США). Повторюсь: дана неполная информация и меньше всего нам известно об авариях на АЭС в нашей стране.

Вот цифры, характеризующие состояние ядерной энергетике. После чернобыльской аварии бывший председатель Госкомитета по использованию атомной энергии СССР А. Петросьянц представил доклад в МАГАТЭ, где указывает: «Только за период с 1971 по 1985 год в 14 странах мира имела место 151 авария с разной степенью сложности и с разными (в том числе тяжелыми) последствиями для людей и окружающей среды».

В «Московских новостях» А. Горшков привел не менее тревожную статистику. За десять лет только в США произошло 169 аварий.

С 1983 года МАГАТЭ начало формировать Международную информационную систему по инцидентам на АЭС. К 1986 году база данных содержала 247 сообщений об авариях.

Не будем обсуждать степень серьезности всех этих многочисленных инцидентов, пожаров, аварий. Возьмем для оценки уровня безопасности АЭС лишь 8 крупных катастроф и 8 серьезных аварий, происшедших за тридцать лет существования АЭС.

Сначала следует определить, какой уровень надежности приемлем для АЭС. Важнейший критерий безопасности АЭС сообщил корреспонденту АПН главный конструктор Гидропресса Герой Социалистического Труда В. Стекольников. «В настоящее время считается,— говорит он,— что если вероятность серьезной аварии или отказа меньше, чем 10^{-6} в год, то такая степень безопасности приемлема» («Ленинградская правда», 28.03.87). Это означает, что из-за неблагоприятного стечения обстоятельств и сочетания разных факторов возможно лишь одно разрушение реактора за миллион лет. Но очевидно: чем больше тираж реактора, тем больше и вероятность аварии.

Учитывая общее число лет эксплуатации каждого реактора из 417 в мире с 1954 по 1986 год, вычислим вероятность крупной катастрофы. Оказалось, примерно раз

в пять лет ожидается в мире крупная катастрофа на АЭС! Серьезные аварии примерно раз в год, и чем больше будет построено АЭС, тем больше вероятность новых катастроф, серьезных аварий, имеющих общепланетарное значение. Усредненная же частота наступления катастроф для советских 55 блоков — раз в тридцать лет, серьезных аварий — раз в десять лет². Чем больше читаю издания МАГАТЭ и другие источники о состоянии ядерной энергетики, тем оглушительнее слышится мне колокол Чернобыля.

Положение после Чернобыля существенно не улучшилось. Случился ряд инцидентов на атомных станциях у нас и в других странах. Аварии продолжали происходить, несмотря на то, что после Чернобыля были приняты некоторые меры для устранения обнаруженных дефектов в реакторах. Думаю, что принципиальных улучшений эти меры не принесли и не способны принести. Современное же состояние атомной индустрии не способно удовлетворить требования массового тиражирования.

Н. И. Рыжков говорил, что «авария на ЧАЭС была не случайной, что атомная энергетика с некоторой неизбежностью шла к такому тяжелому событию».

Выше уже говорилось, что правительства ряда стран свою оценку ядерной энергетики выразили отказом от строительства и использования АЭС. Такие оценки и решения являются более суровыми и радикальными, чем несколько статей наших оппонентов АЭС.

МАГАТЭ проанализировало причины аварий, о которых сообщалось в агентство. 30,7 процента аварий происходило из-за ошибок в проектах, в изготовлении или из-за дефектов в установках. Аварии по причинам износа, коррозии, жидкостно-гидравлического воздействия составили 25,5 процента. По ошибке оператора происходит 17,5 процента аварий. Еще 14,7 процента случается из-за ошибок в эксплуатации. Все-таки доминирующим фактором риска при эксплуатации АЭС являются технические недостатки, а не ошибки оператора. Ошибки всей системы ложатся на плечи оператора, и ругаем и судим в основном его. Так происходит у нас во многих сферах народного хозяйства. Система обветшала, она нежизнеспособна, не соответствует напряжению времени, а обвиняется всегда стрелочник — исполнитель.

Любим мы очень все списывать за счет якобы расхлябанности советского человека. При этом даже не подозреваем: если есть действительное желание исправить дело, то нельзя структурные характеристики переносить за индивида. Разве шведский, датский или австрийский рабочий, строитель или оператор менее дисциплинирован, менее профессионален, чем советский? Вовсе нет. Правительства этих стран отказались от ядерной энергетики по иным мотивам. Они считают, что именно отрасль не готова гарантировать безопасность.

Говорю о важности структурных характеристик не потому, что у меня розовое представление о нашем специалисте. Не могли пройти даром годы сталинщины, брежневщины. За эти годы появились у людей отчужденность, пассивность, завистливость, безответственность, равнодушие и слабо развивались профессиональные качества, деловитость, обязательность, самостоятельность. На таких сложных, чудовищно мощных и потенциально угрожающих жизни объектах, как ядерные реакторы, недопустим даже небольшой процент «брака» человеческих качеств.

Мы знаем, что и у нас злоупотребляют спиртным и употребляют наркотики. В нетрезвом виде наш гражданин может сесть за руль автомобиля, даже управлять поездом или самолетом. Лично я данный фактор не исключил бы из числа важнейших. Какой-либо статистики по потреблению алкоголя или наркотиков работающих на наших АЭС я не встречал. Западные наши коллеги всегда сетуют на недоступность информации из Советского Союза, зная, что алкоголизм у нас является серьезной проблемой. Интерес этот вовсе не праздный и не враждебный. Чтобы оценить степень опасности, просто нужно знать, в чьих руках ядерный арсенал — и мирный и военный.

² Расчеты произведены старшим научным сотрудником Института социально-экономических проблем АН СССР, кандидатом физико-математических наук Т. Хачатуровой. При расчетах сделаны следующие допущения: надежность для всех АЭС примерно одинакова, надежность на всех АЭС во времени не меняется, все реакторы работали без остановок. Принятые нами гипотезы более оптимистичны, чем реальность, и в пользу АЭС.

Итак, нынешний уровень безопасности АЭС (шесть в десять тысяч лет для катастроф и две в тысячу лет для серьезных аварий и катастроф) неприемлем и слишком далек (в 1000 раз!) от уровня необходимой надежности (один случай в миллион лет), о котором говорят лидеры нашей ядерной промышленности. Специалисты по проблемам риска считают, что уровень риска 10^{-3} (один шанс из тысячи) неприемлем каждому. Готовность тратить общественные деньги на безопасность появляется лишь при уровне риска 10^{-4} (один из десяти тысяч). Средний человек может чувствовать себя в безопасности и не беспокоиться лишь при уровне риска 10^{-6} (один из миллиона). Причем добровольный риск должен быть значительно ниже, чем добровольный, риск для населения ниже, чем риск для работающих на опасных объектах.

Специалисты-атомщики убеждают общественность, что АЭС представляет собой самый экономичный и экологичный вид энергетики. Но достоверные расчеты, к сожалению, отсутствуют. Оттого и много скепсиса. Публикуются же очень противоречивые оценки. Вот результаты одного расчета: «Себестоимость энергии на ГЭС в 1986 году составляла 0,152 копейки за киловатт-час, а на ГЭС и АЭС — 0,975, то есть была в 6,4 раза больше».

Наблюдения института Уорлдуотч тоже не в пользу АЭС.

В США ядерный коллапс начался под действием экономических сил, связанных с тем, что рост потребления электроэнергии замедлился после 1980 года до 1,8 процента в год. Так как ядерная энергия оказалась самой дорогостоящей (по отраслевым данным, на новых АЭС она примерно в 2 раза дороже, чем на угольных электростанциях), то именно ее производство свертывается в первую очередь.

Атомная энергетика — сложный и многоотраслевой комплекс. Многомиллиардные инвестиции здесь вкладываются в содержание сотен научных и проектных институтов. Многомиллиардные инвестиции вкладываются также в строительство предприятий, обеспечивающих сооружение АЭС, добычу и обогащение урана, захоронение отходов и предприятий по переработке ядерного топлива, наконец, захоронение самой АЭС, отслужившей свой срок. В миллиарды рублей обходится строительство АЭС и так называемого соцгородка с населением около 30 тысяч человек. Надо затратить миллиарды рублей на кадровое обеспечение отрасли. В случае аварии материальный ущерб также измеряется миллиардами, а цена человеческой жизни и ущерб природе просто не поддаются измерению. Нельзя забывать стоимость земли, которая отводится под АЭС, стоимость больших водоемов, необходимых для охлаждения реактора.

Если будут сделаны расчеты с учетом всех видов расходов, то может оказаться, что АЭС — убыточная отрасль. Тогда возникают и политические, и нравственные, и экономические проблемы. Поверив в миф об экономичности ядерной энергетики, мы, по всей видимости, оказались в своеобразной ловушке, обрекшей страну отчасти на отставание. Ведь уже затрачены сотни миллиардов рублей на эту отрасль, которые могли быть более рационально израсходованы для развития других сфер общественной жизни.

Опыт показывает, что опасные инциденты происходят и при транспортировке отработанного топлива, изотопов. В 1971 году в США создана единая система отчетности об авариях, связанных с перевозкой опасных веществ. С 1971 по 1978 год при перевозке радиоактивных веществ там произошло 389 аварий, других опасных веществ — 77 312. Из добровольно представленных 70 отчетов об авариях в 24 отчетах фиксировалась утечка радиоактивных веществ. Может быть, там больше разгильдяев, чем у нас? Вряд ли.

Похоже, что ядерная энергетика — неприемлемый риск с точки зрения ее экономичности и экологичности.

К. Муздыбаев
(Ленинград).

НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

...Народное хозяйство страны понесло в годы так называемого застоя сокрушительный урон. Если в энергетике США имеется 30 процентов резервных мощностей, то у нас из года в год, из пятилетки в пятилетку шло отставание вводов, наша промышленность работает в условиях жесткого фондирования и лимитирования электроэнергии. Ежедневно и ежечасно службы Энергонадзора контролируют потребите-

лей электроэнергии. Упаси боже попасть в переборщики! (Есть такой термин.) Как развивать промышленность, другие отрасли? Сказать, что электрификация сельского хозяйства у нас в жалком состоянии,— это значит мягко выразиться...

А. Адамович предлагает не размещать АЭС в европейской части СССР. А в конце 70-х — начале 80-х годов академик Н. А. Доллежал (кстати, автор чернобыльского блока), доктор экономических наук Ю. И. Корякин и другие товарищи, убоившись своего детища, выступили в журнале «Коммунист» и других изданиях с идеями выноса атомной энергетики в северные районы. После эти предложения были представлены в ЦК КПСС. В то время их, по-видимому, обосновать не удалось.

Следует заметить, что по своим инженерно-геологическим условиям вряд ли Север имеет достаточное количество территории для размещения АЭС в таких масштабах.

В Поволжье и на Каме строится и проектируется 7 АЭС. Комментарии излишни. На Урале Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова с реактором на быстрых нейтронах — в непосредственной близости от Свердловска. На Урал атомщики смотрят с большой надеждой. Но коренной Урал по концентрации промышленности, загазованности и запыленности воздушного бассейна, загрязненности водоемов сравним разве что с Рурской областью в Германии. Находясь на водораздельной части хребта, промышленные центры Урала испытывают хронический дефицит воды. По данным того же самого Минводхоза СССР, в реках Урал, Тобол, Миасс, Исеть, Ишим для энергетиков воды нет. Только северо-восток региона мог бы изучаться, но там условия строительства приближаются к сургутским.

Что за Уралом? На протяжении многих лет рассматривалась возможность транспорта электроэнергии в грандиозных размерах из восточных районов страны в европейскую часть СССР, проектировались Экибастузский и Канско-Ачинский топливно-энергетические комплексы... Однако нет ни энергокомплексов, ни дальних электропередач по многим, и очень веским, причинам.

Атомная программа чрезвычайно капиталоемкая. Запомнился тот период, когда сметная стоимость Березовской ГРЭС-1 на канско-ачинском угле перевалила за миллиард рублей. Экспертиза требовала снижения стоимости, ростовские сметчики месяцами сидели в головном Теплоэлектропроекте в Москве, пытались что-то сделать. А разве теперь энергетиков удивляет, что АЭС стоит нам 2—3 миллиарда рублей? Привыкли? Для хорошего дела труда не жалко? (Дело в том, что половина стоимости АЭС — строительные-монтажные работы.) Отдаем ли мы себе до конца отчет в том, что через двадцать — тридцать лет мы должны будем такими же крупными затратами труда и материалов выполнять снятие АЭС с эксплуатации?

И здесь, похоже, наступает «момент истины»: атомщики должны нам дать такую технику, которая будет надежно работать тридцать — пятьдесят лет, а затем технологично и безопасно сниматься с эксплуатации. А если таких реакторов сегодня в СССР нет, то необходимо огромные капиталовложения, предназначенные для сооружения новых АЭС, перераспределить так, чтобы львиная доля досталась промышленности для целей энергосбережения, так как наивно полагать, что с помощью одних призывов можно экономить электроэнергию, не осваивая новых энергосберегающих технологий. Выигранное время — пока кривая потребности в электроэнергии снова не пойдет круто вверх — необходимо очень рачительным образом использовать для интенсивных научных исследований по направлениям, выдвигающим нас на качественно более высокий уровень (и по ним мы непростительно отстаем!):

газотурбинное машиностроение и создание парогазовых установок,
газификация твердого топлива,
обессеривание топлива и серочистка дымовых газов, борьба с выбросами окислов азота,
поиск внутренне безопасных ядерных реакторов.

Перед лицом чернобыльской трагедии не следует обвинять А. Адамовича в организации кампании против АЭС, тем более что он говорит о приостановке, а не о полном прекращении строительства АЭС. А. Адамович от имени широкой общественности требует доказательств правильности выбора путей научно-технического прогресса в энергетике.

А. И. Зайцев, И. В. Верницкая
(Свердловск, уральское отделение института Энергосетьпроект).

Я согласна со всем, что говорится в статье Алеся Агамовича, а мнения специалистов считаю враньем. Вот только в статье говорится, чтобы не строить АЭС в европейской части страны; но вот собираются строить у нас в Приморье, и это нисколько не лучше, чем в Белоруссии.

В решении строить АЭС в Приморье появилось что-то новенькое: электроэнергия пойдет в КНР и КНДР для ускорения развития соседних районов этих стран и для укрепления интернациональной дружбы. Я не имею ничего против интернациональной дружбы, но нужно ли нам возлагать Приморье на этот алтарь и делать его ядерным заложником?

Сначала речь шла только о строительстве ГЭС на реке Большой Цесарке, о АЭС не упоминалось. В местной печати, по радио и телевидению стали выступать сторонники и противники этого проекта, так что видимость обсуждения была создана. Но только противников строительства сразу зачислили в «некомпетентные», а сторонников в «компетентные». Руководители края объявили альтернативные источники энергии нигде не годными, а избыточные мощности действующих электростанций (в настоящее время они используются едва ли на 50 процентов) — резервом, который через десять лет будет исчерпан, и край будет поставлен перед энергетическим голодом... Альтернативные варианты АЭС и ГЭС на Большой Цесарке пытается выдвигать в крайисполкоме депутатская группа горсовета, но пока крайисполком делает вид, что ничего не замечает, и наступает на природу по такому широкому фронту, что трудно и сориентироваться, понять, за что в первую очередь хвататься...

Рылова
(Владивосток).

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕСТЬ

Я хотел бы привлечь внимание к солнечно-водородной энергетике (СВЭ).

По мнению многих международных экспертов (в частности, высказанному на недавней VII Международной конференции по водородной энергетике в Москве), СВЭ — это надежная перспектива развития энергетики на безграничный период времени. СВЭ абсолютно безвредна в том смысле, что не создает никаких веществ, которых не было в природе. Источниками энергии служат либо фотоэлектрические полупроводниковые элементы (например, на аморфном кремнии), либо солнечные пруды с турбоустановками и электрогенераторами, либо ветровые электростанции. Передача энергии и ее распределение между потребителями производится, во-первых, обычным образом — по проводам, и, во-вторых, газообразным или жидким водородом по трубам или в сосудах. Во всех вариантах водород получают электролизом — расщепляя воду на кислород и водород. На это расходуется часть выработанной электроэнергии. Техника электролиза уже хорошо разработана, никаких загрязнений она не создает.

Масштабы СВЭ для нашей страны практически неограниченны. Так, например, достаточно 7 процентов площади наших пустынь покрыть солнечными прудами, чтобы получить всю необходимую электроэнергию. Подсчитано, что достаточно занять 7 процентов площади пустынь США фотоэлементами — и получить всю электрическую мощность США.

Негативную роль сыграли уродства нашей экономической науки. СВЭ сравнивают с традиционной (угольной и атомной) энергетикой и находят более дорогой и поэтому неприемлемой. Но здесь обычно нарушается основное правило сравнения — одинаковость конечного эффекта. СВЭ никак не загрязняет природу и не грозит человеку. Внедрение мероприятий такой же степени защиты в угольную и атомную энергетiku сразу же сделает их много дороже (в 2—3 раза). Сравнить надо даваемую потребителю одинаковую энергию при одинаковой степени ее чистоты и безопасности. Но это условие упорно не соблюдается, поэтому СВЭ проигрывает сравнение. Вот где нужен голос общественности!

Нельзя умолчать о том поистине жалком уровне, на котором находится СВЭ в нашей стране в сравнении с другими странами. По масштабам внедрения разница в 100 или даже в 1000 раз. Так, например, в США только в Калифорнии действуют ветровые электростанции мощностью в 1,5 миллиона киловатт, ежегодно вводятся 25 тысяч кВт электрической мощности от фотоэлементов. В Израиле действует опытная энергоустановка с солнечным прудом, мощностью 5 тысяч кВт. Таких примеров можно приводить еще очень много. К сожалению, они никого не убеждают в нашей

стране. Уровень финансирования работ по СВЭ ничтожный. В то же время можно с уверенностью утверждать, что выделение для начала хотя бы 10 процентов средств, ныне даваемых на развитие атомной энергетики, решило бы проблему радикально. Их хватило бы на машиностроение и строительство.

Е. И. Янтовский
(Москва).

...По-видимому, проблема экологически безвредной энергетики (если это вообще в принципе возможно) состоит в использовании солнечной энергии в кратковременных циклах, например водородном.

Что касается атомной энергии, то это уже относится к космическим циклам, и если (впрочем, это «если» может оказаться существенным) здесь возможна экстраполяция, то этот цикл может вызвать не только гибель всего живого, но и самой Земли как небесного тела.

Что касается кратковременных солнечных циклов, то, поскольку все живое существует за счет таких натуральных циклов, при переходе на искусственные циклы такого рода особых экологических трудностей ожидать не следует. Практическая возможность использования искусственного кратковременного цикла, в частности водородного, сегодня уже не вызывает сомнений.

На одной из ежегодных конференций (я там был) покойный академик Легасов приводил пример сельскохозяйственной фермы (то ли в Канаде, то ли в США), несколько лет живущей на энергетическом обеспечении за счет водорода, получаемого с помощью солнечной энергии и используемого для освещения, отопления и топлива для сельскохозяйственных машин. И видятся мне в маниловских мечтах ветряные двигатели и солнечные батареи на крышах высоких зданий в городах, преобразующие полученную энергию в водород, являющийся, по сути дела, аккумулятором энергии, хранящийся на той же крыше и используемый в топливных элементах по мере необходимости для освещения, отопления и кухонных нужд. Кстати, несколько лет назад в московском Доме ученых демонстрировался водородный генератор мощностью 50 кВт, размером с двигатель «Жигулей». Что касается деревни, то приведенный пример с фермой не требует дополнительных рассуждений. С точки зрения техники, все это не сложнее домашних холодильников и электроники даже без видео. Солнечные батареи используются давно и успешно в наших космических кораблях. Организовать их поточное производство не очень сложная задача. Топливные элементы используют в своих космических аппаратах американцы. Если нет своих, не грех и купить.

Вся эта внешняя простота на самом деле требует крупных научно-технических и организационных усилий, а также энтузиазма.

В. Васильев
(Харьков).

Не могу не принять участия в обсуждении, так как с мая 1977 по декабрь 1987 года я работала старшим инженером-конструктором на Чернобыльской АЭС... Многие технологические огрехи проектировщиков пришлось решать нам.

После пуска 1-го блока ЧАЭС в 1977 году наш отдел (7 конструкторов, из которых только 3 были допущены в зону строгого режима) тут же принялся за проектирование систем пожаротушения машзала, его кровли, кабельных коридоров, центрального зала, баков с дизельным топливом и др. То, с чего надо начинать монтаж, отсутствовало и после пуска станции. Не случайно почти на каждой нашей станции еще до их пуска горят кабели. Не было предусмотрено проектом удаление со станции отработанных загрязненных масел и места хранения горюче-смазочных материалов. Вот персонал и прячет все это по закуткам, спасаясь от пожарной инспекции.

Негде ремонтировать многотонное оборудование турбин. Ремонтники вынуждены ставить его рядом с турбинами, прямо на перекрытие, не рассчитанное на эту нагрузку. Чем грозит разрушение перекрытия — ясно и неспециалисту.

При ремонте громоздкого оборудования в тесных, душных боксах без малейших намеков на механизацию и возможность втиснуть ее туда рабочему помогает кувалда и трехэтажный мат в адрес проектировщиков. Вот и вся культура производства... Не лучше обстоит дело и на самом реакторе. Ремонтируя оснастку при любой аварийной ситуации (разрыв тепловыделяющей сборки, обрыв стержня и т. д.), выполняли на

месте «судорожно-срочно», потому что такие случаи, видимо, не были запланированы проектировщиками. Несовершенство технологии транспортировки. Если проектировщики не продумывают основные технологические процессы, то где уж тут заботиться об экологической чистоте!

Я не спущаю краски, это совсем малая часть огрехов нашей АЭС. На других положения ничуть не лучше, а то и хуже...

Думаю, что низкая культура проектирования порождает низкую культуру производства, не способствует уважительному отношению монтажников и рабочего персонала к своему предприятию...

До глубины души возмутило нас, припятчан, выступление в печати академика Ильина. Оказывается, в отношении нас все меры были приняты, мы были предупреждены, детские учреждения не функционировали, да и вообще мы пострадали меньше других. Да неужели после таких предупреждений нашлись бы матери, позволившие своим детям играть в песочницах, бегать по лужам дезактивационных растворов, везти бы их в колясках в сторону станции? Неужели бы работали люди в садах, из которых был выведен 4-й блок, рыбачили бы, возились в гаражах рядом с «рыжим лесом»? Тщетно ждали жители Припяти разъяснений по местному радио, а раз его не было — значит, все в порядке, мы еще во что-то верили. Оказывается, медики ждали, когда наши детишки получат по 25 — 75 бэр в соответствии с «критериями»!..

Не лучше было и в тех деревнях, куда вывезли наших жителей. Моя дочь с внучкой, соседи с детьми попали в с. Оргжоникидзе, недалеко от пионерлагеря «Сказочный». Помогали селянам сажать картошку, пили молоко, радушно предлагаемое людям, их приютившими. Никто не замерял уровень загрязнений травы, почвы, молока, не было никаких рекомендаций, пока не приехал наш работник с прибором для контроля. Уровень загрязнения оказался достаточно высок. Не знаю, как жители этого села, но ни моя дочь, ни внучка до сих пор не проходили проверки на внутреннее содержание радиоактивных продуктов, как не проходила ее и я, работник станции. 28 апреля я в течение десяти часов еще работала на станции, а с 15 июля приступила к работе по вахтовому методу. Не сомневаюсь, что таких «прошедших проверку», особенно среди детей, немало, в том числе среди белорусских жителей.

В. Е. Заболотных
(Киев).

...Хочу подчеркнуть абсолютную обоснованность трех положений (тезисов) выступления писателя А. Агамовича:

атомные станции опасны,
ведомственные тайны в этой области противоречат интересам народа и государства,

действия медицинской службы в момент и после аварии заслуживают критики.

Глобальные экологические принципы геогигиены (в свое время не оцененной новой медицинской дисциплины, созданной в нашей стране заслуженным деятелем науки Николаем Васильевичем Лазаревым) приводят к выводу о неизбежной замене топливной и атомной энергетики источниками безопасной и неограниченной геотермальной и солнечной энергии.

«Безопасных ядерных реакторов не бывает, даже когда они не горят и не взрываются», так как:

рост атомной энергетики неизбежно ведет к нагреву, а затем и перегреву атмосферы и катастрофическим изменениям климата (в соответствии с предсказанием лауреата Нобелевской премии академика Н. Н. Семенова);

даже при идеальной работе АЭС загрязнение среды (пусть незначительное, но перманентное) неустранимо;

проблема захоронения все нарастающего количества радиоактивных шлаков не имеет надежного решения;

не существует безвредных способов добычи и переработки ядерного горючего и гарантированно-безопасных способов его транспортировки.

Постоянное накопление в биосфере радиоактивных изотопов в результате использования (военного и гражданского) атомной энергии представляет собой угрозу для всех обитателей нашей планеты (на поверхности земли Подмосковья, например, концентрация стронция-90 в 1956—1965 годах возросла в 30 раз!).

Закрытая сфера радиационной медицины, которой еще не коснулась освежающая волна гласности, не выполняет своих гражданских и профессиональных функций, скрывает региональные и глобальные последствия аварии на ЧАЭС — последствия, которые серьезно анализируются в мировой литературе и попытки замолчать которые наносят вред обществу.

В системе здравоохранения не должно быть закрытых (тайных) учреждений (таким является Институт биофизики). Задача медицины — лечить и предупреждать болезни. Какие же научные достижения имеет право скрывать от общества медицина, за счет которого она существует? Секретом могут оказаться аморальные установки или бесплодные итоги работы этих институтов.

В качестве примера можно привести грубые ошибки в изданной под редакцией директора Института биофизики академика АМН СССР (нынешнего вице-президента этой академии) Л. А. Ильина монографии «Неотложная помощь при острых радиационных воздействиях». Здесь приводятся величины предельно допустимого и опасного содержания некоторых радионуклидов. Сопоставление их приводит к абсурдным выводам: получается, что «опасные» дозы стронция-90, цезия-137, полония-210, радия-226 в четыре — сто раз меньше «предельно допустимых».

Антиобщественный и антигуманный характер деятельности «закрытой радиологии» проявляется также в попытках скрыть правду и доказать, что работа по ликвидации аварии на ЧАЭС никогда и ни у кого не оказала влияния на состояние здоровья и что последующие болезненные явления (часто временные формы вегето-сосудистой дистонии) никакой связи с этой работой не имеют. Так официально утверждает начальник отдела радиационной медицины Минздрава СССР В. В. Редькин, категорически отвергающий жалобы больных «ликвидаторщиков» на несправедливое к ним отношение (см. в «Медицинской газете» от 4 ноября 1988 года «Эхо Чернобыля»).

Нетрудно доказать, что В. В. Редькин пишет неправду. «В «Известиях» от 9 августа 1988 года приводится справка (тоже официальная) Управления внутренних дел Киевского облисполкома, где сказано: «Со дня аварии в ликвидации ее последствий приняло участие 16,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел республики... При этом 57 человек заболели лучевой болезнью, 4750 — вегето-сосудистой дистонией» — и т. д.

Не надо думать, что сотрудники Министерства внутренних дел представлены иной породой человечества, особо чувствительной к ионизирующей радиации. Но у медиков УВД другая система подчинения. А множество гражданских врачей в разных городах, так же как медики УВД, независимо друг от друга ставят отдельным участникам ликвидации аварии на ЧАЭС тот же диагноз: вегето-сосудистая дистония. Отменяют связь этих заболеваний с пребыванием в аварийной зоне представители закрытой радиационной медицины.

Понятно, что несправедливое отношение к больным, мужественно выполнявшим небезопасное государственное задание, вызывает поток жалоб, одну из которых подписали 50 пациентов — бывших участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. И приходится согласиться с авторами коллективной жалобы, что предвзятое отношение к ним противоречит правительственным решениям, унижает их человеческое достоинство, ущемляет законные права и дискредитирует государство перед обществом. «В истории нашей страны, — пишут они, — достаточно страниц, вызывающих горькое сожаление... чтобы начинать новую вокруг чернобыльской катастрофы».

Л. Саломон,

доктор медицинских наук.

Я относительно молод, по многим затрагиваемым здесь вопросам тоже «неспециалист». Работаю председателем колхоза в Краснопольском районе, том самом, люди и продукты которого в глазах части сограждан если не обречены, то по крайней мере «не от мира сего».

Мы, краснопольчане, часть тех, кого постигла незавидная участь, своеобразная «столица» Могилевщины.

Впрочем, здесь чернобыльским взрывом обнажено и открылось миру множество проблем, копившихся десятилетиями. История Чернобыля не написана еще, как раз она, эта история, и воздаст должное каждому из нас.

В апреле — мае 1986 года несколько дней кряду гул сильный юго-восточный ветер. Земля на огородах, осадок в ведрах и другой посуде, где собиралась дождевая вода с крыш, имели красный цвет.

В ряде мест и в 1986 и в 1987 годах люди замечали необычное: желто-зеленого цвета налет. Дозиметрист хозяйства — штатная должность, рожденная апрелем 1986 года, — с опаской подносил прибор, полагая, что воочию видит цезий и стронций. Сведущие люди успокаивали: таков след специальной жидкости, применявшейся для осаждения продуктов выбросов реактора.

Не в тридцатикилометровой зоне, а за двести верст на головы людей, на поля и деревни Краснополя без оповещения, без предупреждения осаждались средствами техники, продуктами химии радиоактивные облака. Как назвать эти действия?..

Что принес нам Чернобыль, какие произошли изменения?

Медики работают в тех же условиях, что и десятилетия назад. Дополнительную дозу рентгеновских лучей каждый проживающий в Краснопольском районе получает при флюорографировании. Три года назад обещали нам новое оборудование — все еще ждем.

Достоверны ли приводимые иногда цифры? Насколько глубоко мы знаем ситуацию? «Не знаем, и необходимо изучать», — признает главный врач района, выступая перед делегатами районной партийной конференции.

«В пищу пригодны продукты...» — перечисляет на страницах газеты главный санитарный врач района, называя среди прочих и мед. «Ни в коем случае!» — предупреждают специалисты санэпидстанции Могилева, проверив тот же самый мед на загрязненность.

«Молокогодно, можете пить», — успокаивают в районной санэпидстанции, отказываясь, впрочем, назвать уровень загрязнения. «Молоко загрязнено в пять раз выше норм!» — предупреждают специалисты ветбаклаборатории, проверив молоко из той же крынки.

«Разные методики дают разные результаты», — сетует главный санитарный врач, объясняя существование двух столбиков разных цифр на одном листе бумаги.

«Превышение допустимой концентрации выявлено у 81 человека из десяти тысяч обследованных», — говорит главный санврач и, сомневаясь, добавляет: — Конечно, их наверняка больше, и реальная картина совсем иная, но нас не слушают, дозиметры не носят».

Так почему это? Из-за легковесности представлений об опасности? А может, глубже причина — за бравадой кроется тревога, протест: «Дозиметры не спасут от облучения, не хотим быть вашими подопытными»? Нет, не о простой информированности здесь надо вести речь, нужно завоевать доверие людей, настойчиво и на деле доказывая, что медицина и наука хочет им помочь, их же предохранить. Нельзя забывать как «незначительную мелочь», что краснопольчане изо дня в день все двадцать четыре часа в сутки вдыхают и топчут ногами и цезий, и стронций, и всю таблицу Менделеева...

С чего доверять нашей медицине? При постановке диагноза степень облучения больного не учитывается. Не знают, наверное, как учесть, хотя в амбулаторных картах жителей I и II зон загрязненности (наиболее пораженных) это записано.

Каждый желающий может проверить себя на счетчике импульсов человека (СИЧ), аппарате голландского производства, установленном в районной поликлинике, но не все могут разобраться: «У меня 70. А у тебя?»

Медикаментозное лечение такое же, как и до апреля 1986 года. Средств, призванных снижать уровень накопления радионуклидов, способствующих выведению их из организма, практически нет. Как правило, весь упор — на «чистое питание», на «чистые корма». Верна ли эта стратегия?

Обеспечение населения «чистыми продуктами питания» регламентировано. Говядину, свинину поставляет Кричевский мясокомбинат, перерабатывающий в числе прочих и продукцию радиоактивных районов. Молочные продукты — из Могилева, Кричева. Получаем тушенку три — пять банок в месяц на душу. Овощи, картофель — собственного производства. Фрукты — тем более. Немало молока и мяса потребляется своего, домашнего. Какую долю в питании краснопольчан составляют «чистые продукты», которых, как и везде, не хватает?

И голландец СИЧ равнодушно отражает довольно противоречивое положение в деревнях I и II зон заражения (деревни III зоны в расчет не принимаются, о IV речи нет вообще, разве что плановые медосмотры с обязательной допдозой флюорографии).

Статья Алеся Агамовича полезна и потому еще, что пытается стянуть с умов оцепенение самоуспокоенности, самообмана, ложного благодушия.

Ионизирующее излучение бесцветно, безлико, но оно имеет вкус, принося ощущение горечи и сухости губ, головные боли, онемение кончика языка. И коли случилось то, что случилось, давайте смело посмотрим в лицо реальности и сделаем все, чтобы помочь людям.

Проблемы Чернобыля тесно связаны с уровнем сельского хозяйства. Перепахиваем поля, вносим минеральные удобрения, щедро льем ядохимикаты на основе принятых интенсивных технологий. Минеральных удобрений на основе приказа Госагропрома СССР от 1986 года (и повторенного в 1987 году) вносится больше, с запасом. Этим преследуется цель: за счет повышения урожайности, применения калия, кальция (своеобразных антиподов цезия, стронция) разбавить радионуклиды в большой массе продукции, создать условия, при которых поступление изотопов в растения ограничивается, регулируется самими растениями. Реализации этой «радиационной агротехники» препятствуют многие проблемы. Они не новые, они порождение общего долголетнего упадка села. Чернобыль их только выпятил.

За три года послечернобыльской эры было немало семинаров по производству «чистой продукции», проведению дезактивации. Самое первое состоялось 12 мая 1986 года, когда спустя 16 дней была зачитана телеграмма, поступившая в районное агропромышленное объединение, о выпадении радиоактивных осадков, принесших уровень облучения в отдельных местах до 20 миллирентген в час... 17 июля 1986 года ход семинара в деревне Высокий Бор — центре совхоза «Краснопольский» — курировал тогдашний председатель облисполкома А. А. Янович. Он собственноручно показал, как с помощью простой лопаты из уровня 2 миллирентгена в час сделать 0,7 — 0,8 миллирентгена в час, переворачивая зараженный радионуклидами верхний слой почвы.

Только три года спустя сквозь замалчивание, игнорирование прорвалось вынужденное признание о «необходимости уточнения» размеров пораженной территории Белоруссии, республики, охваченной кольцом реакторов.

В 1987 — 1988 годах было списано у нас 2225 гектаров земель. В той или иной мере с части их собирается урожай. Преступление ли это? Списание из севооборота земель не сопровождается выселением деревень и изменением (району, хозяйству) планов производства и продажи молока, зерна, мяса, картофеля, льна... Хозяйствам надо жить в условиях хозрасчета, обеспечивая своих людей всем необходимым, в том числе и работой. Налицо противоречивое, ложное положение, когда, с одной стороны, признается случившееся, с другой — выводов из этой констатации не делается.

Осажденные чернобыльские облака поразили в большинстве своем низкорентабельные, убыточные хозяйства, существующие на надбавках к закупочным ценам. Непривлекательный вид деревень, ветхость и примитивность многих построек — одна из отличительных особенностей краснопольского быта. И в прошлом эта особенность вызвала массовую миграцию населения в другие, более развитые центры, города. Я убежден, что люди уезжают не столько из-за радиации, сколько из-за опустылевших примитивных условий труда и быта. Нет людей, не хватает доярок, скотников... Приходится затыкать бреши, возникшие заодно до Чернобыля.

Но если ко всему этому добавить низкую культуру, пьянство, откровенную спекуляцию на нехватке кадров, станет ясно, насколько трудно соблюдать рекомендованные технологии.

Реальным воплощением заботы о наших механизаторах мы считаем положение дел с выпуском тракторов, снабженных герметичными кабинами, на Минском тракторном заводе. Тракторов этих нет. За это время моим хозяйством получен один герметичный трактор, район получил четыре.

Что до радиации, то теперь, осмысливая недавнее прошлое района, видишь, что факт выпадения радиоактивных осадков если не замалчивался, то по крайней мере сознательно искажался в тиши высоких кабинетов... Это искажение дорого стоило республиканскому и союзному бюджету.

Критически осмысливая происходящее, видишь, что целесообразность весьма дорогостоящих «ликвидаций последствий» во многих местах весьма сомнительна. Сумма,

истраченная на «ликвидацию последствий», уже сопоставима со стоимостью всех основных фондов района — 71 миллион рублей...

Потянулась череда комиссий из Могилева, Минска, а потом и из Москвы. Комиссии, как правило, приезжают со своим запасом чистой еды и питья в термосах, своим поведением они вызывают больше сумятицы, чем пользы.

В Краснополье о радиоактивности говорят мало. Но это не значит, что о ней забыли. Тревожащие сознание мысли живут, волнуют, отражаясь на каждодневных делах.

Краснополчан изучают. Роль подопытных — не лучшая в мире. У людей обострено чувство социальной справедливости, протеста, много недоуменных вопросов.

В каждой семье жажда верить в собственное будущее. В каждой семье живо опасение: какой счет предъявят годы спустя дети, внуки, не упрекнут ли?

В 1986 году о чернобыльском взрыве было сказано как о национальной трагедии. И многое можно было сделать уже тогда, защитить население от ионизирующего излучения, не подменяя всю необходимую работу срезкой и вывозкой грунта, введением доплат, «оздоровлением» детей в пансионатах и санаториях, сменой заборов и крыш.

Пока в Краснополье, Брагине, Костюковичах, Славгороде, Чечерске и других районах живут люди, надо не ограничиваться стенаниями по поводу их участи и критикой действий ведомств. Надо помочь людям жить и трудиться, вселить в них уверенность, создать условия, достойные человека, обеспечив всем необходимым не по спискам и талонам. Наладить медпомощь по самому высокому классу. Надо откровенно рассказывать о жизни и заботах наших пострадавших районов стране и миру. Люди не должны чувствовать свою оторванность, забытость.

Наверное, всем нам станет тоскливо и больно, если часть нашей земли отделится от мира рядами ржавой колючей проволоки.

Чернобыль воздал нам должное: подчеркнул несостоятельность и дохлость наших ранее святых догматов, потребовал переоценки ценностей. Платы потребовал.

Не хотелось бы мне, чтобы всякий прочитавший эти строки глумал о краснопольской стороне тоскливо, как о чем-то обреченном. А посему сердечно приглашаю и Алеся Агамовича, автора полезнейших произведений, и всех тех, кто отвечал ему и на кого он ссылался, в гости к нам в Краснополье. Услышать от людей в простом душевном разговоре их сегования, их радости, сомнения и тревоги, почувствовать и передать миру их стремление к жизни.

Саргэчна запрашаю.

М. Варава
(Могилевская область,
Краснопольский район,
колхоз имени Энгельса).

Да, многое загадочно и необъяснимо для нас, неспециалистов (но, оказывается, и для некоторых специалистов тоже), в действиях, поведении, в системе доказательств тех, кто планирует и строит для нас АЭС, обводняет и осушает земли ради возрастающих потребностей наших, издавна освоенные и неплохо кормившие страну черноземы и прочее и тому подобное.

Летели мы в Индию. Когда я вошел в самолет, глазами встретился с нестарым черноволосым человеком, смотрящим на меня, как на знакомого. Поздоровались с той степенью торопливой неуверенности, которая чаще всего свидетельствует, что обозначались. Но человек тут же подошел к моему месту, назвал меня по фамилии и предложил «выйти поговорить». Я человек деревенский, и это звучит для меня по старой памяти чуть-чуть угрожающе. Но куда тут, в самолете, выйдешь? Приткнулись где-то в переходе из салона в салон. Незнакомый знакомец сразу же заговорил о новомирской статье. Представился: работает в организации по обеспечению безопасности АЭС, назвал должность (высокую). Конечно же, он не согласен с направленностью «мыслей неспециалиста». Я не очень вслушивался в его доводы, в знакомые интонации: возрастающая потребность в энергии, наше долгое отставание по атомным станциям, неизбежность риска при освоении новых технологий... Лицо и глаза человека — вот что меня притягивало, хотелось обеспокоенно спросить: «Наверное, довелось и вам

Чернобыля хватить?» Что-то легасовское³ угадывалось, то, что когда-то в больнице подметил в человеке причастном... Слова же были какие-то заученно холодные, без всякого стремления к убедительности.

Но вот стюардесса попросила всех сесть на свои места и пристегнуться. Мой собеседник приблизил болезненно-бледное лицо, воспаленно горящие глаза свои к моему лицу и, понизив голос, не то попросил, не то воззвал — совершенно неожиданно, почти заговорщицки:

— Не ослабляйте напора!

Так вот в чем дело! Мы не волены в своем поведении, и нам уже не справиться с самими собой, ведомственными. Ради бога, остановите нас!

Может быть, я ошибся. Но я услышал, понял это так.

Алесь Адамович.

³ Вот письмо Валерия Алексеевича Легасова. Деловое, по конкретному поводу предложение, но сколько в строках его боли и благородного чувства вины даже за то, в чем сам напрямую, может быть, не так уж и виноват: «Глубокоуважаемый Александр Михайлович! Из «Литературной газеты» узнал о Ваших намерениях создать произведение, посвященное чернобыльской трагедии. Я знаком с Вашими произведениями и поэтому очень рад, что именно Вы решились взяться за эту работу. Но меня беспокоит, что широко известна лишь внешняя сторона этой величайшей трагедии: ошибки и трусость одних людей, беды и психологический шок других, героизм и изобретательность третьих. Людей же, знающих истинные истоки и возможные последствия Чернобыля, очень мало, да и ограничено большинство из них в возможностях высказаться. Так сложилась моя научная и человеческая биография, что, не будучи создателем атомных реакторов, я в силу своих профессиональных и должностных обязанностей видел задолго до 26 апреля, как зарождалась чернобыльская трагедия, знаю, кто бил во все колокола, а кто обрезал этим колоколам языки, участвовал в принятии основных решений по ликвидации последствий аварии, и сейчас моя главная забота — как избежать подобных катаклизмов в будущем. Поэтому предлагаю Вам свои знания и собственное понимание событий, с тем чтобы Ваше произведение оказалось не только художественно сильным, в чем я не сомневаюсь, но и исторически точным. В. Легасов».

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Г. П. ФЕДОТОВ
(1886—1951)

★

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

Имя Георгия Петровича Федотова — глубокого философа культуры, тонкого историка, блистательного публициста — мало известно отечественному читателю. Его главные книги и статьи выходили за границей, где Г. П. Федотов оказался в середине 20-х годов, не сумев приспособиться к новым условиям жизни на родине. Но покинутая Россия и в эмиграции не отпускала его: прошлые века ее истории, беды и успехи настоящего, социальная и духовная судьба ее будущего стали ведущими темами его творчества. Всю жизнь он с болью и надеждой вглядывался в меняющееся «лицо России» (так называлась одна из первых статей, написанных им после 1917 года) в страстном стремлении понять: «Что умерло без остатка? Что замерло в анабиозе? Что относится к исторически изношенным одеждам России и что к самой ее душе и телу, без которых Россия не Россия...» («Россия Ключевского» — в сб.: «Россия, Европа и мы». Париж. 1973, стр. 188). Постоянная душевная обращенность к родине, помноженная на обширную философско-историческую эрудицию и прирожденный литературный дар, сделали Г. П. Федотова одним из самых интересных и острых мыслителей первой русской эмиграции, чутким наблюдателем и аналитиком пореволюционных процессов. Сегодня, когда после долголетнего перерыва забрезжила возможность непредвзятого обсуждения нашего исторического пути, среди культурной разногласицы, прежде недоступной и не ведомой широкому читателю, неравнодушная мысль Федотова должна занять свое законное место.

Г. П. Федотов родился 1 октября (по старому стилю) 1886 года в Саратове, и этот город на Волге навсегда остался в его сознании малой родиной. В гимназии он, подобно множеству своих сверстников, пылко увлекся чтением революционно-демократической публицистики, и к окончанию ее (в 1904 году) сознавал себя убежденным радикалом, готовым связать свою судьбу с русской революцией. Это решение определило первоначальный выбор профессии: подавив свои очевидные гуманитарные склонности, Федотов поступил в петербургский Технологический институт, чтобы в качестве инженера быть ближе к рабочей среде. Революцию 1905 года он встретил уже членом РСДРП. Осенью того же года он был арестован как активный пропагандист в своем родном Саратове и выслан за границу. Изучение истории в университетах Германии в 1906—1908 годах заставило его всерьез задуматься о правильности избранного жизненного пути. Вернувшись осенью 1908 года в Россию, он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и к подпольной работе больше не возвращался, сохранив, однако, некоторые партийные связи. Огромную роль в становлении будущего мировоззрения молодого ученого сыграла работа в семинарах профессора Ивана Михайловича Гревса (1860—1941), создателя и воспитателя блестящей школы петербургских медиевистов (см. о нем: Е. Ч. Скржинская, «Иван Михайлович Гревс» — в кн.: И. М. Гревс в с. Тацит. М.—Л, 1946). С осени 1914 года Г. П. Федотов — приват-доцент Петербургского университета по кафедре истории средних веков и одновременно сотрудник отдела искусств Публичной библиотеки (до 1919 года). На войну 1914 года его не взяли как неблагонадежного, хотя к этому времени он полностью отошел от революционной деятельности. Февральские события 1917 года он уже воспринял с тревогой, видя в них начало грядущих социальных потрясений.

Изучение духовной культуры латинского средневековья поколебало его прежние материалистические убеждения; с этого момента начнется его медленный путь к хри-

стианству, к православию. Осенью 1917 года Г. П. Федотов стал членом религиозно-философского кружка, сложившегося вокруг Александра Александровича Мейера (1875 — 1939), самобытного христианского мыслителя, ныне практически забытого. (Наиболее ценные из его философских трудов, созданные в заключении на Соловках и Беломорканале, еще ждут публикации на родине.) Большинство участников кружка в то время разделяли взгляды, близкие к «христианскому социализму», и Федотов был их самым красноречивым выразителем. В 1918 году кружку удалось выпустить два номера журнала «Свободные голоса» под редакцией и со статьями Г. П. Федотова. В одной из них он сформулировал программную цель своих единомышленников: «...спасти правду социализма правдой духа и правдой социализма спасти мир». В начале 1920 года Г. П. Федотов уехал в Саратов, где в течение двух лет занимал университетскую кафедру истории средних веков. В 1923 году, тяготясь отсутствием в профессорской среде близких по духу людей, он вернулся в Петроград, снова вошел в мейеровский кружок, от обсуждения социальных вопросов все более эволюционировавший к чисто религиозной и культурной проблематике, зарабатывал переводами художественной литературы, но оригинальные работы ему становилось печатать все труднее. Небольшая книжка об Абеларе, вышедшая в Петрограде в 1924 году, была последней на родине. В 1925 году Г. П. Федотов решил покинуть Россию. Хотя он тяжело переживал моральное осуждение этого поступка со стороны товарищей по кружку, жажда свободного выражения своих идей пересилила

Его первая статья, напечатанная в парижском журнале «Версты» (1926, № 1), выраженный в ней непривычный взгляд на развитие русской культуры вызвали споры, с тех пор не умолкавшие в эмиграции вокруг федотовских идей. В том же году Г. П. Федотов стал профессором открывшегося в Париже Богословского института. С преподаванием в институте связан цикл работ Г. П. Федотова в области изучения русской житийной литературы, впоследствии обеспечивших ему высокой авторитет в мировой научной среде («Св. Филипп, митрополит Московский». Париж. 1928; «Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам». Париж. 1935; «Святые древней Руси (10 — 17 вв.)». Нью-Йорк. 1959).

Не примыкая ни к одной из политических группировок эмиграции, превыше всего ценя свободу независимого мнения, без колебаний идя против течения, Г. П. Федотов долго оставался чужаком для различных органов эмигрантской печати, в которых ему приходилось сотрудничать. Правые не прощали ему непоколебимой приверженности к демократии, левые с позорением относились к его положению профессора Богословского института. Но литературный талант Г. П. Федотова ценили и поэтому статьи его охотно печатали. В 1927 году он познакомился с Е. Ю. Скобцовой, впоследствии знаменитой матерью Марией (1891—1945), и с И. И. Бунаковым-Фонгаминским (1880 — 1942), редактором-издателем журнала «Современные записки». Эти два человека, будущие герои Сопротивления и мученики гитлеровских концлагерей, стали для него самыми близкими людьми в эмиграции. С помощью И. И. Бунакова-Фонгаминского и при участии философа Ф. А. Степуна Г. П. Федотов в 1931 году основал в Париже журнал «Новый град» (выходил до 1939 года), на страницах которого получил возможность свободно разрабатывать свой идеал «социального христианства» и с этой точки зрения оценивать состояние современного мира. 30-е годы — период наиболее интенсивного творчества Федотова-публициста. За это время не только в «Новом граде», но и в других русских изданиях («Путь», «Современные записки», «Числа», «Новая Россия» и т. г.) появилось множество его статей. В 1932 году в Париже выходит его книга «И есть и будет. Размышления о России и русской революции», в 1933 году — брошюра «Социальное значение христианства». В эпоху величайшего кризиса европейской демократии, отступающей перед фашизмом, Г. П. Федотов неутомимо защищал ее ценности, напоминая о духовных истоках человеческой свободы; в самые мрачные времена «сталинокрации» (так называлась одна из его статей) он упорно предсказывал своей родине лучшее будущее. С началом немецкой оккупации Г. П. Федотову, не раз печатно выступавшему против нацизма, пришлось покинуть Францию. В сентябре 1941 года после долгих беженских мытарств он прибыл в Нью-Йорк. Здесь у него не было ни единомышленников, ни друзей, ни учеников. Попытки получить работу в американских университетах ни к чему не привели, и в 1943 году он принял место преподавателя истории в русской православной семинарии в Нью-Йорке, где работал до конца жизни. В этот последний период его главной заботой было закончить большой итоговый труд по истории русской духовной культуры (вышло несколько

английских изданий), но одновременно продолжалась и его публицистическая деятельность, хотя и не в прежних масштабах (главным образом на страницах нью-йоркского «Нового журнала»).

Скончался Г. П. Федотов 1 сентября 1951 года в городе Бэконе, штат Нью-Джерси. Его огромное публицистическое наследие (свыше трехсот статей) после смерти автора было частично объединено в сборниках «Новый град» (Нью-Йорк, 1952), «Христианин в революции» (Париж, 1957), «Лицо России» (Париж, 1967), «Россия, Европа и мы» (Париж, 1973), «Тяжба о России» (Париж, 1982), «Защита России» (Париж, 1988).

Публикуемые статьи посвящены двум важнейшим темам федотовской мысли — судьбе России и судьбе свободы — и принадлежат к лучшим образцам его исторической публицистики. Статья «Три столицы», написанная в 1926 году, печатается по тексту сборника «Лицо России»; «Рождение свободы», первоначально появившаяся в «Новом журнале» (1944, № 8), — по тексту сборника «Новый град».

ТРИ СТОЛИЦЫ

Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь богатая парадоксами — разрубила ее по-славянофильски. Впрочем, сама проблема со времени Хомякова и Белинского успела изменить свой смысл. Речь идет уже не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Красный Кремль не символ национальной святости, а форпост угнетенных народов Азии. Этому сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство¹ расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член антитезы, западничество, и в поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духовной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более чем когда-либо она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубежная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится ясным: Москва и Петербург — еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-новому и бросает новый свет на историю двухвекового спора.

I

Как странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга из глубины николаевских годов: Петербург чиновный, умеренно либеральный, европейски просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приезжавших на берега Невы обивать пороги министерских канцелярий, до самого конца смотрели так на Петербург. Оттого и не жалеют о нем: немецкое пятно на русской карте. Уже война начала его разрушение. Похерила ненавистный «бург», эвакуировала Эрмитаж, скомпрометировала немецкую науку. Город форменных вицмундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев — революция слизнула его без остатка. Но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные, смертные годы 1918—1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то чрево столицы. Бесчисленные доходные кубы, навороченные бездарными архитекторами четырех упадочных царствований, исчезли с глаз, превратились в руины, в пещерное жилье доисторических людей. В городе, осыпанном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург. Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио² у Полярного круга, замостил болото гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров³ самобытнее строителей римских форумов и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?

Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально безумное, предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди «топи блат», железо кесарей несет смерть пра-

вославному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли?

Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море».

При покорном безмолвии Руси что заполняет трагическим содержанием петербургский период? Борьба Империи с порожденной ею культурой — еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с сыном, — и нетрудно узнать фамильные черты: тот же дух системы, «утопия», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв от матери-земли. В революции слабее отцовские черты гуманизма, зато сильнее фанатические огоньки в глазах — отблеск материнской веры, но, пожалуй, сильнее и тяга к ней, забытой, непонятой матери. Народничество — болезнь этой неутоленной сыновней любви. Отец не знает ни любви, ни тоски по ней. Он довольствуется законным обладанием.

Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змий, кто змиеборец? Царь ли сражает гидру революции или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров — как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца обвилися и давят друг друга и яд истекает из разверстых пастей. Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле кортились два звериных трупа^{3а}.

Империя умерла, разложившись в невыносимом зловонии. Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где не было бы Музея Революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище. Дворцы царей — тоже музеи. Да и вся Европа превратилась в сплошной музей Русской Империи — или, что одно и то же, в ее кладбище. Когда ходишь по Зимнему дворцу, превращенному в Музей Революции⁴, или по Петропавловской крепости, то начинаешь уже путать: чьи это памятники и чьи гробницы — цареубийц или царей?

Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая под тяжким давлением прессов эссенцию духа. Небо без солнца, промозглая жижа под ногами, каменные колодцы дворов среди дворцов и тюрем, дома-гробы, с перспективой трясины кладбища, туберкулез и тиф, изможденные лица тюремных сидельцев... И закон жизни — считай минуты, секунды, беги, гори, колотись, сердце, пока не замолчишь навсегда! Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения — от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества. Непримиимо враждебный всякому язычеству, невзирая на свои римские дворцы, он требовал жизни аскета и смерти мученика. Над каждым жильем поднимался дым от человеческих всеожжений. Если бы каждый дом здесь поведал все свое прошлое — хотя бы казенной мраморной доской, — прохожий был бы подавлен этой фабрикой мысли, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы — есть такая странная порода людей — умели как-то приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души. Они острили над жизнью и смертью, уверенным мастерством заменяли кровь творчества — шлифовальщики камней, снобы безукоризненного. Спасибо мэтрам неряшливой, распущенной России, но не ими оправдываются граниты Невы и камни Петропавловской крепости. Провинциалы, умиравшие здесь, лучше их слышали голос Петербурга.

Да, этот город торопился жить, точно чувствовал скупые пределы отмеренного ему времени. Два столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой жизни! За это столетие нужно было, наперстав молчание тысячи лет, сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках агонии, это слово было часто горьким, болезненным? Аскетизм отречения Петербург простер — до отречения от всех святынь: народа, России, Бога. Он не знал предела жертвы и этот смертный грех искупил жертвенной смертью.

Россия приняла факел из его холодеющих рук. О, если бы он не потух на ветру

ее степных дорог, не заглох под мерою косного, уютного быта, не разошелся на тысячи мелких свечечек!..

Чем же может быть теперь Петербург для России?

Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени насыпан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеется целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть эти сокровища из старых стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли рождаются в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла⁵, — Петербург останется надолго обителью русской мысли.

Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный морской ветер — почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он Петровской столице, но и дух дальних странствий. Пройдитесь по последним линиям Васильевского острова или устью Фонтанки, на Лодманский островок — и вы увидите просвет моря, отшвартованный пароход, якоря и канаты, запах смолы и соли, — и сердце дрогнет, как птица в неволе. Потянет вдаль, на чудесный Запад, омывтый океаном, туда, где цветут сады Гесперид, где из лоно волн возникают Острова Блаженных. Иногда шепчет искушение, что там уже нет ни одной живой души, что только мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил», неосуществленной мечты о свободной человечности. Тоска целых материков — Евразии — по Океану скопилась здесь, истекшая узким каналом Невы в туманный, фантастический Балт. Оттого навстречу западным ветрам с моря дует вечный «западный» ветер с суши. Петербург останется одним из легких великой страны, открытым западному ветру.

Не сменил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? Мы в школе затверждали: «Шлиссельбург — Орешек», но только последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все пришлое, наносное в нем, — и оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть православный Петроград, столица северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поисках картошки!) исколесили свои уезды — и что же нашли там? На предполагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние поселки-погоды, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб, не уступающую вологодским... И среди этих изб Старая Ладога с варяжскими стенами, с древнейшей росписью, память о новгородских крепостях — Ям, Копорье, Ивангород, о шведских могилах — следах вековой тягбы племен. Ижорские деревни, эстонские хутора среди славянского моря говорят о глухой, но упорной этнографической борьбе, борьбе деревьев, сплетающихся ветвями в глухом лесу, отвоевывая у чужих пород каждую пядь земли, каждый луч света. Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия⁶, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближайших и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну. В ту пору отмирали кровеносные сосуды по всему телу России и с особенной ясностью прощупывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувствовали тогда: Москва на краю света. Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда. Пока мешочничал обыватель, искусствоведы, этнографы исколесили всю Северо-Восточную Русь, чьи разговоры слышались на питерских рынках, и связи эти не заглохнут.

В последние годы перед войной новгородские церковки и часовни одна за другой начали возникать по окраинам столицы — памятник новых художественных вкусов и древней народной религиозности. Интеллигенция почти не замечала народного православного Петербурга с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной — быть может, как нигде в России — атмосферой пламенной веры. Только скандалы хлыстов или братцев привлекали внимание. Теперь остатки старой интеллигенции вросли в этот народный церковный массив и внесли в него чистую пламенность новых культурных катакомб. Есть верная молва, что в последние дни Оптинской пустыни один из ее старцев послал свое благословение Петрограду, «самому святому городу во всей России»⁷.

Богат и сложен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как мог он со-

вместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, воскресли в старом и новом Петербурге... Васья Буслаев предсказал уже нигилизм, как Садко, гуслер и купец, — вольнолюбивое, широкое творчество. Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу, чего не понять никому, кроме города святого Петра. Первое — завет Александра: не сдавать Невской победы, оборонять от ливонцев (ныне финнов) и шведов невисские берега. Второе — хранить святыни русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье — слушать голоса из-за моря, не теряя из виду ганзейских маяков. Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния — в вечной борьбе — не бывает и русской культуры. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышнее историческая задача, здесь остается если не мозг, то нервный узел России.

II

Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздирают, не мучат, как-то легко уживаются в нарядной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым.

Многоцветность архитектурных одежд слой за слоем, как луковицу, покрывает тело Москвы. На каждой печать эпохи — настоящая ярмарка стилей, разбросанная в зелени садов под вольным небом и ласковым солнцем. Сама история утратила здесь свою трагическую тяжесть, лаская глаз пышностью декораций. За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева — и такую любила ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва — сердце России, любовь ее, не похожа на строгую царскую Москву, но новое чувство Москвы органически переработало памятники царского времени, утопив их в мягком свете благочестивых воспоминаний. Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив — и ничего не создав в ней. Она лишь исказила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом. С тех пор город живет как в лихорадке — только не красной. Стучат машинки, мчатся «форды», мелькают толстовки, механки, портфели. В кабаках разливанное море, в театрах балаган. В учреждениях беличий бег в колесе. Ворочают камни Сизифы, распускают за ночь, что наткали за день, Пенелопы. Здесь рычаг, которым думали перевернуть мир, и надорвались, нажив себе неврастению. Осталась кричащая реклама, порою талантливая, безумно смелая, которая облепила Москву, кричит с плакатов, полотнищ, флагов, соблазняет в витринах окон, играет электрическими миражами в небе: «Нигде, кроме как в Моссельпроме»... «Пролетарии всех стран... покупайте облигации выигрышного займа!»

Но ступите шаг от Тверской, от Никитской, и вы очутитесь в тихих, мирных переулочках, где редко встретишь прохожего, где гуляет на солнышке бабушка с внучком, вспоминая минувшие дни. Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему чист снег и ярки звезды, по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая старая няня, убаюкает истерзанного россиянина.

За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы, заросшие травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом и услаждаясь пением кенаря или граммофона, в зависимости от духа времени. Замоскворечье и сейчас огромный провинциальный, едва ли не уездный, город во всей его нетронутости. А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном ампире, — разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши пензенских и тамбовских деревень? Хотите видеть теперь воочию, как жили в них поколения наших дедов? — Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей площадке⁸, где, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полки с книгами: все боль-

ше немецкие, романтики да любомудры. Если Бог убережет вас от экскурсии «с классовым подходом» и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства.

Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух истекших столетий таков: неотделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На нем лежит печать светлой наивности, доброй, здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства — зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалуют отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу — не по идеям — всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое московское просвещенное охранение. Забелины, Самарины, Шиповы до последних лет отрицали «средостение», мечтая о Земском Соборе и о земском царе⁹. Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем «Русской мысли» и ходил церковным старостой. Здесь именитое купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков.

Эта милая обывательская Москва не воскреснет. Лихорадящий Петербург и обломовская Москва — дорогие покойники. Но за последнее человеческое поколение Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнивалась с Петербургом как центр научный и обогнала его как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась обскákat Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие слова. Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом. По сравнению с Петербургом здесь можно было скорее встретить «почти гениальное», но никогда — безукоризненное. Новая Москва работала широко, торопливо и не любила доделывать до конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин. Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного безвкусия.

Новая, большевистская Москва уродливо продолжает эту «метропольно»-кабацкую традицию. Современное творчество Москвы так же относится к дореволюционному, как дугый нэп к размашистому индустриализму довоенных годов. И это на фоне все той же безответственности. Политическая мысль Кремля столь же далека Москве, как была далека государственная мысль Петербурга.

И все же основное русло нашей культуры пролегает именно здесь. Сюда несет свои воды русская провинция — особенно Юг и Восток. Здесь верят в будущее, захлебываются настоящим — пусть по-дурацки — и не в силах вырваться из власти прошлого. Здесь стены слишком насыщены воспоминаниями, чтобы ультрамодерные жильцы могли уцелеть от их заразы. Мечтающая стать Америкой Москва в плену декоративных чар XVII века. Москва-модерн, быть может, более Москвы ампирной... «Метрополь» на фоне Китай-города понятнее Большого театра. И это ставит вопрос о качестве культуры древней Москвы.

Что говорят нам фасады и купола ее бесчисленных церквей? Конструктивно — перенесенный в камень северный шатер да Владимирский куб, отяжелевший, огрузивший, с пышно изогнутой восточной луковицей. Нет новых идей, нет и строгости завершенной. Нет ничего, что взволновало бы присутствием подлинно великого искусства. В Москве есть несколько чудесных церквей. Но ведь и очарование нарышкинского стиля только в его декоративности. О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве! Архитектурно бессмысленная идея Василия Блаженного разрешена с удивительным мастерством. Самые грузные и грубые формы согреты и оживлены яркой живописностью. Чтобы вполне оценить декоративный эффект лубочного искусства в его ансамбле, нужно видеть Троицкую Лавру. Когда я пишу эти строки, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического наваждения, перед которым бессилён в Москве. Хочется целовать эти камни и благословлять Бога за то, что они еще стоят. Но, вдумавшись, видишь, что это художественное впечатление не глубоко, что его идея бедна. Как назвать ее? Умилением? Нет. Стоит увидеть эти формы

хотя бы в недалеком Угличе, где еще чувствуется дыхание Севера, чтобы понять, каков может быть чисто религиозный смысл этого искусства. Московские кокошники, барабаны, крыльца и колокольни — как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачовые рубахи, шапки набекрень, гулящая, веселящаяся Русь! Это идеал великорусской нарядной праздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого и строгого древнерусского искусства. Непонимание этого факта натворило уже много бед делу нашего национального возрождения. Подражать Москве — значит обрекать себя на педантическую пошлость: таково «русское возрождение» Александра III.

Беда Москвы в том, что искусство ее слишком неполно выражает ее историческую идею. В нем сказалась показная пышность царской власти да бытовая, праздничная сторона уже оплотивающей народной религиозности. Где же искать нам величие старой Москвы?

Попробуем подойти к Кремлю. Отрешимся от мишуры «николаевской готики», от шума людных площадей, от обступивших небоскребов новой Москвы, — обойдем, лучше всего ночью, окружность его стен и башен — и, может быть, тогда за лубочной декоративностью Кремля мы почувствуем тяжкую мощь. А если вообразим себе старую деревянную (васнецовскую) Москву с ее лабиринтом клетей и теремов, то эта каменная твердыня, словно орел, упавший с облаков в сердце нищей России, покажется грозным чудом. Тени Ивана III и Ивана IV встают над древними стенами, столько раз облитыми кровью — врагов России и царских недругов. Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле — всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля, повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа, живет в кремлевском дворце под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, распозлтиться по безбрежным просторам.

Обойдите когда-нибудь в летний день кольцо южных московских монастырей-сторожей: Донской, Данилов, Симонов. Поднимитесь на гигантскую колокольню Симонова, и, окинув одним взглядом бескрайнюю равнину, вы поймете географический смысл Москвы и ее историческое призвание. Северная лесная Русь, со своими соснами, остатками некогда дремучих лесов, добегае до самого города, защищает его, создает ему надежный тыл. Москва питается северной Русью, ее духовными силами, ее трудовой энергией, но, чувствуя ее за плечами, она смотрит — на Юг и Восток. Эти колокольни-крепости вглядываются зорко в безлесную (ныне) равнину, по которой расходятся ленты дорог: на Калугу — Смоленск, Коломну — Рязань, на Нижний, Саратов. Здесь, за Ордынкой, пролегла дорога в Орду. Отсюда ждали крымчаков. Степь набегала в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться у московских стен. И отсюда Москва посылает, рой за роем, своих стрельцов и детей боярских из остроги на Дикое Поле, в вечной борьбе со степью.

Но странная эта борьба: она как будто чужда ненависти. Овладевая степью, Русь начинает ее любить, она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «кормилицей». Здесь, в Москве, до Волги рукой подать: до Рыбинска, до Ярославля, до Нижнего. Порою кажется, что Москва сама стоит на Волге. То, что Москва сжала в тройном кольце своих былых стен, то Волга развернула на тысячи верст. Умилие угличских и костромских куполов, крепкую силу раскольничьего Керженца, буйную волю Нижнего, Казани, Саратова, разбойничью жуть Жигулей, тоску степных курганов, поросших польноью, и раскаленное море мертвых песков — ворота Азии. В сущности, Азия предчувствуется уже в Москве. Европейец, посетивший ее впервые, и русский, возвращающийся в нее из скитаний по Западу, остро пронзены азиатской душой Москвы. Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи — колыбель новой русской души. В степях сложилось казачество (даже имя татарское), которое своей разбойной удаleyю подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В степях сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда как о чем-то исконном и вечном. Ширь русской природы и ее безволие, безудержность, порывистость — и тоска, и тяжесть, и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка («И какой же русский не любит быстрой езды!»), кутежи, цыганские песни, «бессмысленный русский бунт», и мученический подвиг, и надрыв труда. В природе Азии живет дух тяжести. Туранскую безблагодатную стихию он гнетет к земле, то зажигая пожарами страстей, то погружая в

дремотную лень. Для религиозного гения славян дух тяжести — тема творческого преодоления, как грудь земли для пахаря. Микула поднимает «тягу земную», которой не поднять удалому и хитрому витязю. В этом — тема русского творчества. Старая Москва не могла художественно осмыслить свое призвание. Это сделал Толстой, в котором воплотился гений Москвы, как в Достоевском гений Петербурга.

Ныне тяжесть государственного строительства России опять ложится на плечи Москвы. Конец двухвековому покою и гениальному баловству. На милое лицо Москвы ляжет трагическая складка, наследие освобожденного Петербурга. Опять Москва настороже — и как должны быть зорки ее глаза, как чутки и напряжены ее нервы! Все, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира, — все будет отдаваться в Кремле. С утратой западных областей Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить подъемом целых материков. Ее долг просветлять христианским, славянским сознанием туранскую тяжелую стихию, в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии. Да не ослабеет она в этом подвиге, да не склонится долу, побежденная — уже кровным и потому страшным — духом тяжести.

III

Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России, преодолеваемые живым национальным духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной, православной вехой в судьбе России является Киев, то есть идея Киева.

О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от Киевской славы и бесславия, ведя свой род с Оки и с Волги. Мы сами отдали Украину Грушевскому¹⁰ и подготовили самостийников. Стоял ли Киев когда-либо в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт: новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме «Печерских антиков» да слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве величайшую святыню, не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя.

Для северянина Киев не только святыня, но и город прекраснейший всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первоначально красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмов старого Киева, Печерска, Щековицы — отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайняя ширь, от которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее зарывались в пещеры из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая осанна земного рая? И потому прошел мимо нее северный поэт, принимающий красоту только в аскетической строгости.

Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все. Изумительная особенность киевского городского пейзажа — это вторжение в него природы, почти не тронутой человеком. Над людным Подолом, над старыми — с Ярославовых времен — Гончарами и Кожемяками высятся необитаемые обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Щековице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы маяят вдаль, во все стороны света — трудно засидеться здесь, на горах: на Запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже недалеко, на Восток сквозь черниговские леса, на Москву и больше всего, конечно, на Юг, куда змеится серебряная лента Днепра, — за пороги, к степям половецким, к Черному «Русскому» морю, к святой Греции.

Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь! Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенной обломками древности. Человек каменного века уже облюбовал эти холмы, где гнезился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует так же, как пространство, зайдите в богатый Археологический музей подивиться останкам множества народов, наших предков на Киевской земле. Киммерийцы, скифы, люди, не имеющие имени для нас... И среди них древнее всяких скифов те таинственные трипольцы, которые обжигали здесь горшки на своих «площадках», прежде чем спуститься на Балканы, чтобы строить по берегам Архипелага Эгейскую культуру. Уже позволительно ду-

мать, что Киевские горы были родиной будущих эллинов. С этих холмов, с черепками в руках, быть может, легче, чем где бы то ни было, обозреть древнейшую историю Европы. Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уводят здесь воспоминания в седую древность!

Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н. Я. Марр отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и о сестре их Лебеди¹¹ — с тождеством самых имен, и вероятным становится незапамятно древнее, «яфетическое» ее происхождение.

Все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывается со старых насиженных мест, с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кия), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) на Киселевке, русский правительственный центр на Печерске и современный, всего более еврейский город — Киев, с упадком Одессы, столицы русского еврейства, сливший старые островки и раздавшийся по плоскогорью.

Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко, на мазепинском Никольском соборе, увы, безжалостно изрешеченном ядрами гражданской войны, это барокко не лишено и благородства. На Подоле обступает рой почтенных воспоминаний: магистрат с магдебургскими вольностями, Академия Петра Могилы — бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда сквозит толпу Восточной Европы доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борются с ополчением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом Возрождении XVII века: Малороссия сознает себя как мятежная Украина, окраина Польши.

Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подосадовать, когда оно облепило, точно слоem жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания о национальном пробуждении Украинны—Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной, великой эпохе Киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славянско-варяжские терема золотое небо св. Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри стоят — вплоть до самых куполов своих — с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему — не поврежденная внутри, девственно чистая св. София.

Быть может, южнорусский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образцом русской идеи храма, достигнутым на владимирском и новгородском Севере. Но в св. Софии — едва ли не единственный раз на русской земле — воплотилась идея греческая. Я горю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символической, но о самом просторстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно объемя крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой св. Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия.

Большинство киевских мозаик — как, впрочем, и римских — не представляют самых совершенных образцов византийского искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но последние годы под слоem известки — в Софийском соборе, в Спасе на Берестове — вскрыли ряд фресок-икон, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства — как в Santa Maria Antiqua или перед лицом энкаустических икон¹², словно недаром вывезенных с Синая в Киев как

редчайшая драгоценность епископом Порфирием¹³. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.

Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый туранской волной, он не сумел спасти во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе св. Софии был дан ему вечный символ — не только ему, но и всей грядущей России.

О чем говорит этот символ?

Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.

В жизни России было немало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге — раствориться в германо-романской, то есть латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не басурманство, а эллинизм. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначущей случайностью. Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды ни принесло славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской — через восточногреческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти — культа, культуры, — и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство — хочет оно этого или не хочет — не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции — Византии живет Греция классическая, созревающая ко Христу, и ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву как первенцам и законным наследникам.

Неизбежный и для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, то есть латинское, посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духовная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности.

Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий — то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции, и больше нигде, связываются в один узел все пути мира. Рим — ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре, и на закате ее истории — в Микенах и в Византии — обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который повесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.

¹ Евразийство — малоизученное течение русской исторической мысли, сложившееся в научной среде первой эмиграции и заявившее о себе коллективным сборником статей «Исход к Востоку. Утверждение евразийцев» (София. 1921). Развивая учение славянофилов о самобытном, отличным от западноевропейского пути исторического развития России, евразийцы энергично подчеркивали роль азиатского (туранского) элемента в сложении русской культуры и государственности (отсюда и сам термин «Евразия» применительно к России, подразумевающий одновременно двусоставность и органическое единство ее исторического мира), позитивно оценивали результаты татаро-монгольского нашествия и т. д. Виднейшими идеологами евразийства были филолог Н. С. Трубецкой (1890—1938), музыковед П. П. Сувчинский (1892—1985), географ П. Н. Савицкий (1895—1973), историк Г. В. Вернадский (1887—1973), философ Л. П. Карсавин (1882—1952). Во время второй мировой войны евразийское движение организационно распалось и его издательская деятельность была прекращена. Хотя публикуемая статья Г. П. Федотова была помещена в евразийском органе «Версты», многие ее положения и конечный вывод об эллинизме, средиземноморских корнях русской культуры полемически заострены против исторической концепции евразийцев.

² Палладио Андреа (1508—1580) — итальянский архитектор эпохи позднего Ренессанса. Творчество Палладио и его трактат «Четыре книги об архитектуре» (1570)

оказали сильное влияние на архитектурную мысль XVII—XVIII веков и породили так называемый палладианский стиль (разновидность классицизма). В Петербурге работали его выдающиеся представители — Ч. Камерон, Дж. Кваренги и другие.

⁸ Захаров Андрей Дмитриевич (1761—1811) — русский архитектор, представитель стиля ампир. Построенное им здание Адмиралтейства с его знаменитым шпилем (1806—1823) стало одним из символов петербургской культуры.

⁹ Апокалиптическая символика, исполняемая здесь Г. П. Федотовым, отсылает читателя к образам культурной традиции, порожденной фальконетовским памятником. См. о ней: Лотман Ю. М., «Символика Петербурга и проблемы семиотики города»; Топоров В. Н., «Петербург и петербургский текст русской литературы» («Труды по знаковым системам». Тарту, 1984, т. 18).

¹⁰ Первоначальная идея превратить Зимний дворец в Музей Революции просуществовала недолго. В 1922 году он был передан Государственному Эрмитажу.

¹¹ Прокл Диадох (412—485) — древнегреческий философ-неоплатоник; с 437 года глава так называемой платоновской Академии в Афинах.

¹² Ингерманландия (от шведского Ingermanland) — шведское название территории по берегам Невы и юго-западного Приладожья, до построения Петербурга населенной главным образом ижорой (в русских источниках XII—XVII веков — Ижорская земля), финнами и эстонцами. С 1609 по 1703 год была оккупирована Швецией.

¹³ Опти́на (Козельская Введенская) пустынь — мужской монастырь в Калужской губернии, неподалеку от Козельска. За советами старцев в Оптину пустынь приезжали со всех концов России. Здесь бывали И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой и многие другие представители русской культуры. В 1923 году монастырь был закрыт. В настоящее время возвращен русской православной церкви. Цитируемые Г. П. Федотовым слова, по устному преданию, принадлежат последнему оптинскому старцу Нектария (Тихонову); 1856/57—1928).

¹⁴ В настоящее время ни Собачьей площадки, находившейся в гуще арбатских переулков, ни дома А. С. Хомякова (до 1929 года в нем размещался один из первых музеев быта, позднее музыкальное училище имени Гнесиных) не существует. В 1962—1963 годах они были уничтожены; ныне здесь проходит проспект Калинина.

¹⁵ Забелины, Самарины, Шиповы — фамилии общественных и культурных деятелей, носителей традиций «классического» московского славянофильства. Забелин Иван Егорович (1820—1908) — историк и археолог, председатель Общества истории и древностей российских (1879—1888), фактический руководитель Исторического музея в Москве, автор трудов по истории быта русского народа и истории Москвы. Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — историк, философ, публицист и общественный деятель, один из основоположников славянофильства. В предреволюционные годы заметную роль в общественной жизни Москвы играли два племянника Ю. Ф. Самарина — Федор Дмитриевич Самарин, крупный деятель московского земства, и Александр Дмитриевич Самарин, московский предводитель дворянства (1908—1915). О первом из них П. А. Флоренский писал: «Живое предание славянофильства являлось нам в лице Феодора Дмитриевича. Из рук его мы, внуки, получали нить, связующую с славянофилами-дедами, с славянофильством золотого века» (свящ. Павел Флоренский. Памяти Феодора Дмитриевича Самарина. Сергиев Посад, 1917, стр. 6). Шипов Дмитрий Николаевич (1851—1920) — видный деятель московского земства, один из основателей партии октябристов (1905), защитник идеи созыва земского собора (см.: Д. Н. Шипов. Воспоминания и думы о пережитом, М. 1918). «Средостением» между народом и «земским» царем славянофилы считали бюрократию и политико-правовые институты западноевропейского образца.

¹⁶ Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934) — украинский историк и общественный деятель. В 1917 году один из организаторов центральной рады. С 1919 года — в эмиграции; в 1924 году вернулся на Украину. С 1929 года — академик АН СССР. Автор десятитомной «Истории Украины — Руси».

¹⁷ Г. П. Федотов имеет в виду статью Н. Я. Марра «Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси» («Известия Российской Академии истории материальной культуры», Л. 1924, т. III, стр. 257—287).

¹⁸ Энкаустические иконы — иконы, выполненные в древней технике восковой живописи расправленными красками.

¹⁹ Порфирий (Успенский; 1804—1885), епископ Чигиринский — русский археолог и археограф; неутомимый собиратель христианских древностей (рукописей, книг, икон). Свою уникальную коллекцию энкаустических икон, собранную во время путешествий по Востоку, он подарил Киеву.

РОЖДЕНИЕ СВОБОДЫ

Полнеба охватила тень.

Лишь там, на западе, брезжит сияние.¹

«Человек рождается свободным, а умирает в оковах»². Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение.

Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состояние человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.

В биологическом мире господствуют железные законы: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных процессов. Там, где все до конца обусловле-

но необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака («вождя»).

В XVIII веке на природу смотрели романтически — или, вернее, теологически. На нее переносили учение церкви о первозданной природе человека и помещали библейский потерянный рай в Полинезии. Но в наше время биология недаром ложится в основу всех новейших идеологий рабства. Расизм корнями своими уходит в биологический мир и, будучи никуда не годной философией культуры, ближе к природной, или животной, действительности, чем Руссо.

Руссо, в сущности, хотел сказать: человек должен быть свободным — или: человек создан, чтобы быть свободным; и в этом вечная правда Руссо. Но это совсем не то, что сказать: человек рождается свободным.

Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры. Это несколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о природе или назначении человека.

Впрочем, даже в мире культуры свобода является редким и поздним гостем. Обозревая тот десяток или дюжину высших цивилизаций, нам известных, из которых слагается для современного историка (Тойнби) некогда казавшийся единым исторический процесс, мы лишь в одной из них находим свободу в нашем смысле слова — и то лишь в последнем фазисе ее существования. Я, конечно, имею в виду нашу цивилизацию и наше время, оставляя пока неопределенными границы нашего в пространстве и времени.

Все остальные культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубокой религией и мысли, но нигде мы не найдем свободы как основы общественной жизни.

Личность везде подчинена коллективу, который сам определяет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексике или Ассирии, гуманной, как в Египте или в Китае, но нигде она не признает за личностью автономного существования. Нигде нет особой, священной сферы интересов, запретных для государства. Государство само священно, и самые высшие абсолютные требования религии совпадают с притязаниями государственного суверенитета.

Греция не исключение. Ни наша благодарная к ней любовь, ни признание единственности ее высшей культуры, ни даже поколения наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом вместо Евангелия в руках, не могут заслонить основного факта: наша свобода не была обеспечена в Греции.

Греки сражались и умирали за свободу; но под свободой они понимали или независимость своего города-отечества, или его демократическое самоуправление. Это была свобода для государства, на которую не могли притязать ни личность, ни меньшинственная группа. Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору Афинской демократии — в те короткие полтора столетия, которые отделяют греко-персидские войны от македонского завоевания. Но эта вольность — результат разложения, скорее распущенность, чем закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то есть наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа.

Но даже на время наибольшей свободы Афин падает процесс и казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Протагора и — что гораздо страшнее — социальная утопия Платона. Величайший из философов Греции был теоретиком абсолютного, тоталитарного государства. Быть может, только в Софокловой «Антигоне» брезжит заря нашей свободы: пророчество, предвосхищение совершенно иной духовной эры.

Исключительность, единственность свободы не должна нас смущать. Только грубое биологическое или социологическое мышление, оперирующее с количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видеть в единственности порок.

Да, свобода—исключение в цепи великих культур. Но сама культура — исключение на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь — странное исключение среди живых существ. Но ведь и жизнь как органическое явление — тоже исключение в материальном мире. Конечно, здесь мы вступаем в область неведомого, но много оснований на стороне тех теорий, которые считают, что только на планете Земля могли создаться благоприятные условия для возникновения органической жизни. Но что значит Земля в Солнечной системе, что значит Солнце в нашем Млечном Пути, что значит наша «галактия» во вселенной?

Одно из двух: или мы остаемся на внешне убедительной, «естественнонаучной» точке зрения и тогда приходим к пессимистическому выводу. Земля — жизнь — человек — культура — свобода — такие ничтожные вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшие из случайной игры стихий на одной из пылинок мироздания, они обречены исчезнуть без следа в космической ночи.

Или мы должны перевернуть все масштабы оценок и исходить не из количества, а из качества. Тогда человек, его дух и его культура становятся венцом и целью мироздания. Все бесчисленные «галактии» существуют для того, чтобы произвести это чудо — свободное и разумное телесное существо, предназначенное к царственному господству над вселенной.

Остается не разрешенной — практически уже не важная — загадка значения малых величин: отчего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? Интереснейшая проблема для философа, но мы ее можем оставить в стороне.

Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют мирозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую, или единственно истинную, религию — не две, а одну, — которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которая — будучи менее универсальной, чем христианство или наука, — тем не менее господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными врагами.

Ограниченность происхождения еще не означает ограниченности действия или значения. Рожденное в одной точке земного шара может быть призвано к господству над миром; как всякое творческое изобретение или открытие, оно стремится стать общим достоянием человечества. Не все ценности допускают такое обобщение; многие остаются навсегда связанными с одним определенным культурным кругом. Но другие — и самые высшие — существуют для всех. Это о них сказано: «Ничто человеческое мне не чуждо»³. Все народы призваны к христианству. Всякий человек в большей или меньшей степени способен к научному мышлению. Но не все признают — и обязаны признавать — каноны греческой красоты. Все ли народы способны признать ценность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас решается в мире. Не теоретическими соображениями, а только опытом возможно решить его.

О чем идет речь? О какой свободе? Пора наконец определить нашу тему. Но сделать это надо покороче, без лишних сложностей. В наше время определения свободы требуют прежде всего ее враги. Они утратили способность понимать ее; самые простые вещи начинают представляться для них чудовищно трудными. Раздувая эти трудности до абсурдов, они делают из свободы философскую бессмыслицу. Однако и они и всякий читатель имеют право на ясный и точный ответ: что здесь, на этих страницах, понимается под свободой?

Итак, мы говорим о свободе не в философском или религиозном смысле. Наша свобода не свобода воли, то есть выбора, которую ничто, никакое ослепление греха или предрассудков не способно до конца отнять у человека; такой свободой обладает и комсомолец и член Hitler-Jugend.

Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоический философ и аскет; Эпиктет осуществлял ее в рабстве, святые находили ее в добровольной темнице кельи.

Но это и не динамическая свобода социального строительства и разрушения, которой охвачена фашистская молодежь, отдающая свою личную волю в полное подчинение вождям ради этого чувства коллективной мощи и власти.

Наша свобода — социальная и личная одновременно. Это свобода личности от

общества — точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная — свобода от чего-то и вместе с тем относительная; ибо абсолютная свобода от государства есть бессмыслица.

Свобода в этом понимании есть лишь утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности. Будучи относительной в своей мере и в формах, по-разному определяясь в разных странах современной демократии, она, однако, зиждется на некоторых абсолютных предпосылках, которые мы должны установить. Утрата их, полная релятивизация свободы для нее смертельна: по нашему убеждению, это и является главной причиной современного помрачения свободы.

Рассматривая длинный список свобод, которыми живет современная демократия: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д., — мы видим, что все они могут быть сведены к двум основным началам; именно к двум, а не к одному, к прискорбью для логической эстетики. Этот дуализм свидетельствует о различии исторических корней нашей свободы.

Главное и самое ценное ее содержание составляет свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического — и его публичного выражения: в слове, в печати, в организованной общественной деятельности. Исторически вся эта группа свобод развивается из свободы веры.

С другой стороны, целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась вековая борьба с монархией. Они нашли себе выражение в характерном английском акте-символе, известном под именем *Naveas Corpus*⁴. Пользуясь этим символом, мы могли бы назвать эту группу свобод свободой тела в отличие от другой группы — свободы духа.

Разнородность их природы уясняется из одного простого рассуждения. Идеальный христианин, святой, может без ропота отдать свое тело, имущество и жизнь тирану; даже видеть в этом непротивлении свой долг — подражание Христу. Но он не поклонится идолам, не отречется от Христа по требованию императора. Величайшие конфликты государства с церковью происходили по преимуществу из-за этой свободы — духа; конфликты государства со светским обществом — преимущественно по вопросам свободы тела.

Разумеется, слово «тело» мы употребляем в очень широком смысле; оно включает как собственность лица, так и его честь — то есть не только физическую, но и социальную его индивидуальность, за исключением духовной, или, выражаясь иначе, все, что принадлежит личности, но не является ею самой. Вера и убеждение не принадлежат ей, но она сама скорее принадлежит им; в некотором смысле ее подлинное бытие с ними совпадает.

Быть может, большинство демократов в наши дни убеждены, что эти свободы — завоевание нового времени: английской революции XVII века или даже французской — XVIII. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революция вообще местом ее рождения. Отсюда оптимистический взгляд на исход новейших революций. Они представляются неизбежно тяготеющими к свободе и осуществляющими ее после тяжелых испытаний.

Какую роль в развитии нашей свободы играли великие исторические революции, мы увидим дальше. Но прежде всего необходимо подчеркнуть и, не уставая, повторять, что свобода зарождается в средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке. То христианское средневековье, которое было родиной всей нашей культуры как отличной от культуры классического мира, было и родиной свободы. *Magna Charta*⁵ датируется 1214 годом.

Но задолго до английского восстания баронов против Иоанна Безземельного Европа видела войны и революции, которые велись за свободу. Конец XI века был полон громом потрясений, народных движений и международных войн. Самым боевым лозунгом тех лет была свобода — только свобода в особом смысле: *libertas Ecclesiae*^{*}. И это возвращает нас к истокам первичной свободы — свободы веры.

Западная церковь пережила кризис Римской империи и хранимой ею эллинистической культуры. Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слыхала

* Свобода церкви (лат.).

с ними в «симфонии», подобной Византийской, но сохранила свою независимость от государства и даже более — свою учительную и дисциплинарную власть над ним. Однако до теократии дело не дошло. Варварская стихия восстала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство. Внешним выражением его было двойное право — каноническое и национальное, двойная юрисдикция — духовная и светская. Но еще важнее, что каждый человек был подданным двух царств: града Божия и града земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение. Церковь брала себе душу, король — тело. Размежеваться было трудно, ибо жизнь сложнее этого дуализма. Сложность вызвала постоянный конфликт, по существу, неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.

Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов — папы и императора. В грандиозных конфликтах XI—XIII веков все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные основы общества, не могло быть и речи об абсолютности светской власти. Даже отвлекаясь от самого содержания духовного суверенитета, даже в нелепом предположении, что им могла бы быть любая нехристианская религия, самый факт церковно-государственного дуализма ограничивал власть государства, создавал сферу личной свободы. Но, конечно, вдумавшись, мы понимаем, что никакая иная из известных нам религий не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть одновременно религией абсолютного, вечного и в то же время связанного, соотносительного с телесным и земным. Ни посястороннее язычество, ни потусторонний спиритуализм (буддизм, платонизм) не могли бы создать религиозной сферы, высшей, чем государство, но чересполосной с ним. Ислам не в счет, ибо там, как и в Византии, высшая духовная власть совпадает с государственной.

В католической Европе у церкви был один важный шанс в борьбе за ее свободу: феодальный характер государства. Конечно, буйное и воинственное рыцарство причиняло церкви много зла и хлопот. Церковь встречала больше послушания среди городских коммун, среди рабочих первых индустриальных городов Италии и Нидерландов. Но бароны, хотя бы и гибеллины, ослабляли королевскую власть, раздробляли светский суверенитет. Перед церковью не возникало угрозы Левиафана.

Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой, но, может быть, более ценимой современной демократией — той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны не подданные или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории если не всякой, то более крупной сеньории ее глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением.

Формула «помещик-государь», хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них (его «тело») защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля. Восстание баронов в Англии 1214 года и Magna Charta были не революционным взрывом, началом новой эры, а одним из нормальных эпизодов политической борьбы.

Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий. Но я хотел бы видеть в нем символ современной демократической свободы. То, что было раньше привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.

В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. Мужик стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть мой государь, и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они).

Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним. А за ним Habeas Corpus, распространенный постепенно с баронов-государей на буржуазию городских общин и на весь народ. В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI—XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегиями общей и

личной свободы. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов.

Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее. Важно отметить, что в своем зарождении правовая свобода (свобода «тела») была свободой для немногих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается как привилегия подобно многим плодам высшей культуры. Массы долго не понимают ее и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Все завоевания деспотизма в новой истории (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при сочувствии масс. Массы нуждаются в многовековом воспитании к свободе, которое нам на рубеже XIX—XX веков уже казалось, может быть ошибочно, законченным.

Люди, воспитанные в восточной традиции, дышавшие вековым воздухом рабства, ни за что не соглашались с такой свободой — для немногих, — хотя бы на время. Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают — ни для кого. Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. В результате на месте дворянской России — империя Сталина.

Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были большей частью жестокими господами для своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности, а для церкви, то есть для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. Несмотря на все реакции времен Ренессанса и абсолютной монархии, всевластию государства был положен предел. И этот предел был указан двумя началами, по-видимому, всегда необходимыми для осуществления свободы: плюрализмом власти и абсолютным характером духовных (религиозных) норм.

Переход от средних веков к новому времени принес не расширение, а умаление свободы. Блестящий культурный ренессанс в политической сфере означал появление тирании в Италии и королевского абсолютизма в заальпийской Европе. Создается централизованное национальное или территориальное государство на развалинах средневековых сословных вольностей. Парламенты теряют свой авторитет, *États Généraux*⁶ перестают собираться, постоянные армии и зародышевая бюрократия вытесняют феодальный *aide et conseil*⁷. Ограничивается, если не исчезает совсем, плюрализм власти — одно из условий свободы. Другое, духовное, условие поколеблено также вместе с упадком или затмением религиозности.

Церковь отступает от своих универсальных позиций, замыкается в стенах храма. Кесарь начинает владеть не только телом, но отчасти и душой подданных. Сопротивление его посягательствам на духовную сферу жизни становится редким и слабым. Томас Мор, гуманист и мученик за свободу церкви, составляет редкое исключение.

Может быть, напоминание об этом потускнении свободы на заре великолепного дня нашей культуры способно принести некоторое утешение в наши дни ее вторичного затмения. Рано еще хоронить свободу. Социалистическая революция теперь, как некогда национальное государство, питается кровью свободы. И теперь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть завершения нашей культуры в тоталитарном государстве. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее можно победить и теперь. Важно лишь помнить, каковы были условия, сделавшие возможным ее преодоление.

Культура Ренессанса с ее победным ростом деспотизма нашла свой предел в Реформации. Всякая попытка построить генеалогию современной свободы, минуя Реформацию, обречена на неудачу. Линия, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвещением, Леонардо да Винчи с Ньютоном, пригодна для истории науки, но не для истории свободы. Конечно, утверждение реакционеров католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грехопадением Лютера, есть огромное преувеличение. Но оно содержит в себе зерно истины. После католической борьбы за свободу церкви (XI—XII вв.) религиозные войны эпохи Реформации (XVI—XVII вв.) знаменуют второй этап в развитии свободы.

Не следует только представлять дело таким образом, что провозглашенный Лю-

тером принцип свободного толкования Библии сыграл эту революционную роль. На самом деле авторитет католической церкви был сейчас же заменен авторитетом новых пророков; за пророками следовали схоластики, создавшие протестантские катехизисы. Аугсбургское⁸ или Вестминстерское исповедания⁹ сами по себе ничуть не свободнее Тридентского катехизиса¹⁰. Фанатизм новых сект нисколько не уступал нетерпимости старой церкви. Протестанты жгли или вешали еретиков с не меньшим усердием, чем католики. Более того, там, где Реформация передала власть над церковью князьям — в Англии, в Германии, в скандинавских странах, — государственный абсолютизм получил новое подкрепление за счет католической церкви. Тюдоры становятся правителями церкви¹¹ и в силу этого владыками совести. Но для судеб свободы имел огромное значение тот факт, что в Англии — именно в Англии — господствующее англиканское исповедание не смогло стать религией всего народа. Религиозная буря, поднявшаяся с начала XVII столетия, привела не к единству новой, реформированной церкви, а к образованию множества сект, борющихся страстно, но безуспешно за господство. Менее всего можно было ждать признания свободы со стороны религиозных радикалов; в XVII веке скорее можно было встретить сторонников терпимости — как тогда говорили, латитудинаристов¹² — в государственной церкви, среди сторонников Стюартов. Английская революция, или, правильнее, гражданская война, не принесла ничего для свободы — ни религиозной, ни политической. После тирании Кромвеля Англия вернулась к исходной точке, к реставрации Стюартов, с прежними темами борьбы: церковь и секты, король и парламент. Свобода пришла вместе с терпимостью — конечно, ограниченной — лишь к концу века, когда выяснилась невозможность религиозного объединения Англии. Вторая, «Славная», революция принесла с собой действительный Habeas Corpus и свободу главным сектам протестантизма; католикам и евреям пришлось ждать ее до XIX столетия.

Почти то же мы видим и в Америке. Здесь не англиканская церковь, а конгрегационалисты¹³ или пресвитериане¹⁴ пытались установить режим вероисповедного единства в отдельных колониях. Удушливая атмосфера нетерпимости Новой Англии была не лучше Старой; в Коннектикуте вешали квакеров¹⁵. Однако дробность сект и их чересполосица заставляли создавать островки свободы для совместной жизни иноверцев — таков «Род-Айленд».

Так постепенно создавалась свобода, или ее оазисы, в мире нетерпимости, принималась не принципиально и не радостно, а по необходимости — как неизбежное зло. Но уже «из необходимости создавалась добродетель». На перекрестках духовных дорог встречаются люди — и число их растет, — которые утверждают свободу как принцип, которые исповедуют религию свободы. Для этих избранных умов, для Мильтона¹⁶, Джорджа Фокса, Роджера Вильямса¹⁷, свобода неотъемлема от христианства. И тезис этих утопистов, заблудившихся в жестокий век религиозных войн, восторжествовал. Свобода оказалась практичнее насилия. Принудительное единство грозило бесконечной войной и гибелью культуры; свобода ее спасала.

Терпимость поневоле мало радует. Если бы будущее свободы зависело от утраты духовного единства, от наличия расколов и ересей, это не сулило бы ничего доброго для более счастливых времен — для Европы, вновь обретшей цельность своей культурной жизни. По счастью, христианская свобода имеет более глубокие корни, чем практическую безвыходность. Прошли века, и убеждение немногих утопистов времен Реформации вошло в плоть и кровь большинства христиан. Мало кто посмеет защищать в наши дни идею насильственного спасения. Самые авторитетные церкви ныне стоят на почве свободы — быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что они не смеют утверждать насилие ради спасения, ради любви, как утверждали наши предки в течение веков или даже тысячелетий. Христианство во многом созрело, стало мудрее, совестливее за последние века. Среди тяжелых неудач и поражений, даже гонений, которые ему случалось переживать, оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Вне всякого сомнения христианство сейчас ближе к опыту ранней церкви, ближе к Христу, чем во времена его призрачного господства над миром.

Быть может, никто с такой силой не утверждал смысла свободы для христианской церкви, как это сделал Достоевский в своей знаменитой «Легенде»¹⁸. Достоевский, конечно, не иерарх и даже не богослов. Но поразительно, что никто из реакционеров победоносцевской России не посмел прямо восстать против самозванного про-

рока. Никто не сказал: это ересь. Делали только вид, что «это нас не касается»: речь идет о папизме.

В Евангелии от Иоанна и в Павловых посланиях есть много вдохновенных слов о свободе. Но они говорят о той глубокой, последней свободе, путь к которой ведь может вести и через отрицание свободы. По крайней мере такова была тысячелетняя диалектика богословия. Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства. Первая — абсолютная ценность личности (души), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже церкви («девятью девять праведников»). Вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая, страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее — значит поставить свободу выше любви, значит признать трагический смысл истории, возможность ада. Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить за волосы из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «...оставьте их вместе расти до жатвы»¹⁹. И в древнем мифе о грехопадении, который лежит в основе христианской теодицеи, Бог создает человека свободным, зная, что этой своей страшной свободой человек погубит прекрасный Божий мир. И Бог желает спасти падший мир не властным словом («да будет»), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем что ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взошедший на крест, чтобы спасти человека в свободе.

Но времена изменились. Новый этап борьбы за свободу начинается в XVIII веке. Люди, не помнящие истории, склонны вообще начинать историю свободы с этого века или даже с французской революции. На самом деле в век Просвещения произошла лишь — и то неполная — секуляризация свободы. Изменились ее идеалы, ее обоснование — как говорили недавно в России, ее «во имя». Если отвлечься от особенностей идеологии французского Просвещения и взять в целом два последних века Европы с их борьбой за свободу, торжеством свободы и ее упадком, то мы увидим две могущественных силы, которые вынесли свободу и ныне предают ее: науку и капитализм.

На рубеже XVII—XVIII веков после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпрометировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное успокоение своей тоски по абсолютному, он приходит к убеждению, что уже обладает этим абсолютным ключом к тайнам бытия. Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Ньютоновская физика и все производное от нее естествознание — даже социология — до наших дней владели умами и пытались утвердить себя в качестве религии разума на место обанкротившегося христианства.

Новая наука, как всякая наука, нуждается в свободе. Эта свобода есть «свобода исследования», свобода от догматических предпосылок, свобода выбора между возможными заключениями. Такая свобода необходима для ограниченного числа ученых. По существу, она не нужна даже для популяризаторов и педагогов, не говоря о массах. Но благодаря огромному, почти религиозному значению науки в новое время идеалы ученых стали идеалами всего общества, то есть всех образованных или полубразованных слоев его. Школа на всех ступенях стремилась к развитию критической мысли и к усвоению элементов научного метода. Каждый юноша, хоть бы на самое короткое время своей жизни, приобщался к армии работников науки и заражался ее патриотизмом, тем более что образование XIX века было почти исключительно интеллектуальным.

Свобода научного исследования находила себе мощную поддержку в свободе хозяйственной предприимчивости, которую несла с собой молодая буржуазия. Она не нуждалась более в опеке государства. Прежде ценное покровительство его становилось или ощущалось путями. Ученики Адама Смита приветствовали неограниченную

свободу торговли, конкуренции, экономического эгоизма. Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всех против всех.

Но утвердившись в хозяйстве, в этом центре социальной жизни, свобода распространяется быстро на все сферы: политику, быт, семью, воспитание, гигиену, общественную мораль. Всюду ограничивается, минимализируется значение норм, авторитетов, принуждения, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистический взгляд: свободная борьба стихий в личности и обществе сама по себе приводит к гармонии или к повышению творческих энергий. И в течение двух или трех поколений жизнь оправдывала эти надежды. XIX век был одним из величайших веков в истории человечества, одним из самых творческих и уж, конечно, самым гуманным и самым свободным.

Свобода мысли на высотах культуры, свобода хозяйства в ее центре взаимно поддерживали друг друга. Они покоились на одном принципе — рационализма. Зомбарт²⁰ верно уловил сродство между пробуждением экономического рационализма в итальянском Возрождении и первыми шагами научной мысли. В середине XIX века положение не изменилось. Банкир или фабрикант не только ради интереса, но и бескорыстно сочувствуют успехам науки, ее борьбе против всех суеверий и торжеству народных революций, свергающих или ограничивающих власть королей.

Свобода мысли в истории новых веков сменила свободу веры, как либеральная — то есть минималистическая — концепция государства заняла место феодального плюрализма власти. Вернее, произошла перестановка ударений. Как будто бы новая чета свобод преемственно связана со старой. Свобода веры предполагает свободу неверия. Но когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется все человеческое содержание ее: из целостной, охватывающей все ценности и все стремления человека она становится чисто интеллектуальной. Подобно этому плюрализм власти, защищая личность, не подрывал ни государства, ни его нравственного достоинства. Новый либерализм, не отменяя, конечно, государства, его дискредитирует и обезоруживает. Впрочем, не одно государство...

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Наблюдая народные политические движения XIX века — борьбу за свободу и равенство, — мы видим, что под поверхностью рационалистических идей в них живет совсем иное содержание. Не за свободу исследования и не за свободу хозяйства французские студенты и рабочие умирали на баррикадах. Они умирали за свободу вообще, то есть за целостный идеал преобразования жизни, за новую землю и новое человечество, за эсхатологическую утопию. Даже самая организация политических партий, столь существенная для современных демократий, менее всего напоминает научную ассоциацию или хозяйственный трест. В Англии, родине всех партий, они преемственно связаны с сектами XVII века, или, точнее, с теми мирянскими союзами, «ковенантами» для защиты веры, которыми так богата история английской Реформации. Партии XIX и XX веков, превратившиеся (и то не до конца) в органы защиты групповых интересов, все еще покоятся на идеологической основе, на признании (а не исследовании) некоторых истин, или теоретических положений, и на общности нравственных оценок. Консерватизм, либерализм, социализм — не научные системы, хотя они и стремятся к научному обоснованию. Это определенные мировоззрения, то есть системы общественно-моральных оценок, за которыми стоят философские начала, принимаемые на веру как основа жизни. Для XIX века это были еще крипторелигиозные силы.

Силы открыто религиозные, великие исторические церкви, в новое время редко принимают участие в борьбе за свободу. Чаще всего они оказываются в лагере врагов свободы. Со времени Ренессанса церковь выпустила из своих рук водительство культурным движением человечества. Это движение пошло по таким путям, которые вызвали ее вполне справедливое недоверие и осуждение. Не изменяя своим вечным началам, она не могла, конечно, принять ни механической системы мира, ни оптимизма Руссо, ни утилитаризма либералов, ни детерминизма марксистов. Но все эти ереси ложились в основание новых освободительных движений. Впрочем, еретическое обоснование свободы никак не может оправдать союза с обветшавшими формами социального строя. Проклятая незаконная свобода, цепляясь за все остатки рабства или угнетения. Каждый шаг свободы, каждое новое раскрепощение личности, класса или народа встречали наиболее сильное или принципиальное сопротивление со стороны церквей. Отсюда прочно сложившееся убеждение нового либерализма, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину»²¹. В опыте новых веков

освободительное движение забывало о христианском своем происхождении. Оно ищет мнимой генеалогии в язычестве Древней Греции или в неопаганизме Ренессанса.

Впрочем, этот разрыв между религией и свободой нетипичен для англосаксонского мира, то есть для родины свободы. Трагический разрыв остается господствующим фактом для европейского континента и особенно для стран, связавших свою свободу с легендой французской революции: для Франции, Италии, Испании, России.

Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. Верно то, что революция шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но верно и то, что в истории Франции не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть века революционной эпохи. Эти лозунги или воплощенные в них идеи были, конечно, созданием не революции, а XVIII века. Созданием революции была централизованная Империя. Революция нашла в старом режиме вместе с устаревшими привилегиями и не оправдываемым уже гражданским неравенством многочисленные островки свободы: самоуправление провинций, независимость суда (парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она уничтожила все это, решившись на то, на что не посмели Бурбоны в своей двухвековой работе по разрушению средневековых свобод. Она осуществила равенство без свободы в противоположность тому, что повторяется обычно, — конечно, равенство лишь гражданское. Грандиозное, административно совершенное здание Империи закрепило все положительные «завоевания» революции, раздавив всю ее идеологию. Империя Наполеона не есть ни реакция против революции, ни ее несчастное извращение, но логически необходимое завершение. Революция так радикально выполола мечту о свободе и даже потребность в ней, что никакая серьезная оппозиция не угрожала Империи. Она могла бы существовать хотя бы целое столетие, если бы ее не свергла иноземная интервенция. О прочности, об органичности Империи на почве, жирно политой кровью революции, свидетельствует уже тот факт, что Франция еще раз вернулась к этой форме деспотизма и жила в ней два десятилетия; Вторая Империя точно так же была свергнута лишь внешним врагом. Но еще долго спустя бонапартизм, в том или ином виде, угрожал Третьей республике, которая унаследовала сама почти всю свою административную организацию от той же Империи.

Свободу Франции и Европы спасла Англия, и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона — единственный оазис свободы в Европе 1812, как и 1940 года, — и подарив — вместе с императором Александром — конституционную хартию Франции 1814 года. Только с Реставрацией начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительные учреждения, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиции. В то время политическая мысль французского либерализма искала опоры в английских учреждениях. Революция была предметом ужаса для поколений, еще хранивших живые воспоминания о ней. Лишь тогда, когда сошли в могилу последние свидетели, в 1830-х годах начинает твориться — в книгах Мишле²² и Луи Блана²³ — легенда Революции, которой живет сейчас республиканская Франция. Эта легенда сама по себе может иметь освобождающую силу, подобно легенде Вильгельма Телля, не имеющей, как известно, никакого исторического оправдания. В ней британская свобода прикрыта фригийской шапкой. Но двусмысленность, создавшаяся из этого переодевания, не всегда безвредна. Рецидивы якобинства угрожают и современной Франции; Россия заплатила за увлечение Мишле (через немца Блоса²⁴) миллионами лишних жертв Чeka.

Не одна Франция получила свою конституцию из-за Ла-Манша. Все европейские конституции XIX века восходят к тому же британскому источнику. Если рецепция британских учреждений оказалась возможной и плодотворной, то это прежде всего потому, что вся Западная Европа была одной семьей народов. Они все прошли ту же историческую школу, имели не только в памяти, но и в крови рыцарство, католицизм, Реформацию. Ростки свободы жили повсюду, хоть и приглушенные веками абсолютизма. Лишь с точки зрения конституционных учреждений переход от абсолютизма к представительному строю был или казался революционным. Для «личных субъективных» прав не было революции; было лишь расширение и развитие их содержания. Если взять самые реакционные из монархических режимов старой Европы — например, Австрию Меттерниха, — ее культурная жизнь покажется не?

обычайно свободной по сравнению с культурами Азии, не знавшей феодально-христианского опыта, со старой Москвой или даже с современной ей николаевской Россией. Свобода для Европы не есть новейшее завоевание, но лишь пышное прорастание от древних корней.

Обращаясь к той стране, которая в эту эпоху была «детоводительницей к свободе», мы видим, что в ней более чем где бы то ни было в Европе свобода утверждается не только на новых, но и на древних основаниях. Конечно, и в Англии либерализм питался и экономическими мотивами капитализма и научным мировоззрением нового времени. Это столь хорошо знакомая — и единственно знакомая — нам, русским, линия Локка, Бентама, Милля, Спенсера. Но рядом с ней живет другая, христианская, традиция свободы, сильная особенно в «свободных церквях». Гладстон²⁵ сделал для свободы мира больше, чем какой-либо другой политический деятель Англии. Но Гладстон был и теологом, притом теологом не одной из многочисленных сект, но государственной церкви Англии. До последнего времени лидеры рабочего движения Англии выходили из сектантских проповедников. Антихристианский радикализм начала XIX века был скорее временным увлечением. И если положительная религия в Англии, как и повсюду, переживала в XIX веке процесс медленного выветривания, ее нравственные приложения живы и поныне; да и чисто религиозные силы в достаточной мере еще питают политическую жизнь. Что касается феодальной свободы, то она переживает себя и в широком самоуправлении, в развитии всех форм социального (внегосударственного) права и даже в общественном значении аристократии; аристократия эта активна и часто прогрессивна, участвует во всех сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей нации. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лет сто тому назад, теперь становится общенациональным. Мы не знаем, конечно, правда ли, что «британцы никогда не будут рабами»²⁶. Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англию во имя равенства или во имя славы, должен будет раскусить весьма крепкий орех.

Кризис свободы за последние полвека связан с упадком тех двух основ, на которых она пыталась утвердиться в новое время: капиталистической экономики и научного позитивизма. Свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармонии, а к разрушению. Вот почему задача освобождения сменилась задачей организации. Началось с возрождения покровительственных тарифов окончилось попытками построения социалистического хозяйства. В эпоху, когда экономические проблемы занимают центральное место, потребность экономической организации распространяется на все сферы жизни. Она поддерживается небывалым ростом техники, которая сама по себе требует принудительной организации: автомобильного движения, радио, надземных и воздушных путей. Неорганизованная техника означает столкновение, взрыв, разрушение, смерть. Но пробудившееся, и праведное, стремление к разумному устройению жизни выражается и в растущей системе социального обеспечения и социальной гигиены, всюду ограничивающей старую свободу, понимаемую в смысле невмешательства. Кстати, кризис парламентаризма отчасти объясняется этой же новой потребностью в рациональном и сложном законодательстве. Старая парламентарная машина создавалась не столько для управления, сколько для обуздания правителей; не для отбора компетентных законодателей, а для отражения общественных настроений. Времена изменились, и конституционная машина отказывается выполнять работу, для которой она не создана.

Кризис миросозерцания открылся в конце прошлого века, когда во Франции Брюнетьер²⁷ провозгласил «банкротство науки». Наука, конечно, не обанкротилась, а делает ежедневно поразительные открытия и изобретения. Но обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от чаемого единства. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. И уж во всяком случае из системы точных наблюдений над фактами никак не удавалось вывести систему норм. Ученый, как и последний невежда, стоит так же беспомощно перед проклятыми вопросами: в чем смысл жизни? как жить? что добро и что зло?

Когда это стало ясно для широких кругов, ученый потерял то религиозное обаяние жреца истины и пророка лучшего будущего, которым он был недавно окружен.

Исследование истины перестало быть делом каждого Техника вообще заслонила чистое знание. Интеллектуализм во всех его проявлениях оказался не ко двору. Новая ересь — иррационализм — торжествует повсюду: в новейшей психологии, в искусстве, в философии.

При таких условиях «свобода исследования» стала узкопрофессиональным интересом ограниченного круга ученых. Политики, ведущие за собой массы, перестали с ней считаться. Ученому просто задают задачи для обслуживания национальных или политических интересов, не считаясь с его взглядами или убеждениями. Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в «передовых» коммунистических странах. Самое поразительное — та легкость, с которой огромное большинство ученых принимают «социальный заказ». Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку, что его отношение к ней стало формалистическим. Его интересует работа, техника ее, а не содержание открываемой или приоткрываемой им истины. Современный ученый не собирается умирать за науку, как умирал пуританин, гугенот или католик за свою веру.

Впрочем, это все общеизвестно. И наша тема была — рождение свободы, а не ее упадок. Но некоторые выводы из этого анализа все же можно сделать.

Известное ограничение или затмение свободы неизбежно в переживаемую нами эпоху социальной революции. До тех пор, пока задача организации нового общества хотя бы в грубых чертах не будет осуществлена, свободе придется приносить жертвы.

Если единственное основание нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и научная свобода исследования, то они вместе с политическими свободами, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение свободы, а ее смерть.

К счастью, корни нашей свободы гораздо глубже. Рожденная в христианском средневековье, она пережила свое затмение в абсолютизме меркантилистического государства; она имеет шансы пережить и социалистическую революцию.

В тех странах, которые сейчас являются ведущими в борьбе за демократию, христианские корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, не только за равенство, но и за свободу. Для ее новой победы и для дальнейшего роста и укрепления ее в мире необходим ряд условий. Вот важнейшие из них:

1. Возрождение в мире абсолютного, то есть религиозного, начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить все относительные — праведные и неправедные — притязания государства.
2. Раскрытие этого абсолютного начала как религии личности и свободы.
3. Ограничение суверенитета национально-социалистического государства сверху — международным принудительным союзом, снизу — федеративными и автономно-групповыми образованиями, возвращающими общество в более совершенных правовых, демократических формах к феодальным началам его юности.

¹ Неточно процитированные Г. П. Федотовым строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (1853): «Полнеба обхватила тень, лишь там, на западе, брезжит сиянье...» В эпоху жестоких поражений европейских демократий Г. П. Федотов связывал будущее свободы с судьбой Англии, не уступившей натиску Гитлера. Отсюда «западнический» характер избранного эпиграфа.

² «Человек рождается свободным, а умирает в оковах» — слова Ж. Ж. Руссо из книги «Об общественном договоре» (гл. 1).

³ «Ничто человеческое мне не чуждо» — изречение римского поэта Теренция (ок. 190—159 гг. до н. э.) В подлиннике: «Homo sum humani nihil a me alienum puto» («Heaton Timorumenos», I, 1, 25).

⁴ Habeas Corpus (лат.; буквально: вы можете взять тело) — в средневековой Англии судебное распоряжение о задержании какого-либо лица. Оно предписывало, чтобы взятое под стражу лицо было доставлено в строго определенное место в строго определенное время в строго определенных целях. Начиная с XIV века в Англии (а позднее и в США) этот юридический принцип рассматривался как важнейшая гарантия свободы личности, защищающая ее от произвольного ареста и тюремного заключения без судебного разбирательства. В XVII веке этот принцип был разработан и закреплен в особом законодательном акте (Habeas Corpus Act), принятом английским парламентом в 1679 году.

⁵ Magna Charta, или Великая хартия вольностей, — грамота, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным по требованию восставших против него баронов. Она ограничивала произвол королевской власти и послужила исходным пунктом дальнейшего развития гражданских свобод в английском праве.

⁶ *États Généraux* (франц.) — Генеральные штаты — высшее сословно-представительное учреждение во Франции (с 1302 по 1789 год), состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и третьего сословия. В 1789 году оно было упразднено и заменено Национальным собранием, куда входили только депутаты третьего сословия.

⁷ *Aide et conseil* (франц.; буквально: помощь и совет) — право помощи и совета; одна из привилегий французской феодальной аристократии, потерявшая значение с утверждением абсолютизма.

⁸ *Аугсбургское исповедание* — лютеранское исповедание веры, представленное германскому императору в 1530 году в Аугсбурге; один из основных вероучительных текстов лютеран.

⁹ *Вестминстерское исповедание* — исповедание веры пресвитерианской церкви, принятое в 1643 году на соборе в Вестминстере; его вероучительный авторитет признан всеми пресвитерианскими церквями мира.

¹⁰ *Тридентский катехизис* — изложение вероучения римско-католической церкви, принятое знаменитым «контрреформационным» Тридентским собором, продолжавшимся с перерывами с 1545 по 1563 год.

¹¹ Впервые главой английской церкви провозгласил себя поссорившийся с римским папой английский король Генрих VIII Тюдор (1491—1547) в 1531 году. При его дочери Елизавете I (1533—1603) этот принцип сделался догматическим положением англиканской церкви.

¹² *Латитудинаристы* (лат.; буквально: широкие, терпимые) — в XVII веке так называли членов англиканской церкви, придававших мало значения разногласиям в вопросах догматики, церковного устройства и богослужебной практики между существовавшими тогда церковными течениями.

¹³ *Конгрегационалисты* — церковное течение, утверждающее независимость и автономность каждой местной церковной общины; возникло в Англии в середине XVI века (под названием индепендентов, то есть независимых), затем нашло приверженцев в Голландии и Америке.

¹⁴ *Пресвитерианство* — церковное течение, возникшее в эпоху европейской Реформации и традиционно исповедующее кальвинизм. В 1970 году большинство пресвитерианских церквей (существующих на всех континентах) объединились с конгрегационалистскими во Всемирный союз реформированных церквей.

¹⁵ *Квакеры* — обиходное название религиозного течения Общества друзей истины, основанного в XVII веке английским проповедником Джорджем Фоксом. Квакеры отвергают все формы церковного богочитания, настаивая, что между учением Христа и человеческой душой не должно быть никаких посредников. Социальная позиция квакеров (отрицание государственного насилия, отказ брать в руки оружие и т. д.), причинившая им много неприятностей в истории, оказала заметное влияние на русских толстовцев.

¹⁶ *Мильтон Джон* (1608—1674) — английский поэт и публицист. В 1644 году он обнародовал свой трактат «Ареопагитика» в защиту свободы печати.

¹⁷ *Уильямс Роджер* (ок. 1604—1683) — поборник религиозной терпимости. Покинув Англию в поисках религиозной свободы, основал в 1636 году в Северной Америке первую баптистскую общину (впоследствии названную «Род-Айленд»), построенную на принципах самой широкой религиозной терпимости. Когда в 1656 году в Америке появились эмигранты-квакеры, они нашли приют в колонии Уильямса, хотя последний был противником их учения.

¹⁸ *Речь идет о главе из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» — «Великий инквизитор», по сложившейся литературной традиции обычно именуемой «Легендой о Великом инквизиторе» и рассматриваемой как самостоятельное целое (см., например: В. В. Розанов. «Легенда о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. СПб. 1906).*

¹⁹ «...Оставьте их вместе расти до жатвы» — изречение из Евангелия от Матфея (гл. 13, ст. 24—30).

²⁰ *Зомбарт Вернер* (1863—1941) — немецкий экономист, историк и социолог.

²¹ «Раздавить гадину» — призыв Вольтера, направленный против католической церкви.

²² *Мишле Жюль* (1798—1874) — французский историк, виднейший представитель романтической школы в историографии, автор «Истории Французской революции» и многоотомной «Истории Франции».

²³ *Блан Луи* (1811—1882) — французский социалист, историк и публицист, деятельный участник революции 1848 года. Автор двенадцатитомной «Истории Французской революции 1789 года».

²⁴ *Блос Вильгельм* (1849—1927) — немецкий историк и публицист социал-демократического направления. Автор трудов по истории французской революции 1789 года и революции 1848—1849 годов в Германии.

²⁵ *Гладстон Уильям* (1809—1898) — британский государственный деятель, с 1868 года — лидер либеральной партии.

²⁶ «Британцы никогда не будут рабами» — слова популярной патристической английской песни.

²⁷ *Брюнетьер Фердинанд* (1849—1906) — французский критик, историк и теоретик литературы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН



О РОМАНТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Анатолий Александрович Якобсон (1935 — 1978) был публицистом, поэтом, переводчиком и просто человеком щедро огаренным. Но прежде всего он был живой, жаркой совестью. Быть может, это и делало его замечательным учителем. Давно уж расформированы и сами школы, где преподавал Якобсон, а бывшие выпускники по-прежнему из года в год собираются, чтобы помянуть учителя.

Анатолий Якобсон преподавал историю и внеклассно — поэзию: вводил в мир Блока и Маяковского, в неведомый ученикам мир Ахматовой и Пастернака, в неведомый и самим учителям мир Цветаевой и Мандельштама. Его лекции, на которые шли всей школой стар и млад, не были ни ликбезом, ни театральным действием. Он не поучал и никого не гипнотизировал, но будил души.

Все литературные труды Якобсона родились из его лекций. Вероятно, это и обусловило ясность изложения и подчеркнутый нравственный смысл. Написанная в 1968 году статья о романтической поэзии — в сущности, сжатый вариант прочитанной годом раньше школьной лекции. Режиссер Юна Вертман, в ту пору тоже учительница, рассказывала, что накануне Якобсон волновался: «Боюсь, вдруг что-нибудь сорвется. Мне обязательно надо проговорить то, что я задумал, — это сейчас для меня важнее всего» (из неопубликованных воспоминаний). Причины тревоги можно угадать. Впервые Якобсон говорил о стихах ему чуждых и касался темы глубоко личной и болезненной. Человек душевно да и физически сильный, он был как-то по-детски раним и отзывчив — особенно на чужую боль, даже далекую и неведомую. Короче, он ненавидел насилие и отвергал его каждой клеткой, а завороченность насилием, его поэтизацию считал, самое мягкое, преступным заблуждением. Что стояло за словами «для меня важнее всего»? — в это «все» входило прощание со школой. Темы его давней лекции сейчас обсуждаются широко и открыто (хоть и с разным, порой зловещим подтекстом). Тогда это прозвучало впервые и разом положило конец учительству Якобсона.

С уходом из школы его деятельность как бы раздвоилась — на чисто литературную (он много и мастерски переводил) и правозащитную (смысл ее он видел в утверждении гласности — понятие в те годы преступное и уголовно наказуемое). Оба русла слились в его работах о русской поэзии, особенно в самой крупной и глубокой из них — книге о Блоке («Конец трагедии»). Книга ходила в рукописи в узком кругу читателей. Среди них, правда, были К. И. Чуковский, Л. К. Чуковская, М. С. Петровых, М. М. Бахтин, А. Д. Сахаров, Д. С. Самойлов.

Способностью преодолевать и опережать время Якобсон, помимо мужества, обязан, конечно, своему нравственному инстинкту и своему доверию к людям. И еще тому, в чем он искал и неизменно находил опору. Русскую литературу он любил, как любят родину — то кровное и таинственное, что пожизненно требует разгадки. И вряд ли он шутил, говоря, что мечтает стать «гениальным читателем», или сетуя, что Пушкина читают «на два сантиметра вглубь». Провидческий смысл искусства для него не подлежал сомнению, а в русской литературе он видел больше, чем искусство, — лик самой жизни, призванной «мыслить и страдать».

Живая и свободная мысль всегда выстрадана. Но иногда, к несчастью, выстрадана буквально.

Якобсон был вынужден (тоже буквально, то есть принужден) покинуть родину. Последние пять лет его жизни были трудными. Вот несколько строк из дневниковой записи: «Проживу, сколько суждено, понимая, что смерть не самое страшное... Умру скорее всего в Иерусалиме... Составлю духовное завещание по всем правилам европейского искусства. Урну с моим прахом переправят в Россию, и Юрий Всеволодович Белоусов (сын его друга.— А. Г.) зроет мой прах в русской земле», Осенью 1978 года Анатолий Якобсон покончил с собой. Единственным завещанием остались его книги.

Анатолий ГЕЛЕСКУЛ.

Кристалльная личность: на красном фоне — красная, на черном — черная.

Л. Лагин.

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские синие ночи, от которого как наваждение рассыплется рогатая нечисть Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом вершит в замке, он морозом стреляет в комнату:
...Не расстреливал несчастных по темницам.

О. Мандельштам, «Четвертая проза»,

Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное, сколько историческое значение этой тенденции.

Рассматриваю не всю нашу поэзию названного периода, а лишь поэзию революционно-романтическую.

Октябрьский переворот и гражданская война породили плеяду молодых поэтов, бойцов революции, которые воспели героическую тех лет.

Образчиком революционной романтики является, например, стихотворение Джека Алтаузена «Баллада о четырех братьях» Приведу несколько строф оттуда:

Второй мне брат был в детстве мил,
Не плачь, сестра! Утешься, мать!
Когда-то я его учил
Из сабли искры высекать...

Он был пастух, он пас коров,
Потом пастуший рог разбил,
Стал юнкером.
Из юнкеров
Я Лермонтова лишь любил.

За Чертороем и Десной
Я трижды падал с крутизны,
Чтоб брат начался под сосной
С лицом старинной желтизны.

Нас годы сделали грубей:
Он захрипел, я сел в седло,
И ожерелье голубей
Над ним в лазури протекло.

Что тема братоубийства стала одной из главных в литературе того времени — в стихах и прозе, — это понятно. Что в жизни, то и в литературе. Классовая, политическая вражда сшибала людей насмерть, разрывая между ними все исконные связи, в том числе и кровные. Но обратим внимание на то, в

каком освещении здесь преподносится самый акт братоубийства, — он окружен ореолом романтической красоты; в этот момент герой стихотворения всего острее чувствует себя героем.

То же самое находим в балладе М. Голлодного «Судья ревтрибунала». Вот отрывок из этой баллады:

Стол накрыт сукном судейским
Под углом.
Сам Горба сидит во френче
За столом.
: : : : :
«Сорок бочек арестантов!
Виноват...
Если я не ошибаюсь,
Вы — мой брат?»
: : : : :
Вместе спали, вместе ели,
Вышли — врозь.
Перед смертью, значит,
Свидетелья пришлось.
Воля партии — закон,
А я — солдат.
В штаб к Духонинну! Прямей
Держитесь, брат!»
Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры песню «Яблочко»
Поют.

Мотив и слова этой песни хорошо известны:

Эх, яблочко,
Куда ты котишься,
В губчена попадешь —
Не воротисься.

Горба судит сам, единолично. Однако он вершит не свою волю, а некий священный закон — волю партии. В этом самоотрече-

¹ Один из эвфемизмов тех лет для глагола «расстрелять» (Прим ред.)

Но крепче и крепче
Упрямая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.

Я рад, что, как рота,
Не спал в эту ночь,
Я рад, что хоть песней
Могу ей помочь.

Крепчает обида, молчит
И внезапно
Походные трубы
Затрубят на Запад
Крепчает обида.
Товарищ, пора бы,
Чтоб песня взлетела
От штаба до штаба!

Советские пули
Дождутся полета ..
Товарищ начальник,
Откройте ворота!
Туда, где бригада
Поставит пинеты.
Пустите поэта!
И песню поэта!

И вот в чем усматривает автор стихотворения главную коллизию времени:

И, радуясь мирной
Такой обстановке,
На теплых постелях
Проснулись торговки.

Но крепче и крепче
Упрямая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.

Мирная обстановка хороша для мещан. Для бойца, романтика, поэта такая обстановка невыносима. Романтический герой обуян жаждой подвига. И он бунтует: тосливо, обреченно, в одиночку, как Верка Вольная у Голодного, или напористо, лихо и всем коллективом, как у Светлова.

Любопытно сопоставить этот бунт с другим конфликтом, который лишь на поверхностный взгляд аналогичен первому.

Лирический герой Маяковского «Про это» (и в данном случае можно смело сказать: сам автор) тоже воюет с нэпом, с мещанской стихией, громит «обывденщины жуть», силится — один — свершить новую революцию. Но это — революция духа. Это бунт — не во имя вражды, а во имя братства людей, вселенской любви. И поэт, добровольно распятый на мосту истории, приносящий себя в искупительную жертву людям, верит в торжество своей идеи, верит, что все люди придут когда-нибудь к любви, придут к Маяковскому²:

Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.
Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный,
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.

Но вернемся к нашим романтическим героям. Верка Вольная Голодного и девятая рота Светлова все-таки поняли бы друг друга. Хотя бунтуют они неодинаково по форме, но по существу это один бунт. К тому же их сближают какая-то общая неприкаянность, недисциплинированность. В самом деле, разве можно на рассвете стучать в какие-то ворота, будить мирных советских граждан? Пользуясь образами того же светловского стихотворения, можно сказать что этого безобразия не допустят «кустальные милиционеры», храня покой и порядок «государственных будней».

Но есть другая разновидность романтического героя. Такому не нужны никакие милиционеры. Он сам себе милиционер. Он невозмутим, непоколебим, обладает стальной выдержкой, нестигаемой волей. И в военное и в мирное время он одинаково твердо стоит на ногах, и почва никогда не колеблется под ними.

Это — сверхчеловек нового типа, с пермен революции, поистине сильная личность. Таков герой многих стихов Н. Тихонова. Вот одно из этих стихотворений:

Над зеленою гимнастерной
Черных пуговиц литые лвы,
Трубка, выжженная махоркой,
И глаза стальной синевы.

Он расскажет своей невесте
О забавной, живой игре,
Как громил он дома предместий
С бронепоездных батарей.

Как пленительные полячки
Присылали письма ему,
Как вагоны и водокачки
Умирали в красном дыму.

Как прожектор играл штыками,
На разбитых рельсах звеня,
Как бежал он три дня полями
И лесами — четыре дня.

² Дух лирики Маяковского не соответствует характеру его агитационности. Но именно лирика была глубоким самовыражением поэта.

Лишь глазами девушка скажет,
 Кто ей ближе, чем друг и брат,—
 Даже радость и гордость даже
 Нынче громко не говорят.

Внешний облик супермена: глаза стальной синевы — по твердости под стать его литым пуговицам. Неограниченные физические возможности: он может семь дней подряд бежать независимо от ландшафта (лес, поле) и, видимо, в любом направлении. Неотразимость: женщины завоеванной страны самозабвенно отдаются ему, победителю, о чем он не упустит случая рассказать своей невесте. Но главное — геройская устремленность духа... Кончилась война, но и в мирное время он не станет тосковать, бунтовать, суесться. Никакого надрыва, никакой истеричности! Он и здесь займет подобающее ему устойчивое положение. Женится между прочим, отдавая дань быту (Верку Вольную, скажем, трудно представить себе замужем). Но мысль его неизменно обращена к боевому прошлому, к тому, «как громил он дома предместий с бронепоездных батарей», к этой «забавной, живой игре», которой он и впредь с удовольствием займется при случае. Заметим, кстати, что в предместьях живут отнюдь не богачи, а все те же мелкие людишки, обыватели...

Тихонов испытал влияние Редьярда Киплинга.

На чем в сочетании с огромным поэтическим дарованием основана власть Киплинга над сердцами людей?

Дело в том, что мужество и сила обаятельны сами по себе, как бы независимо от направления силы. И это естественно, в этом ничего худого нет. Но Киплинг воспевает не просто мужество и силу, которые могут проявляться, допустим, в борьбе человека с природой, как это часто бывает у Дж. Лондона. Нет, Киплинг воспевает властную силу, которая направлена на подчинение человека человеку. Два начала — рабское и повелительное — вместе создают комплекс власти. И этот комплекс не чужд человеческой природе, он глубоко коренится в психике людей. Культ силы — как культ вождизма — обладает для многих достоинством объективной истины. В нем усматривается некая правда, которая легко поддается эстетизации, и при этом упускается из виду, что культ власти и культ рабства — всего лишь две стороны одной медали. В зависимости от индивидуального склада личности и от обстоятельств времени, от характера эпохи этот инстинкт может овладеть сознанием человека безраздельно, а может, наоборот, спрятаться в

недрах подсознания — но с тем чтобы при благоприятных условиях вырваться наружу. Людей, лишенных этого инстинкта от природы или начисто забывших его в себе, немного. Мы сами часто не отдаем себе отчета в скрытых свойствах нашей личности. Нам присуще органическое — часто неосознанное — стремление подчинять и подчиняться. Говоря «подчинять и подчиняться», я имею в виду не только социально-политические проявления этого механизма, но и другие бесконечно разнообразные стороны жизни. Вспомним слова А. П. Чехова о том, с каким трудом он — каплю за каплей — выдавливал из себя рабскую кровь; здесь, очевидно, идет речь о бытовых проявлениях того же порядка: людей, абсолютно свободных от инстинкта субординации, мало на свете.

Вот на чем — в сочетании с огромным талантом — основано могущество Киплинга.

Киплинг исповедовал и проповедовал культ силы с позиций откровенного империализма и расизма:

Несите бремя белых,—
 Что бремя королей!
 Галерника колодок
 То бремя тяжелей.

А революционные романтики 20-х годов, из которых ни один не может сравниться по масштабам дарования с британским поэтом (я говорю не о великих русских поэтах того времени, а только о революционных романтиках), проповедовали культ силы с позиций пролетарского интернационализма и во имя освобождения человечества. При этом они полагали, что для достижения этой великой и благородной цели все средства хороши — такая цель оправдывает любые средства.

Н. Тихонов писал:

Огонь, веревка, пуля и топор,
 Как слуги, кланялись и шли за нами.
 И в каждой капле спал потоп,
 Сквозь малый камень прорастали горы,
 И в прутине, раздавленном ногою,
 Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила.
 Колокола гудели по привычке,
 Монеты вес утратили и звон,
 И дети не пугались мертвецов...
 Тогда впервые выучились мы
 Словам прекрасным, горьким и жестоким.

Тихонов был даровит, был в 20-е годы отменным мастером стиха. Но самым крупным из поэтов-романтиков был Эдуард Багрицкий.

Умирающий от чахотки герой стихотворения Багрицкого «ГВС» поддается минут-

Чтобы прошел художник школу
Суда и следствия и вник
В простую правду протокола,
В прямую речь прямых улик.

Чтоб о любой повадке волчьей
Художник мог сказать стране.
И если враг проходит молча,
Иль жмется где-нибудь к стене,

Или с достоинством приличным
Усердно голосует «за»,
Еще не пойманный с поличным,
Еще не названный в глаза,—

Чтоб от стихов, как от облавы,
Он побежал, не чуя ног,
И рухнул на землю без славы,
И скрыть отчаянья не мог!

Итак, функция художника — это сыск (уловление тех, кто ходит по земле, «еще не пойманный с поличным, еще не названный в глаза»); донос («сказать стране»); расправа («чтоб от стихов, как от облавы...»).

Что же после этого остается на долю карательных органов? Сущий пустяк: добить растерзанного уже человека.

Есть основания полагать, что не только ненависть продиктовала Антокольскому его бесподобное произведение. Стихотворение продиктовано, быть может, не столько ненавистью, сколько страхом. Перестраховаться, вопя, заклиная разящую без разбора, слепую силу: «Я не из тех, кого убивают! Я из тех, кто убивает! Сколько угодно, кого угодно — только не меня!»

В 20-е годы поэты работали не за страх, а за совесть. Точнее сказать, отчуждение совести благополучно совмещалось с искренностью убеждений. Это была искренняя, а потому настоящая литература, и тем заразительней она была.

Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов и следующих десятилетий явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи не читают стихов. Им неведома поэзия крови, романтика расстрела — для них это будничная работа. Для них культ силы заключен не в художественных образах, не в философских идеях, а непосредственно в кулаке. Вообще они, как правило, не размышляют и не чувствуют, а только выполняют распоряжения начальства Палачи — это по большей части исполнительные чиновники, и все. Так учит опыт XX века.

Но для террора необходима была в числе прочих определенная психологическая предпосылка. Говорят, командарм Якир перед

расстрелом успел крикнуть: «Да здравствует товарищ Сталин!» Для террора необходимо было общественное сознание, воспитанное в духе отчуждения, преклонения, в духе обожания кумиров-идей и кумиров-людей. Наука обожания одновременно была и наукой ненависти. Казенная, монополярная идеология по всем каналам устремлялась к сознанию масс, внедряя дух идолопоклонства. Одним из таких каналов была художественная литература. В этом направлении плодотворно работала, в частности, романтическая поэзия 20-х годов, неотразимо привлекательная для молодых поколений.

Отрицать влияние литературы на общественное сознание — во всяком случае на сознание интеллигенции — не приходится. Сама жизнь питала литературу жестокими идеями, а та, в свою очередь, оказывала обратное влияние, формируя потребный данному укладу жизни тип человека. Все это кажется элементарным, если исходить из представлений о «базисе», о «надстройке» и об их взаимодействии, и все это кажется непостижимым, если исходить из традиций русской литературы: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...»

Объективное зло, заключенное в романтической поэзии 20-х годов, ничем не может быть оправдано. Но субъективная вина писателей смягчается благодаря обстоятельствам, о которых речь пойдет впереди. А пока рассмотрим более общий вопрос.

Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей.

Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные — носят на себе в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца, человека, породившего данную идею. Но в процессе исторического развития, заимствования, наследования идеи утрачивают характер первоисточника, приобретая черты своих новых обладателей. Идеи трансформируются, видоизменяются. Или, скорее, наоборот: вид идеи, ее, так сказать, внешняя форма часто остается неизменной, а сущность качественно меняется. Идеи, отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность. Они работают в направлении, прямо противоположном замыслу их создателей. Идеи в чужих руках, в чужих мозгах ополчаются против своих первоносителей. Есть мрачная прибаутка: «За что боролись, на то и напоролись». Избитый пример — сопоставление христианской идеи в ее первоначальном варианте (идея любви, братства, всепрощения) с тем, во что пре-

вратилась эта идея в практике средневековой церкви, в руках инквизиции (она стала орудием беспощадной жестокости, нетерпимости и насилия).

Интересно, что бы сказал Маркс, познакомившись с выступающим под знаменем марксизма хунвэйбинским обществом и его нравами?

Горький был гуманистом — и, быть может, не столько в литературе, как это принято считать, сколько в жизни (во всяком случае до определенного момента своей жизни).

Существует лозунг: «Кто не с нами — тот против нас». Этот принцип принимался и принимается у нас как нечто само собой разумеющееся, как постулат, не нуждающийся в доказательствах. А почему, собственно говоря? Подлинно ли это аксиома? Почему человек, мыслящий не так, как я, мыслящий иначе, — непременно мой враг? Между тем гуманист Горький не только подхватывает этот лозунг, но развивает его своей известной формулой: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Это было сказано, когда под врагом имелся в виду не противник на поле боя, а все тот же инакомыслящий Горький чуть-чуть не дожил до процессов 1937—1938 годов. Как бы он отнесся к ним? Судя по его реакции на аналогичные явления конца 20-х — начала 30-х годов, вернее, судя по отсутствию публичной реакции, Горький и к предстоящему людоедству мог бы отнестись спокойно. Между прочим, тоже романтик был смолоду. Толстовское, короленковское «Не могу молчать!» к нему, Горькому, уже не относился. Он научился молчать и даже петь в унисон, когда этого требовала Историческая Необходимость, Высшая Целесообразность, — как великий пролетарский писатель стал ее понимать. При этом Горький до конца продолжал, вероятно, считать себя глашатаем гуманизма. Так бывает: идея отчуждается, не переходя по наследству, а в сознании одного человека. Отчуждение идеи совпадает с отчуждением личности...

Возникает вопрос: всякая ли идея поддается отчуждению — и не частично, а до такой степени, что она становится собственной противоположностью?

Один уважаемый мною мыслитель полагает, что — да, любую, даже самую возвышенную идею можно при желании ископировать, перепеть на камский лад, на хунвэйбинский, смердяковский манер.

Я думаю, что это не совсем так. Во всех отчуждаемых идеях всегда есть какие-то объективные задатки самоотчуждения, есть

какая-то червоточина, за которую и хватается очередной смердяков.

В таком гигантском резервуаре идей, как Священное писание, каждый мог выловить то, что ему угодно.

Но возьмем монолитный, очищенный толстовский вариант христианства. Можно ли использовать нравственно-религиозное учение Л. Н. Толстого во зло людям?

В определенном направлении толстовская идея отчуждалась еще при жизни Льва Николаевича, о чем он прекрасно знал. Среди присяжных толстовцев было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача, ни одного убийцы. И не могло быть! Толстовское учение нельзя обратить в сторону насилия, как его ни крути. В этом направлении идея неотчуждаема, никакой хунвэйбин не в состоянии превратить ее в инструмент своей политики.

До сих пор было два типа мыслителей, радеющих о спасении людского рода.

Одни говорили: перестройте систему социальных отношений, исправьте общественный организм — и человек, клеточка этого организма, возродится духовно.

Другие говорили: совершенствуйте себя нравственно как личность — и общество, состоящее из отдельных личностей, будет преобразовано.

Быть может, человечеству следует искать нечто третье: сплав первого и второго, синтез нравственной и социальной концепции. Но в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровавой нечисти, не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао.

Разумеется, никакое мировоззрение само по себе не вывезет нас, как печка Иванушку-дурачка. У людей — свободная воля, за человеком остается выбор. Здесь же речь идет о том, что должно быть исключено из выбора.

Теперь обратимся вновь к революционным романтикам 20-х годов. Что можно сказать в их защиту после непреложно произнесенного обвинения?

Во-первых, не одними жестокими идеями наполнена их поэзия, как и революция, вызвавшая эту поэзию к жизни. Жесткие идеи — это тенденция, которую я выбрал предметом своего разговора. Брехт писал: «Что же это за время, когда разговор о деревнях кажется преступлением, ибо в нем заключено молчание о зверствах!» Да, нет ничего важнее этой темы, об этом следует говорить в первую очередь. Но было и дру-

гое. Были превосходные романтические стихи, безупречные с любой точки зрения. Например, светловская «Гренада», которая недаром вызвала восторг у Цветаевой. Или чудесное создание Иосифа Уткина «Поэма о рыжем Мотеле» (впрочем, эта вещь хоть и написана поэтом-романтиком, но совсем не в романтической манере).

Во-вторых, жестокие идеи, заключенные в образах романтической поэзии, уже в момент рождения были в какой-то мере отчужденными по отношению к личности самих поэтов.

Супермен революции, романтический герой и творец этого героя, автор, — совсем не одно и то же.

Образ железного человека — это некая максима, некий идеал, которого, быть может, и хотел бы достигнуть автор, но, к счастью, не мог. Автор не был железным человеком. Он был обыкновенным живым человеком со всеми слабостями, присущими этой породе теплокровных. В число таких слабостей, не доступных кристальной личности, входят всякого рода сомнения, колебания, раздумья; сюда же относится простая жалость к людям, которая вовсе не унижает человека, как заявляет один из романтических героев Горького.

Эти слабости не могли не претвориться в творчестве поэтов — независимо от воли самих поэтов; они не могли не снизить концентрацию жестоких идей, порождая противоположную тенденцию человечности.

Иногда поэты 20-х годов открыто признавались в своих слабостях, правда, с некоторым стеснением и не без оговорок. Например, Светлов:

Товарищ! Певец наступлений и пушек,
Вятель красных человеческих статуй,
Простите меня — я жалею старушек,
Но это — единственный мой недостаток.

Это он к себе обращается — «товарищ!». Он сам — «певец наступлений и пушек, вятель красных человеческих статуй».

Автор иронизирует над собой, над своим романтическим идеалом. Доброта и юмор Светлова известны.

Прекрасным человеком был в жизни Багрицкий. Но тем страшнее многое из написанного, то есть содеянного, им³.

³ Литература 20-х годов — куда лучший материал для рассмотрения поставленного мной вопроса, чем литература более позднего времени. Во-первых, потому, что явление прослеживается от его истоков и развивается современный романтический миф, призванный идеализировать некую «легендарную» эпоху. А главное, потому, что перед нами — литература подлинная, где суть

Стихотворение Светлова называется «Старушка».

Старушка — тот самый маленький человек, обыватель, которого так жалела русская литература начиная от Пушкина и кончая Бабелем, Зощенко и Платоновым.

А всякие супермены или подражающие им — вроде Раскольников — убивали старушек, исходя из общих соображений, во имя Конечной Цели.

Кроме того, для поэта 20-х годов образ старушки имеет некое символическое значение, старушка — это осколок старого мира. Так вот, поэты-романтики, проклиная уничтожаемый старый мир, сознавали, чувствовали, что в гибнущей цивилизации, кроме дурного, есть такие духовные ценности, которые не дай бог утратить новому поколению людей.

Послушаем Алтаузена (из «Стихов о Ветлуге»):

Вчера был бой.
От сабель было серо.
Кривой комбриг
Махал нам рукавом.
Я зарубил
В канаве офицера,
И у него
В кармане боковым

Нашел я книжку
В желтом переплете,
Ее писал
Какой-то Карамзин.
Две ласточки
Сидят на пулемете,
И на кустах
Лежит мой карабин.

Журбенко! Брось
Напрасно ложной звякать,
Цветет крыжовник,
Зреет бузина.
Давай читать,
Давай читать и плакать
Над этой книжкою
Карамзина.

Друзья мои,
Мы завтра в бой поскачем,
Отточен штык,
В нагана цел заряд.
А вот сейчас
Над девушкой мы плачем,
Обманутой
Сто лет тому назад.

Да, действительно было что оплакивать. В человеке утрачивались человеческие черты, и это сознавали даже самые рьяные из когорты романтиков Тихонов, написавший «Балладу о синем пакете» — неистовую,

дела выступает органичнее и объективнее, чем в последующих суррогатах, где прежде всего обнаруживается лакейская физиономия автора.

непревзойденную апологию отчуждения личности, одно из своих стихотворений начинается так:

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

А вот конец этого стихотворения:

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

Человек, в котором выхолощено человеческое, уподобляется сломанному ножу. Характерная для Тихонова деталь: люди — гвозди, люди — ножи. А мысль все та же: достигнута великая цель («разрезаны бессмертные страницы») и, следовательно, оправданы все потери («всем торжественно пренебрежем»), оправдана даже духовная смерть человека. В том же стихотворении есть паразитические строчки:

Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Они-то, духовные мертвецы, и кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!» — когда он их уничтожил физически.

Поэты 20-х годов все старались преодолеть свои слабости, быть поближе к своему романтическому герою, во что бы то ни стало идти в ногу с временем, не отставать от века.

Багрицкий в «ТВС» заклинает себя: «Иди — и не бойся с ним рядом встать». Не бойся встать рядом с веком. Значит, все-таки боязно было? Страшно? И, как видим, не зря. Однако преодолел...

А между тем художнику, мыслителю полезно бывает не идти в ногу со всеми, не маршировать в едином строю, а посмотреть на это шествие откуда-нибудь сверху или хотя бы со стороны — со стороны-то иногда видней.

Со стороны в то же самое время — начиная с 1917 года — раздавались голоса, которые плохо доходили до слуха современников, шагающих стройными колоннами по столбовой дороге прогресса.

Правда, то, что казалось лежащим далеко в стороне от главной исторической и литературной магистрали, оказалось стеновым хребтом русской совести и русской поэзии.

Голоса оказались пророческими.

Анна Ахматова:

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий.
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.

На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на божий свет.

И уж совсем не доходил до общественного слуха другой голос. Вопиющий к небесам голос Марины Цветаевой:

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый грузды!
То шатаясь причитает в поле — Русь.
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

И справа, и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!

Все рядом лежат —
Не развестись межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал:
Смерть побелила.

Кто ты? — белый? — не пойму! — привстаны
Аль у, красных пропал? — Ря-зань.

И справа, и слева,
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!

Без воли — без гнева —
Протяжно — упрямо —
До самого неба:
— Мама!

Поэзия 20-х годов при всех ее достоинствах: страстность, энергия, свежесть — это все-таки только поэзия 20-х годов.

Поэзия Цветаевой — никаких не годов.

Двадцатого столетия — он,
А я — до всякого столетия!

Добавлю: и — до и — после.
Современников обоих лагерей должна была оттолкнуть надпартийность стихотворения «Ох, грибок ты мой, грибочек...», написанного в 1921 году.

Это было то, что сейчас принято у нас уничижительно называть «абстрактным гу-

низм», хотя это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека.

Когда-то само слово «гуманизм» — без всяких эпитетов — было ругательством. В 1929 году в журнале «На литературном посту» была опубликована статья Л. Авербаха, содержащая донос на рассказ Платонова «Усомнившийся Макар». Статья называлась «О целостных масштабах и частных Макарах». Автор статьи писал: «К нам приходят с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата».

Сейчас, после того как красные убили больше красных, чем белых, и больше, чем белые убили красных, это стихотворение Цветаевой читается другими глазами.

Сейчас видно, с какой высоты взглянул поэт на события своих дней.

Можем ли мы подняться на такую высоту? Если и не можем, то как важно для нас, что она, Цветаева, смогла!

А вот аналогия. Мы не умеем все прощать. Более того: есть вещи, которые мы не имеем права прощать.

Но величайшее счастье для нас, что когда-то в этой стране жил Лев Толстой, который, сам борясь против зла с мощью биб-

лейского Иакова, одновременно проповедовал человечеству идею всепрощения.

В мире, где жестокость не знает пределов, где зло не имеет границ, должен же быть хотя бы для равновесия максимализм добра, вершина человечности.

Если мы еще не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но в большей мере Львом Николаевичем Толстым.

Когда явился Солженицын и спас честь русской литературы, его явление было как чудо. Оно было более изумительно, чем явление таких гениев, как Мандельштам и Пастернак, потому что эти двое сформировались на почве, из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Неervo!

Солженицын вырос на мертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось, не растет.

А дело в том, что глубоко в земле притаились до поры живые семена, брошенные когда-то мужиковствующим графом.

Из такого семечка и вырос Солженицын.

Солженицын, который не прощает палачей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Надеюсь, когда-нибудь в недалеком времени и у нас будет издана книга А. Якобсона «Конец трагедии», посвященная «Двенадцати» Александра Блока и увидевшая свет в нью-йоркском Издательстве имени Чехова в 1973 году. Статья «О романтической идеологии» помещена в этом же издании (по которому и воспроизводится текст новомирской публикации⁴) как своего рода продолжение разговора о Блоке, о его вещах и трагической поэме. «Двенадцать» и поэзия Блока в целом в известном смысле противопоставляются «поэзии революционно-романтической», поэзии 20-х годов, хотя такое противопоставление не заявлено прямо. И тут, двадцать лет спустя после того, как писались страницы этой замечательной книги, хочется кое-что додумать.

Листая ее, прежде читанную, я наткнулась на цитату из стихотворения Блока «Ангел-хранитель», помеченного 1906 годом:

Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.
.....
За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколение рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа...

Автор «Конец трагедии» толкует эти строки как антициципанские, традиционно гуманистические. «Разных пород бывают рабы, — комментирует он, — различной густослости; наиболее жесткошерстные вырабатывают — в ряде поколений — тип, чья душа убита не «ядом нежности», а ядом ненависти, чья рука бестрепетно поднимает нож». А ведь слова поэта о «яде нежности», о руке, бессильной поднять нож («..хочу и не смею убить — отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так унижал мой на-

⁴ С уточнением стихотворных цитат.

рог и меня!» — из того же стихотворения), — это слова самоосудительные, полные презрения к своей «наследственной», перешедшей от «предков» слабости! Так в лексикон русской поэзии «между двух революций» входит — если не под знаком одобрения, то под знаком притягивания — слово НОЖ. Будто на смену пушкинскому и лермонтовскому дворянскому «кинжалу» — как более народное, более жизненное, что ли. И это не у идеологически мобилизованных поэтов второго ряда, каковыми занят автор заметок «О романтической идеологии», не по жестокому приказу «века» и его глашатаев, а у больших, великих поэтов, свободно черпающих вдохновение из им лишь одним слышимых веяний, из глубинных смещений в духовной жизни родины и мира.

В 1915 году Есенин напишет всем памятное:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

Снова—НОЖ! Здесь у крестьянского поэта в отличие от Блока — «интеллигента», осуждающего себя за слабость и сословные предрассудки, — звучит смиренная обреченность на соучастие в насилии, заодно с отверженными, «коих я не лучше»; на участие словно противувольное, которое претит чистому сердцу, но избежать которого — как и последующей расплаты «с веревкою на шее» — невозможно. Что называется, нечистый попутает.

В тех же самых 1914 — 1915 годах Маяковский от имени авангардных художественных поколений, от имени революционной богемы аукнется Блоку, выполняя его заявку на нового человека:

У меня в душе ни одного седого волоса.
и старческой нежности нет в ней!

(Может быть, и вправду эти знаменитые строки из «Облака в штанах» — ответная реплика на «нежности яг» в «Ангеле-хранителе»?) И напрасно, мне кажется, А. Якобсон, любя Маяковского, списывает все призывы к насилию, исходившие из его уст, на «агитацистику». Агитки — само собой; недавно В. Солоухин напомнил рассказ Н. Я. Мандельштам «про частушки Маяковского о том, как толят в Мойке офицеров». Но разве агитка вот это, из той же юношеской поэмы:

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

С детства я под впечатлением этих раскатов звукописи, этой энергичной волны, освобождающей от каких бы то ни было этических препон. Тут вам не «Окна РОСТА», а мощная поэзия, всерьез воодушевленная «идеей ножа». И дальше:

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Напоминаю всем известное: писалось это до гражданской войны. Предвещая ее и к ней толкая (невольно возникает вопрос: «навязана» она была или все-таки развязана?). Под конец появляется и долгожданный НОЖ — угроза небу, Богу: «Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в рай!» — и т. д.

Как ни удивительно, выразители «романтической идеологии» 20-х годов повторили — и, конечно, усугубили — «стереотип Блока» (как он отпечатался в приведенном выше стихотворении) скорее, чем Маяковского. Типичный для того времени рассказ Бабеля «Мой первый гусь» прекрасно иллюстрирует этот «стереотип». Начдив Савицкий встречает рассказчика, командированного в штаб дивизии, возгласом: «Ты из киндербальзамов... и очки на носу. Какой паршивенький!» Но вот «киндербальзам» с преувеличенной решимостью («Хозяйка, мне жрать надо...») сносит голову повернувшегося гусю, в сущности грабя вынужденную его приютить крестьянку. И добывается признания своей особы у конармейцев: «Парень нам подходящий». Чтобы приобщиться к победоносному коллективу, надо пролить кровь живого существа. Рассказ кончается

словами самоиронии и грусти по утраченной невинности: «...сердце мое, обогрелое убийством, скрипело и текло». Цитируемые Якобсоном поэты — в большинстве своем «киндербальзамы», тяготящиеся «поколеньем рабов» за спиной (хотя здесь «проклятье семьи» не либерально дворянское) и собственной «слабостью» («хочу и не смею убить»). В стихах они еще как смеют! А бабелевскую двойственную ноту прячут глубоко в подсознании, дорожа «цельностью». Все это, по-моему, не снимает с них вины — не только объективной (как о том пишет Якобсон), но и субъективной: что может быть непригляднее, чем изживание собственных комплексов посредством пролития чужой крови, пусть «всего лишь» на бумаге! Фатализм Есенина («как судил... рок») да и громово-погромный пафос Маяковского — всё лучше.

Но разговор этот я веду к тому, что идеологическая романтизация насилия, очевидная в одном из срезов поэзии 20-х годов, — только «вершки». «Корешки» нужно искать в предшествующем десятилетии (или десятилетиях) — в эпохе «крушения гуманизма», сотрясения тысячелетних ценностей и идеалов. Даже толстовство, как думаю не я одна, было в числе симптомов «крушения». Но это отдельная тема⁶.

Эпоха устами своих пророков, вольных или невольных, сказала «да» НОЖУ еще до того, как общество узнало слова «тачанка» и «Чека», до того, как «подпись на приговоре вылась струей из простреленной головы». Что произошло в мире идей, то совершилось затем в мире вещей действительных и тут же нашло своих певцов, уже не пророков, а апологетов, идущих в ногу с действительностью. Нам еще распутывать и распутывать этот узел — в конце века, в новую, как мы чаем, эпоху воскрешения гуманизма.

И. РОДНЯНСКАЯ.

⁶ А. Якобсона, для которого толстовская идея — единственно неотчуждаемая и некровопролитная, перебивают резкие слова В. Шаламова, приводимые его знакомцем и корреспондентом, философом Ю. Шрейдером: «Все террористы были толстовцы и вегетарианцы...» Это жестокое преувеличение, если угодно, парадокс, над которым, однако, стоит задуматься.

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ

★

ГОГОЛЬ И БЛОК

Сближение вершин в литературе всегда поучительно и законно. Любая вершина соотносится с другой вершиной, в этом нет натяжки, произвола сопоставителя — горное эхо, разносясь по отрогам, меняет голос, но остается эхом гор.

Из-за горных пиков Толстого и Достоевского выдвигается покрытый шапкой облаков Гоголь. Он загадочен, какие-то вихри овевают его голову — что-то темное клубится и носится на высоте белых снегов. На мгновение в разорванных тучах предстанет ослепительно чистый лик и опять скроется, и гул стоит по горам, предвещая обвалы, бедствия, сотрясения, как говорил Гоголь, всего земного состава.

Это, может быть, гул не только русского потрясения, а предвестие мирового перелома, мирового испытания и мирового обновления.

Именно этот гул слышит в конце жизни Блок. 9 января 1918 года он записывает: «...слышал гул, гул: думал, что началось землетрясение». Проходит еще несколько дней, и Блок заканчивает «Двенадцать». В записной книжке рядом со словами «Сегодня я — гений» мы читаем: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг (разрядка моя. — И. З.). Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его — призывы к порядку семейному и православию)».

В торжественную — и вершинную — минуту своей жизни Блок вспоминает Гоголя, окликает Гоголя. Гоголь, по его мнению, слышал тот же шум, но пытался заглушить его. Блок отдается этому шуму, или гулу, отдается музыке «переделки всего».

Это музыка революции. Можно ли себе представить, чтобы на месте Блока оказался Гоголь? Чтоб он этот гул приветствовал, этот гул назвал музыкой? «Невидимая, сладкогласная, — писал он о музыке, — она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна: но могущественней и востор-

женней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремится она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несет с ними горё, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук».

Музыка обращает нас к Нему, как пишет Гоголь, не называя имени Его и имея в виду Бога-отца, но еще не Богочеловека, не Христа.

Мятежность в музыке Гоголя побеждается согласием. Блок же приветствует мятеж. Он, кажется, хочет смотреть только вперед, забыв о том, что было до него. Но все же, не имея сил оглянуться, оглядывается.

Гоголь писал в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», что русская литература началась с восторга. Окидывая взглядом ее всю — от Ломоносова до Языкова, — он заканчивал статью пророчеством: «Скорбью ангела загорится наша поэзия».

Эта скорбь слышится в стихах Блока. Его ангел — ангел скорбящий, не тот, что победил демона, а тот, кто видит страшные деяния демона.

Блок пишет о своем герое в «Возмездии» (то есть о себе), что он последний в роде. Последний всегда ставит точку, последнему надо выяснять и отношения с первым — с первым в том роде, который сменяет его род.

В Блоке как бы истекают силы великой русской литературы. За спиной Блока — путь ее страданий, на котором было все: и искус чистого мастерства, и проповедничество, и сатира, желание спасения в реализме и отлеты от него, попытки познать глубины греха (Достоевский) и глубины святости (Достоевский и Лесков) и даже дерзкие опыты споров с Евангелием, переписывания Евангелия (Толстой). Все это потребовало такого напряжения и такой

отдачи, что русская литература подошла к Блоку, как бы испробовав все,— ноты восторга еще слышались в ней, но уже верх брала иная музыка, музыка исчерпанности.

Если Гоголь находится на середине пути и, может быть, ближе к началу, то Блок стоит у его завершения. Он, собственно, и завершает этот путь, если иметь в виду русскую дворянскую культуру и русскую литературу — литературу вершин. Переход из XIX века в XX — из века «железного», как называл его Блок, в век еще более железный для Блока все равно что переход с освещенной солнцем стороны на неосвещенную сторону. Блок творит как бы в атмосфере затмения.

Двадцатый век... Еще бездомней.
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).

Тень эта накрывает и поэзию Блока. «Дитя добра и света», как назвал он поэта в своих стихах, а стало быть, и себя, он ищет свет, идет на свет. Поэзия Блока прорывает мглу, вырывается из мглы, но болезненность ее восторга порождает именно мгла. Поэтому даже свет, облитый кровью, для Блока уже свет. «Закат в крови!» — пишет он.

Кровь сопутствует свету, ею надо плавать за свет. Блока дразнит кровь. Так же дразнит его и огонь.

Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Демонское и ангельское мешается в поэзии Блока. Ангел часто смотрит демонскими глазами и соблазняет, как демон («Благовещение»), демон есть падший ангел, или отпавший ангел, как говорит Гоголь в повести «Портрет».

Гоголь и Блок — фигуры катастрофические в русской литературе. И тот и другой стоят на пороге перелома, слома. Гоголь, оставшись один после Пушкина, должен принять какое-то решение перед лицом надвигающихся «страхов и ужасов России», Блок тоже должен выбрать И их решение и выбор не только поэтические, но и пророческие. Но если Гоголь лишь предчувствует катастрофу, то Блок находится в центре ее. У него циклон, буря, землетрясение не метафорические буря и землетрясение, а реальность России XX века.

В гуле, который слышит Блок, отдаются звуки разрушения, расправы, мирового катаклизма, который все сметает на земле. Блоковский гул — гул падающих церквей, дворцов, библиотек, провала старого в ка-

кую-то яму — провала, который не что иное, как акт мести за свершенные родом грехи. Пусть при этом, как при землетрясении в Мессине, проваливаются сквозь землю дома и сады, город и люди, иного пути очищения и покаяния, воздаяния за грехи и спасения, как думает Блок, нет.

«Только все на этой равнине еще спит,— писал он еще в 1908 году,— а когда двинется,— все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут роды по склонам, и церкви, воплощенные богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдет вся земля».

В ритмике этих строк слышна ритмика «Откровения Иоанна Богослова» — ритмика, преобладающая и в пророческих главах книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Упоминание о Гоголе в записи Блока о «Двенадцати» (Гоголь слышал тот же шум) — упоминание об этой книге. Весной 1918 года, вскоре после окончания «Двенадцати», Блок записывает: «Мы опять стоим перед этой книгой: она скоро пойдет в жизнь и в дело». О том, что «Выбранные места...» надо вернуть к жизни, Блок пишет и в статье «Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве» и в заметке «О списке русских авторов».

Почему эту книгу выбирает Блок и почему ее он читает в эти дни? Потому что поздний Гоголь всего ближе позднему Блоку.

Книга Гоголя — книга покаяния, в том числе покаяния художника, поэта. Поэт видит греховность одного искусства, чистого искусства, не замешенного на высшей идее. Искусство, по Гоголю, должно стать «незримой ступенью к христианству», если оно не станет этой ступенью, оно не нужно.

Это крайняя точка зрения и посягнувшие поэта на цели религии.

Об этом написана и повесть «Портрет». Голая натура, являясь в демонских глазах ростовщика, разрушает и губит. И лишь изображение божественного младенца на стене храма, которого рисует тот же художник, стирает с картины черты зловещего ростовщика. Рождается младенец (на фреске), исчезает дьявол, демон, колдун. Так пятится и бежит от святой иконы колдун в «Страшной мести».

Высокое мастерство автора, изобразившего в «Портрете» дьявольские глаза, осуждается Гоголем. Художник был как бы зачарован злом, околдован злом, и это благодаря его искусству передается картине.

«Я слишком умею это делать», — сказал как-то Блок о писании стихов. В этих сло-

вах слышится усталость от техники, от внешнего совершенства. Желание снять этот грех с искусства и с художника, как и трехсотлетние грехи дворянства перед народом, толкает Блока навстречу циклону. Ему кажется, что циклон все смоем и все очистит. Что он целителен.

Чувство личной греховности и греховности русской жизни сливаются как в Гоголе, так и в Блоке. У Гоголя это вызревает в душе, в душе как бы и разрешаясь, у Блока тоже вызревает в душе, но совпадает с мировым катаклизмом. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь предупреждал, что опасность идет от непомерно развившейся «гордости ума», от «страстей ума». Он писал об исполинской скуке, которая как смертная тень может закрыть Россию. Но и против скуки, против гордости, против ожесточения и ненависти он находил одно заклятие — крест. Как крестится верующий человек при приближении нечистой силы, так Гоголь заклинал надвигающееся зло именем Христа.

Здесь-то и возникает в открытой форме и, может быть, впервые в прозе Гоголя имя Христа. Отныне Гоголь будет мерить все этим именем, сверять с ним человека и его деяния, начиная от самого низшего, стоящего внизу иерархической лестницы, и кончая высшим, то есть самим царем. Ибо и царь должен «быть образом Того на земле, который сам есть любовь».

«Светлое Воскресение» — так назвал он финальную главу своей книги. Она посвящена празднованию самого светлого праздника на Руси — Пасхи. Помещение ее в конец книги объяснялось не только требованиями композиции, но и требованиями идеи. Апофеоз воскресения Христа является венцом исповеди Гоголя и венцом «Выбранных мест...».

Христос, может быть, одно из главных действующих лиц этой книги. Если кто и ведет здесь Россию, то он, если за кем, по мнению Гоголя, и должна идти она, то за ним. Он ставится в образец чиновнику, поэту, помещику и монарху. Его закон кладется в основание законов государства. Политическая, хозяйственная, нравственная жизнь должны быть подчинены ему. Рассказ об А. А. Иванове, создателе картины «Явление Христа народу», — рассказ, где повествуется о муках художника, пытающегося изобразить обращение человека к Христу, — составляет центр книги.

Совпадает ли это с поэтическими представлениями Блока? Есть ли Христос Блока, шествующий впереди двенадцати (в

поэме «Двенадцать»), хотя бы отчасти Христос Гоголя или это другой образ?

В блоковских заметках о Христе, в строках стихов, где он является, нет ни грана гоголевского отношения к Христу, то есть безусловного принятия идеи Христа и личности Христа. Для Гоголя Христос Богочеловек, сын Бога, сын Человеческий. Для Блока это метафора. Он пользуется ею без священного трепета и с тем профессиональным чувством, с каким мастер естественно пользуется образами старой поэзии.

Мы бы слишком отошли от темы, если бы взялись говорить о том, как относилась к образу Христа русская литература. Нам пришлось бы отойти к древней русской литературе, к Аввакуму, затем к оде Державина «Бог», а потом к последним стихам Пушкина. А после перейти к поэзии и прозе всего XIX века. Скажем только, что Христос никогда не был литературным героем на Руси. Он был Христос.

Блок творит в иное время, в атмосфере другой литературы, которая как бы сняла целомудренные ограничения с этого имени и ввела его в свой литературный контекст. Так что здесь дело не в одном Блоке, но и в эпохе.

И вместе с тем в его отношении к этому образу есть нечто личное. Даже непозволительно личное с точки зрения, разделявшейся Гоголем. Христос проходит через всю поэзию Блока и доходит с нею до конца И всюду совершаются подмены и перестановки в стихах, где на место героя является автор, а автора замещает герой. «Мне — невоскресшему Христу», — пишет Блок. Блок называет своего лирического героя (сиречь себя) «Сыном Человеческим», а в набросках плана пьесы о Христе прямо упоминает имя своей жены рядом с именем Магдалины. Христа он делает художником, то есть поэтом. «Россия — моя Галилея», — пишет Блок Из этого следует: я — Христос. Христос искупает грехи человека, Блок — грехи дворянского рода и искусства.

Христос у него и «невоскресший», и «сжигающий», и «чудовищный», и «уставший», и «грешный». Он не мужчина и не женщина, он, наконец, «ненавистен» Блоку как «женственный призрак». Последнее сказано о герое «Двенадцати».

«Тайное и страшное слово „Христос“», — говорил Гоголь. Гоголь, как и Тютчевская душа, готов «к ногам Христа навек прильнуть». Он поклоняется Христу, он верует в Него, но страшится преступить им самим очерченный круг, за которым стоят споры

и вопросы. У Блока нет страха перед Христом. Тут уже видна школа Достоевского, школа пародирования, провоцирования евангельских образов с целью проверки их подлинности. Поэтический ход здесь как бы инструмент этой проверки.

Недаром при Христе Блока в плане пьесы о Христе присутствует Фома неверный — Фома неверующий, которого, правда, заставляют (разрядка Блока. — И. З.) поверить, а после того проповедовать «инквизицию, папство, икающих попов». Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» не говорит «поп», он говорит «священник». Для него имя священнослужителя свято, по крайней мере должно быть освящено именем Божиим. В лексике Блока он только поп:

А вон и долгополый —
 Сторонкой — за сугроб...
 Что нынче невеселый,
 Товарищ поп?

В «Двенадцати» поп шарахается от красногвардейцев в сугроб, в «Выбранных местах...» он вместе с народом идет за Христом.

У Гоголя пасхальный звон, звон, раздающийся в Светлое Воскресенье над всей Россией, объединяет, «всю землю сливает в один гул», для Блока это звон бесполезный: «Над смрадом, смертью и страдаьем трезвонят до потери сил...»

В стихотворении «Новая Америка» Блок снижает образ мессии в прямом и переносном смысле. Рисуя картину России, над которой разносится все тот же колокольный звон, он в пику этому звону провозглашает:

Черный уголь — подземный мессия,
 Черный уголь — здесь царь и жених,
 Но не страшен, невеста, Россия,
 Голос каменных песен твоих!

«Царь иудейский», «жених», «мессия» — евангельские обозначения Христа. По христианской символике Христос — Жених, а Невеста — церковь. Блок обращает эту символику на себя, в его стихотворениях жених он, Блок, а его невеста (или жена) Россия.

В «Новой Америке» Блок низводит героя не только с небес на землю, но и под землю (в древней мифологии обиталище ада), он неодушевленный камень (уголь) ставит на одну доску с тем, кто есть дух и олицетворение духа.

В поэзии Блока имя Христа, если о нем идет речь во втором или третьем лице, редко пишется с большой буквы. С заглавной буквы пишется имя Женщины, Прекрасной

Дамы, Незнакомки, Жены и т. д. Женщина, земная женщина, грешница и любовница, встает между поэтом и Богоматерью.

Еще П. Флоренский, как передают некоторые источники, замечал, что «кошунство» Блока над Богородицей, «над спасенья нашего главизной» есть предел демонизма и одновременно свидетельство «подлинности» последнего. По мнению П. Флоренского, это «кошунство всерьез», и оно «обязывает быть причастным глубине». Блок, пишет П. Флоренский, ломится к престолу через царские врата, сокрушая центр иконостаса — изображение Благовещения.

Действительно, в стихотворении Блока «Благовещение» показано падение девы Марии. Не в силах устоять перед красотой, молодостью и чувственным влечением к ней ангела, она отдается ему под сенью его широких крыл. И этот акт любви наблюдает находящийся за занавесом художник.

Как известно, Блок хотел написать исследование об изображении Богоматери на русских иконах. Но этого замысла он не осуществил. Зато мадонна много раз является в его стихах. И всякий раз как бы совершается дьявольское искушение — кроткие матери божии начинают смотреть с фресок и картин кошками, девками. В их взглядах вспыхивает алчность, голод. Их взгляды похожи на ненасытный взгляд Клеопатры, изображение которой Блок видел в одном из флорентийских музеев.

Между мадоннами Блока и поэтом в его стихах как бы возможна плотская связь.

Тут играет улыбка отрицателей и циников Достоевского. В статье «Ирония» Блок писал, что смех его эпохи по преимуществу «разлагающий смех». Меня самого, добавлял он, «ломает бес смеха». Бес смеха — даже не дьявол. Он сродни «мелкому бесу» Федора Сологуба, перед которым колоссальные создания комического воображения Гоголя кажутся сказочными богатырями.

Гоголь боялся разрушительного влияния своего смеха и поэтому, как бы неся на себе грех осмеяния, отрицания, насмешки над человеком, превратил всю вторую половину своей жизни в оправдание. У Блока не оправдание, а желание скорейшей гибели.

В Гоголе смех все еще от полноты, от здоровья, от здоровья самого смеха, у Блока — от «болезни личности», от двоеверия, от разложения. Сергей Бочаров прав, когда называет иронию Блока романтической, но это ирония не одного восстания, но и падения, если пользоваться терминологией

Достоевского. Разлагающий смех исходит из разложения и уходит в разложение — в разъедающую щелочь, в истребление целого, расщепление целого. Даже в храме, где нгмеет комическое одушевление Гоголя, у героя Блока не исчезает улыбка.

В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста,—

пишет Блок в стихотворении «Люблю высокие соборы...».

Но под тем же куполом собора — в данном случае Сиенского собора — он способен чувствовать и другое:

Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови:
Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристалльно-ясный час любви.

Идея подвига не покидает и Блока Его состояние колеблется на весах веры и безверья, и смех должен скрыть это колебание, покрыть его.

Что такое смех Гоголя? Он соединяет разорванные явления жизни, он лечит, врачует, он восполняет пустоту, которая часто и есть сама жизнь. У Блока пустота как бы вакуум между рождением и смертью. В смехе Гоголя, как говорил Блок, слышен «полет на воссоединение с целым». «Ревизор», по мнению Блока, «праздник» Слова эти сказаны, кажется, о самой безнадежной комедии на свете.

Смех Гоголя не разлагает, не отзывает человека с праздника. Он зовет на праздник. И по этой своей поэтической природе он близок Блоку. Потому что над цинизмом, над усталостью, над «безочарованием» (это слова Жуковского о Лермонтове) горит в поэзии Блока звезда любви:

И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

Блок фаталистически смотрит на судьбу искусства. Если Гоголю, как писал один исследователь, присущ «магический идеализм» в отношении искусства, если Гоголь верует, что искусство способно преобразить мир и изменить человека («Портрет», статья «Об Одиссее, переводимой Жуковским»), то Блок не верует в это. Он считает, что искусство износилось, что и на него должна опуститься карающая рука. «Везде падает и на него,— пишет он,— за то, что оно было великим тогда, когда жизнь была мала; за то, что оно отравляло и, отравляя, отлучало от жизни; за то, что его смертельно любила маленькая кучка людей и —

попеременно — ненавидела, гнала, преследовала, унижала, презирала толпа». С отчаянием отворачивается Блок от толпы зевак и туристов, которые своими спинами загородили в трапезной миланского монастыря «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. «Так и все стены живых картин,— добавляет он,— заслонены мертвой людской стеною» («Молнии искусства»).

«Не будет в тебе никакого художника и никакого художества»,— сказано в «Откровении Иоанна Богослова» о судьбе искусства в гибнущем мировом городе.

Примерно так думает накануне событий 1917 года Блок. Для Гоголя (как и для Карамзина, Пушкина, Достоевского) прошлое — твердыня, мера, гранит, на котором может воздвигнуться здание настоящего. Не на разрушении и гибели, не на пепелище хотел бы Гоголь строить, а на устойчивых основах русской жизни, на традиции, на предании, на камне выработанного веками русской истории идеала.

Прошлое истории воплощается для Гоголя в битвах, сражениях, объединяющих моменты русской жизни. В эти моменты весь народ, как пишет Гоголь, думает и чувствует как «один человек». Это украинское Возрождение, XVII век, эпоха козацких войн, это победы Петра, екатерининская эпоха, наконец, Бородино и 1812 год. «Соберемся, как русские в 1812 году!» — восклицает он в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Громоподобная лира Державина еще слышна в строках Гоголя.

У Блока нет за спиной екатерининских «орлов», как называл Гоголь вслед за Пушкиным деятелей эпохи Екатерины II, ни Бородина, ни 1812 года. Его род уже целым столетием отделен от того времени. В глазах Блока Цусима, Порт-Артур, 1905 и 1914 годы И — галицийские болота, в которых тонет русская армия. Детство и юность Гоголя восходят под звездой Пушкина, звездой победы над Наполеоном. На душе у Блока витает поражение. Для Гоголя война — доблесть, защита отечества, слава, для Блока — позор и «пошлость». Лишь в дальних событиях русской военной истории он видит красоту.

Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи! —

пишет он в стихах о Куликовской битве.

Цикл «На поле Куликовом» есть историческая мечта Блока, аналог «Тараса Бульбы», но еще более отнесенный в сферу воображения, в сферу музыки. Это мечта о единении, о сплочении через кровь, про-

литую во имя России и ее целостности. Сама Куликовская битва есть образ целого — того целого, которым уже не может быть эпоха Блока.

Гул копыт конницы на поле Куликовом отзывается эхом на гул копыт конницы Тараса Бульбы.

Россия у Гоголя — тройка, несущаяся вдаль, у Блока она «степная кобылица» и та же тройка. В записях к стихотворению «Я пригвожден к трактирной стойке...» Блок пишет об этом образе: «...слышите ли вы задыхающийся гон тройки?.. Это — Россия летит неведомо куда — в сине-голубую пропасть... Видите ли вы ее звездные очи — с мольбою, обращенную к нам: «Полюби меня, полюби красоту мою!»... Кто же проберется навстречу летящей тройке тропами тайными и мудрыми, кротким словом остановит взмыленных коней, смелой рукою опрокинет демонского ямщика...»

Это написано в октябре 1908 года. А месяцем позже в статье «Народ и интеллигенция» Блок даже не пытается «остановить» бег тройки. «Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой «гремят и становится ветром разорванный воздух», — летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель».

Два чувства разрывают Блока: желание остановить, направить бег тройки — и броситься ей под копыта. Ноты поэтики конца слышны в предреволюционных стихах Блока.

Если гоголевская тройка в «Мертвых душах» никого не давит, а несется по дороге, сопровождаемая беззлобными усмешками русского мужика, то у Блока ее бег приобретает зловеющий характер. И сам ямщик, сидящий на облучке, уже не ямщик, а демон, демонский ямщик, и «усмешка мужика», которую барин видит с высоты несущегося экипажа, не сулит барину ничего хорошего. «Интеллигенты не так смеются, — читаем мы в статье «Народ и интеллигенция», — несмотря на то, что знают, кажется, все виды смеха, но перед усмешкой мужика, ничем не похожей.. на гоголевский смех сквозь слезы... умрет мгновенно всякий наш смех; нам станет страшного и не по себе».

У Гоголя тройкой правит Селифан, который хоть и из-под палки, но делает то, что приказывает ему барин. Он надувает барина, но он не зол на барина, не питает к нему вражды. Для него теплая лежанка,

кабак и красная девка с белыми ручками, за которые он может подержаться в теплый летний вечер, — утешение и награда за тяготы дороги. Селифан не боится Чичикова, но и Чичиков не боится Селифана.

Блоковский барин боится мужика.

Сегодня ты на тройке звонкой
Летишь, богач, гусар, поэт...

.....

Но жизнь — проезжая дорога,
Неладно, жутко на душе:
Здесь всякой праздной голи много
Остаться хочет в барыше...

Ямщик — будь он в поддевке темной
С пером павлиньим напоказ,
Будь он мечтой поэта скромной, —
Не упускай его из глаз...

Задремлешь — и тебя в дремоте
Он острым полоснет клинком
Иль на безлюдном повороте
К версте прикрутит кушаком...

Иронические отношения, которые существуют у Гоголя почти между всеми его героями и их слугами, между помещиком и крестьянином, не меняют того, что мужик для барина — свой, и барин для мужика — хоть и отвратен иногда — тоже свой. И спят, и едят, и ездят они все время вместе. Тонкая перегородка отделяет Чичикова от Петрушки и Селифана, так же отделяет она героев «Портрета», «Носа», «Ревизора» от их дворовых, где бы они ни жили — в Петербурге, в маленьком городишке или на постоялом дворе.

У нас нет ненависти между сословиями, как на Западе, писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», у нас дворянин и крестьянин связаны «сильнейшими связями — связями во Христе». Пусть это идеал Гоголя но это идеал, в которую он верит.

Блок в нее не верит. В 1917 году, в месяцы засухи, рассуждая о Промысле Божьем, не посылающем людям дождя, он записывает: «И вот задача русской культуры — направить этот огонь (разрядка моя.— И. З.) на то, что нужно сжечь: буйство Стеньки и Емельки превратить в волевою музыкальную волну».

Это, собственно, и есть задача Христа в «Двенадцати». Христос идет впереди огня («Кругом — огни, огни, огни...»), впереди восклицаний о мировом пожаре. Он, кажется, знает, что нужно сжечь.

Это как бы новое крещение, но не водою, а огнем.

Идея эта категорически противопоказана Гоголю. В «Мертвых душах» Гоголь без иронии изобразил возмущения крестьян

ян: «В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист... Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, уокошили не-антихристов. В другом месте мужики взбутовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, и целая волость, не размыслив того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам».

У Гоголя нет сомнений, что бунт надо остановить. Даже капитан Копейкин в первой части «Мертвых душ» обращается с письмом к государю и готов сложить оружие (он — главарь разбойничьей шайки), лишь бы была удовлетворена справедливость. Блок между «остановить» и «направить» выбирает последнее.

Его Христос идет впереди двенадцати, но кто он? Кто он, если не сын Божий? Или, может быть, он сын поэта?

В поэме «Возмездие», где все грехи рода должен искупить последний в роде, поэт угадывает в неопределенной дали образ своего наследника — сына, рожденного от женщины по имени Мария. Поэт встречает ее где-то в Польше и умирает в ее объятиях.

Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того
Того, что должен был свершить.

Этот набросок окончания «Возмездия» относится к маю — июлю 1921 года. Такovy, по существу, последние стихи Блока. Есть ли новый младенец новый Богочеловек, а нежная Мария — мать его? Оставим этот вопрос без ответа.

В набросках плана пьесы о Христе, которую Блок задумывает в те дни, когда пишет свою поэму (речь уже о «Двенадцати»), герой назван «художником». Он слушает, что говорят апостолы, что говорит народ и «пропускает их разговоры сквозь уши». «Что надо, — пишет Блок, — то в художнике застрянет». «Тут же — простигутки», — добавляет он.

Герой дан в окружении той атмосферы, которая близка «Двенадцати». Есть толпа, есть «митинг» (момент Нагорной проповеди), есть грешные апостолы (как Петруха и Ванька в «Двенадцати»), есть Иуда, у ко-

тогого «лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого», есть улица, есть факт насилия (в отношении Фомы неверного), есть, наконец, ссора между апостолами (ссора между двенадцатью и Петрухой), есть упоминание о воскресении: «А воскресает как?»

Блок как бы подбирает тона для своего Христа. Герой неясен. Он не принадлежит ни тем, ни другим (ни апостолам, ни толпе), он сам по себе, он задумчив, «рассеян», но он тут не посторонний, все события обращаются вокруг него, и народ ему небезразличен, ибо, как пишет Блок, «он все получает от народа».

Момент волевого начала выявлен лишь в одной сцене: «Митинг». Но Нагорная проповедь не политическая речь, она у Блока — слово поэта.

Понимает ли толпа, за кем идет, и идет ли она за ним?

В «Двенадцати» двенадцать не видят Христа, они окликают его, просят показаться, но тот не является, и они в раздражении стреляют туда, где мерещится его тень. Тень это или пятно — понять трудно. Неясность облика идущего впереди остается в силе.

Раздаются выстрелы — вьюга отвечает на них смехом. Смех кружит в этой поэме Блока, как метель, надувает сугробы, отбрасывает в сторону всех, кто мешает красногвардейцам идти «державным шагом», хохот раздается над трупом Катьки и над убитым горем Петрухой.

Гуляет нынче голытьба! —

пишет Блок, и мы вспоминаем страх седека тройки перед «праздной голюю».

В «Двенадцати» поэт и стихия впервые сходятся один на один и лицом к лицу. Все мешается в этих сценах: и «святая злоба», и «черная злоба», «черный вечер» и «белый снег», кровь Катьки и слезы Петрухи, печатный шаг красногвардейцев и «нежная поступь» Христа. Улица оглашена криками, перебранкой двенадцати, воплями старушки, воем бездомного пса. Вьюга улюлюкает вслед двенадцати. Но герой идет впереди в молчании. Красногвардейцы — с винтовками, он — «в белом венчике из роз».

Несовместимость, несоединимость — и вместе с тем роковая связь.

Огонь Емельки и Стеньки, мужицких вождей, орудий народного возмездия, огонь, который готов «направить» герой Блока, огонь не поэтический. В его пожирающем пламени может сгореть все.

.. И идут без имени святого
 Все двенадцать — вдали,
 Ко всему готовы,
 Ничего не жаль...—

такого безраздельного расчета с прошлым не желал еще ни один поэт. Блок приравнивает события поэмы к Страшному суду. На обломках старого Иерусалима (старой веры) должен быть построен новый Иерусалим. И ввести туда людей может только тот, кого поставил Блок впереди идущих в «Двенадцати».

Блок как-то писал, что поэт видит Бога. В «Двенадцати» никто не видит Христа (он «за вьюгой невидим»), но его видит автор. Тот является ему, как и должен явиться поэту, не в образе Христа карающего (таков он в «Откровении Иоанна Богослова» и на фреске Микеланджело на стене Сицистинской капеллы в Риме), он идет «снежной россыпью жемчужной». Снег, над которым движется этот «призрак» Блока, ослепительно чист. На нем нет следов крови, хотя над самим героем развеивается «кравейный флаг».

Этот Христос скорее напоминает Другого Христа Микеланджело — героя «Пьета», нежного сына девы Марии, которая после снятия с креста держит его на руках. Он взрослый муж и он младенец, он бессилен и он нуждается в материнской ласке.

Найдешь в душе опустошенной
 Вновь образ матери склоненный,—

писал Блок в «Возмездии».

Сын девы Марии и сын смертной женщины Марии сближаются в этих стихах.

Но вьюга уже разыгралась над Россией:

Только вьюга долгим смехом
 Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
 Трах-тах-тах...

Музыку циклона разрывают выстрелы. Они хотели бы достать и идущего впереди, но тот «от пули невредим».

Так невредимо и искусство. «Когда родился Христос,— писал Блок в очерке о Катилине,— перестало биться сердце искусства, добавим мы. Герой Блока слишком женствен, чтоб быть красногвардейцем. Он слишком красив, чтоб сжигать красоту,

он — над вьюгой, как парит над событиями истории всякий поэт.

Все поэтическое существо Блока отдается здесь надежде. «Несчастью верная сестра», как назвал надежду Пушкин, вновь оживает в его стихах. Она витает и над выстрелами, и над смехом, и над плачем, покаянием, смирением, жестокостью. Гоголь с его светлыми пророчествами вспоминается в эти минуты. Поэзия конца обращается, кажется, к поэзии начала.

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь, говоря, что «христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт», добавляет: «Другие дела наступают для поэзии» — она призвана вызывать народы «на битву уже не за временную нашу свободу... но за нашу душу». Это требование согласуется со строками стихотворения Блока «Пушкинскому Дому»:

Пушкин! Тайную свободу
 Пели мы вослед тебе!
 Дай нам руку в непогоду,
 Помоги в немой борьбе!

Это стихотворение Блок пишет в конце своей жизни. Выходя к Христу и к гоголевской идее следования по пути Христа, он ищет одновременно поддержки у Пушкина — поддержки у самой поэзии.

«Тайная свобода» — это свобода духа, «непогода» — метель и вьюга «Двенадцати». Слово «музыка», которым Блок заклинал стихию, в предсмертные месяцы исчезает из его словаря. На место «музыки» становится «поэзия». Она переживает паденье Рима. Она выстоит в немой борьбе. Она имеет ключ к «тайной свободе».

Гоголь писал, что поэты не только казначеи сокровищ наших, но и строители наши. Таков же поэт и в виденье Блока. Поэзия, по его утверждению, должна «внести... гармонию во внешний мир». Ее «немая борьба» близка молчанию Христа в финале «Двенадцати».

Финал поэмы и судьбы Блока приобретает в этих последних стихах свою завершенность. Слова о гармонии придают этой завершенности вид окончательного решения.

Стихи Блока о Пушкине ставят точку на его земном пути. Гучи рассеиваются, на небе вновь является солнце, и вершина Блока вплотную подвигается к вершине Гоголя.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. Ларин. «Книги Алданова будут читать...». — Вл. Славецкий. «Теперь-то я поэт!»

ПОЛИТИКА И НАУКА

Сергей Исаев. Возвращение к контексту.

Литература и искусство

«КНИГИ АЛДАНОВА БУДУТ ЧИТАТЬ...»

М. А. Алданов. Девятое термидора. Роман. «Сельская молодежь», 1988, № 5—12.

Журнал «Сельская молодежь», насчитывающий полтора миллиона читателей, более полугода печатал исторический роман М. Алданова «Девятое термидора» с предисловием академика Д. С. Лихачева.

Итак, Марк Александрович Алданов (1886—1957) возвращается — увы, через тридцать лет после смерти — на родину. Возвращается писатель, чьи книги переведены на десятки языков, романист, которого И. Бунин выдвигал в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе, о ком за рубежом написано несколько солидных монографий. Не грустная ли в самом деле картина? Ни в словарях, ни в справочных изданиях, исключая куцую заметку в Краткой литературной энциклопедии, М. Алданов даже не упомянут. А если два-три раза за десятилетия имя его и мелькнуло в печати, то исключительно в хулиганском контексте. Это в пору наших годами культивировавшегося настороженно-неприятного отношения к зарубежным русским писателям и деятелям культуры было почти обязательным правилом. Между тем литературная судьба М. Алданова началась еще на родине. В 1915 году в Петрограде вышла его обширная монография «Толстой и Роллан». Любопытно, что этот серьезный труд, который до сих пор пользуется вниманием исследователей, написан, строго говоря, не специалистом-филологом. М. Алданов (псевдоним-анagramма настоящей фамилии Ландау) по образованию химик плюс к этому юрист. Несколько ранее своей литературоведче-

ской монографии он напечатал сугубо научную работу по химии в сугубо научном журнале. Ученым-химиком Ландау-Алданов продолжал считать себя всю жизнь. Одна из его поздних публикаций на французском языке тоже связана с химией.

Но главным призванием его за рубежом стала литература, преимущественно исторический роман. Возможно, тот факт, что он ощущал себя ученым, занятым точными и конкретными вещами, предопределил многое и в его писательской судьбе. М. Алданов привнес в избранный им жанр строгость и четкость научного мышления, научного подхода к историческому документу. Это не значит, что Алданов-писатель действовал в жестко ограниченных рамках, что он игнорировал или недооценивал в литературе роль вымысла, авторской фантазии. Однако вместе с тем М. Алданов вряд ли безоговорочно принял бы известное высказывание Ю. Тынянова, отстаивающего право художника на свободу творческого воображения: «Там, где кончается документ, там я начинаю». М. Алданов предпочитал все-таки базироваться на фактах, а там, где их не доставало, он отходил в сторону.

...Роман «Девятое термидора» посвящен Великой французской революции. Его главный герой, молодой русский офицер Юлий Штааль, прибывший в Париж со специальной миссией, оказывается в самой гуще революционных событий. Он присутствует на историческом заседании конвента 9 термидора 1794 года, где Робеспьер

готовится произнести речь, названную им «своим политическим завещанием». Однако ему не дают говорить. Далее следует еще более драматическая ночь, полная загадок. М. Алданов пишет по этому поводу в предисловии к роману, кстати, напрасно опущенном в нынешней журнальной публикации¹: «Девятое термидора, бесспорно, одно из важнейших событий мировой истории. Казалось бы, в нем-то должна быть точнейшим образом выяснена и установлена каждая ничтожная подробность. В действительности целый ряд эпизодов этой трагедии — и в первую очередь ее наиболее драматическая сцена — навсегда покрыты непроницаемой тайной. В самом деле, что произошло в ночь на 10 термидора в здании Парижской Ратуши, где Робеспьер был найден лежащим на полу, с раздробленной выстрелом челюстью? Этого не знает и никогда не узнает никто. В психологическом отношении мне, романисту, было бы бесконечно важно выяснить, выстрелил ли Робеспьер в себя сам или был кем-то застрелен... Свидетельства «очевидцев» спутаны, газетные отчеты противоречивы... Трагический документ... призыв Коммуны к восстанию, составленный в Ратуше в ночь на 10 термидора, подписанный, очевидно, в самый момент падения Ратуши первыми двумя буквами фамилии Робеспьера и залитый чьей-то кровью (по-видимому, кровью самого диктатора), этот зловеющий документ, при некоторой фантазии, может быть приведен в согласие и с той и с другой версией».

Верный своему принципу, М. Алданов воздерживается в романе от некоторой доли фантазии, предпочитая фигуру умолчания. Прав ли романист в данном случае? С уверенностью можно утверждать одно: научная щепетильность Алданова-романиста в обращении с подлинными фактами явилась прочной гарантией того, что к его произведениям, созданным еще в 20-х годах, у нынешних историков значительно меньше претензий, нежели к некоторым

современным сочинениям на сюжеты, почерпнутые из русской старины.

М. Алданов предпочитал избегать помпезных батальных сцен, эпизодов придворной хроники, подернутых покровом жгучей тайны. Он подчеркивал: «...как романиста меня в первую очередь занимали не исторические события, но политические явления, а живые люди», их поведение в поворотные исторические мгновения. Вот, скажем, та же сцена заседания конвента 9 термидора, на которое попадает герой Алданова. Штааль здесь посторонний наблюдатель, он плохо разбирается в расставке сил на политической сцене. Он сидит на галерке, почти ничего не слыша из того, что разыгрывается внизу, там, где появляются главные актеры исторической драмы. Более того, Штааль оказывается на этом собрании в большом подпитии, после бессонной ночи. Не мудрено, что молодой человек проспал большую часть заседания. Он окончательно пробуждается только тогда, когда судьба Робеспьера уже висит на волоске. «То, что он увидел внизу, осталось навсегда в воспоминании Штааля как травля дикого зверя. Робеспьер отчаянно кричал, обращаясь к правой стороне зала... В левой руке диктатор мял шелковую шляпу, в правой судорожно сжимал раскрытый перочинный нож. Голоса его почти не было слышно...»

Новый гул потряс стены зала. Робеспьер сделал несколько неровных шагов и в изнеможении опустился на скамью.

— Не садись сюда! Прочь! — раздался истерический крик. — Это место Верньо, которого ты зарезал...

— А-а-а! — прокатился стон. Штаалю в нем послышалось: ату!..

И вдруг в его памяти встала фигура Верньо на ступенях гильотины, стук ножа и падающих в корзину голов и рыдающие звуки «Марсельезы» жирондистов...

В душном зале конвента Штааль почувствовал холод. Ему показалось, что раскрываются могилы и тени погибших людей занимают в зале места. Через несколько минут приставы с булавами, изгибаясь всем телом, боязливо, точно они подходили к раненому волку, приблизились к Робеспьеру.

Штааль прибыл в Париж с романтически-возвышенными представлениями о революции — мечтал отличиться или погибнуть за дело республики. Реальные, далекие от этой книжной романтики будни французской столицы вскоре охладили его пыл. Усложнившийся быт, перебои со снабжением, стремительный рост цен, ужесточившийся террор в ответ на нарастающий

¹ Всячески приветствуя инициативу «Сельской молодежи», напечатавшей роман, публиковать который поостереглись даже иные толстые литературные журналы, не могу умолчать, однако, относительно многочисленных сокращений, произведенных в тексте «Девятого термидора», часто с немалым ущербом для общего смысла произведения. Например, VII глава II части романа, где повествуется о казни жирондистов, которую наблюдает Штааль, глава, занимающая в оригинале несколько страниц, сведена к девяти строкам. Подобные сокращения (а их немало) сопровождаются почти неизбежным в таких случаях вторжением в авторский текст, последнее и вовсе непростительно.

ропот недовольства — все это отрезвляет Штаала, заставляя его взглянуть на окружающее другими глазами. В лозунгах и призывах революционных вождей, разглагольствующих о благе народа и светлом будущем, которое не за горами, он чувствует фальшь, ибо все это сопровождается новыми казнями, новыми трупами. Поэтому в конvente за Робеспьером наблюдает уже отнюдь не его приверженец, каким Штааль был поначалу, но человек, утративший в него веру, разочаровавшийся в нем.

Штаалю запомнилось мертвенно-бледное, словно картонное лицо вождя якобинцев, его густо посыпанный пудрой парик. Какой разительный контраст являет собой Неподкупный, как называли Робеспьера, с обликом Дантона, его грубым лицом, громадным, рыхлым, почти безобразным, но живым! Того Дантона с громоподобным голосом, который, перекрывая городской шум из повозки, везущей его на эшафот, рычит под окном диктатора: «Робеспьер, ты скоро последуешь за мною!»

Во внешности руководителя якобинцев проступает нечто сходное с механической куклой, особенно в эпизоде его крушения в конvente, когда это гипсово-безжизненная маска на глазах изумленного Штаала внезапно пришла в движение («...будто лопнула та пружина, которая неподвижно растягивала куски картона на костяном остоле головы, и эти куски теперь корчились и ходили в разные стороны»). Жутковатая деталь как бы подчеркивает и мертворожденность многих узаконений Робеспьера, противостоявших живой жизни, достаточно вспомнить закон от 22 прериаля об усилении революционного террора против «врагов народа». Какие знакомые слова, формулировки! Не этим ли текстом вдохновлялись Сталин и его соратники на февральско-мартовском пленуме 1937 года, легализовав массовые репрессии и бессудные расстрелы?

К сожалению, до последнего времени в трудах некоторых наших историков о Великой французской революции преобладало одностороннее ее освещение. Закон от 22 прериаля если и не одобрялся, то и не осуждался. Часто при этом авторы закрывали глаза на то, что усиление террора не укрепляло позиции якобинцев, а подрывало их. Крах Робеспьера, свидетелем которого был Штааль, — это как раз следствие его требований начать новые казни среди членов конвента.

Сейчас намечился определенный отход от стереотипов. «Анализ его (Робеспьера.— С. Л.) мировоззрения показывает, — пишет

В. Сергеев в журнале «Знание — сила», — что террор с неизбежностью следовал из его идеологических установок, из его понимания природы социальной жизни... Именно с точки зрения торжества идей революции нет никакого оправдания террористической политике Робеспьера».

Видимо, как раз «нетрадиционный» подход М. Алданова к оценке Великой французской революции долгие годы служил главным препятствием к возвращению писателя в родную литературу. Во всяком случае в уже упоминавшейся заметке об Алданове в Краткой литературной энциклопедии сказано коротко и недвусмысленно: «...за рубежом опубликовал исторические романы, увлекательные по сюжету, но поверхностные и реакционные по содержанию, составляющие единый цикл, охватывающий события русской и западноевропейской истории от середины XVIII до середины XIX века: тетралогия «Мыслитель»...»

Образ Штаала в эмигрантской критике получил противоречивые оценки. То, что на роль центрального персонажа М. Алданов избрал довольно ординарную личность, вызывало недоумение. Представлялось странным, что этот вымышленный герой зачастую выглядит бледнее подлинных исторических лиц, появляющихся на тех же страницах эпизодически.

Так, прозаик И. Наживин, автор злого романа-памфлета «Неглубокоуважаемые» о русском Париже 20—30-х годов, называя М. Алданова «самым интересным писателем русского Парижа», вместе с тем заявлял, что «все его действующие лица за редкими исключениями... серы». Создается впечатление, продолжал И. Наживин, имея в виду обрисовку Штаала, «будто автор наблюдал не живую жизнь, а ее скучное отображение в книгах и газетах». Но дело, пожалуй, в другом. Как ни парадоксально на первый взгляд, Алданов-художник чувствует себя раскованнее в конкретной исторической ситуации среди подлинных, а не вымышленных исторических лиц. Его отличает высокое мастерство исторического портретиста, о чем свидетельствует серия емких, ярких, подчас блистательных эссе о политических деятелях недавнего прошлого и современной автору эпохи, составивших его книги «Современники», «Портреты». Так же и в его исторических романах оживший под пером реальный исторический персонаж, которому первоначально отводилась скромная эпизодическая роль, начинает действовать вопреки авторской воле, оттесняя на периферию событий главного героя. Последний рядом

с такими колоритными фигурами, как канцлер Безбородко, Суворов или граф Пален, действительно мог казаться если и не серым, то бледным. Но подчас автор и сам стремился, чтобы его вымышленный герой Штааль не заслонял собой исторических персонажей. На эту особенность алдановских романов обратил внимание известный польский прозаик Т. Парницкий. В цикле лекций о современном историческом романе, прочитанных в Варшавском университете, он, касаясь творчества М. Алданова, подчеркнул, что близость алдановского Штааля скорее только кажущаяся, призванная подчеркнуть масштаб «подлинно исторических деятелей».

Вот характерная деталь, связанная с фигурой Штааля. Герой М. Алданова, по сути, повторяет маршрут автора «Писем русского путешественника». Как и Карамзин, герой «Девятого термидора» четырем годами позже повстречался в Кенигсберге с И. Кантом, в Лондоне с русским послом С. Воронцовым, с которым они даже обсуждают первые главы карамзинских писем, появившиеся в «Московском журнале». Конечно, Штаалю не дано было говорить с Кантом на равных о высоких философских материях, затрагивавшихся при свидании философа с Карамзиным. Штааль не подозревает о существовании философа и даже чрезвычайно раздражен, когда тот внезапным своим появлением в уединенной аллее кенигсбергского Королевского сада нарушает его успешно начавшуюся любовную интрижку с дочерью хозяйки приютившей его гостиницы, фрейлейн Гертрудой. Однако дальнейший их разговор по воле автора протекает исключительно мирно, касаясь дел житейских. Кант чувствует себя с молодым человеком на редкость непринужденно. Так, может, в этой контактности Штааля, его умении поддержать разговор с самыми разными людьми, в этой, как бы сказали ныне, коммуникабельности и заключается его основная функция — быть связующим звеном тетралогии «Мыслитель» («Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров»), точнее, трех первых ее романов.

Если роль свидетеля истории Штаалю удалась, то с ролью атланта, поддерживающего весь свод алдановской тетралогии, он справился лишь отчасти. Тетралогия, на мой взгляд, не получилась достаточно цельной, органически слитной. Она распадается на отдельные романы, начиная с Великой французской революции и кончая кануном восстания 14 декабря 1825 года. Читателю восприятию может помешать и об-

щая философская концепция «Мыслителя». Вынесенная в заглавие всей тетралогии, она как бы символизируется одной из знаменитых химер на галерее Нотр-Дам, которая с истинно дьявольской grimасой взирает на великий город с высоты собора. Химера «Мыслитель» — своего рода воплощение холодного скепсиса, разлитого по страницам тетралогии. Выразителем этого скепсиса здесь выступает старик Пьер Ламор. Он тоже переходит из романа в роман, из эпохи в эпоху и сам признается, что не знает, сколько же ему лет. Эта фигура в отличии от Штааля чисто условна. Скептик Ламор не верит ни в бога, ни в черта, ни в революцию, ни в контрреволюцию, ни в монархию, ни в республику. В мрачных и едких сентенциях Ламора, во всей его мизантропической философии некоторые видели чуть ли не кредо самого автора. Думаю, что такая трактовка ошибочна. Ставить знак равенства между суждениями героя и автора задача всегда сомнительная, а здесь особенно. Мне, однако, представляется, что М. Алданов, будучи по своей природе писателем философского склада, всегда тяготел к диалогической форме, в чем он и признается в предисловии к своей поздней книге «Ульмская ночь», выдержанной в форме философского диалога. Во имя диалогичности автор и позволил себе, думается, ввести в тетралогию фигуру Пьера Ламора, скептика, изрекающего мрачные максимы и сентенции, которые не без успеха опровергаются другими персонажами произведения.

Тетралогия М. Алданова не во всем равноценна и по своему художественному исполнению. Так, вторая часть — роман «Чертов мост» — слабее, композиционно не организована, но заключительные главы — переход Суворова через Сен-Готардский перевал — это страницы, которые трудно забыть. Хотелось бы выделить как лучшие два романа — первый и третий — «Девятое термидора» и «Заговор», роман, связанный с убийством Павла I. Между этими вещами есть известная внутренняя переключка. В «Заговоре» группой офицеров, замысляющих цареубийство, производится как бы своеобразное перенесение идей французской революции на русскую почву: насильственное устранение тирана. Оба варианта — и французский и русский, — по мысли автора, неудачны и не оправдывают себя. Особенно остро все происходившее воспринимает Штааль, ставший участником переворота 11 марта 1801 года. Из его памяти еще не изгладились драматические сцены якобинского террора. Поэтому он,

понимая всю невыносимость дальнейшей павловской гирании, осознает и тщету этого реализуемого на крови дворцового заговора...

Что касается заключительной части, романа «Святая Елена, маленький остров», то М. Алданов несколько насильственно ввел его под своды своей тетралогии; заключительная часть написана ранее остальных романов, и это как бы первая разведка исторического жанра начинающим писателем.

Алданов, можно сказать, всю жизнь учился у Толстого. (Помимо монографии «Толстой и Роллан» им написана в 1923 году работа «Загадка Толстого».) В своей исторической тетралогии он словно бы тоже шел вслед за Толстым, упорно возвращаясь к тому периоду, который занимал и автора «Войны и мира», — эпохе наполеоновских войн, кануну декабрьского восстания. При этом, однако, М. Алданов не решался, да и не считал нужным, обращаться к событиям 1812 года, уже запечатленным в толстовской эпопее.

М. Алданов остался по преимуществу автором исторических романов. Глубокое знание эпохи, широкая эрудиция, приобщение к подлинным документам и материалам, сосредоточенным в крупнейших архивах Европы, профессионализм исследователя — все это в сочетании с его литературным даром как бы устремляло писательское перо в одном направлении.

Слабее, на мой взгляд, романы Алданова на современную тему. Например, его трилогия, охватывающая события первой мировой войны, революции, эмиграции. Я имею в виду цикл романов «Ключ», «Бегство», «Пещера». Как мне представляется, здесь

писатель не сумел вполне овладеть жизненным материалом, который, будучи частью пережитого, еще не остыл, не успел отложиться в какие-то законченные формы, как говорил А. Бестужев-Марлинский, отдалиться «на исторический выстрел». Возможно, поэтому М. Алданов подчас соскальзывает в бытописание, чуждое самой природе его творчества.

Впрочем, эти романы М. Алданова (в частности, «Ключ», который начал публиковать журнал «Дружба народов») сегодня будут восприниматься иначе, как сугубо исторические произведения, без назойливых попыток со стороны читателей обязательно распознать чуть ли не в каждом персонаже реальное лицо.

Более всесторонняя оценка творчества М. Алданова — дело ближайшего будущего, поскольку возвращение писателя в отечественную литературу все-таки произошло. И несомненно, что с выходом в свет в издательстве «Московский рабочий» в скором времени его тетралогии «Мыслитель» она быстро приобретет популярность.

Скупой на похвалы, замечательный стилист А. Ремизов, узнав о кончине М. Алданова, с горечью записал в своем дневнике: «Провожая мысленно Марка Александровича в его последний путь, кланяюсь низко. Смотрю на книги — труд его жизни. В русской литературе имя Алданова займет почетное место. Исторический роман: Загоскин, Лажечников, Полевой, Мордовцев, Данилевский, Салиас, Соловьев, Алданов. Книги Алданова будут читать. Недаром прошла жизнь».

Итак, читайте Алданова!

С. ЛАРИН.



«ТЕПЕРЬ-ТО Я ПОЭТ!»

Георгий Шенгели. Вихрь железный. Поэмы. («Библиотека «Российская поэма»). М. «Современник». 1988. 125 стр.

Георгий Шенгели. Из литературного наследия. «Октябрь», 1988, № 1.

Георгий Шенгели (1894—1956) — сын начала века, литератор брянского склада: поэт-ученый, стиховед, критик, эрудит, неутомимый трудяга переводчик (по его собственным подсчетам, им переведено свыше 150 тысяч строк). Сейчас его подзабыли. Не напрочь, конечно, вспоминали его имя историки литературы, изредка просачивались в печать его стихи. Но восстановление справедливости по отношению к Шенгели начинается только сегодня, с появлением книги и большой подборки стихов в журнале «Октябрь».

Что было между ранними стихами вроде экзотических «Барханов» (1916) и теперь уже известными нам произведениями 40—50-х годов? Стиль, версификация в целом сохранили верность принципам парнасцев, соединенным с «кларизмом» («ясностью», по М. Кузмину) акмеистов: тяготение к стройности формы, запечатлевающей пластически вещную красоту предмета, к выверенной детали. Неслучайно же и завершавшая ранний период книга «Раковина» (1922) и последний прижизненный сборник «Избранные стихи» (1939) начи-

нались изысканным и, видимо, дорогим автору стихотворением.

Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отяжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, увернувшийся от пули,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал,
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул..
На сизой стали заалела кожа,
Отхваченная ледяным ожогом...

Не говори о холоде моем.

Позднее поэт станет демократичнее, проще, порезче (и напишет, например. «...от сырого теста и воды испорченной свистит дизентерия»), но метода скульптурной, пластической поэтики останется, хотя и приобретет особое наполнение, о чем свидетельствует напечатанное теперь обширное стихотворение-трактат «Философия классицизма» (1937). Эмоция, «сантимент, сей маргарин души», отвлекает от главного, разрушает представление о гармонической оформленности бытия. Важно, когда

Не слышно глупых шуток, злобных вскриков;
Видны тела лишь в их прекрасной сути...

.....
Я вижу — вот отец, придя с работы,
Рад отдохнуть; вот мать дает ребенку
Грудь, налитую нежным молоком...

.....
Все — только суть; все — так, как нужно.

Миг

Достаточен, чтобы схватить все это —
В единстве, в установке, в существе,
В и д е е, воплощенной зримо.

Правда,

Все это есть у классиков: трехмерность,
Объемность, расчлененность, свет и воздух,
И краска, и — та доминанта жизни,
Что в основном стремится вверх и вверх?

Характерно, что именно такая философия была востребована в то время, в период абсолютизации верховной власти, а следовательно — внедрения нормативного метода, близкого классицизму. Здесь поэт убеждает (себя ли, читателя ли?) в преимуществе должностующего перед тем, что есть. Можно спорить с этой философией, но и автор невольно сам себя оспаривает. Он, как и положено в и д е е, в установке (!), вроде бы смотрит на вещи ясно, судит здраво, ощущает доминанту жизни, но при этом хоть и не желает, а все же видит, как «люди подсчитывают с радостною злобой, кто и в каком объеме жизнь заел другому».

Не менее выразительный пример — стихотворение «Власть» (1935). На киностемке рядом с памятником Гоголю снимают такой же памятник, но бутафорский. С

ним по замыслу и воле режиссера при странном мертвенном освещении производят некие манипуляции: «Гоголь (тот, второй) как на шарнире голову рванул направо, дернулся, вскочил, как будто аршин складной расправил, — и вновь сложился, сел, заоченел...» Какова же реакция героя?

...Громадный

Ком тошноты мне к горлу подкатил!
Я ощутил с железным омерзеньем
Оживший труп, — сначок за грань закона,
За логику; из истины — в кошмар!..

Я шел и думал: как прекрасна жизнь
В ее прозрачном и не обратимом
Течении! Ах, — вплавь! Немедля — вплавь!

Понятна вера в некий закон, в логику необратимости жизни, но такой нарочитый упор на закон говорит и о тревожном, обостренном осознании алогизма и дисгармонии. Поэт отдал себя на волю необратимого течения жизни? Но в этой тошноте, в неадекватности реакции, в этом вялом жесте-восклицании «ах, — вплавь!» — боязнь шагнуть «за грань закона», парализованная воля.

С идеей необратимости течения жизни соотносится представление Шенгели о ходе истории, о ее железном, неуклонном, однонаправленном движении: «Наш взор упорно устремлен вперед, нам некогда оборотиться: истории тяжеловесен ход, и многое должно свершиться» («Памяти Коммуны». 1928), «Сменился навсегда застой былых веков державной поступью годов социализма!» («Туркмения». 1934), «Но шла Россия. Шел литейщик, пахарь... Неодолимо шел! К социализму!» («Ушедшие в камень». 1937). Оксюморонное словосочетание «вихрь железный», давшее название ныне изданной книге поэм, очень характерно как образно-метафорический, обобщающий эквивалент революции. Это неодолимая стихия, сметающая на своем пути все чуждое, но и устанавливающая некий новый, железный строй, порядок.

Быть сугубо историческим материалистом, делать акцент на признании железной справедливости законов истории побуждало давление общей атмосферы 20—30-х годов — политической и литературной. С другой стороны, интеллигенция с ее вечным комплексом вины испытывала чувство некоей ущербности из-за того, что — как ей всегда внушали! — оторвана от простого народа, не принадлежит к передовому классу. Пастернак в 1926 году писал М. Цветаевой «о продолжение усилий, направленных на то, чтобы вернуть ис-

тории поколение, видимо, отпавшее от нее и в котором находимся я и ты...».

Боязнь «отпасть» от истории, нежелание оторваться от избранного историей класса порождали и повышенную самокритичность. Именно такой самокритичностью, едва ли не самоуничижением пронизано авторское предисловие к сборнику 1935 года «Планер». От имени своей «социальной прослойки» (далеко не единственный характерный термин!) Шенгели кается, что в юности его поколение позволяло себе выбирать, «какая партия лучше», и было оторвано от реальной действительности, сбитое с толку Ницше и Штирнером. Создается, что тяжелым «грузом лежит на плечах пятерия того мира», а о «парадных залах» европейской культуры говорит с иронией.

Он словно отбивается от грозных и подозрительных критиков: «Было бы пошлостью говорить, что я признал», «я примкнул». Нельзя не «примкнуть» к планете, с которой несешься в звездном просторе». И тут же признается: «...задумав ряд историко-революционных поэм, я чувствовал, что еще не смог бы с надлежащей конкретностью изобразить развертывание и реализацию революционной воли класса». Признав «ошибки» и покаявшись, Шенгели готов просить о помощи: «...нам надо помочь, если еще срывается привыкшая листать старые книги рука». Нужно было и впрямь испытывать изрядное давление, чтобы так ломать самого себя, чтобы отречься от старой культуры, когда новая-то еще не создана, от культуры, которая и составляла смысл, содержание жизни! Чтобы утверждать, что «поэзия сама подчинена железной необходимости, сама служит тем или иным целям», оспаривая тем пушкинскую концепцию: цель поэзии — поэзия.

Шенгели с сокрушением признается, что в поэме «Пушки в Кремле» (1926) его влек «не идейный вывод, т. е. не установление правильной концепции относительно данного комплекса фактов... а чисто чувственное очарование звона, плавки, накала и грохота... данность убила задание». В поэме звучит монолог пушечной меди, которая прежде была то колоколом, то монетами, то пушкой санюлетов — «трубою Свободы», то орудием в наполеоновской армии. Заканчивается она строчками:

— Он верен — путь ветра, огня и металла:
Победой была я, и песней я стала,
И жребий всего, что есть в мире, таков:
Стать песенным сердцем у розы веков!

Сегодня исследователь М. Шаповалов, кардинально меняя плюсы на минусы, пишет, что именно здесь творческое кредо поэта. Но отчего так ощутимы в этой поэме натяжки и провалы вкуса? Читая: «Легла Бонапарта литая цевница, которой внимали, подобно кострам, Москва и Маренго, Арколь и Ваграм», — не можешь отделаться от мысли о надуманности сравнения пушки с цевницей (свирелью), не сразуобразишь, почему города «внимали, подобно кострам» (вероятно, они пылали как костры).

Видимо, верная в принципе идея самодостаточности, самоценности образа не выдержала тут пушечной, так сказать, тяжести (а крайностей не выдерживает никакая идея!), ибо как бы поэт ни убеждал нас, что медь — это в конце концов лишь источник мелодического звона, но одно дело, когда из нее отлит колокол, а другое — пушка.

Поучительная это тема: диалектика «данности» — материала и выросшего из него образа, с одной стороны, а с другой — «задания», «идейного вывода». Скажем, в небольшой поэме «Поручик Мертвецов» (1919—1921) «задание» не только не потеснило самодовлеющего образа, но оказалось поглощенным художественной материей. Поэма написана внутренне свободным человеком, в ней не чувствуется натужного вытягивания некоего «идейного вывода». Каково в самом деле ее «задание»? Изобразить «старый мир» в лице его представителя со столь горящей фамилией? Все значительно сложнее. Мертвецов ведь стал не жертвой революции, но благодаря ей добился торжества: пролив человеческую кровь, он освободился от угнетавшего его комплекса неполноценности. Создав характер персонажа, довольно напряженную событийную линию, введя элемент фантазмагории, поэт смог передать трагизм поворотного момента «тяжеловесной» истории, которая, подобно асфальтному катку, не разбирая, проезжает по человеческим судьбам и жизням.

У нас не так много данных, позволяющих реконструировать весь путь поэта, его биография не опубликована. Поэтому процитирую все из того же авторского предисловия к «Планеру» любопытное признание, которое, впрочем, грешно было бы абсолютизировать: «Двенадцать лет отделяют эту книгу от предшествовавшей ей «Раковины». Правда, в 1927 году вышла маленькая книжка «Норд». Но она не в счет. Она в значительной степени была коллектором преходящих и болезненных

настроений; выпуск ее был нужен мне как форма изживания этих настроений, и в продажу книгу я не пустил».

О каких «болезненных настроениях» идет речь? Нет оснований понимать их в сугубо медицинском смысле. Возможно, имеются в виду те стихи, в которых поэт выходит за рамки уж слишком железного закона, логики, оправдывающей происходящее, произведения, в которых противоречиво изображались жизнь и человеческая душа. Во всяком случае нынешняя публикация в «Октябре» дает возможность говорить о том, что у поэта и позднее было что не пускать в продажу¹. В воспоминаниях А. В. Кривцовой и Евг. Ланна говорится о Шенгели как о человеке трудной судьбы. М. Шаповалов, упоминая о тяжелой болезни поэта в послевоенные годы, пишет: «...еще тяжелее было сознание, что ему не суждено увидеть изданными написанные им книги».

Душевный и творческий разлад, чуть ли не отчаяние отражены в стихах 1949 года: «Вот закончится ледоход, вот поэма в печать пойдет, вот разок покажусь врачу, вот бессонницу полечу... Вот пальто сошью по плечу, вот редактора проучу, вот директор авось помрет, или так его черт возьмет... Разве можно тут жить, в Москве, с вечным дребезгом в голове?.. Настоящая жизнь — потом: вольный труд и свободный дом; послезавтра жизнь!.. А пока дайте адрес гробовщика».

Если в стихотворениях 30-х годов «Вплавь» и «Философия классицизма» признавалась разумность действительности, то здесь какая-то другая философия, иное социальное самоощущение: «Я горестно люблю сороковые годы. (Речь идет о XIX веке, о николаевской эпохе.— В. С.) Спокойно. Пушкин мертв. Жизнь, как шоссе, прямо... и Лермонтов пристрелен, и Достоевского взвели на эшафот». Последние строки приобретают форму будущего времени:

Но будет, черт возьми, но грянет
Севастополь
И подведет итог шепоткой мышьяка.

Подразумевается Николай I, умерший, а по версии иных — отравившийся в 1855 году. Но нет ли в этих стихах затаенной надежды, что ждет же, черт возьми, подобный итог и другого тирана? Что же касается Севастополя как некоего итогового

исторического события, то Великая Отечественная война, закончившаяся народной победой, тем не менее обнажила противоречия сталинского режима не менее явно, чем некогда Крымская война кризис николаевской империи. В поздней лирике Шенгели обнаруживается, таким образом, новый виток в развитии исторической темы. Если прежде преобладало представление о строгой закономерности «тяжеловесного» хода истории, то теперь появился мотив пересмотра, суда над историей не только давней, но и современной, над тем, что в 30-е годы считалось неизбежным и логичным. Видимо, обреченность на непечатание обострила чувство внутренней независимости, сближающее поздние стихи с ранними.

Такая переоценка ощущается, например, и в стихотворении «Педагогика» (1955). Чувственная ситуация описана здесь, фантастическая — казнь, после которой казненный остался жив: «Раз — топором! И стала рдяной плаха. В опилки тупо ткнулась голова. Казненный встал, дыша едва-едва, и мяла спину судорога страха. Лепечущие липкие слова ему швырнули голову с размаха, и, вяло шевелясь, как черепаха, вновь на плечах она торчит, жива». Это мог написать человек, мысленно переживший свою гибель. Не случайно же герой стихотворения — поэт.

И с той поры, взбодрен таким уроком,
Он ходит и носит пугливым оком
И шепчет всем: «Теперь-то я поэт!

Не ошибусь!» — и педагогов стая
Следит за ним. И ей он шлет привет,
С плеч голову рукой приподымая.

«Болезненные настроения»? Но уж очень правдоподобна эта «педагогика», научившая одних современников «косить пугливым оком», а других — следить.

Видно, нужно было немало пережить и передумать, чтобы на закате жизни в полной мере осознать, чего стоила бдительная «педагогика», чего стоит сохраненная голова самого героя, оплаченная компромиссами «лепечущих липких слов». И после всех переоценок Шенгели мог сказать: «Теперь-то я поэт!» — не с саркастической, с предельно серьезной интонацией.

Судьба Г. Шенгели в своем роде типичная. В ней проявилась трагедия многих деятелей культуры, принадлежащих ко второму-третьему ряду, — стремление (подчас искреннее) не «отпасть» от истории, затем все большее осознание своего несовпадения с происходящими процессами, уход в молчание и, наконец, если удавалось выжить, позднее прозрение-освобождение.

¹ В одном из ближайших номеров нашего журнала будут опубликованы принадлежащие перу Шенгели стихи разных лет, которые, возможно, прольют дополнительный свет на творческий путь поэта.

После выхода книги поэм и журнальных подборок логично ожидать одностомник Г. Шенгели, в который вошли бы лучшие стихи и (или отдельно) статьи. И необходимо, конечно, научное издание с соответствующим аппаратом, тщательной текстологической работой. Сейчас же некоторые неточности видны невооруженным глазом. Например, в поэме «Пушки в Кремле» строка «Я сладостно чуяла: я стыну, я стыну» явно не вписывается в четырехстопный амфибрахий, которым написана поэма (в издании 1939 года было: «Я сладостно чуяла: стыну я, стыну»). В поэме «Ушедшие в камень» читаем: «И бормочет худой телеграфист: «Взять Мелитополь... Мелитополь взят»...» В «Избранных стихах» дважды бы-

ло «взят». И действительно, телеграфист же не приказывает взят, а констатирует: взят. В этой же поэме опущена патетическая концовка, посвященная вождю Насколько известно, Шенгели всего дважды делал реверансы в сторону вождя. И было бы невеликодушно сегодня порицать поэта. Но если стихотворение «Имя» (1933) составители вправе просто не включать в новые издания, то можно ли без всяких объяснений, произвольно отсекают кусок от переиздаваемой ныне поэмы, искажая тем самым картину творчества поэта? А если на то была какая-то позднейшая авторская воля, то тем более нужны комментарии, хотя бы оговорка в послесловии — «От составителя».

Вл. СЛАВЕЦКИЙ.



Политика и наука

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОНТЕКСТУ

Историко-философский ежегодник. М. «Наука». 1986. 302 стр.; 1987. 344 стр.; 1988. 383 стр.

Появление в 1986 году первого выпуска «Историко-философского ежегодника» — событие далеко не заурядное для нашей культуры. Положено начало периодическому изданию, которое призвано по возможности охватить все жанры историко-философской науки: от переводов и публикаций до научных статей и продолжающихся библиографических списков. Под стать жанровому разнообразию и задачи, которые ставит перед собой ежегодник. Как не приветствовать, например, намерение редколлегии «преодолевать имевшееся ранее отставание в марксистском исследовании ряда этапов, фигур истории философии поздней античности и средневековья...».

И все же недостаточно вывести белые пятна в истории человеческого духа, то есть максимально полно, без пропусков и изъятий представить ее нашему современнику. Гораздо сложнее освоить и перевести на язык нашей культуры логику мысли и категории духовной работы других культур, в том числе самых далеких. Беда не только в том, что мы до сих пор не имеем сколько-нибудь полного русского Кьеркегора или Плотина, Фому Аквинского или Хайдеггера (хотя и это, разумеется, существенно тормозит философский рост гуманитарной аудитории), — в конце концов кто-то может прочитать выдающихся мыслителей в оригинале или, на худой конец, в переводе на знакомый западноевропейский язык. Беда, что отсутствие переводов не стимулиро-

вало выработку философской терминологии, не способствовало преломлению философских понятий в родном языке, а через язык — и в духовной культуре народа. Нет нового слова — значит, не создается, не входит в плоть и кровь и новое понятие, новый образ. Да что там новое! Даже прежде наработанное и возвращенное растеряли: сегодня уже и рассуждения Вл. Соловьева туманны и далеки, уже и Н. Бердяев за семью печатями... Чтобы вернуть читателю-современнику, скажем, русскую философию конца XIX — начала XX века, недостаточно просто раскрыть двери спецхранов, придется заново обучать и готовить его к восприятию непривычных идей. Не слишком далеко ушли мы от того времени, когда в число «прислужников империализма» попадала не только злосчастная кибернетика, но и, к примеру, экзистенциализм.

Есть еще одна весьма существенная, на мой взгляд, связь между выходом в свет «Историко-философского ежегодника» и современной ситуацией. Немало можно услышать сейчас вполне справедливых сетований на жалкое положение наших общественных наук, на отставание гуманитарного образования, на бессилие философов и обществоведов дать сколько-нибудь глубокий философский анализ нынешнего состояния социума и культуры. Полагаю, что самый надежный и верный (хотя, может быть, и не самый быстрый) путь к преодолению кризиса гуманитарных дисциплин заключен

именно в обращении к истории философских учений. Чтобы изжить конъюнктурность философской мысли, покончить с разработками, проводимыми по принципу «чего изволите», нужны не расширение текущих исследований, не заведомо бесплодные попытки спешно «перестроить» их в соответствии с требованиями момента, но в первую голову подведение более прочного историко-философского фундамента. Иными словами, для того чтобы философия смогла решать сегодня практические проблемы, необходимо, как это ни парадоксально, возвращение к ее истории. Не решив подобной задачи, невозможно обеспечить нашей культуре такие характеристики, как универсальность и способность к непрерывному развитию — гарантии ее подлинности.

Пора наконец осознать, что история философии есть нечто большее, чем просто дань уважения прошлому, — она целиком обращена к современности, в ней выражена потребность познать себя в соотносительности со всем духовным опытом, нажитым человечеством. Эта наука требует последовательности и основательности анализа, здесь больше всего мешает привычка навешивать ярлыки. В этом смысле история философии сродни критике, которая, говоря словами Поля Клоделя, является одновременно знанием другого и со-знанием себя в мире.

Рубрики, по которым разнесено содержание «Историко-философского ежегодника», в целом вполне традиционны: история марксистско-ленинской философии, античная и средневековая философия, философия нового времени, история отечественной философии, современная буржуазная философия. Обещанная редколлегией в первом выпуске под рубрику «Философская публицистика» пока не состоялась. Ее отсутствие с лихвой восполняют «Переводы и публикации»; в этом разделе обращено серьезное внимание на самую, наверное, запущенную часть нашей историко-философской работы. В первых трех выпусках ежегодника опубликованы, в частности, статья М. Хайдеггера «Учение Платона об истине» (перевод Т. В. Васильевой), рукопись Вл. Соловьева «Свобода и зло в философии Шеллинга», трактат Фомы Аквинского «О сущем и сущности», малоизвестная статья Г. Г. Шпета «История как предмет логики», тексты восточной философии, снабженные высокопрофессиональными комментариями... Хотелось бы увидеть в последующих выпусках и переводы произведений современных зарубежных философов.

«Историко-философский ежегодник» дает высказаться на своих страницах деятелям

культуры, размышляющим о месте истории философии в сознании современного общества. Интервью с А. Битовым, И. Золотуским, Ф. Искандером, В. Лакшиным, И. Роднянской — первая и в целом удачная попытка начать такой разговор. Показательно, что писатели в своих ответах не связали историко-философское знание с сугубо цеховыми заботами самих философов, с их профессиональным нарциссизмом. А соблазн, кажется, довольно велик: ведь это знание на первый взгляд обращено скорее не на изучение мира, но на анализ уже сложившихся взглядов на мир. Судя по репликам писателей, в историчности философствования они видят признак его истинности, а значит, и злободневности. Видимо, историю философии следует отнести к такому роду знания, который, по определению Ролана Барта, и создает «умопостигаемость нашего времени».

Вообще тема истории философии и культуры, как мне кажется, доминирует в первых трех выпусках ежегодника, будучи представленной в разных разделах. Назову наиболее интересные с этой точки зрения работы: А. А. Столяров. «Феномен совести в античном и средневековом сознании (К постановке проблемы)»; Т. В. Васильева. «Елена Прекрасная (Истина и призрак)»; О. Б. Вайнштейн. «Философия слова С. Т. Кольриджа»; В. С. Горский. «Образ истории в памятниках общественной мысли Киевской Руси (На основе анализа «Слова о законе и благодати» Илариона и «Слова о полку Игореве)»; Н. В. Громыко. «Иоганн Готлиб Фихте и Жан-Поль Рихтер»...

Марксистско-ленинская философия, если она претендует на звание науки, должна питаться от крепкой корневой системы, уходящей глубоко в мировую культуру, в ее разнообразные пласты. В противном же случае наша философская мысль, как показал печальный опыт предшествующих десятилетий, неизбежно хиреет и чахнет, скатываясь к обслуживанию сиюминутных политических целей. Запоздалые и стыдливые попытки протащить в нашу философскую мысль темы и отдельные категории, впервые выдвинутые внутри современных западных философских систем, мало что меняли. Маркс не стеснялся учиться у талантливых предшественников и современников, а мы обычно начинаем с того, что решительно отвергаем с порога новые подходы (не там родились!), а затем — нередко под другим названием — пытаемся механически включить их в контекст современного марксистского философствования. Разве проблемы субъективного переживания времени, роли

подсознания, ощущения конечности человеческого существования не волнуют всех? Как можно было столько времени отмахиваться от них, а потом делать вид, что все эти проблемы у нас давно разрешены и потому возвращаться к их обсуждению — ненужная роскошь...

Теперь мы часто говорим о том, что на повестке дня стоит острейший вопрос гуманизации образования, культуры, наконец — просто бытовой жизни. Похоже, что участие истории философии во всех этих процессах должно быть большим. Ее роль никак не может быть сужена до расшифровки некоего скрытого смысла в философских трактатах мыслителей различных эпох и уж тем более не должна сводиться к вычленению «элементов материализма», «зачатков диалектического подхода» и тому подобных мифических (а то и откровенно фальсифицированных) «достижений» философов иной мировоззренческой ориентации. Эта мысль подтверждается большинством работ, опубликованных в «Историко-философском ежегоднике»; их авторам удалось избежать теоретических ловушек.

Всякому, кто познакомится в ежегоднике с результатами новых отечественных исследований, станет ясно, что историк философии — это отнюдь не коллекционер схоластических редкостей, а его наука не собрание отслуживших своему времени истин и тем паче не критически разносная публицистика. Она представляет собой в высшей степени необходимую деятельность по проверке любой интеллектуальной гипотезы на нравственную глубину и теоретическую основательность. Это подметил еще Салтыков-Щедрин в своей едкой, но точной сентенции в адрес профессоров, философствующих по поводу «начальственных предписаний». Чтобы влияние представителей философской науки на искусство,

культуру и общество в целом было хоть сколько-нибудь плодотворным, писал он, необходимо по крайней мере, «чтоб между ними и обществом существовала живая связь, чтоб университеты, например, были светочами и вестниками жизни, а не комментаторами официально признанных формул, которые и сами по себе настолько крепки, что, право, не нуждаются в подтверждении и провозглашении с высоты профессорских кафедр». Поразительную актуальность для нас этих слов продемонстрировала недавняя дискуссия в журнале «Юность», развернувшаяся с легкой руки молодых аспирантов-философов (М. Маяцкий и Э. Надточий, «Философия в повелительном наклонении» — «Юность», 1987, № 10). Как показали авторы статьи, сведение функции философского исследования все к той же готовности объявить о соответствии любой «официальной формулы» объективным закономерностям исторического развития профанирует саму идею философии как высшего и свободного проявления разума. Но, оказывается, и сегодня требуется немалая смелость, чтобы отстаивать право личности на собственный маршрут интеллектуальных поисков, на самостоятельное путешествие к вершинам человеческого духа.

Именно история философии учит каждого, кто приступает к философствованию, начинать исследование не с принятия кажущихся безусловными истин, а с выяснения своего места в системе теоретических координат. Именно эта наука дает мыслителю самое ценное — собеседника, партнера по диалогу, тем самым открывая ему возможность решать свою конкретную задачу в контексте постоянно развивающейся мировой мысли.

Сергей ИСАЕВ,
кандидат философских наук.

Статья заслуженного юриста РСФСР Г. А. Терехова о деле Н. С. Гумилева, опубликованная в декабрьском номере журнала за 1987 год, вызвала ряд противоречивых откликов. Многие читатели выражают благодарность Г. А. Терехову, «вернувшему поэту честное имя», однако далеко не все приняли предложенную им оценку событий августа 1921 года. Редакция считает необходимым ознакомить читателей с мнениями, отличными от ранее высказанных.

СПИСОК РАССТРЕЛЯННЫХ

Письмо Г. А. Терехова поддерживает надежду на дальнейшее раздвижение границ гласности и побуждает задать вслух давние вопросы. Фиксируя у Гумилева лишь «прикосновенность к преступлению» и отмечая верность его кодексу офицерской чести, Г. А. Терехов возвращает Гумилеву честное имя, и это прекрасно. Но тут же возникает вопрос: следует ли остановиться на этом? Г. А. Терехов пишет: Гумилев «не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщическую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался. Никаких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева в участии в антисоветском заговоре, в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет».

Положим рядом «Петроградскую правду» от 1 сентября 1921 года, где помещены сообщение ВЧК «О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти» и, за подписью президиума Петрогубчека, список расстрелянных «активных участников заговора» (61 человек). Тридцатым в списке «Гумилев, Николай Степанович, 33 лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Издательства Всемирной Литературы», беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской боевой организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».

Именно эта формулировка прямо опровергается письмом Терехова. Если так, то не ставится ли тем самым под сомнение и все «Таганцевское дело» («дело Петроградской боевой организации»), по которому был осужден Гумилев?

По этому делу решением Петрогубчека от 24 августа были расстреляны 16 женщин в возрасте от двадцати до шестидесяти лет (две сестры милосердия, две студентки; четыре проходили как сообщницы в делах мужа), группа моряков и другие лица. Это были люди разных убеждений — от монархиста до бывшего члена РКП, который «из партии вышел ввиду желания уехать в Латвию». Предгубчека заявил на пленуме Петросовета, что крестьяне, рабочие и матросы составили среди заговорщиков «самое большее 10%», но среди расстрелянных эти категории составили по меньшей мере четверть. Список казненных возглавил молодой профессор-географ В. Н. Таганцев, названный в сообщении губчека «главой и руководителем Петроградской боевой организации». Имена отправленных в концлагерь (свыше 100 человек) не были сообщены.

Вина большинства расстрелянных характеризовалась такими выражениями, как «присутствовал», «переписывал», «знала», «разносила письма», «дал согласие», «обещал, но отказался исключительно из-за малой оплаты». Или даже так: «Доставлял организации для передачи за границу сведения о музейном деле и доклад о том же для печатания в белой прессе» (князь С. А. Ухтомский, скульптор, сотрудник Русского музея), «снабдил закупщика организации веревками и солью для обмена на продукты для членов организации» (заводской электрик А. С. Векк). В ряде случаев — и это в печатном списке расстрелянных! — к подобным обвинениям все и сводилось. По-

хоже, что в уточнении «состава преступления» нуждается не один Н. С. Гумилев. К «Таганцевскому делу», как и ко всем громким политическим делам 20-х — а не только 30-х годов, полезно возвратиться, чтобы вернуть честное имя всем, кому оно может быть возвращено.

Но еще важнее, может быть, другое — опубликовать не выводы, а сами материалы дела, которые, судя по письму Терехова, сохранены в архивах. Это тем более важно, что первые слухи о деле возникли тогда же, в 1921 году, а к настоящему времени продолжают существовать и изустно передаваться разные версии «дела Таганцева — Гумилева».

Приведу одну из записей академика В. И. Вернадского на эту тему. Неотредактированная, беглая запись сделана им для себя в сентябре 1942 года.

«Идея станции и, значит, сапропеля¹ была дана В. Таганцевым, который погубил массу людей, поверив честному слову ГПУ² (Менжинский³ и еще два представителя).

Идея В. Н. Таганцева закладывалась в 1922 году⁴ в том, что надо прекратить междоусобную войну, и тогда В. Н. готов объявить все, что ему известно, а ГПУ дает обещание, что они никаких репрессий не будут делать. Договор был подписан. В результате все, которые читали этот договор с В. Н. Таганцевым, были казнены <!...>⁵. Так погиб проф. Тихвинский⁶.

Мои сведения идут от теперь умершего Александра Ивановича Горбова, моего ученика, — он был ассистентом у Менделеева и потом играл большую роль в Сапропелевом Комитете и в Президиуме КЕПСа, когда я вернулся в 1921 и в 1926. А. И. Горбов был тоже оговорен Таганцевым, но когда ему предложили прочесть показания Таганцева, он отказался и узнал подробно об их содержании от военного, кажется полковника, с которым сидел в камере. Фамилию его я забыл⁷. Вероятно, она есть в том списке, который был развешан в Петербурге и произвел потрясающее впечатление не страха, а ненависти и презрения, когда мы его прочли. Среди них был мой большой друг Михаил Михайлович Тихвинский — крупный химик-технолог, сделал крупное открытие. Когда я узнал от его жены по телефону о его аресте, послал письмо Горькому — просил показать мое письмо Ленину⁸. Большой приятель Тихвинского — известный инженер-коммунист — фамилию сейчас забыл — отказался⁹. Бывший коммунист Рыбакин¹⁰ (кажется, точно в партии — занимавший важное место) отправился в Москву, послав телеграмму в какое-то учреждение, которое этот приговор не мог миновать. Оказалось, что уже было поздно. Тихвинский был расстрелян¹¹. Это была и партийная борьба. Сейчас после разговоров с М. Ф. Андреевой я вижу, что в этой среде все было возможно. Тихвинский все меня убеждал уехать в Америку <!...>¹². Я очень уклончиво относился к этому, но когда я узнал о казни невинных людей — я почувствовал, что, может быть, Тихвинский был прав. Приглашение в Париж это осуществило¹³. Это одно из ничем не оправданных преступлений, морально разлагающее партию»¹⁴.

¹ Сапропель — озерный ил. Исследовался Комиссией по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). В. Н. Таганцев был секретарем Сапропелевого комитета КЕПС. Сапропелевая станция КЕПС размещалась в Залучье — бывшем имении Таганцевых.

² ВЧК преобразована в ГПУ позже, в начале 1922 года.

³ В эмигрантской прессе назывались другие имена.

⁴ Явная описка. В других местах Вернадский пишет о тех же событиях, относя их к 1921 году.

⁵ Вернадский упоминает здесь и о других видах репрессий.

⁶ В другой записи Вернадский выделяет еще одного погибшего — профессора-юриста, проректора Петроградского университета Н. И. Лазаревского.

⁷ Это был, судя по «Петроградской правде», В. Г. Шведов.

⁸ В другом месте Вернадский записал, что письмо его до Ленина не дошло, так как было отобрано у Горького во время обыска на его квартире (обыск был связан с делом общественного Всероссийского комитета помощи голодающим).

⁹ Далее скобки, в которых оставлено место.

¹⁰ Фамилия написана неразборчиво.

¹¹ Не мешает заметить, что М. М. Тихвинский имел заслуги перед русским революционным движением (входил, в частности, в группу «Освобождение труда»).

¹² Опущена часть фразы, смысл которой неясен.

¹³ В конце 1921 года, через несколько месяцев после возвращения в Петроград из Крыма, Вернадский получил приглашение в Париж для чтения лекций в Сорбонне. Он работал за границей в 1922—1926 годах.

¹⁴ Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, ед. хр. 47, л. 21 об.

В какой мере отражает истину эта версия, переданная нам столь авторитетным лицом? Судя по тому, что Вернадский сделал о «Таганцевском деле» несколько записей в разных местах, он считал чрезвычайно важным сохранить свое, хотя и косвенное, свидетельство.

Не пора ли открыть для исследователей все материалы, связанные с «делом Петроградской боевой организации», да и со всеми другими давними делами? Не смущаться при этом ни догмой, ни датой, ни ведомственной принадлежностью. Хоть теперь узнать, как все было на самом деле.

Ленинград.

Ф. Ф. ПЕРЧЕНКО.

ДЕЛО ГУМИЛЕВА

...дошло до меня известие о смерти Лермонтова... Это может подать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Лудвига Филиппа: вот второй раз, что не даю промаха.

П. А. Вяземский.

В августе 1921 года по постановлению Петроградской губернской чрезвычайной комиссии расстрелян поэт Николай Гумилев.

Сам факт его участия в контрреволюционном заговоре оказался неожиданностью для многих современников, да и не только современников. Поверили не все. Но тем не менее Гумилев шестьдесят шесть лет официально считался контрреволюционером, и, как водится, такая оценка распространялась на его стихи. Публикация стихов Гумилева была практически невозможна, и, чтобы отменить запрет, следовало снять с поэта обвинение в контрреволюционности.

Разумеется, если бы Гумилева казнили в 30-е годы то его бы и реабилитировали давным-давно в числе прочих жертв беззакония. Но в данном случае задача существенно осложнялась, поскольку любая попытка оправдать поэта воспринималась как попытка дискредитировать ЧК. Действительно, если Гумилев не был заговорщиком, то, возможно, и заговора не было, значит — расстреляли невиновных. И произошло это не в печально известные времена Берия или Ягоды, а значительно раньше. И не где-нибудь в провинции — в Петрограде. Признать такое было трудно даже после XX съезда.

Так появилась еще одна, и на первый взгляд вполне правдоподобная, интерпретация августовских событий 1921 года: Гумилев, конечно, знал о заговоре, но не примкнул к заговорщикам. Соответственно не было и преступных действий, а то, что поэт не сообщил о готовящемся преступлении, вполне объяснимо: дворянин, офицер, l'homme d'honneur — какие уж тут доносы...

Версия «причастности, но не соучастия» (условно назовем ее так) появилась в устном бытовании достаточно давно. Во всяком случае, задолго до статей В. В. Карпова «Поэт Николай Гумилев» («Огонек», 1986, № 36) и Г. А. Терехова «Возвращаясь к делу Н. С. Гумилева» («Новый мир», 1987, № 12). Она оказалась куда более приемлемой, но, к сожалению, объясняла не все. Ведь если Гумилев не состоял в контрреволюционной организации, то почему приговор столь суров? Что это: результат действия суровых законов эпохи, судебная ошибка или же просто беззаконие, произвол? Ни В. В. Карпов, ни Г. А. Терехов на эти вопросы не ответили. Более того, оба выступления как бы продолжают и дополняют друг друга, обнаруживая при этом весьма любопытную тенденцию: стремление обойти «опасные» вопросы, снять их не решая.

Однако достижение ли это? Смотря как считать... Да, раньше, игнорируя общественное мнение, Гумилева вовсе не печатали, поскольку он считался заговорщиком. Сейчас поспешно объявлено, что поэт заговорщиком не был и потому, дескать, запрет бессмыслен. Более того, он реально снят — Гумилева печатают. Достижение? Безусловно. Читатели возликовали, но победила ли истина?

Обратимся к статье В. В. Карпова. «Гумилев, — сообщает писатель, — был арестован 3 августа 1921 года по обвинению в участии в заговоре контрреволюционной Петроградской боевой организации, возглавляемой сенатором В. Н. Таганцевым. В «Петроградской правде» 1 сентября 1921 года в статье «О раскрытии в Петрограде заговора против Советской власти» (точнее: «О раскрытом в Петрограде заговоре...»). — Д. Ф.) говорилось о многих контрреволюционных делах этого заговора и о степени виновности каждого из шестидесяти одного участника». Далее писатель воспроизводит

(к сожалению, неточно) обвинения, предъявленные Гумилеву: активное содействие составлению прокламаций, обещание связать организацию с группой сочувствующих, получение денег «на технические надобности». Что ж, основной источник информации указан, и автор переходит к выводам, разумеется, «не ставя под сомнение решение суда». В его интерпретации тридцатипятилетний офицер-фронтовик, литератор с немалым организаторским опытом выглядит несколько наивно: может быть, и обещал Гумилев помочь заговорщикам, но не помог да и не собирался, а деньги брал из деликатности — чтобы не тратить.

Начнем проверять пункт за пунктом.

Во-первых, «глава заговора» Владимир Николаевич Таганцев сенатором не был, и в «Петроградской правде» об этом — ни слова! Не знаю, какими источниками пользовался писатель, скорее всего просто перепутал заговорщика с его отцом, известным российским правоведом профессором Таганцевым Николаем Степановичем. Кстати, Н. С. Таганцев 16 июня 1921 года направил В. И. Ленину письмо, где сообщил о неожиданном аресте сына и о том, что и в его квартире тоже был учинен обыск, причем изъяты личные вещи. Известно, что В. И. Ленин начал действовать — обратился в соответствующие инстанции, — но на судьбе В. Н. Таганцева это не отразилось. Его расстреляли. Правда, отцу личные вещи вернули. (См. об этом: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 278—279, 435.)

Во-вторых, в статье, на которую ссылается В. В. Карпов, сказано достаточно ясно: «По постановлению Петр<оградской> Губ<ернской> Чрезв<ычайной> Комиссии от 24-го августа с. г. расстреляны следующие активные участники заговора в Петрограде» (разрядка моя. — Д. Ф.) — и далее список с указанием обвинений, предъявленных каждому. Так что Гумилев признан именно активным контрреволюционером и потому — казнен. Что же касается численности заговорщиков, то писатель опять ошибся: их вовсе не 61, а гораздо больше, расстреляли не всех, и об этом можно прочитать на следующей странице той же газеты. Получается, что В. В. Карпов, пытаясь оправдать Гумилева, противоречит источнику, на который сам же ссылается, а именно — «Петроградской правде».

Справедливости ради стоит отметить, что писатель и сам не уверен в убедительности своих доводов. Более того, причину столь противоречивого стремления — доказать невинность Гумилева, «не ставя под сомнение решение суда», — он указывает прямо: «Существует еще точка зрения, объясняющая рост «второй популярности» Гумилева не как поэта, а как человека, «безвинно пострадавшего» от Советской власти». Именно такую точку зрения и оспаривает писатель.

В сущности, интерпретация юриста мало чем отличается от интерпретации писателя: друзья-офицеры, дескать, предложили Гумилеву вступить в антисоветскую организацию, от чего поэт категорически отказался, а доносить на заговорщиков не стал, поскольку это противоречило его понятиям о чести. Но зато в отличие от В. В. Карпова Г. А. Терехов ссылается не на опубликованные источники, а на материалы следствия и даже цитирует (к сожалению, весьма скупо) протокол допроса Гумилева.

«По делу установлено, — пишет Г. А. Терехов, — что Гумилев Н. С. действительно совершил преступление, но вовсе не контрреволюционное <...>, а так называемое сейчас иное государственное преступление, а именно — не донес органам советской власти <...>. Никаких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева в участии в антисоветском заговоре, в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет».

Тут сразу же возникает как минимум два вопроса.

Первый: а есть ли подобные обвинительные материалы вообще, почему Г. А. Терехов ссылается только на материалы дела Гумилева? Ведь то, что поэт отрицал свою вину, само по себе еще ничего не доказывает — каждый обвиняемый защищает себя как умеет. Кроме того, если материалы, уличающие Гумилева (свидетельские показания, например), относятся и к другим заговорщикам, то, возможно, они хранятся в других делах. Подобных случаев немало. Кстати, Г. А. Терехов и не отрицает такую возможность, но при этом делает более чем странный вывод: «Любые иные (в том числе и следственные и судебные) материалы, даже если они имеются в других уголовных делах, но не приобщены были в то время к делу Гумилева, не могут быть приняты в настоящее время во внимание для юридической (а также и политической) оценки поведения Н. С. Гумилева».

Во-вторых, Гумилева в 1921 году признали именно активным заговорщиком,

и публикация официального сообщения (от Всероссийской чрезвычайной комиссии) означает, что все предъявленные обвинения доказаны. Если же, как утверждает юрист, никаких свидетельств нет, значит, официальное сообщение — ложь, фальсификация. Тогда откуда ж они взялись, эти обвинения, на чем основаны?

Но выяснять происхождение официальной версии Г. А. Терехов не стал.

Вот что пишет Г. А. Терехов: «14 мая 1986 года в «Литературной газете» (№ 20) прочитал статью Евг. Евтушенко «Возвращение поэзии Гумилева», в которой указано, что русский поэт Н. Гумилев «в 1921 году был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре». В сентябре 1986 года <...> прочитал эссе В. В. Карпова «Поэт Николай Гумилев», в котором также указано, что «Н. Гумилев являлся участником Петроградской боевой организации, активно содействовал в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент выступления группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности». Далее В. В. Карпов приводит выдержку из высказывания Константина Симонова: «Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде — этот факт установленный. Примем этот факт как данность». Я сомневаюсь в том, что Евг. Евтушенко, В. В. Карпов и К. Симонов сами изучали материалы уголовного дела по обвинению Н. С. Гумилева. Мне же довелось по долгу службы изучать в свое время все материалы дела, находящегося в архиве».

Пожалуй, относительно знакомства писателей с архивными документами сомневаться не стоит. Как известно, в статье В. В. Карпова приводится цитата из «Петроградской правды», причем писатель указывает источник. Именно эту цитату (с ошибками и существенными пропусками) воспроизводит Г. А. Терехов, но о газете он даже не упоминает! Более того — авторство приписано В. В. Карпову. Сказано вроде бы и невзначай, но зато теперь опровергается не сообщение ВЧК, а домыслы неосведомленных писателей. Такая вот переадресация.

Аналогичным образом обходится вопрос о законности приговора. «Совершенное Гумилевым преступление, — пишет Г. А. Терехов, — по советскому уголовному праву называется «прикосновенность к преступлению» и по Уголовному кодексу РСФСР ныне наказывается по ст. 88¹ УК РСФСР лишением свободы на срок от одного года до трех лет или исправительными работами до двух лет. Соучастием недонесение по закону не является».

Но допустим, Гумилев действительно уличен только в недонесении. Что же помешало юристу указать, какой закон определил судьбу поэта? Попытаемся разобраться.

Вероятно, в данном случае следует вспомнить постановление о красном терроре, принятое Советом Народных Комиссаров 5 сентября 1918 года. Этот декрет гласил: «Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад Председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности о деятельности этой Комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью <...> что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам (разрядка моя.— Д. Ф.), что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».

Список расстрелянных с указанием «основания применения к ним этой меры» и в самом деле опубликован. Правда, мы предполагаем, что в газету поступили ошибочные сведения, а Гумилев уличен только в недонесении. Считался ли он в этом случае «прикосновенным» и как вообще понималась тогда «прикосновенность» к заговору?

В дореволюционном уголовном праве (а не в ныне действующем советском) различали три типа «прикосновенных». Таковыми считали и недонесителей — тех, кто, зная об умышленном или уже содеянном преступлении, имел возможность довести о том до сведения правительства, но пренебрегал сей обязанностью. Вероятно, и в 1918 году принималась эта трактовка — другой не было. Но в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» (постановление Народного комиссариата юстиции от 28 декабря 1919 года) о «прикосновенных» уже ничего нет, зато подробно сказано о «пособниках».

Следовательно, если иметь в виду постановление о красном терроре, то не так важно, доказаны или нет предъявленные Гумилеву обвинения. «Прикосновенным» (или «пособником») его бы все равно признали, и приговор был бы тот же. Почему в газету попали иные сведения, понять нельзя, но сути это не меняет.

Конечно, постановление о красном терроре — жестокий закон. Расстреливали, как известно, не только «прикосновенных», но и просто заложников. Историю не передавать — что было, то было. Тайны тут нет. Почему же Г. А. Терехов не сосался на этот закон? Видимо, потому, что как раз в 1921 году заговорщиков могли и не расстрелять! Постановлением ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года высшая мера наказания в ряде случаев отменялась: «<...> Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора. Только возобновление Антантой попыток, путем вооруженного вмешательства или материальной поддержкой мятежных царских генералов (разрядка моя.— Д. Ф.), вновь нарушить устойчивое положение Советской власти <...> может вынудить возвращение к методам террора, и, таким образом, отныне ответственность за возможное в будущем возвращение Советской власти к жестокому методу красного террора ложится целиком и исключительно на правительства и правительствующие классы стран Антанты и дружественных ей русских помещиков и капиталистов».

Тем не менее Гумилев и еще 60 арестованных казнены. Было ли это нарушением закона? Если подходить строго формально, то нет. В опубликованном 1 сентября 1921 года сообщении ВЧК постоянно упоминаются контакты заговорщиков с иностранными спецслужбами. Так, например, руководитель Петроградской боевой организации (ПБО) В. Н. Таганцев «состоял в деловом отношении с разведками финского генерального штаба, американской, английской», более того — «главная квартира организации находилась в Париже». Но так ли опасна была ПБО, какие цели преследовали заговорщики, какими средствами располагали?

По сообщению «Петроградской правды», конечной целью заговора была «реставрация буржуазно-помещичьей власти, с генералом-диктатором во главе». Что же касается состава и структуры, то ПБО «состояла из нескольких групп: а) офицерской организации, б) группы профессоров, в) объединенной организации кронморяков». Последнюю образовывали бывшие кронштадтские матросы, эмигрировавшие после подавления мятежа и тайно вернувшиеся в Россию. «„Объединенная организация кронморяков“, находившаяся в безусловном подчинении организации Таганцева, была разбита по районам, во главе которых стали начальники <...> которые налаживали связь с советскими учреждениями и предприятиями». В газете указывалось также, что «при выезде из Финляндии моряки снабжались оружием и подложными документами», а в Петрограде у них был свой штаб и своя штаб-квартира. Кроме того, ПБО «вступила в тактические отношения с контрреволюционной группой, именовавшей себя «уполномоченными собрания представителей фабрик и заводов г. Петрограда». Эта группа охарактеризована как «меньшевистско-эсеровский блок, включавший в себя также и анархистов».

Во главе заговора стоял комитет, в который, кроме В. Н. Таганцева, входили бывшие офицеры В. Г. Шведов и Ю. П. Герман. Начальнику военной части ПБО подполковнику П. П. Иванову «удалось привлечь к работе лиц комсостава Красной Армии в Петрограде и ряд бывших морских офицеров». Согласно замыслам заговорщиков город «был разбит на районы, во главе которых были поставлены руководители соответствующих групп», и в установленный срок «одновременно с активным выступлением в Петрограде должны были произойти восстания в Рыбинске, Бологое, Ст. Руссе и на ст. Дно с целью отрезать Петроград от Москвы». Предполагалось, что мятежники сумеют воспользоваться «возникновением крупного волнения среди крестьянства в связи с началом сбора продналога».

Вот в какую организацию вступил или отказался вступить Гумилев. Значит, приговор был все-таки законным, значит, можно было применять постановление о красном терроре? Да, если существование именно такого заговора и «вмешательство Антанты» действительно доказаны. А если нет? Не правда ли, это очень знакомый почерк: обвинить арестованных в шпионаже, обосновать таким образом необходимость чрезвычайных мер — и концы в воду. Конечно, времена еще не те, но и герой гражданской войны Б. М. Думенко, например, оклеветан и расстрелян в 1920 году, а в 1921 году та

же участь постигла Ф. К. Миронова, награжденного ранее Почетным революционным оружием. Такой список легко продолжить, и, вероятно, причинами репрессий были не только ложные доносы...

Есть ли основания предполагать, что Петроградская боевая организация не существовала? Да, есть такие основания. Анализируя сообщение ВЧК и другие статьи в той же газете, легко заметить, что данные о социальном составе и численности ПБО явно не соответствуют ее структуре и планам, столь подробно описанным.

В самом деле, если верить официальному сообщению, то заговорщиков было более 200, причем рабочие, крестьяне и матросы составляли около 10 процентов от общей численности. То есть примерно два десятка. Интересно, сколько ж было именно матросов — 15, 10 или того меньше? Ведь это ж и есть вся «объединенная организация кронморяков» вместе со своим штабом и ответственными по районам! Странно: судя по газете, она представлялась куда значительней...

Деятельность начальника военной части ПБО тоже удивляет. Как сообщила газета, он «разработал мобилизационный план, целью которого является выяснение количества сил, необходимых для захвата города и удержания в нем власти после переворота». Неужели профессионал, штаб-офицер, к тому же «старый соратник Юденича», не знал, что мобилизационный план разрабатывается вовсе не для «выяснения количества сил»? Это, по определению, план развертывания сил, уже известных.

Но в конце концов такие грехи можно списать на общую несвязность изложения. Важно другое: в ПБО вошло всего 36 офицеров, а ее руководители уже строили весьма серьезные планы, осуществить которые собирались в самое ближайшее время. Ведь речь шла не просто о мятеже: они должны были захватить и удержать власть в Петрограде, а также еще в четырех достаточно удаленных друг от друга населенных пунктах. И все это силами 200 мятежников?! Нереально. А если учесть, что более половины не имели серьезной военной подготовки, то вообще нелепо. Да будь хоть все 200 кадровыми офицерами, они и в пределах Петрограда не могли бы рассчитывать на успех, а уж масштабы, указанные газетой, и вовсе иллюзорны.

Впрочем, загадочны не только планы и действия преступников. Непонятно также, как проведено следствие и чем определялась мера наказания. Допустим, не нам судить, почему расстреляны не все участники, а лишь те, кого признали активными, и почему активных именно 61, а не больше или меньше. Даже офицеров, даже кронштадтцев и то не всех расстреляли. Но в списке казненных 16 женщин в возрасте от двадцати до шестидесяти лет. Неужели не нашлось более виновных, более опасных заговорщиков, неужели это и есть ударная сила Петроградской боевой организации?

О самих статьях, цитированных выше, и говорить нечего. Сумбурные, путаные, избыточные повторами и фактическими ошибками, они производят весьма странное впечатление. Похоже, писались они наспех, без какой бы то ни было проверки. Даже возраст Гумилева указан неверно — тридцать три года вместо тридцати пяти.

Понятно, почему многие из тех, кто знал поэта, не поверили официальному сообщению. Дело даже не в Гумилеве — оно не вызывает доверия и само по себе. Но время идет, старые газеты все менее доступны, и участие Гумилева в заговоре уже принимается «как данность». Да и желающих опровергать сообщение ВЧК было чем дальше, тем меньше...

Подведем итоги.

Итак, официальная версия, изложенная в газете «Петроградская правда», представляется весьма сомнительной. Приведенные Г. А. Тереховым, описанные выше аргументы дают основание предполагать, что заговора вообще не было и что подтвердить это могут архивные документы, которые по сей день столь старательно прячут от исследователей. Но почему казнили Гумилева и еще 60 арестованных, кому и чем они помешали? Случайна гибель поэта или закономерна? Необходим тщательный анализ документальных свидетельств, обязательны архивные разыскания. Ведь речь идет не только о правовых проблемах, весьма важен и аспект историко-литературный. Следовательно, слово за историками, литературоведами. Что же касается авторитетности исследования, то проверяемость результатов и доступность источников являются обязательными условиями. Административными средствами проблема не решается. Нужно открывать архивы.

Д. ФЕЛЬДМАН.

КОРОТКО О КНИГАХ



Ю. ОВСЯННИКОВ. Доминико Трезини. Л. «Искусство», 1987, 223 стр.

«Мария Трезини охотно раскрывает Марию Леблон маленькие хозяйственные тайны. Муку и крупу лучше всего покупать в начале зимы, когда большой привоз... Тогда же следует покупать дичь: рябчиков, глухарей, тетерок. Зимой большого глухаря можно купить за восемь копеек. А если брать сразу несколько десятков, то можно и дешевле...»

Зимой рано утром и поздно вечером старайтесь не выходить из дома. Волки забегают в город... Не так давно напали на стражника у Летнего дворца... А совсем недавно на Васильевском, близ дворца князя, волки утром напали на молодую женщину...»

Говорливая эта дама явно живет интересами мужа: волков в Петербурге пропасть, но названы только те, что бесчинствовали возле его творений, Летнего и меншиковского дворцов...

Почему такие вполне малозначащие подробности читаешь с особенным интересом и чуть не с признательностью?

В истории нет ничего скоротечней и невосстановимей быта, и, объясняя резоны и поступки деятелей прошлого, сколько же ошибок мы допускаем, не оттого, что нет документов (допустим — есть), не оттого, что мало знаем об этих людях (допустим, немало), но потому, что не видим, не осязаем их средь того, что было для них повседневностью и что влияло на них гораздо больше, чем кажется нам, — впрочем, можем на себя оборотиться, на себе прикинуть.

Восстановленный в исторической книге быт — уже гарантия, что в добросовестности авторских выводов можно верить. Если, конечно, те же восемь — не шесть и не десять — копеек за глухаря не выдумка.

Зная Овсянникова по прежним книгам как дотошного архивиста, понимаешь — не выдумка. Правда, по той же самой причине осознаешь, в какой переплет он попал: о личности Доминико Трезини на редкость мало известно.

Для биографа есть свой искус в том, чтобы писать о тех, от кого мало осталось сведений и документов, кто ограблен своим невнимательным веком, писать, надеясь, что сам же век, то бишь тщательное его изучение, и возместит недостачу. Об одном из таких биографов было остроумно сказано, что для него идеальный объект исследования — создатель «Песни Песней» или «Слова о полку», на худой случай — Гомер, те, кого надо и можно «вычислить» по тому, что они написали. Но то гении словесности, в любую эпоху ухитрявшиеся самовыражаться, оставляя «душу в заветной лире», а каково писать об архитекторе, от

которого остались немые строения, да к тому же построенные под жестким контролем царя Петра, ежели не соавтора, то, скажем так, редактора Трезини?

Архивист Овсянников, к «вычислениям» прежде не склонный, взялся за почти безнадежное дело. И — выиграл.

К книге приложена синхронистическая таблица, из коей можно узнать, что в год, когда в Швейцарии родился Доминико Трезини (1670), в России началось восстание Разина, а в Париже был сочинен «Мещанин во дворянстве», что в год приезда его в Петербург (1704) Свифт написал «Сказку о бочке», а Ньютон «Оптику», что когда Андрей Трезин, так прозывавшийся в новой отчизне, приступил к построению Петропавловского собора (1712), родился Жан Жак Руссо. Впечатляюще, а для общей картины и поучительно, но что скажет нам о самом Трезини, о его частном человеческом облике, без которого биография, конечно, не биография?

«Хочется думать, что... И все же хочется думать...» — как по неокрещенному льду подбирается Овсянников к своему герою, осторожно допуская и то и это. По крупичкам собирает реалии, окружавшие покуда не осязаемую фигуру Трезини. «До сих пор неизвестны его портреты» (даже так) — что ж, зато есть миниатюра с изображением его внучки, и отчего бы не допустить фамильное сходство? «Трезини не вел дневника» — досадно, конечно, но дневник добросовестно вел голландец Корнелис де Бруин, прибывший в Россию тогда же, и, стало быть, можно восстановить немало из того, что вставало и пред очами Трезини. А сведения о земляках архитектора по кантону Тессин дают основания предположить о наличии и у него таких-то и таких-то родовых качеств и даже вывести заключение, что поскольку тессинцы считались весьма склонными к поклонению красоте, то превращенный царем Петром в строителя крепостей, пороховых погребов и казарм соотечественник их, выходит, изрядно смирял свой эстетический норв.

У Корнея Чуковского записан смешной разговор. Молодой рабочий спрашивает старика, что означает слово «зодчий». Тот поясняет: это по-русски, по-нашему — архитектор.

Слово «зодчий» превратилось в высокопарное звание, в торжественный титул, а деловое «архитектор» осталось обозначением общепонятной профессии.

Возможно, тессинца Трезини тянуло стать именно «зодчим». Но, смирившись, стал он в России «архитектором». Даже «инженером-строителем». Создал «город изначальный», заложив фундамент для Расстрели и Росси, он сам стал человеком-фундаментом, типичной фигурой практической и суровой петровской эпохи, когда «государство было

все, а человек ничего» (Герцен), эстетика же, по слову поэта, могла быть сведена к формуле: «Он учит: красота — не прихоть полауба, а хищный глазомер простого столяра».

Но совершилось чудо. «Инженер-строитель», человек, по всей видимости, приученный к подчинению и лишенный художнических амбиций, к тому же содержавшийся царем в строгости и если не в черном теле, то оплачиваемый скудно, — этот человек, конечно, не опередил, подобно гениям, своего времени, не открыл новых путей и просторов в искусстве, но он сделал другое. Воплотившись послушно в эпоху, он сам стал ее воплощением.

«Васильевский остров с его планировкой и зданием Двенадцати коллегий, Петропавловская крепость с ее удивительным шпилем, Летний дворец и общий замысел Александро-Невской лавры навечно останутся памятником славному труженику Доминико Трезини» — так кончает Юрий Овсянников книгу. Можно только добавить: и памятником неповторимому времени. Если обычно об архитектуре говорят: застывшая музыка — и можно ли сыскать лучшего определения для России или Растрелли? — то Трезини — застывшая история.

Ст. Рассадин.



КРАТКИЙ МИГ ТОРЖЕСТВА. О том, как делаются научные открытия. («Библиотека журнала «Химия и жизнь») М. «Наука». 1988. 336 стр.

Концентрация — одно из основных понятий химии. Концентрация ионов, молекул, вещества. Но в литературе, даже химической, важна концентрация мысли и информации. Если оценивать по этим критериям первую книгу новой научно-художественной серии (кстати, первой в практике академического издательства), то ее вполне можно отнести к разряду эссенций. Среди авторов нобелевские лауреаты Лайнус Полинг и Петр Леонидович Капица, Ханнес Альвен и Николай Николаевич Семенов, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, многие другие выдающиеся биологи, химики и физики XX века. Личности, оставившие яркую мету на древе познания природы.

Неожиданный этот сборник сложился из избранных публикаций журнала «Химия и жизнь» за двадцать с лишним лет. Журнал всегда стремился заполнить на свои страницы произведения людей неординарных, будь то ученые, художники или литераторы. И вот теперь в первой книге его «Библиотеки» собраны рассказы, статьи, интервью, составляющие мозаичный, полифонический концентрат знания и талантов.

Ученые рассказывают на страницах книги, какие вопросы ставила перед ними Природа и какие вопросы они в свою очередь задавали ей. Как трудно и долго приходится

идти к истине, как тягостны и изнурительны бывают исследовательские будни и как приходит наконец долгожданный и редкий «краткий миг торжества» — озарений, открытый, побед. А потом — снова будни...

«Приступая к ежемесячным отчетам о нашей работе, я долго обдумывал ту форму, которую им следует придать, и их содержание. Если для образца взять форму отчетов хотя бы Академии наук, то наиболее характерная их черта — это невозможность их читать. Они не только скучны и нагоняют сон, но и понять их может только тот, кто их писал. Такая форма — это очевидная трата времени и бумаги. Писать отчеты по технической проблеме, чтобы их читали с интересом, по-видимому, нелегкая задача...» Так начинается «самоотчет» Петра Леонидовича Капицы, написанный в предвоенные годы, когда великий физик занимался жизненно важной проблемой получения кислорода. В совокупности с письмами и текстом лекции, прочитанной в Канаде, этот труд стал великолепным автопортретом ученого. Конструкция изобретенного Капицей турбодетандера — машины для сжижения воздуха — мало кому интересна. Поэтому техника и осталась за пределами публикации. Но то, что вошло в книгу, хранит дух и стиль работы ученого, его отношение к различным проявлениям бытия человека в науке.

Вот из таких автопортретов и составлена в основном книга, хотя попадают в ней и портреты. Физик Э. Л. Андроникашвили рассказывает о физике Л. Д. Ландау: «Хотите начать с внешнего облика? Пожалуйста. Он очень высок и очень худ. Голова очень большая и хорошо посаженная на длинной шее. Но до головы мы еще доберемся... Впалая грудь, впалый живот, впалые бедра. Что еще может быть впалым у человека? Характерные особенности его фигуры таковы, что их несподручно выражать словом «телосложение». Это он, Ландау, пустил в ход выражение «теловычитание», использованное впоследствии Граниным...»

Органично входят во многие рассказы сборника такие темы, как наука и общество, нравственность ученого, «хлеб, любовь и фантазия». Но самое главное, что эта сравнительно небольшая книжка вместила очень многое из достигнутого естествознанием (биологией, химией, физикой) за многотрудный наш век. Потратив время на «Краткий миг торжества», читатель поймет, какие это разные вещи — наука устоявшаяся, застывшая в безапелляционных формулировках учебников, и наука живая, развивающаяся, сомневающаяся.

Остается заметить, что большинству авторов книги, а также ее художнику и составителю свойственно чувство самоиронии при серьезном, но без чувства и снобизма отношении к делу их жизни.

Илья Заславский,
кандидат технических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Д. Ибаррури. Воспоминания. Борьба и жизнь. В 2-х кн. Кн. 2. Мне не хватало Испании. Перевод с испанского. 286 стр. Цена 95 к.

Л. Медведно, А. Германович. Именем Аллаха... Политизация ислама и исламизация политики. 255 стр. Цена 75 к.

А. Менделеев, Д. Казутин. Диалоги о демократии. 240 стр. Цена 55 к.

Р. Подольный. Освоение времени. («Философская библиотека для юношества») 143 стр. Цена 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ч. Айтматов. Белый пароход. Повесть. И долгие века... Плаха. Романы. 703 стр. Цена 2 р. 90 к.

Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. Перевод с латинского. 399 стр. Цена 5 р. 50 к.

С. Наровчатов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 2. 639 стр. Цена 2 р. 10 к.

Свидание на перевале. Повести и рассказы молодых советских писателей. 574 стр. Цена 2 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Д. Гранин. О набелевшем. («Новинка года») Л. 94 стр. Цена 65 к.

Н. Гумилев. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта. Большая серия») Л. 631 стр., с илл. Цена 5 р.

Д. Хармс. Полет в небеса. Стихи, проза, драмы, письма Л. 559 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Широв. Сад неведения. Повести, рассказы. Л. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

«РАДУГА»

Еще одна попытка выжить. Современная марокканская проза. 416 стр. Цена 2 р. 60 к.

Исповедь сердца. Гражданские стихи современных болгарских поэтов. 383 стр. Цена 2 р. 30 к.

И. Марек. Собачья звезда Сириус, или Похвальное слово собаке. Перевод с чешского. 280 стр. Цена 1 р. 30 к.

Г. Пинтер. Сторож. Коллекция. Пейзаж. На безлюдье. Предательство. Драмы. Перевод с английского. 223 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Белый. Избранная проза. 464 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Панкеев. Сергей Орлов. Судьба и творчество («Писатели Советской России») 159 стр. Цена 30 к.

А. Русов. Иллюзии, 1968—1978 Повесть, роман. 400 стр. Цена 1 р. 60 к.

И. Шмелев. Лето Господне Праздники Радости. Скорби. 381 стр. Цена 2 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОК»

М. Булгаков. Собачье сердце. Ханский огонь. 112 стр. Цена 50 к.

В. Вересаев. Невыдуманные рассказы о прошлом. 127 стр. Цена 60 к.

Русские каламбуры. 251 стр., с илл. Цена 3 р. 90 к.

А. Хомянов. О старом и новом. Статьи, очерки («Любителям российской словесности. Из литературного наследия») 462 стр. Цена 2 р. 30 к.

«ИСКУССТВО»

М. Андерсон. Пьесы. Перевод с английского. 255 стр. Цена 1 р. 40 к.

К. Станиславский. Собрание сочинений. В 9-ти тт. Т. 1. Моя жизнь в искусстве. 622 стр. Цена 3 р. 50 к.

В. Шестаков. Мифология XX века. Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». 223 стр. Цена 3 р.

«НАУКА»

И. Ансаков. Письма к родным. 1844—1849. («Литературные памятники») 704 стр. Цена 7 р. 40 к.

Лесков и русская литература. 255 стр. Цена 5 р.

Сервантесовские чтения. 1988. Л. 247 стр. Цена 2 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Р. Брэдбери. О скитаньях вечных и о Земле. Сборник Перевод с английского. М. «Правда». 654 стр. Цена 4 р.

Н. Бухарин. Этюды. Репринтное воспроизведение издания 1932 г. («Книжные редкости») М «Книга» 354 стр. Цена 3 р. 60 к.

Живая жизнь. Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. М. «Московский рабочий» 317 стр., с илл. Цена 3 р.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 163806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.01.89 г. Подписано к печати 07.03.89. А 13303.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл.-кр. отт.). 27,16 уч.-изд. л.

Тираж 1.573.000 экз. (3-й завод 443.001—643.000 экз.) Зак. 699 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл. 5
Отпечатано в типографии «Красная звезда», 123826, ГСП, Москва Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 4, 1—272.